

Георгий Брянцев

По тонкому льду

Содержание

Часть первая

Дневник лейтенанта Трапезникова

Часть вторая

Записки майора Брагина

1. Так было
2. Как и раньше, мы вместе
3. Наше появление в Энске
4. Первые дни
5. Меня хочет видеть Перебежчик
6. Энское подполье
7. Первые провалы
8. Человек с пятнышком
9. Наперсток и Аристократ
10. У Солдата новости
11. У Аристократа тоже новости
12. Визит к Пейперу
13. Ошибка доктора
14. Заседание горкома
15. Новогодний вечер
16. Геннадий нервничает
17. Сюрпризы
18. Доктора нет
19. Наши будни
20. Архив приказал долго жить
21. Гизела
22. События и новости
23. Воздушные гости
24. Беда
25. Угрюмый и Дункель
26. Угрюмый исповедуется
27. У Гизелы
28. Угрюмому везет!
29. Гизела и Пейпер
30. На первом этапе
31. Панцигер
32. На втором этапе
33. От второго к третьему этапу
34. На третьем этапе
35. Прощай, Энск!

Эпилог

Письмо Гизелы Эйслебен

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДНЕВНИК ЛЕЙТЕНАНТА ТРАПЕЗНИКОВА

26 декабря 1938 г.

(понедельник)

Проснулся рано. Не выспался. Разбудил сын Максим. Ему всего четыре года от роду, но сорванец отчаянный. Вооружился хворостинкой от веника и принялся щекотать у меня в ноздре. Хотел дать ему шлепков, но он так заразительно хохотал, что я смиловился и не стал портить ему настроение.

Умылся и сел писать эти строки.

До начала занятий в управлении - полтора часа. В голове неприятный шум, в затылке тупая ноющая боль. Ее происхождение понятно. Вчера у нас были гости, и мы по-настоящему кутнули. Кутнули по случаю появления на свет тридцать один год назад такого чудесного парня, как мой друг Дмитрий Дмитриевич Брагин.

Стол был хороший: студень, маринованные грибы, жареный гусь: Всякие соленья, винегреты, заливная рыба, творожники и мое любимое блюдо - беляши.

И выпивка была знатная: одна наливка смородиновая чего стоила! От нее-то, видно, и побаливает у меня в затылке. Надо бы, справедливо рассуждая, подлечиться, хватить небольшую чарочку этой самой колдовской наливки, но неудобно. Запах никуда не денешь, а день-то предстоит рабочий.

Короче говоря, небольшой праздник прошел на славу: поели, попили, поплясали, наговорились. Все бы ничего, если бы... не одно "но".

Отмечая юбилей Дмитрия Дмитриевича, или, как привыкли называть его друзья, Дим-Димыча, мы в то же время отметили утрату своего старого друга Геннадия Васильевича Безродного. В этом и заключается "но".

Под словом "утрата" я не имею в виду смерть Геннадия или долгую разлуку с ним. Геннадий жив. Его здоровью может позавидовать любой из нас. Он никуда не уехал. Просто мы вынуждены были вычеркнуть Безродного из списка наших друзей. А сказать точнее - сделал это он сам.

Утрата произошла не вдруг, не сразу. Но вчера стало все предельно ясно: нас было трое - Безродный, Брагин и я. Теперь двое - Брагин и я.

А началось вот с чего. Четыре месяца назад, в конца августа, Геннадия срочно вызвали в Москву. Там он пробыл восемь дней и вернулся обратно в звании старшего лейтенанта. Тут же был отдан приказ о назначении его начальником отдела, в котором восемь дней назад он руководил отделением.

Это было неожиданно для всех, исключая, конечно, руководство управления, без которого такое смелое выдвижение обойтись не могло.

Никто не завидовал Геннадию. Все были удивлены, поражены, озадачены, пытались разгадать причины столь неожиданного выдвижения. Геннадий перемахнул через звание и через должности помощника и заместителя начальника отдела.

Я знал Геннадия десять лет. Точнее, не знал, а знаю. Так правильнее. Не секрет, что каждый человек обладает своим "потолком". Для Геннадия этим "потолком" была должность начальника отделения. В ней он и сидел. И вдруг Геннадий возглавил отдел. Но, как говорится, начальству виднее. Приказы мы имеем права обсуждать лишь в той части, как их лучше выполнить.

Безродный никогда не отличался кипучей энергией, не обладал особой решительностью и предприимчивостью. По служебной лестнице он карабкался медленно, со скрипом: подчинялся чужой воле, редко проявлял инициативу, избегал риска, самостоятельных решений. На его челе нельзя было обнаружить признаков хотя бы потенциального таланта. Главный и, пожалуй, единственный талант Геннадия состоял в том, что он был усидчив, мог много и упорно работать. А вот организовать работу отделения в отсутствие своего заместителя ему не удавалось. Он плохо знал и понимал людей, не мог затронуть их душевных струн.

За последние четыре месяца он разительно переменялся. В облике появилась необыкновенная важность. Он сразу как бы поумнел и возвысился в собственном мнении, стал самоуверен.

Долголетняя профессия разведчика выработала у меня твердое убеждение, что изменить походку так же трудно, как изменить, допустим, голос, а вот Геннадий опроверг это убеждение. Он изменил походку. Куда девались резкость, угловатость, этакая несообразность в движениях... Они стали бесшумными, неторопливыми, мягкими, какими-то эластичными. Он усвоил величаво-небрежные манеры. При встречах не здоровался за руку, не останавливался и вместо приветствия только снисходительно кивал.

Мне сейчас тридцать три года. Тринадцать лет я проработал в органах госбезопасности. Я уже кое-что повидал, но быть свидетелем такого быстрого и разительного перевоплощения мне еще не приходилось.

В работе Геннадий стал проявлять такую активность, что диву даешься. Дим-Димыч, со свойственной ему наблюдательностью, правильно подметил, что Геннадий прямо-таки изнемогает от припадка служебного рвения.

Он перестал заходить ко мне и к Дим-Димычу. Странно! Жили мы когда-то втроем под одной крышей, в одной комнатухе. Были дни, когда мы укрывались втроем одним одеялом, ели из одной тарелки, делили поровну скудную еду. Геннадий был старшим из нас. Ему сейчас сорок один год. На нашей дружбе не отразилась моя женитьба пять лет назад и женитьба Геннадия четыре года назад. Мы лишь разъехались на разные квартиры. Но не проходило ни одного воскресенья, ни одного праздника, чтобы мы не встречались у кого-либо из троих. Мы старались попасть в отпуск в одно время, и часто это нам удавалось. Тогда мы ехали на Украину, где родился и вырос Геннадий, или на мою родину, в город Ржев.

А с того дня, как Геннадий "вышел в начальники", все пошло прахом, дружба наша дала трещину, а теперь окончательно развалилась.

Позавчера, в субботу, перед уходом со службы я специально зашел в кабинет Геннадия. Я предупредил его, что завтра день рождения Дим-Димыча и что по старой, освященной десятилетием традиции мы должны собраться. Он кинул на меня нарочито рассеянный взгляд и сказал, что позвонит мне домой завтра днем и скажет, придет или не придет.

И, конечно, не позвонил. Позвонил ему я. Позвонил, когда гости уже сели за стол. Геннадий ответил буквально следующее:

- Товарищ Трапезников, вы должны понять, что мне не совсем удобно отмечать юбилей с подчиненными. Это пахнет панибратством...

Он впервые обратился ко мне на "вы".

Я сказал ему по-старому:

- Геннадий, брось валять дурака! Мы собрались не у тебя в кабинете, а у меня дома. Из твоих подчиненных здесь будет один Дим-Димыч. При чем здесь панибратство?

- Вы меня не агитируйте, - прозвучал сухой ответ.

Я послал его к черту и положил трубку. Правда, сначала я положил трубку, а потом уже послал его к черту. Я сразу не нашелся. Я человек с несколько запоздалым рефлексом.

Короче говоря, Геннадий не пришел. Я передал наш разговор ребятам: Дим-Димыч махнул безнадежно рукой:

- Я тебя предупреждал. К этому все шло. Что ж... лучше не иметь вовсе друга, нежели иметь плохого.

Кто-то из гостей, будучи наслышан о том, что за последнее время отношения у Брагина и Безродного заметно подпортились, решил подшутить над Дим-Димычем:

- Смотри, паря, он, этот Безродный, еще проглотит тебя!

- Подавится, - огрызнулся Дим-Димыч. - Такой кусок, как я, может застрянуть в горле.

- А если не застрянет?

- Получит несварение желудка или заворот кишок.

Итак, за последние десять лет это был первый случай, когда Геннадий не поздравил Дим-

Димыча и не пришел на день его рождения...

27 декабря 1938 г.

(вторник)

Только что вернулся от Дим-Димыча. Время - около трех часов ночи. На дворе чудная погода с приятным морозцем. Снег лег прочно и, видно, надолго. Город преобразился, посвежел, побелел.

Название города, в котором мы живем и работаем, я предпочту не называть. Укажу только, что город областной, а в прошлом губернский.

Так вот... Значит, я только что от Дим-Димыча. На службе сегодня нам не довелось повидаться, и я решил заглянуть к нему домой. Я и Дим-Димыч работаем в разных отделах: он под началом Безродного, а я у старого, опытного чекиста и умнейшего человека Курникова. А должности у меня и у Дим-Димыча одинаковые: оба мы начальники отделений. Дим-Димыча я застал дома. Он только что пришел с работы, сидел на продавленной койке с гитарой в руках и пел. Завтракал и ужинал Дим-Димыч, как холостяк, на работе в буфете, обедал в нашей столовой.

При моем появлении Дим-Димыч кивнул и продолжал петь. Наша дружба не требовала особых знаков внимания, и ничего необычного в моем позднем визите не было. Работу мы всегда заканчивали глубокой ночью. Точнее, прерывали ее для короткого сна.

Я сел на единственный венский стул и стал слушать.

У Дим-Димыча был несильный, но очень приятный баритон, и его пение всегда доставляло мне удовольствие. Сейчас он пел про утес на Волге, которому Стенька Разин поведал свои сокровенные думы.

Дотянув песню, Дим-Димыч встал, повесил на гвоздь гитару и спросил:

- Ну, чего молчишь?

- Песня хорошая.

- Да, неплохая. А знаешь, кто ее написал?

Я покачал головой. Нет, я не знал и даже не задумывался над тем, кто автор любимой мною песней.

- Написал ее царский чиновник Навроцкий, - сказал Дим-Димыч. - Он служил товарищем прокурора и не один раз выступал с погромными речами на процессах над политическими. Человек дрянь, а какую сотворил вещь! Живет и жить будет.

- Парадокс, - заметил я.

- Да, - подтвердил Дим-Димыч. - Я припоминаю, как в ВПШ наш преподаватель Севрюков развивал теорию, что плохой человек не может написать хорошей книги, а я спорил с ним и доказывал, что знаю поэта, очень грязненького в быту, пишущего хорошие стихи.

- Помню этого "ортодокса", - добавил я. - Загибщик он был.

- Загибщик - это для него много. Просто дурак. - Дима аппетитно зевнул и, растянувшись на койке, потянулся.

- Спать хочешь? - спросил я.

- Устал.

- Пойду. Мне тоже пора.

- погоди. Ты знаешь, я как-то по-новому начинаю понимать Геннадия. Оказывается, чтобы разобраться в человеке, его надо сделать начальником. По-моему, Геннадий - карьерист.

- Ну, это ты хватил.

- Нисколько. Классический карьерист. Убеждать не стану. Скоро ты сам убедишься. Сегодня на него нашло демократическое настроение. Пришел к нам в отделение, угостил ребят папиросами и начал трепаться.

- О чем?

- О том, как его сватали в Москве на должность начальника отдела, а он ломался, раздумывал, колебался, а потом снизошел и дал согласие. Я рассмеялся: "Ты, говорю, сам еще не понимаешь, какую услугу оказал человечеству". Он нахмурился: "Не ты, а вы". Потом

трепался насчет своей честности. В двадцатых годах ему будто довелось везти изъятое у буржуев золото. Целый ящик. Пуда три. Он плыл на пароходе по Каспию, пароход загорелся. Пришлось спасаться вплавь на круге. Он мог не только выплыть сам, но и прихватить для себя лично килограмма два золота в чеканке. Все равно оно пошло ко дну. Теперь он гордится тем, что устоял перед соблазном. Я и сказал ему: "Не велика заслуга не стать вором". Он повертел головой и промолчал.

- В общем, покусываешь его за ляжки?

- Пусть не говорит глупостей.

- Какие еще новости у вас?

- Никаких. Жду дня, когда все в этой жизни для меня станет ясно.

- То есть?

- Ну, например, я хочу получить ответ: зачем эти ночные бдения? Кто заинтересован в превращении ночи в день и наоборот? Сегодня Безродный заявил: "Чем больше спим мы, тем больше бодрствует враг. Поэтому надо спать еще меньше. Ему кажется, что вокруг одни враги, что их можно черпать ковшом... Сумасшествие...

- На свете еще много непонятного, - философски заметил я, встал, пожелал Дим-Димычу приятных сновидений и отправился восвояси.

Да... Люблю я Димку. Хочется рассказать о нем побольше. Но разве за один раз все изложишь? Сколько бы я ни писал, все равно будет мало. Таков уж Дим-Димыч.

Встретился и познакомился я с ним осенью двадцать четвертого года на Северном Кавказе, в Чечено-Ингушетии, после операции по разгрому крупной политической банды. Дим-Димычу тогда едва сравнялось восемнадцать лет. Но его уже звали чекистом. И заслуженно звали. Он имел награду - пистолет "маузер". В ЧК он пришел по комсомольской путевке со второго курса института. Дим-Димыч и сейчас еще человек молодой, но чекист он старый. И при этом - потомственный. Его дед, которому сейчас было бы шестьдесят восемь лет, начал свою работу при Советской власти с заместителя председателя ЧК на Тамбовщине. За три месяца до нашего знакомства с Дим-Димычем деда сожгли бандиты в стоге сена. Отец Дим-Димыча, до революции моряк, работал в Воронежской губчека и трагически погиб при крушении поезда. Мать Дим-Димыча служила в ЧК машинисткой и умерла в двадцатом году от тифа. Старший брат Дим-Димыча, в прошлом чекист, сейчас работает районным прокурором на Смоленщине. Получается, что работе в ЧК посвятили свою жизнь три поколения Брагиных. Такое редко встретишь. Я, например, еще не встречал.

С первого же дня я проникся к Дим-Димычу глубокой симпатией. Было в нем что-то боевое, юношески задорное, горячее и в то же время уже обдуманное, взвешенное и раз навсегда решенное. Он нашел себя, знал куда идет, куда стремится, знал, что ему надо делать, чего от него требует Родина.

Дружбу нашу скрепил эпизод, в котором Дим-Димыч показал себя настоящим чекистом.

На меня возложили конвоирование двенадцати бандитских вожаков. Взяли их после упорного боя, потеряв троих наших товарищей. Арестованных надо было живьем доставить из Грозного в Ростов-на-Дону. Дим-Димыча и трех бойцов из дивизиона войск ОГПУ нарядили мне в помощь. Нам предоставили обычный пассажирский вагон. Прицепили его к нефтеналивному составу, и поезд тронулся. Нас было пятеро, бандитов - двенадцать. О сне и отдыхе нечего было и помышлять. На полпути, между Минеральными Водами и Курсавкой, произошло ЧП. И произошло следующим образом. Провожая арестованного в туалетную комнату, один из бойцов развязывал ему руки и, впустив арестованного в кабину, сам оставался в коридоре. Носу он ставил между порогом и дверью, чтобы сохранить щель. Время было позднее - часа четыре ночи. Боец Жиленков, помню, как сейчас, мой тезка, повел в туалет самого свирепого по виду бандюгу лет под сорок, невысокого, но крепкого, толстомордого, в огромнейшей, похожей на барана, папахе. В таких случаях Дим-Димыч направлялся в задний по ходу тамбур, а я - в передний, рядом с туалетной. Так мы поступили и в этот раз. Я стоял, дымил махорочной самокруткой и ждал, когда арестованный справит свои надобности. И тут я услышал звон разбитого стекла. Открыв дверь, я шагнул в коридор

и обмер: на полу в неестественной позе, как-то изгнувшись и подобрав под себя руки, лежал неподвижно Жиленков. Винтовки возле него не было. Я дернул дверь туалетной, но она оказалась закрытой изнутри. Я даже не сообразил сразу, что произошло, да и некогда было соображать. Надо было действовать, и действовать, не теряя ни минуты. Я бросился в вагон. Позже выяснилось, что бандит обдумал план побега заранее и все учел. Когда Жиленков поставил ногу, он с силой захлопнул дверь. Страшный удар тяжелой железной двери пришелся по ступне Жиленкова и переломал кости. Жиленков даже не вскрикнул. Он мгновенно потерял сознание и упал. Бандит схватил винтовку, запер дверь изнутри, выдавил плечом оконное стекло - и был таков.

Я рванул на себя ручку стоп-крана, но он не сработал. Оставалось одно остановить поезд с помощью кондуктора, который вместе с Дим-Димычем находился в заднем тамбуре.

Бандиты уже догадались о случившемся, поднялись со своих мест и глухо переговаривались.

- Ложись! - отдал я команду, и ее тотчас же исполнили. - Кто поднимется, стрелять без предупреждения! - приказал я бойцам и помчался в тамбур.

Дим-Димыч и старик кондуктор с колючими тараканьими усами о чем-то мирно беседовали.

Я довольно сбивчиво и не особенно коротко рассказал о происшествии.

Дим-Димыч запрыгал на месте.

Не в меру флегматичный кондуктор вытащил из брючного кармана огромные "Павел Буре", посмотрел на них, потом выглянул за дверь в темень и преспокойно изрек:

- Не стоит!.. Куда он денется? Минуты через три-четыре Курсавка будет, а там - воду набирать. А за три минуты разве такую махину остановишь?

Он был прав, но Дим-Димыч возразил:

- Уйдет! Нельзя ждать!

И не успел я опомниться, как он спустился на нижнюю ступеньку вагона и исчез в темноте ночи.

- Сумасшедший, - произнес я. - Шею сломает!

- Они все такие, молодые, - добавил кондуктор и смерил меня критическим взглядом.

Действительно, минуты через четыре-пять наш состав влетел на станцию Курсавка и остановился. Я быстро отыскал представителя транспортного отдела ОГПУ, распорядился отцепить вагон с арестованными, взять его под охрану, а сам раздобыл ручную дрезину, усадил в нее трех молодых хлопцев-железнодорожников и помчался на помощь Дим-Димычу.

Мы скоро нашли место, где спрыгнул Дим-Димыч, где спрыгнул бандит. Обшарили длиннейший участок пути. Я кричал, звал, и мне помогали ребята. Я стрелял из пистолета в воздух, но безрезультатно: Дим-Димыч не отзывался. Он точно сквозь землю провалился.

"Что-то стряслось... что-то стряслось, - с тревогой думал я. - Как бы не наткнулся Димка на бандитскую нулю".

Поиски наши затянулись до рассвета, я уже окончательно пал духом, как вдруг увидел на горизонте, на фоне светлеющего неба, две приближающиеся точки. Между ними сохранялась небольшая дистанция. Я бросился навстречу, за мной последовали мои ночные спутники. Да, это был Дим-Димыч. Он конвоировал обезоруженного бандита. Тот, израсходовав в горячке всю обойму патронов, вынужден был вторично за последние сутки сдать.

Я и Дим-Димыч побродили по городу, побывали в цирке, покатались на моторной лодке по Дону, познакомились с чудесными донскими девчатами, а потом расстались. Я поехал в Краснодар, а Дим-Димыч к себе в Донбасс.

Встретились мы три года спустя в Москве, на учебе в ВПШ. Тут же познакомились и подружились с Безродным. Он приехал с Украины. По окончании школы, не без наших общих стараний, мы втроем попали в город, где работаем и сейчас.

Довелось нам не однажды за эти годы побывать и на Украине, и в Сибири, и в Ставрополье - где по одному, где вдвоем, а где и всем вместе, но это были командировки. Специальные командировки.

Теперь опять о Дим-Димыче.

По внешнему виду он человек ничем особенно не примечательный. Таких можно встретить часто. В детстве сверстники звали его цыганом. У него большие, выразительные агатово-черные глаза. Иногда они подернуты какой-то грустью. И волосы черные. Черные, густые, пушистые и всегда небрежно причесанные. На открытом, одухотворенном лице его из-под смуглой кожи проступают бугорочки костей. Дим-Димыч худощав, невысок и чуточку сутуловат. Но это почти незаметно. Он отличный физкультурник. Особенно он любит коньки, лыжи и футбол.

Дим-Димыч - веселый, беспокойный и уж очень кипяточной какой-то. Внутри его заложен взрывной заряд мгновенного действия. Заряд этот может сработать в любую минуту. И вот что странно: одаренный повышенной чувствительностью, Дим-Димыч, когда это нужно, проявляет колоссальную выдержку. Он бывает иногда не прав, но при этом всегда искренен...

На сегодня, кажется, довольно. Пятый час. Пора спать.

29 декабря 1938 г.

(четверг)

Итак, опять о Дим-Димыче.

Я сказал, что, бывая даже не прав, он остается искренним в своей неправоте. И это подкупает в нем. Его взгляды покоятся на твердых убеждениях. Если возникают какие-либо сомнения, он не может таить их в себе, делится ими с товарищами по работе. А на это нужна известная смелость, на которую способен не каждый. В принципиальных вопросах Дим-Димыч непримирим. Его можно сломать, изуродовать, но нельзя согнуть. Он не гнется. Он не из такого металла. Дим-Димыч не терпит лжи, лицемерия, ханжества, бахвальства и способен сказать человеку в глаза то, что о нем думает. Он любит подшучивать над приятелями, над начальством, но легко переносит, когда подшучивают и над ним.

Дим-Димыч решителен во всем, что касается работы, и потрясающе беспомощен в житейских делах. То, что для меня, Геннадия, любого другого является сущим пустяком, для Дим-Димыча представляет проблему.

Работник он честный, с большой инициативой, с творческим огоньком. Работает самоотверженно, с фанатической добросовестностью, не разделяя дел на малые и большие, вкладывая в каждое из них свою глубокую убежденность, весь жар души, всю страсть. Руководство управления знает, ценит Дим-Димыча, но не любит за острый язык.

Он всегда остается самим собой, никому не подражает, ни под кого не подделывается и не подстраивается. Он одинаков со старшими и с равными, на работе и вне службы, на партийном собрании и оперативном совещании.

Сегодня в полдень я и Дим-Димыч встретились в буфете за завтраком. Дим-Димыч поведал мне интересную подробность. Оказывается, жена Безродного Оксана поскандалила с мужем из-за того, что он не захотел идти на день рождения Дим-Димыча и ее не пустил.

- Это Оксана сказала тебе? - спросил я.

- Нет.

- А кто?

- Варя.

Я кивнул. Варя - техник нашего коммутатора и предмет обожания Дим-Димыча.

- А как твои дела с Оксаной? - любопытно спросил я.

- Дел, собственно, никаких нет. Я стараюсь избегать встреч с нею.

Дело в том, что жена Безродного Оксана, двадцатипятилетняя женщина, симпатизирует Дим-Димычу. Это известно многим, в том числе и Геннадию. Но Дим-Димыч сторонится Оксаны. Он побаивается женщин, идущих в атаку. Пусть это будет даже не прямая, лобовая атака, пусть эхо будет лишь намек взглядом, жестом. Все равно.

- Она не вызывает у меня сердцебиения, - добавил Дим-Димыч, помешивая ложечкой чай в стакане.

- Удивительно, - бросил я.

- А я не вижу ничего удивительного, - сказал Дим-Димыч. - Жену, как Оксана, найти - пара пустяков. А найти друга, верного, любящего, у которого не будет от тебя никаких тайн, принимающего тебя таким, какой ты есть, понимающего тебя с полуслова, - такого друга найти нелегко. На мой взгляд, подлинные друзья у нас муж и жена Курниковы. Этой паре можно позавидовать. Такое счастье надо искать. А ведь живут они вместе лет двадцать.

- Хм. А что ты скажешь обо мне и Лидии?

- Хочешь знать?

- Конечно.

- Ты любишь Лидию. И любишь прочно. Ты однолюб. Лидия тоже любит тебя, но уж не так. Я слушал друга, и в груди у меня, под сердцем, что-то засосало. Дыхание стало вдруг тяжеловатым. Мне страшно хотелось узнать мнение Дим-Димыча, и в то же время я страшно боялся услышать его.

- Почему ты так думаешь? - стараясь казаться безразличным, спросил я и вяло улыбнулся.

- Мне так кажется. Я знаю тебя, знаю и ее. Она любит, когда за нею ухаживают, это льстит ее самолюбию, она любит пофлиртовать, а, как тебе известно, с флирта все и начинается. Дим-Димыч был прав. Он знал, оказывается, Лидию не хуже меня. Я помню, как Лидия говорила мне: "Какой женщине не нравится, когда за нею ухаживают? Любая женщина не прочь пофлиртовать!" Пофлиртовать... Но флирт бывает разный!

- Вот видишь! - Дим-Димыч обаятельно улыбнулся, как мог улыбаться только он один. - Ты уж и призадумался. Что ж, это не вредно. Ответь мне: ты бываешь спокоен, когда Лидия едет на курорт?

- Как тебе сказать... - замялся я, не решаясь сказать правду.

- Нет, ты не бываешь спокоен. В этом я могу уверить тебя. А почему? Потому, что не веришь ей. Какие у тебя для этого основания - мне неизвестно. На это факт. А вот Лидия за тебя спокойна. Она сама говорила это не раз мне, Геннадии, Оксане. И еще могу добавить: если тебе понравится кто-либо, ты скажешь об этом Лидии. И Курников скажет своей жене. И жена Курникова скажет мужу. А Лидия - не знаю.

- Да. - только и смог я выговорить.

- Вероятнее всего, не скажет, - подтвердил Дим-Димыч. - Она дорожит тобой. Ты нужен ей. Она видит и знает тебя насквозь. Знает, что такого мужа, как ты, найти не просто.

- И в то же время...

- И в то же время она не прочь развлечься на стороне.

Да... Такие смелые суждения можно было принять без обиды только от подлинного друга.

- А не кажется ли тебе, - сказал я, - что между Оксаной Безродной и твоей Варей много сходства?

- Неудачное сравнение, - возразил Дим-Димыч. - Все равно что луна и солнце. Первая только светит, а вторая светит и греет. Слов нет, Оксана женственна, красива. И при всем том особа она плотоядная. Я чувствую это на расстоянии.

- Она умна, - заметил я.

- А что мне ее ум! Мне дороги у женщины сердце, душа. Да и что значит умна? Это спорный вопрос. Нет-нет... Между нею и Варей очень мало сходства. Разве что внешне.

- А что ты скажешь... - начал было я, но в буфет вошел мой начальник Курников. Он подсел к нашему столику, и интимная беседа прервалась...

Сейчас я пишу и думаю, что дал неполную характеристику Дим-Димычу.

30 декабря 1938 г.
(пятница)

Сегодня в начале вечерних занятий мне позвонил Курников и приказал:

- Сходите к Безродному и возьмите у него материалы следствия на арестованного Чеботаревского.

- Он в курсе?

- Да. Есть распоряжение начальника управления. Дело примите к своему производству.

- Есть, - ответил я и отправился выполнять приказ.

Я слышал о Чеботаревском со слов Дим-Димыча. Дело находилось в его отделении. Но оно, как я понял друга, и к нам имело такое же отношение, как к отделу Безродного.

Чеботаревский Кирилл, двадцати двух лет, цыган по национальности, конюх по профессии, был арестован по подозрению в шпионаже в пользу румынской разведки. До революции семья Чеботаревского жила в Бессарабии, а потом отец с двумя сыновьями остались в городе Сороках, а мать и дочь переехали на другую сторону, в деревушку против города Сороки. Между семьей лег Днестр. Кирилл Чеботаревский тянулся к матери. Не один раз он перекликался через реку с сестрой и наконец не выдержал и однажды ночью переплыл Днестр. Тогда Кириллу было пятнадцать лет, и звали его все Кирюхой.

Выбравшись незамеченным из пограничной зоны, Кирюха проследовал в Тирасполь, явился в ОГПУ и рассказал о нарушении границы. Подростка-цыгана не арестовали, не судили, отпустили к матери и лишь запретили выезжать в места жительства. Пять лет спустя семья перебралась в нашу область. Кирюха не кочевал с таборами ни одного дня. Получив в наследство от отца неистребимую любовь к лошадям, он со всей цыганской страстью отдался профессии конюха. Работал в колхозе под Тирасполем, числился в ударниках, красовался на Доске почета, окончил школу для взрослых. Когда же сестра его вышла замуж за тракториста и поехала с мужем в совхоз, мать и Кирюха отправились за ними.

Прошло около двух лет. Кирюха стал комсомольцем. В ноябре этого года его, как выразился Безродный, "загребли".

Сверхбдительный начальник районного отделения ОГПУ сумел доказать такому же, видно, как и он, прокурору, что Кирюха Чеботаревский - пришелец с чужой стороны и, следовательно, шпион.

Душа Кирюхи протестовала... Он плакал, бил себя в грудь, рвал волосы, клялся, молил, ругался, но ничто не помогало. Его отправили для решения судьбы в область.

Вот это-то дело и поступало теперь ко мне по указанию начальника управления.

Безродный был у себя. Получив разрешение, я вошел в кабинет.

- Садитесь, товарищ Трапезников, - пригласил он в этом "садитесь" как бы напомнил, какая дистанция разделяет нас. - Чем могу служить?

Я объяснил.

- Да-да... - кивнул Геннадий. - Дело чистое, и очень жаль, что мы не успели довести его до конца, Почему ваш Курников берет его с неохотой - не знаю.

Я пожал плечами. То обстоятельство, что Курников берет дело с неохотой, было для меня новостью.

Геннадий между тем снял трубку.

- Брагина мне!.. Товарищ Брагин? Это Безродный... Зайдите с делом Чеботаревского. Что? Хорошо, зайдите вдвоем.

Я понял, что Дим-Димыч счел нужным явиться вместе с работником, за которым числилось дело.

Через минуту вошли Дим-Димыч и помощник оперуполномоченного Селиваненко, молодой паренек, проработавший в нашей системе не более года. Его мобилизовали со школьной скамьи, из какого-то техникума. Это был розовощекий, еще не утративший гражданского облика, молодой, безусый паренек. Мне он был известен больше как активный участник клубной самодеятельности, нежели как оперработник.

- Вы вели дело? - спросил его Безродный.

- Так точно.

- Доложите его суть.

Селиваненко доложил. Выходило, что дело не стоит выеденного яйца. Я рассчитывал, что Геннадий, по новой привычке, устроит Селиваненко разнос, но этого не случилось. Возможно, помешал я. В нашей тройке я всегда занимал среднее положение, и со мной считались и Геннадий, и Дим-Димыч.

- Молодость, сударь мой, - проговорил Геннадий нравоучительно и в то же время с

сожалением, - большой недостаток.

- Главным образом для тех, у кого она позади, - не сдержался Дим-Димыч.

Селиваненко молчал. Геннадий прицелился в Дим-Димыча своими серыми прищуренными глазами и пренебрежительно скривил рот.

Я с любопытством ожидал, что ответит Геннадий, но он промолчал. Промолчал, но не пропустил мимо слова Дим-Димыча, нет! Они засели глубоко. На его рыхлом, тепличного цвета лице обозначилась какая-то злая, неумная жестокость.

Почему же я раньше, в течение десяти прошедших лет, не замечал ничего подобного? Неужели Дим-Димыч прав, что Геннадия как человека удалось узнать лишь теперь, когда он стал так нежданно-негаданно начальником одного из отделов управления?

Геннадий продолжал молчать. Прошла секунда,

две, пять, десять, пятнадцать. Молчание становилось просто невежливым. Он, как это бывало с ним часто, не находил ответа на реплики Дим-Димыча. В словесных поединках с ним Геннадий всегда оказывался побежденным.

Пауза затянулась. Геннадий сидел, я тоже, а Дим-Димыч и Селиваненко стояли. Первый - непринужденно, хотя и вполне прилично, а второй навытяжку.

Наконец Безродный сам нарушил молчание. Откинувшись на спинку кресла и, очевидно, решив, что лучше всего никак не реагировать на остроту, он улыбнулся по-старому, вздохнул и сказал:

- Да... Вот она, молодость... Молодо-зелено... А ведь надо учиться, дорогой мой друг. - Он обращался к Селиваненко. - Чтобы стать настоящим чекистом и разбираться без ошибок в человеческой душе, надо много учиться. Понимаете?

- Так точно! - заученно ответил Селиваненко.

- И вам все карты в руки, - продолжал Геннадий. - Для вас все условия. Было бы только желание. А вот старым чекистам, да вот хотя бы мне, ни условий, ни времени не было для ученья. А работали. Да как работали! Какие дела вершили! А какие чекисты были раньше, орлы!

- Раньше, видимо, не было и таких, как теперь, начальников, - пустил стрелу Дим-Димыч.

Я закусил губу.

- Это каких же? - переспросил Геннадий. - Никуда не годных, что ли?

- Этого я не сказал, - ответил Дим-Димыч. - Я сказал: таких, как теперь.

- Пожалуй, да. Таких не было. Мой первый начальник, к вашему сведению, товарищ Селиваненко, мог ставить на документах только свою подпись, а его резолюции мы писали под диктовку. Но мы учились у него работать, а он учился у нас.

- Последнее невредно и теперь, товарищ старший лейтенант, - заметил Дим-Димыч.

Геннадий неопределенно кивнул и продолжал, обращаясь к Селиваненко:

- Вы не раскусили Чеботаревского. Это не дела, а находка! Клад! И этот клад, благодаря вашей недальnozоркости, мы отдаем в другой отдел. Вас ожидала слава, хорошая слава, а вы предпочли конфуз.

- Слава, товарищ старший лейтенант, - вновь заговорил Дим-Димыч, товар невыгодный: стоит дорого, сохраняется плохо.

- Не особенно умно, товарищ Брагин, - огрызнулся Геннадий. - Скорее, даже глупо.

- Возможно, спорить не стану, - невозмутимо произнес Дим-Димыч? - Это не мои слова. Они принадлежат Бальзаку, которого, как мне помнится, никто еще не причислял к глупцам.

Безродный потискал рукой свой подбородок и, нахмурившись, сказал:

- Идите, товарищ Селиваненко! Дело оставьте - и идите!

Селиваненко повернулся через левое плечо и вышел.

Геннадий встал из-за стола, прошел до закрытой двери, нажал на нее ладонью, хотя нужды в этом никакой не было, и, обернувшись к Дим-Димычу, обратился неожиданно на "ты":

- Я никогда не говорил тебе, Брагин, хотя давно собирался сказать, что думать надо головой.

- А ты разве пытался думать другим местом? - съязвил Дим-Димыч.

- А голова у тебя не всегда хорошо варит. И я ею не особенно доволен. На данном отрезке

времени особенно.

Дим-Димыч метнул в меня насмешливый взгляд и ответил:

- Не стану уверять, что моя голова украшает меня, но я ею доволен. Понимаешь - доволен. Я привык к ней.

- Товарищи! Я пришел к вам не затем, чтобы слушать вашу перебранку, запротестовал я, - у меня дел уйма.

- Тоже верно, - снисходительно согласился Геннадий. - Дело, я считаю, еще не провалено. Оно не дотянуто. Виновный еще заговорит...

- Виновный или обвиняемый? Это еще не одно и то же, - попытался уточнить я.

- И будет ошибкой, если мы его освободим, - закончил Безродный.

- Никакой ошибки не будет, Геннадий... - горячо возразил Дим-Димыч и добавил, явно против своего желая: - Васильевич... Чеботаревский чист, как агнец. Он вполне наш, советский человек. Ему было пятнадцать лет...

- Ого! - воскликнул Безродный и поднял палец. - Пятнадцать лет! Хорошенькое дело! Если он смог переплыть Днестр, почему он не смог дать подписку? Почему он не мог явиться по заданию? Что вы хотите из меня сделать? Я вас спрашиваю, товарищ Брагин. Хотите сделать из меня великого гуманиста? Ромен Роллана? Я для этого не гожусь. Могу вас заверить, что осудят его...

- Никто его не осудит, и, освободив его, мы никакой ошибки не сделаем. Надо не передавать, а прекратить дело. Даже Екатерина Вторая, которую история тоже не считает гуманисткой, сказала как-то золотые слова: лучше десятерых виновных простить, чем одного невинного казнить.

- Речь идет не о казни. Не говорите глупости! Пусть ваш Чеботаревский посидит за решеткой. Это полезно, - проговорил Геннадий.

- Сомневаюсь, - заметил я.

- Откуда вам известно, что это полезно? - спросил Дим-Димыч. - Я не уверен. По-моему, ничто так не изменяет взгляд на жизнь, как тюремная решетка.

- Язык у вас отлично подвешен, - уже раздражаясь, проговорил Безродный. - Но ваши экскурсии в прошлое и ссылки на Бальзака и Екатерину явно не к месту.

- А ваши на Ромен Роллана - тем более, - отпарировал Дим-Димыч.

- Короче! - потребовал Геннадий. - Что вы хотите сказать?

Дим-Димыч развернул папку и сказал:

- Дело прекратить и передать не в отдел Курникова, а в архив. Селиваненко вынес постановление, я подписал, вам остается поставить свою подпись и доложить начальнику управления.

- Все! Разговор исчерпан, - подвел итог Безродный. - Подписывать я не стану. И докладывать тоже. Берите дело, товарищ Трапезников. Я уверен, что вы сделаете из него конфетку. Чеботаревский - враг. Потенциальный враг, Я в этом убежден.

Разговор был окончен. Уступая дорогу Дим-Димычу, я покинул кабинет Безродного.

Когда мы вышли, Дим-Димыч сделал перед закрытой дверью не совсем почтительный жест и, обняв меня, сказал:

- Поверь мне, он кончит плохо. Он вызывает во мне холодное бешенство, и сейчас же, что было ему свойственно, заговорил как ни в чем не бывало о другом: - А как с Новым годом?

- Собираемся у Курникова. Уже решено. Ты, конечно, придешь с Варенькой?

- Несомненно. О, Андрюха! Ты еще не знаешь, что это за женщина! Восьмое чудо света. А Геннадий - дрянь. Если у него раньше и были какие-то, порывы к чему-то хорошему, то теперь они зачахли на корню. Погибли. Навсегда. Это я понял с неотвратимой ясностью. Пока, Андрюха!..

- Иди и не наступай на ноги начальству, - пошутил я.

30 декабря 1938 г.

(пятница)

Канун Нового года.

Я только что пришел домой, пообедал, решил заснуть перед вечерними занятиями, но из этого ничего не получилось.

Лежать с открытыми глазами не хотелось, я встал, сел за стол и начал писать.

В окно смотрят ранние зимние сумерки. На улице уже зажгли фонари. Хорошо бы прогуляться по морозцу, но хочется писать. Да и другого времени, кроме обеденного перерыва и глубокой ночи, у меня нет. Буду писать.

Первая половина сегодняшнего дня принесла мне большое моральное удовлетворение. Получив вчера "дело" гіб обвинению Кирилла Чеботаревского, я внимательно ознакомился с ним, а сегодня утром доложил начальнику отдела Курникову. Мой доклад был, очевидно, настолько ясен, что Курников отступил от своего правила: не стал сам просматривать дело, а взял ручку и на постановлении - там, где было отведено место для подписи Безродного, поставил свою фамилию.

Через полчаса, не более, он вернул мне дело с визой начальника управления.

Отложив текущую работу в сторону, я зарегистрировал постановление, заверил копии, направил их куда следует, позвонил коменданту и попросил доставить ко мне арестованного. Чеботаревский был не парень, а паренек - маленького роста, узкий в плечах, худощавый, - и я бы ни за что на свете не дал ему двадцати двух лет, которые значились в анкете. Самое большее - восемнадцать-девятнадцать. Вид у него был настороженный, запуганный, как у загнанного зверька. Он остановился посреди комнаты, вытянул руки по швам и выжидательно посмотрел на меня. Я понимал его состояние: до сих пор его вызывали и допрашивали Селиваненко, Брагин, к которым он уже привык, а тут вдруг привели к совершенно новому человеку. В чем дело? Почему? Что его ожидает?

Я предложил Чеботаревскому сесть у самого стола и подал постановление о прекращении уголовного преследования и освобождении из-под стражи.

Он сдержанно вздохнул, не предвидя, конечно, что таит в себе лист бумаги, и стал внимательно читать.

Потом уронил руки на стол, ткнулся в них головой и разрыдался, содрогаясь всем телом.

В горле у меня защекоталось.

- Ну вот!.. Зачем же плакать? Все хорошо...

Кирюха поднял голову. В глазах его была радость, которую он не мог сдержать, растерянность и слезы. Слезы - крупные, как у обиженного ребенка, - катились по смуглым щекам.

- Это правда? - не веря еще, спросил он.

- Правда, - ответил я.

- И я могу называть вас уже не гражданин, а товарищ начальник?

- Можешь.

- Спасибо, товарищ начальник. Значит, я свободен?

- Свободен.

А слезы по-прежнему сыпались из его огромных черных глаз и падали на постановление, лежавшее перед ним.

- Ты же размочишь мне официальный документ, - пошутил я. - Придется перепечатывать заново.

Кирюха улыбнулся:

- Простите, товарищ начальник. Это я с радости.

- Подпиши постановление.

Чеботаревский размашисто вывел свою длинную фамилию и, подавая мне лист бумаги, сказал не без гордости:

- Подпись у меня только на червонцах ставить. - Он уже оправился от свалившегося на него неожиданно счастья.

- Хорошая подпись. Четкая, ясная, крупная. - одобрил я.

Затем я вручил Чеботаревскому паспорт и другие документы, изъятые у него при аресте, и

позвал конвоира.

- Дело на товарища Чеботаревского прекращено, и из-под стражи он освобождается. Проводите его к коменданту. Тот в курсе дела.

Я подал руку Кириллу и пожелал счастливо встретить Новый год.

Он долго тискал мою руку своими двумя, а потом, вдруг вспомнив что-то, спросил:

- Можно, товарищ начальник, еще раз поглядеть на бумагу?

Я улыбнулся и подал постановление.

Конвоир покрутил головой и тоже улыбнулся. Глаза его как бы говорили: "Не верит. Хочет еще раз убедиться".

Я тоже так подумал. Но и конвоир, и я ошиблись. Чеботаревский быстро пробежал глазами текст, нашел, видно, нужное ему место и вернул мне постановление.

- Вы, значит, товарищ начальник, и есть

Безродный?

"Этого только не хватало", - подумал я и ответил отрицательно.

- А можно узнать, как ваша фамилия?

Я назвал.

- Ага. - закивал Чеботаревский. - Значит, Трапезников, Селиваненко и Брагин. Ну что ж... Вас троих я по гроб жизни не забуду. За правду. А если будут у меня дети и внуки, то и они не забудут.

Сказал он это не театрально, не торжественно, а очень даже просто, почти застенчиво, опустив глаза.

Когда Чеботаревский ушел, я позвонил Дим-Димычу и рассказал обо всем.

- Значит, он принял тебя за Безродного?

- Ну да... На постановлении же была его подпись.

- Сейчас я к тебе поднимусь, - сказал Дим-Димыч и положил трубку.

"Знал бы бедняга Кирюха, - подумал я, - что о нем говорил Безродный, так тоже не забыл бы его по гроб жизни".

Дим-Димыч влетел в кабинет:

- Знаешь что? У меня мысль. Позвони Безродному в скажи так: многоуважаемый Геннадий Васильевич, мой начальник Курников придерживается вашего мнения, а я считаю своей ошибкой, что усомнился в виновности Чеботаревского... Нет, к черту! Не пойдет! Скажи лучше так: Чеботаревский только что признался, что переброшен румынской разведкой с бактериями летучего сана, который он готовился распространять с будущего года. Так лучше. Геннадий взовьется к потолку, как змий.

- Нет, друже, не провоцируй меня. Я не мастер на розыгрыши и покупки. Да и зачем портить человеку кровь?

- Был бы еще человек стоящий, - разочарованно протянул Дим-Димыч и махнул рукой.

- Я скажу по-своему.

- Как по своему? - заинтересовался Дим-Димыч.

Я снял трубку телефона, попросил соединить меня с Безродным и коротко сказал, что Чеботаревский освобожден.

- Головоотяпство! - крикнул Геннадий. - Кого выпустили? Чистейшей воды шпион...

- Насчет головоотяпства, - ответил я, - можете пожаловаться начальнику управления, который утвердил постановление.

Безродный произнес что-то нечленораздельное и хлопнул трубкой.

- Тоже неплохо, - заметил Дим-Димыч.

Так закончилось дело по обвинению Кириллы Чеботаревского...

А сейчас я подумал вот о чем: пишу о других - кого осуждаю, кого хвалю, а кто таков я? В самом деле: кто же я? Придется, видимо, сказать несколько слов о себе.

Поговорка гласит: ответь, кто твой друг, и я скажу, кто ты.

Мой лучший друг - Дим-Димыч. Но с чего же начинать рассказ о себе? Все-таки попробую.

Меня зовут Андреем Михайловичем Трапезниковым. В детстве у меня не было особых

радостей. Жизнь смотрела на меня исподлобья. Я могу составить длиннющий список обид на жизнь хотя бы за то, что она была мачехой моему отцу: он до революции отбыл шесть лет каторги за принадлежность к РСДРП; получил туберкулез и угас совсем молодым; за то, что она круто обходилась с матерью, которая всю жизнь проработала медсестрой, заразилась от больных брюшным тифом и умерла; за то, что она досрочно отозвала с этого света моего брата и сестру; за то, что она заставила меня с семи лет задуматься над тем, что такое хлеб насущный и как он добывается; за то, наконец, что она не наделила меня особыми талантами, а сделала обычным средним человеком. Да и мало ли еще за что! Но я не буду составлять список обид. Я не клязник. Я не злопамятен. Я помню лишь те обиды, которые надо помнить, и забываю те, которые надо забыть.

Чекист я, конечно, не выдающийся, но я способен работать без устали, точно хорошо отрегулированный я смазанный мотор, но выше занимаемой должности, в которой сижу уже четыре года, никак подняться не могу, хотя и стараюсь.

У меня как будто нет особых пороков, дурных привычек. Я не пьяница и не обжора. Я не люблю карты и презираю азартные игры, кроме бильярда. В детстве я любил лото и считал его умнейшей игрой в мире. Со временем пересмотрел свой взгляд на лото и решил, что немного переоценил его значение. Я не бросаю на пол окурков. Умею пользоваться носовым платком. Не грызу ногтей. Кашляю в кулак. Женщин пропускаю всегда вперед. Кроме жены... Жена не в счет, она свой человек. Люблю ребятишек, животных, птиц, особенно лошадей и голубей. Я однолюб. Так по крайней мере утверждает Дим-Димыч. Возможно. До тридцать четвертого года я жил холостяком. Потом я сказал твердо: "Надо жениться" - и сразу почувствовал себя значительно лучше. Я женился на Лидии, которую знал до женитьбы три года. Я люблю ее и не изменю ей никогда. И не изменял.

Если я скажу, что я храбрец, это будет неправдой. Природа наградила меня храбростью лишь в той необходимой дозе, без которой мужчине, да еще чекисту, просто никак нельзя обойтись. В храбрцах я не числюсь, но и в трусах не хожу. Трусам в наших органах делать нечего. Короче говоря, я не смелее других.

А вот если я скажу, что человек я обстрелянный, то тут я не погрешу против истины. В меня стреляли не один раз. Стреляли издали, стреляли в упор. Не скажу, что это очень приятно. Больше, правда, промахивались, но дважды пришлось в аккурат. Одна вражья пуля, извлеченная хирургом из-под моего ребра, и сейчас хранится у меня в столе, а другая прошла насквозь бедро.

Я тоже стрелял, когда этого требовало дело.

Мне думается, что охарактеризовать себя полнее и глубже можно, когда помотришь со стороны или сравнишь с кем-либо другим. Предпочитаю последнее. Сопоставлю себя с Дим-Димычем.

Взглядами мы не расходимся, а характерами - да, расходимся. У меня не всегда хватает мужества сказать то, что думаю, в чем уверен, а Дим-Димыч дело другое. Он может.

Он умеет выступать с горячими речами, с докладами, лекциями. Я - нет, Дим-Димыч успокаивает меня и говорит, что это еще не беда, а полбеда. Беда, когда нет мыслей, а у меня они, по его мнению, есть.

Дим-Димыч относится к числу людей, которых слушают внимательно даже тогда, когда они говорят сущие пустяки. Он умеет говорить веско, убедительно. Он подкрепляет слова удачными жестами. А меня в лучшем случае перебивают, в худшем - не слушают. Это очень обидно.

У меня не такой подвижный ум, как у Дим-Димыча. Он может острить, и довольно метко, а главное - вовремя. У меня ничего не получается. Умное, нужное слово, острая фраза приходят с опозданием, когда в них уже нет нужды.

Я могу более или менее терпеливо выдерживать несправедливые наскоки и выходки какого-нибудь ретивого начальника, а Дим-Димыч не таков. Он не даст спуска самому наркомму. Мне Дим-Димыч говорит: "Ты, Андрюха, терпелив, как бог", - и я не знаю, хорошо это или плохо.

Дим-Димыч равнодушен к деньгам. Он мирится как с их наличием, так и с их отсутствием, а мне очень приятно, когда на моей сберкнижке значится небольшая сумма, которую я именую "подкожным фондом".

Я люблю уют и красивые вещи. Я не утопаю в роскоши, но у меня есть хороший ковер, венская качалка, японские безделушки из кости. Бронзу я тоже люблю. Мне приятно сидеть в старинной качалке, в теплом халате, с ароматной папиросой в руке, а в комнате мягкий полумрак, из радиоприемника льются какие-то приятные мелодии. Дим-Димыч против роскошеств. Он ведет спартанский образ жизни. Мне он говорит: "Внутри тебя, Андрейка, сидит страшный сибарит. Ты этого даже не чувствуешь". Ну и пусть себе сидит. Это же не микроб?

Я не всегда бываю внимателен к жене, сыну, теще. Жена и Дим-Димыч упрекают меня за это. Я отвечаю, как философ: "Невнимание часто является формой вежливости".

Вот все, что я могу сказать о себе. Каждый человек стремится оставить по себе какой-то след на земле, стремлюсь и я. Завтра встреча Нового года. В исключение от правила нам разрешают закончить рабочий день в одиннадцать часов ночи. Вполне достаточно, чтобы добежать до дому и переодеться.

3 января 1939 г.
(вторник)

Прошло три дня Нового года. Только сегодня я смог сесть за дневник. Какие события, заслуживающие моего внимания, произошли за эти несколько дней?

Я уже обмолвился как-то, что Новый год решили Встречать в доме моего начальника Курникова. Вечер провели мило, весело. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о встрече Нового года.

Первого января состоялся традиционный новогодний вечер в клубе. Торжественной части не было. Начали с выступлений нашей самодеятельности, потом артисты местной филармонии дали приличный концерт, а после него устроили танцы, продолжавшиеся до трех часов ночи. Когда шел концерт, Оксана Безродная смотрела не на сцену, а на Дим-Димыча, который, конечно же, был со своим "восьмым чудом света" Варенькой. А когда начались танцы, Оксана стала предпринимать все усилия, дабы привлечь внимание Дим-Димыча. Она преследовала его повсюду, обстреливала улыбками, взглядами, заходила с тыла, с фронта, с флангов.

Дим-Димыч стойко выдерживал атаки и все внимание уделял "восьмому чуду света".

Но вот в перерыве Варенька что-то шепнула Дим-Димычу и исчезла. Я поманил Дим-Димыча к себе, и мы стали в уголке, у входа на сцену. Это была очень удобная позиция. Отсюда открывался вид на весь зал. Мы втихомолку закурили, пуская дым за кулисы.

Моя жена вместе с Оксаной все время прохаживались в фойе, а тут вдруг я увидел Оксану одну, в противоположном конце зала. Постояв несколько секунд в раздумье, она решительно стала пробиваться к нам сквозь толпу танцующих.

Оркестр играл танго.

- Держись, Дим-Димыч, - пошутил я. - Оксана идет в наступление.

- Я все вижу, - заметил он.

На Оксане было тяжелое бархатное платье с короткими рукавами. Надо признаться, оно хорошо подчеркивало красивые линии ее тела и оттеняло нежную бледность ее лица.

- Ты перестал меня замечать, - обратилась она к моему другу. - Чем это объяснить?

- Я не хочу, чтобы твой мавр выпустил в меня обойму патронов, улыбнувшись, ответил Дим-Димыч.

Оксана прищурила свои синие глаза, повела бровью и сказала:

- Ты не ахти какой храбрец.

- Храбрость здесь ни при чем. Я придерживаюсь здравого смысла.

- И что он тебе подсказывает?

- Опасаться ревнивых мужей, особенно тех, которые пишут на тебя аттестации...

- Отбросим на сегодня здравый смысл. Пойдем потанцуем. Тебе не стыдно, что приглашает дама?

- Очень, - ответил Дима. - Поэтому и не могу отказаться.

Оксана с загоревшимися глазами положила руку на плечо Дим-Димыча, и они не без усилий втиснулись в плотный строй танцующих.

Дим-Димыч танцевал, как никогда, напряженно, с каким-то упорством, будто исполнял тяжелую, но необходимую работу.

И вдруг сзади меня послышался возглас:

- Вот тебе и на! Отошла на минуту, а его уже украли.

Я оглянулся. Сзади стояло раздрумившееся "восьмое чудо света" Варенька.

- Ты это откуда?

- С коммутатора через сцену. Тут ближе.

- Ревнуешь?

- Нет! - решительно ответила она и тряхнула головой.

- Смотри, - продолжал я в шутовском тоне, - Оксана - соперница опасная.

- А это не от нее зависит, а от Димы. А в него я верю.

К Вареньке подскочил таким фертом Селиваненко, получивший на концерте наибольшее количество аплодисментов за художественное чтение, и пригласил ее на танго.

- Дуй, Варенька, - подбодрил я ее. - Димка в тебя тоже верит.

Я наблюдал за обеими парами. Что и говорить, Оксана красива, и все-таки между нею и Варей есть что-то общее. Они почти одинакового роста, обе статные, у обеих сильные, стройные ноги, чудесные руки, высокая грудь, пышные каштановые волосы. И на этом, кажется, сходство заканчивается. Черты лица и глаза разные. Тут прав Дим-Димыч. Оксана - воплощение холода, а Варенька - одухотворенная теплота.

Когда музыка смолкла, первой ко мне подошла Варенька, а за нею Дим-Димыч. Она сейчас же взяла его под руку и, заглянув в глаза, спросила:

- Ну как?

Дим-Димыч смешно дернул головой и лаконично ответил:

- Хищная особа.

Я поболтал с ними немного, а когда танцы возобновились, направился в бильярдную. Там было так накурено, что дым четко, видимо на глаз отделялся от чистого воздуха. За единственным не очень плохим столом с костяными шарами шла горячая битва "на вышибаловку". Я взял кий, вошел в игру и не посрамил чести отдела! Воспользовавшись тем, что Фомичев дважды выпустил "свой" шар за борт и дважды заплатил штраф, я "вышиб" его под дружные хлопки болельщиков.

Второго января наш отдел походил на бивак. По коридору сновали работники, хлопали ежеминутно двери, стучали машинки, составлялись справки, ведомости, списки. В должность начальника отдела вступал новый человек, некто Кочергин, приехавший из Белоруссии. Я его видел пока один раз на совещании и ничего о нем сказать не могу.

А вчера я проводил в командировку Дим-Димыча.

Было около восьми, а то и все восемь вечера, когда дежурная машина доставила нас на вокзал.

С неба сыпалась снежная мелочь и щекотала лицо.

Дим-Димыч взял меня под руку, и мы зашагали по безлюдном перрону.

Столбик ртути на большом градуснике, прибитом к стене вокзала, показывал около двенадцати градусов ниже нуля.

- Не успел проститься с Варей, - пожаловался Дим-Димыч. - Заглянул на коммутатор, а ее там нет...

- Беда небольшая, не на войну едешь.

- Так-то оно так, но порядок нужен во всем...

Он не договорил. Кто-то налетел на Диму сзади и едва не сбил с ног.

- Пришла-таки! - заметил я.

Варя скороговоркой объяснила, что вырвалась из коммутатора без ведома начальника телефонной станции, что в ее распоряжении считанные секунды, что ожидать поезда, а тем более отправления его она не может.

Дело ясно! С места в карьер они начали прощаться. Я, как человек деликатный по натуре, отошел в сторонку.

Прощание прошло в быстром темпе. Оно сопровождалось взглядами, вздохами, объятиями, жаркими поцелуями, но без слов. Да и к чему здесь слова!

Можно было подумать, что Дим-Димыч едет не на неделю, а на год и не в райцентр нашей области, а в экспедицию по открытию нового материка.

Когда удовлетворенное "восьмое чудо света" затопало своими валенками к выходной калитке, к платформе подошел поезд.

У вагона я сказал Дим-Димычу:

- Потешные люди вы, влюбленные.

- И ничего не потешные, - ответил он. - От Адама и Евы до наших дней все влюбленные одинаковы. А ты знаешь, по какому делу я еду?

- Понятия не имею.

- Любопытная история. Месяца два назад на одну из строек Сибири приехал член крайисполкома. Был митинг. На глазах у всех к члену исполкома подбежал какой-то тип и с ходу выпустил в него три патрона. Когда его пытались схватить, он хлопнул еще одного, двоих ранил, а последнюю пулю пустил себе в рот. И делу конец. Оpoznать убийцу-покойника никто не смог. Документов при нем не оказалось. Единственная улика - пистолет "парабеллум".

Мы прогуливались вдоль вагона.

- Так... - сказал я. - Нелепая история. Но это же в Сибири?

- Да, в Сибири. Но теперь выяснилось, что "парабеллум" принадлежал до ноября 1936 года работнику военкомата Свердловского района нашей области.

Я свистнул и спросил:

- Где же он, этот работник?

- Сидит в тюрьме.

- За что?

- На это я отвечу, когда вернусь. Пока неясно.

- Ну, желаю тебе успеха. Заходи... Уже два звонка.

Я усадил Дим-Димыча в плацкартный вагон и вернулся в город.

6 января 1939 г.

(пятница)

Сегодня новый начальник отдела Кочергин собрал к себе руководящий оперативный состав и слушал доклады о наиболее серьезных материалах, находящихся в производстве.

Пока впечатление о Кочергине складывается в его пользу. Дело он, видно, знает и имеет опыт. Держит себя просто, а спокойствием напоминает Курникова. Подчиненного выслушивает, считается с его мнением. Это отранно.

Например, выслушав начальника шестого отделения, Кочергин спросил:

- Как вы сами думаете?

Тот доложил.

- Вы убеждены, что это правильно?

- Да!

- Хорошо. Так и действуйте!

Конечно, не в меру "умный" товарищ, вроде Безродного, может сказать, что подмеченная мною деталь, по сути дела, мелочь, но, как известно, стиль работы и складывается из мелочей.

А с начальником первого отделения младшим лейтенантом Чередниченко произошел другой

разговор. Тот доложил о заявлении на одно лицо, недавно появившееся в нашем городе и сразу привлекшее к себе внимание соседа по квартире.

Кочергин поинтересовался:

- Почему вы не побеседовали до сих пор с автором заявления?

- Как вам сказать... - замялся Чередниченко, - я имел в виду сделать это, но бывший начальник отдела Курников посмотрел на мою инициативу неодобрительно.

- Откуда это видно? - спросил Кочергин.

- К сожалению, письменного распоряжения не было...

Кочергин пристально, даже очень пристально посмотрел на Чередниченко и недовольно произнес:

- Никогда не пытайтесь валить вину с себя на тех, кого нет и кто не может опровергнуть ваши слова. Это очень плохая привычка.

Меня никогда не радовали чужие неприятности, а вот, тут душа моя возликовала. Чередниченко, безусловно, врал. Курникову он не докладывал. И Кочергин понял это.

Уже в коридоре ко мне подошел Чередниченко и произнес с иронией:

- Новая метла по-новому метет.

- Дурак! - коротко бросил я.

- Что ты сказал? - покраснел Чередниченко.

- Если понравилось, могу повторить, - ответил я. - Но мне кажется, что ты расслышал.

Чередниченко чертыхнулся и пошел к себе.

Несколько слов о Безродном. У нас в управлении две группы по изучению иностранных языков. С начинающими занимаются два частных преподавателя, а с теми, кто совершенствует знания, Дим-Димыч. Он прекрасно владеет немецким языком. Да и не только немецким. Дим-Димыча можно считать полиглотом. Он отлично знает румынский, свободно объясняется и бегло читает по-французски, неплохо знает чешский и польский.

На сегодняшнее занятие Безродный не явился. Я, как староста группы и замещающий Дим-Димыча в его отсутствие, решил выяснить причину.

- Почему тебя не было сегодня, Геннадий? - спросил я.

- Дела, дорогой мой. Зашился окончательно.

- Работы у всех хватает. А запустишь - труднее будет.

- А я вообще думаю бросить...

- То есть как это?..

- Да так, не до языков сейчас, друг мой. Да и туговато он идет у меня.

Это была правда. Геннадий не проявлял способностей в изучении языка. Он плохо читал по-немецки, еще хуже писал, а говорить не мог. Он не успевал закреплять знания, терял их. Дим-Димыч до последнего времени прилагал прямо-таки героические усилия, чтобы держать Безродного хотя бы на одном уровне. Дим-Димыч и я, да и другие ребята регулярно читали немецкую литературу, ежедневно разговаривали по-немецки друг с другом, слушали немецкие радиопередачи, короче говоря, систематически тренировали язык, а Геннадий ограничивался лишь посещением занятий. И вот решил вообще бросить учебу.

Я не стал его переубеждать, лишь сказал, что останавливаться на полпути плохо. Он ничего не ответил, а когда я собрался покинуть его кабинет, неожиданно остановил меня:

- Минутку, товарищ Трапезников. Хотите работать в моем отделе?

- Это как понимать? - удивился я.

- А так: если согласитесь, я заберу вас к себе и дам второе отделение.

Слова "в моем", "заберу", "к себе", "дам" неприятно резанули слух.

Я ответил:

- Очень неумно заставлять барана выбирать себе мясника.

- Остричь пытаетесь? С Брагина пример берете? - усмехнулся Безродный.

12 января 1939 г.

(четверг)

Позавчера вернулся из командировки Дим-Димыч. Он приехал ночным поездом и тотчас же позвонил мне. В третьем часу ночи я зашел к нему на квартиру. Дим-Димыч лежал на диване с папиросой в зубах, закинув руки за голову, и глядел в потрескавшийся потолок.

- Как дела? - спросил я и подсел на край дивана.

- Разругался с начальством, - не меняя позы, ответил Дим-Димыч.

- Опять?

- Ну да...

- Когда же ты успел?

- Успел, сейчас же по приезде.

- А из-за чего?

- Все из-за этого работника военкомата. Представь себе такую историю... - Дим-Димыч соскочил с дивана и заходил по комнате. - Ночь. Идет поезд. В тамбуре вагона стоит человек и курит. Кто-то из проходящих бьет его чем-то увесистым по башке, человек теряет сознание и падает. Приходит в себя уже в железнодорожной больнице. У него проломлен череп и отсутствует пистолет. А деньги, воинское удостоверение и все прочее - в порядке. Год спустя из его пистолета в Сибири неизвестный убивает члена крайисполкома, потом еще одного, двоих ранит, а затем пускает себе пулю в рот. Проходит немного времени, органы выясняют, кому принадлежал пистолет, и вот Безродный дает указание о возбуждении уголовного дела против работника военкомата. Ему предъявляют обвинение не больше, не меньше, как в соучастии в совершении

террористического акта. Ясно?

- Боюсь, что да...

- Вот и все. С таким же успехом обвинение в соучастии можно пришить изобретателю пистолета. Я вынес постановление о прекращении уголовного преследования.

- Правильно поступил.

- А Геннадий другого мнения. Он встал на дыбы, назвал меня попиком, слюнтяем, упрекнул в том, что я умею только прекращать дела. Я, конечно, не смолчал... В общем, договорились до того, что он показал мне на дверь.

Дим-Димыч сел со мной рядом, закурил и спросил, имея в виду Кочергина:

- А как новенький?

- Пока ничего плохого сказать не могу.

- Ну и дай бог...

Поболтав еще с часок у Дим-Димыча, я ушел. Это было позавчера ночью. А сегодня утром по управлению прошла сногшибательная новость: Безродный ушел от жены и перебрался на квартиру коменданта управления - холостяка. Мне эту новость сообщил на ходу все тот же Чередниченко. Безродный ночью явился на квартиру Дим-Димыча и якобы застал там свою жену Оксану.

- Сам понимаешь, - с усмешкой добавил Чередниченко. - Брагин зазвал ее не в шахматы играть.

Встревоженный, я бросился искать Дим-Димыча. Он в это время сидел у заместителя начальника управления с делом на сотрудника Свердловского военкомата. Надо было ждать, а ждать не хотелось. И я направился к Варе Кожевниковой. Мне подумалось, что коль скоро об этом скандале знает все управление, то и она должна быть в курсе событий. Однако Вари не оказалось на месте: она поехала на городскую телефонную станцию.

В мою голову лезли самые несуразные мысли. У меня давно были опасения, что неприязнь Геннадия к Дим-Димычу объясняется не только их стычками по работе. Тут примешивалось что-то личное, а конкретно - симпатии Оксаны к Дим-Димычу. Но я знал, как смотрит на Оксану Дим-Димыч. Я исключал всякую возможность близкой связи между ними. Но почему Оксана оказалась на квартире у Брагина, да еще ночью? Как узнал об этом Геннадий? Что произошло там? На эти вопросы мог ответить мне только Дим-Димыч.

Примерно через полчаса меня вызвал к себе секретарь парткома Фомичев. Я забыл сказать ранее, а поэтому скажу теперь, что я член парткома. У Фомичева уже сидели Безродный,

Брагин, заместитель начальника управления по кадрам и начальник следственного отдела. Последние двое тоже были членами парткома.

Когда я сел, Фомичев пояснил:

- Созывать всех членов парткома, кажется, рановато. Вопрос не подготовлен и во многом неясен. Член партии Безродный ушел от жены и возбуждает дело о разводе. Виновником всей этой истории он считает не только свою жену, но и члена партии Брагина. История довольно неприятная...

Я посмотрел на Геннадия. На лице его была озабоченность, но озабоченность не обычная, а какая-то нервная, приподнятая, несвойственная ему. Я перевел взгляд на Дим-Димыча. Он был спокоен. На его лице нельзя было подметить даже намека на смущение, волнение или растерянность.

После короткого вступления Фомичев повернулся к Дим-Димычу:

- Расскажи, товарищ Брагин, что произошло?

- Пожалуйста, - изъявил готовность Дим-Димыч. - Около трех, а может быть, и в три часа ночи, точно не помню, я пришел домой. Входную дверь мне открыла хозяйка. Она предупредила, что меня уже с полчаса ждет какая-то женщина. "Интересно, кто же это?" - подумал я, а войдя, увидел жену Безродного. Она, с заплаканными глазами, сидела на диване. Пальто ее и платок лежали на стуле. Удивленный необычным визитом, я спросил: "Что случилось? Что тебя привело сюда?" Вместо ответа она уткнулась лицом в подушку и расплакалась. Скажу правду - я растерялся. Оксана никогда у меня не была, а тут вдруг пожаловала ночью... и слезы... Я подсел к ней, взял за руку и опять спросил: "Скажи, в чем дело?" В это время открылась настежь дверь и вошел Безродный. Приняв театральную позу, он как артист на сцене, сказал; "Не ожидали? Рассчитывали, что все будет шито-крыто? Думаете, что имеете дело с круглым дураком? Нет, не выйдет!" Затем он начал употреблять слова, которые часто можно встретить на заборах. Я дай понять ему, что если он не заткнет свою глотку, то сделаю это я. Безродный выпустил еще один залп ругательств, хлопнул дверью и исчез. Следом за ним как сумасшедшая побежала его жена. Вот все, что было.

- Получается так, - произнес заместитель начальника управления, - что жена Безродного пришла к вам по собственной инициативе?

- Только так, - ответил Дим-Димыч.

- Ложь! - крикнул Безродный. Лицо его мгновенно переменяло цвет и стало похоже на маску.

- Спокойнее! - предупредил его Фомичев.

- Это во-первых, - добавил Дим-Димыч. - А во-вторых, товарищ Безродный, запомните, что в серьезных вещах я никогда не лгу.

- Скажите, пожалуйста, какое совершенство! - с сарказмом воскликнул Безродный.

Фомичев нахмурился и постучал карандашом по столу.

- Вы хотите высказаться? - спросил он Геннадия.

- Я хочу, чтобы вопрос о Брагине, как о морально разложившемся субъекте, был вынесен на обсуждение общего собрания, - ответил Геннадий. - А пока у меня к нему есть несколько вопросов.

- Прошу, - наклонив голову, произнес Дим-Димыч.

- Вы заявляете, что никогда не лжете?

- Вас это удивляет? - огрызнулся Дим-Димыч.

- Я спрашиваю, а вы отвечайте, - повысил голос Безродный, и его тонкие губы сжались.

- Если вы будете разговаривать таким тоном, - пожал плечами Дим-Димыч, - то я предпочту вообще не отвечать. Вы же не у себя в кабинете, а в парткоме.

Безродный побагровел, но, пересилив себя, уже обычным своим тоном спросил:

- Если вы выдаете себя за кристально честного человека, то ответьте при членах парткома: вы знали о том, что моя жена была к вам равнодушна?

- Да, знал, - очень спокойно, с такой снисходительной улыбкой ответил Дим-Димыч.

- Быть может, вас не затруднит ответить, - продолжал Безродный, - как же вы узнали об

этом?

- Нисколько не затруднит. Узнал об этом я от вас, товарищ Безродный.

- Ложь!

- Нет, это правда. Вы сказали мне об этом, будучи слегка под градусом, год с небольшим назад на моем дне рождения в квартире Курникова.

- Ложь! - уже менее горячо возразил Безродный.

Тут уж не сдержался и я:

- Не ложь, а правда! Я был свидетелем этого разговора. Больше того, я помню и то, что ответил Брагин. Он сказал: "Геннадий! Можешь спать спокойно: Оксана для меня слишком хороша".

- Тогда зачем она оказалась в его доме? - изменил курс Безродный.

- Об этом, мне кажется, лучше всего спросить ее, - предложил я, обращаясь к Фомичеву.

- А вы жену спрашивали? - спросил Фомичев Безродного.

- Жена врет, - отрезал он. - Я не верю ни одному ее слову...

- Товарищ Фомичев, - заговорил Дим-Димыч, - если вы дали возможность Безродному задавать вопросы, то, надеюсь, такой же возможностью могу воспользоваться и я?

- Что у вас? Давайте! - разрешил Фомичев.

- У меня такой вопрос к товарищу Безродному, - начал Дим-Димыч. - Коль скоро он вошел в мою Комнату вслед за мной, с разницей на полминуты, то он, возможно, видел, когда я подходил к дому?

Все повернули головы в сторону Геннадия. Тот передернул плечами и, усмехнувшись, бросил:

- Уж не рассчитываете ли вы, что я вел за вами слежку?

- Я ни на что не рассчитываю. Я спрашиваю: возможно, вы видели меня?

- Нет, не видел.

- А как вы узнали, что ваша жена сидит у меня в комнате?

- Жена - другое дело, за вами же я не намерен следить.

- Допустим. Но вы учтите, что жена ваша ожидала меня полчаса, что, впрочем, известно вам лучше, нежели мне.

- И что же? - с вызовом ответил Безродный.

- Ничего. Больше вопросов у меня нет. Мне все ясно.

- Что вам ясно?

- Все!

- Вы намекаете на то, что я преувеличиваю?

- Преувеличиваете? Это не то слово. Для этого в нашем лексиконе можно будет отыскать, когда это понадобится, более точное определение.

- Хватит! - прервал Фомичев и встал. - Я предлагаю поручить товарищу Трапезникову побеседовать с женой Безродного и доложить о результатах беседы нам. Не возражаете?

На этом беседа окончилась. Все стали расходиться.

Идя с Дим-Димычем по коридору, я спросил его:

- Ты в самом деле не знаешь, зачем к тебе явилась Оксана?

Дим-Димыч покачал головой и сказал:

- Плохи мои дела, если даже ты мне не веришь.

- С ума спятил! Почему ты решил, что я тебе не верю?

- По твоему вопросу.

- Да ну тебя к черту! Не лови на слове! Я не то хотел спросить.

Дим-Димыч обнял меня за плечи:

- Шучу. Что тебя интересует?

- Меня? Мне хочется знать, как ты сам себе объясняешь визит Оксаны?

- Ума не приложу. Опоздай Геннадий на две-три минуты, она бы, конечно, все выложила, но он вошел почти следом.

- Странно! Очень странно...

На этом мы и расстались.

18 января 1939 г.

(среда)

Телефонный звонок поднял меня с кровати около шести часов утра. Звонила междугородная. Какой-то район вызывал меня к телефону, но какой именно - я не узнал до сих пор. Разговор не состоялся. Просидев у безмолвствующего аппарата с четверть часа, я выругался и лег в постель. Но склеить прерванный сон не удалось. Тогда я надел свой любимый теплый халат, включил настольную лампу и сел за стол.

Надо записать несколько слов о стеснительном поручении, данном мне Фомичевым. На другой день после совещания в парткоме я дозвонился до квартиры Безродного и условился с Оксаной о встрече.

Передо мной была поставлена ясная задача: узнать от Оксаны, что привело ее поздней ночью к Дим-Димычу. Кажется, проще пареной репы: задать вопрос и выслушать ответ. Но так только кажется. Этого-то простого вопроса я сразу задать и не мог. Я стал блуждать вокруг да около, делать большие круги, ставить наводящие вопросы. Но она предпочитала отмалчиваться.

Я рассчитывал застать Оксану в слезах, убитую горем, но мои расчеты не оправдались. Внешне она выглядела обычно, держалась бодро, а что творилось в ее душе, я отгадать не мог.

Короче говоря, я начал издали и спросил Оксану:

- Ты знаешь, что Геннадий подал заявление в партком и требует привлечения Дмитрия к партийной ответственности?

Оксана покачала головой. Нет, этого она не знала.

- А за что привлекать его? - спросила она.

- За то, что он разбил семейную жизнь. Он пригласил тебя, замужнюю женщину, мать ребенка, поздней ночью к себе на квартиру...

Оксана улыбнулась. И только, кажется, по этой улыбке я определил, что ей все-таки очень тяжело. Улыбка была грустная, вымученная.

- Я до сих пор не предполагала, что живу с негодяем, - сказала она тихо - Как же Геннадий может обвинять Дмитрия в том, что тот пригласил меня, когда знает, почему я пошла...

- А чем был вызван этот визит? - задал я свой главный вопрос.

- Для вас это важно?

- Для меня - нет, а для парткома - очень.

- Хорошо. Я расскажу.

Оказывается, накануне всей этой скандальной истории Геннадий впервые за супружескую жизнь устроил жене бурную сцену ревности. Он заявил, что роман между Оксаной и Дмитрием давно уже вышел из стен нашего коллектива, стал достоянием чуть ли не всего города, а Геннадий - посмешищем в глазах сослуживцев, что по его адресу сыплются недвусмысленные намеки и т.д. и т.п.

На другой день Геннадий неожиданно явился домой раньше обычного и повторил сцену ревности. В этот раз он заявил жене, что держит судьбу Брагина в своих руках и может так его скомпрометировать, что Брагина вышибут не только из органов, но и из партии. Причем все это Геннадий проделает этой же ночью, после работы.

- Эта угроза, - продолжала Оксана, - и заставила меня пойти к Дмитрию. Говорить об этом по телефону я сочла неудобным, а ждать утра не решилась.

- Геннадий знал о твоём намерении? - поинтересовался я.

- К сожалению, да. Я не собиралась скрывать. Он совсем осатанел. Я никогда его таким не видела. Он готов был растерзать меня. Потом заявил, что не может больше и минуты жить со мной под одной крышей, и ушел. А я отправилась к Дмитрию. Я знаю его как очень честного человека и решила предостеречь от возможного шантажа. Уже на улице мне показалось, что Геннадий следит за мной.

- Ты не ошиблась?

- Я не говорю - точно. Мне показалось. В подворотне дома Дмитрия я, кажется, опять увидела ее пальто... Да и в комнату он ворвался следом за Дмитрием Дмитриевичем. Выбрал нужный момент...

От Оксаны я с легким сердцем отправился к Фомичеву. Мне, собственно, и до этого было ясно, что Дим-Димыч говорит правду, но теперь эта правда получила очень веское подтверждение.

Короче говоря, сегодня Фомичев в моем присутствии беседовал с Безродным. Тот взял обратно свою жалобу, но решительно заявил, что жить с женой не будет.

27 января 1939 г.

(пятница)

Оксана тоже подала заявление с просьбой о расторжении брака.

Спустя три дня Геннадия и Оксану вызвали в загс Центрального района. Попытка примирить супругов успехом не увенчалась.

Я встретил Оксану на улице вместе с дочкой, прехорошенькой двухлетней девчуркой.

Оксана была озабочена, расстроена. Оказывается, наши хозяйственники, действуя по принципу "лучше раньше, чем позже", не ожидая развода, открепили Оксану от магазина.

- Что ты думаешь делать дальше? - спросил я.

Она растерянно пожала плечами.

- Страшновато немножко... Но ради нее, - Оксана прижала к себе головку дочери, - я готова работать хоть полумойкой. Как-нибудь не пропадем...

12 февраля 1939 г.

(воскресенье)

Воскресный день начался как обычный рабочий день. В одиннадцать часов позвонил капитан Кочергин и спросил, говорит ли мне о чем-нибудь фамилия Мигалкин.

"Мигалкин... Мигалкин..." - повторил я про себя, призывая на помощь память. Безусловно, я уже слышал эту не особенно распространенную фамилию. Но где, когда, в связи с чем?

- Простите, товарищ капитан: откуда он, этот Мигалкин? - задал я наводящий вопрос.

Кочергин назвал районный центр нашей области и добавил:

- Мигалкин Серафим Федорович, по профессии шофер...

Этого было достаточно, чтобы память моя мгновенно сработала.

- Мигалкин полтора года назад приехал из Харбина... - доложил я. - Сын эмигранта - чиновника акцизного управления... В эмиграцию попал малолетним ребенком... Отец его до последнего времени поддерживает активную связь с организованными белогвардейскими кругами. Живет в достатке. Мигалкин Серафим непосредственно перед выездом из Харбина окончил там специальную школу по подготовке шоферов...

- Занесите материалы мне! - приказал Кочергин.

Часа полтора спустя начальник секретариата управления пригласил меня к начальнику управления майору Осадчему.

"В чем дело? - подумал я, запирая ящики стола, шкаф и сейф. - Почему прямо к Осадчему; минуя Кочергина?"

У Осадчего уже были Безродный, Кочергин и Брагин. Дим-Димыч, видимо, только что закрыл за собой дверь - он стоял еще у порога.

Майор Осадчий пригласил нас обоих сесть, взял в руки лист бумаги и объяснил:

- Это шифровка от начальника райотделения младшего лейтенанта Каменщикова...

И Осадчий прочел шифрованную телеграмму специально для меня и Брагина. Остальные уже были знакомы с нею. Оказывается, в районном центре, небольшом глухом городишке, в квартире некоей Кульковой Олимпиады Гавриловны сегодня утром работники милиции обнаружили труп неизвестной молодой женщины. Накануне женщину доставил в город с вокзала на квартиру к Кульковой на своей машине шофер Мигалкин. Младший лейтенант Каменщиков просит срочно командировать к нему квалифицированных оперработников для

проведения расследования и опытного судебно-медицинского эксперта. Коль скоро к происшествию причастны в какой-то мере Мигалкин и Кулькова, младший лейтенант Каменщиков придает событию политическую окраску и намерен все материалы предварительного расследования из уголовного розыска милиции забрать в свой аппарат.

- Вопросы есть? - осведомился майор Осадчий.

Все было ясно.

- Решено послать на место оперативную группу. Поедут старший лейтенант Безродный и лейтенанты Брагин и Трапезников. Судебно-медицинский эксперт уже откомандирован в райцентр... Вот так... а теперь не смею задерживать, заключил Осадчий. - Начальником опергруппы назначаю старшего лейтенанта Безродного.

Поначалу договорились ехать все вместе на "эмке" Безродного, но потом он передумал и предложил мне и Дим-Димычу выехать четырнадцатичасовым поездом. Должно быть, наша компания его не особенно устраивала. Ну и бог с ним! Откровенно говоря, мы были даже рады.

В четырнадцать с минутами почтовый поезд отошел от перрона.

Когда город остался позади, Дим-Димыч предложил соснуть. Обычно мы очень мало отдыхали и, если случалось ехать в командировку поездом, охотно залезали на верхние полки и мгновенно засыпали. И теперь я уже приготовился поблаженствовать, как вдруг Дим-Димыч тронул меня за плечо.

- Мыслишка пришла в голову, - проговорил он.

- Выкладывай покороче, - разрешил я.

- Знаешь, почему Геннадий решил ехать на машине один?

Я признался, что не имею об этом никакого понятия.

- Он рассчитывает прибыть на место первым...

- Это очень важно? - спросил я с усмешкой.

- Чудак человек! Вполне естественно! К этому должен каждый стремиться, а Геннадию и сам бог велел.

13 февраля 1939 г.

(понедельник)

Мы вышли на безлюдный, продуваемый студеным ветром перрон небольшой, заброшенной в лесах и присыпанной снегом глухой станции. До районного центра оставалось еще семьдесят километров.

Невольно поежились и подняли воротники своих демисезонных пальто. На зимние пальто у нас не хватало сбережений.

- Не особенно весело, - заметил Дим-Димыч.

Я промолчал.

Падал сухой колючий снег. Крутила поземка. Под порывами ветра с режущим скрипом раскачивался из стороны в сторону одинокий станционный фонарь.

- Ну? - бодрым голосом спросил меня Дим-Димыч. - Что же дальше?

- Дальше - поедем.

Я отыскал служебный проход в деревянном здании вокзала и провел через него Дим-Димыча. Мне думалось, что "газик" районного отделения уже поджидает нас. Но у подъезда машины не оказалось.

- Замело, занесло, запуршило... - продекламировал Дим-Димыч.

Я не прислушивался к словам друга. Отсутствие "газика" несколько обеспокоило меня.

Машина была, правда, не особенно надежная, я об этом знал. Она выходила все отведенные ей человеческим разумом эксплуатационные сроки и раза в три перекрывала их. Ее давно пора было сдать на свалку, а она продолжала еще каким-то чудом держаться на колесах и скакать по районному бездорожью. Но младший лейтенант Каменщиков слыл человеком обязательным и воспитанным на точности. Он должен был предусмотреть всякие "но" и принять меры, в крайнем случае побеспокоиться о другом транспорте. Хуже всего, если "газик" скис на дороге.

Я не преминул высказать свои соображения Дим-Димычу.

Друг мой никогда не падал духом и придерживался поговорки, что чем хуже, тем лучше.

- У нас есть возможность проверить твои опасения, - спокойно ответил он.

- Каким способом?

- Подождать. - И Дим-Димыч показал рукой на освещенные окна вокзала.

Уже другим ходом мы вошли в зал ожидания. Здесь красовалась буфетная стойка и стояло шесть столиков, обитых голубой клеенкой. Два из них, сдвинутые вместе, были заняты веселой компанией. Ночные гости громко говорили, не обращая на нас никакого внимания, ежеминутно чокались гранеными стаканами и аккуратно наполняли их вином.

Мы подсели к соседнему, свободному столику и закурили.

- Поспали мы отлично, - заметил Дим-Димыч. - И неплохо бы сейчас поддержать уходящие силы...

- Очень неплохо, - согласился я, взглянув на буфетную стойку.

В это время в зал вошел коренастый, приземистый человек, заросший по самые глаза густой рыжей бородой. Он энергично закрыл за собой дверь, снял с головы меховую шапку, отряхнул ее от снега и стал молча осматривать зал.

Голову его, крупную, породистую, украшала такая же, как и борода, рыжая взъерошенная шевелюра.

Уделив присутствующим, в том числе и нам, столько внимания, сколько он считал нужным, незнакомец прошагал в угол к оцинкованному баку с большой жестяной кружкой, тщательно ополоснул ее, нацедил воды и залпом выпил. Выпил и стал рассматривать меня и Дим-Димыча своими строгими внимательными глазами.

Так прошло еще несколько минут. Потом незнакомец провел пятерней по волосам и решительно направился к нашему столику.

Бывает так: смотришь на совершенно незнакомого человека - и тебе кажется, будто он хочет заговорить с тобой. Больше того, ты даже уверен в этом.

Так было и сейчас, когда мои глаза встретились с глазами рыжеволосого незнакомца.

Я изучающе и не без любопытства смотрел на него.

- Товарищ Трапезников? - спросил он, подойдя вплотную и подавай мне мощную, как у мясника, руку.

- Так точно, - ответил я, вставая. - С кем имею честь?..

- Хоботов! - назвал себя незнакомец. - Судмедэксперт, патологоанатом и прочее. Я так и подумал, что это вы, - наслышан о вас еще от товарища Курникова. - И Хоботов перевел взгляд на Дим-Димыча.

Я представил своего друга.

- Вот и отлично, - заметил Хоботов низким, грудным басом. - Значит, прибыли мы одним поездом. Я уже было подался в поселок насчет транспорта, но меня вернул какой-то добрый человек, сказал, что дело это безнадежное.

- Поедем вместе, - предложил Дим-Димыч. - За нами должны прислать машину.

- Совсем хорошо, - заключил Хоботов. Он снял с себя теплое пальто на меху, со сборками в талии, похожее на бекешу, и положил его вместе с шапкой на стул.

- А вещи ваши? - поинтересовался я.

- Все при мне, - удовлетворил мое любопытство Хоботов. - Все по карманам. Я не признаю в коротких поездках ни чемоданов, ни портфелей. Не верите? - И он улыбнулся хитрой улыбкой, показав крепкие, один в один зубы. - Могу доказать. Это что? А это? А это?..

Как уличный фокусник, он начал извлекать из своих бездонных карманов и демонстрировать поочередно зубную щетку, тюбик с пастой, огромную расческу, несколько носовых платков, два флакона одеколona, вафельное полотенце, лупу и, наконец, замшевый мешочек с инструментом.

- Удобно? - спросил Дим-Димыч.

- Не особенно, - признался Хоботов. - Но уже привык. Воры отучили меня возить чемодан...

Я сплю как убитый.

Мы рассмеялись, закурили теперь все втроем и повели беседу, как давние, старые знакомые. Доктор Хоботов был сколочен на редкость ладно, плотно и выглядел здоровяком. Его волосы с золотистой искоркой не имели ни единой сединки, кончики усов торчали горизонтально, будто закаленная проволока. Из-под выпирающих надбровий пытливо смотрели небольшие, глубоко сидящие темно-карие глаза.

Он держал себя просто, но с достоинством, был немногословен, если говорил, то кратко и негромко, как человек, уверенный, что его и так услышат. В его речи, жестах, во всем облике, включая и внушительную, прямо-таки разбойничью бороду, совершенно не чувствовался возраст. Я все время смотрел на него, ломал голову и думал: сколько же ему? Можно было согласиться на сорок, можно было дать и пятьдесят. А десять лет для человека - разница существенная. Потом я перестал гадать, решил, что для точного определения возраста нашего нового знакомого надо непременно заглянуть в его паспорт.

После пятиминутной беседы Хоботов признался:

- Я голоден как волк...

- Да, не мешало бы перекусить, - согласился я.

Доктор поманил пальцем официантку. Та подошла развалистой походкой и равнодушным голосом Доложила о возможностях буфета. Все меню состояло из отбивных свиных, жареной курицы и клюквенного киселя.

- А напиток? - поинтересовался Хоботов и щелкнул себя по горлу.

- Сколько вам? - осведомилась официантка.

- В предвидении дороги, а также учитывая наружную температуру... - Он умолк и поочередно посмотрел на меня и Дим-Димыча.

- Предлагаю по двести, - сказал я.

- Присоединяюсь, - согласился Дим-Димыч.

- Дорожная норма, - подвел итог Хоботов. - Шестьсот граммов.

Доктор и Дим-Димыч заказали жаркое из курицы, я - отбивные и две порции киселя.

- Какое унылое лицо, - покачал головой Хоботов, когда официантка пошла выполнять заказ. - Совсем не гармонирует с оживлением, что за соседним столиком... Давайте переберемся в уголок к окошку.

Мы не возражали.

Когда мы обосновались на новом месте и перенесли свою одежду, Хоботов откровенно сказал:

- Совершенно не могу объяснить почему, но человек, чавкающий во время еды, вызывает во мне холодное бешенство. Я способен смазать его по физиономии.

Мы машинально посмотрели на шумную компанию, от которой удалились. Действительно, парень в заячем треухе обрабатывал пищу с таким усердием, что звуки, вызывавшие бешенство у доктора, разносились по всему залу.

Официантка подала заказ. У котлет оказался на редкость странный, несвойственный им запах. Я решил, что мой желудок не настолько натренирован, чтобы освоить без последствий это блюдо, великодушно отказался от него и, следуя примеру попугачиков, попросил заменить отбивные курицей.

- Хрен редьки не слаще, - коротко бросил доктор, отыскивая в курице съедобные места.

Курицу забыли, вероятно, кормить в течение месяца перед смертью, и нам достались сплетения из костей и сухожилий, напоминающих скрипичные струны.

Кисель также не вызвал нашего восторга. Это была мутновато-студенистая жидкость, заполняющая стакан не более как на две трети. Мы проглотили ее залпом, точно яд, и доктор на полном серьезе спросил:

- Вам не кажется, что обед наш чрезмерно легкий?

- Кажется, - рассмеялся я, - но повторять его рискованно.

- Да, придется потерпеть, - согласился Дим-Димыч.

Мы вволю наговорились, выкурили полпачки папирос, когда в зале появился наконец шофер

райотделения, пожилой человек, которого я знал как Василия Матвеевича.

- Прощу извинить, - сказал он, подходя к нам. - Это же гроб, а не машина. Заело переключение, включились все скорости - и хоть плачь!

- Чего уж там, - сказал я. - Бандура твоя мне знакома. А доберемся?

- Добраться-то доберемся. Не ночевать же здесь. - И Василий Матвеевич с презрением оглядел зал.

Хотя в его словах было мало утешительного, мы решили все же ехать и покинули вокзал.

Хоботов обошел вокруг "газика", осмотрел его критическим оком и атаковал заднее сиденье. К нему присоединился Дим-Димыч.

- Не знаю, как вы, а я попытаюсь уснуть, - сказал доктор.

Надорванное сердце машины хрипло вздохнуло, засопело, заклохтало и тут же умолкло. Потом снова вздохнуло и нехотя глухо и сердито заурчало. Машина порывисто прыгнула, точно лягушка, и ходко двинулась с места.

"Лиха беда начало", - подумал я.

Мы пролетели подобно снаряду через спящий станционный поселок и сразу оказались на большаке, сдавленном с обеих сторон высоким лесом. Упругий ветер ударял машине в лоб и пузырил брезентовый верх. В свете фар на нас надвигались и мгновенно исчезали телеграфные столбы и редкие дорожные знаки.

Единственным достоинством "газика", на мой взгляд было то, что после долгого кашляния, чихания, тоскливых вздохов и судорожных прыжков он все же мог развивать приличную, по нашему времени, скорость. Машина мчалась, подминая под себя ветер и снег. На самом переломе ночи показались выбеленные морозом крыши домов районного центра. Город спал. Машина пронесла нас по безлюдным улицам и остановилась возле дома Каменщикова. Сам он, обеспокоенный задержкой, не спал и, услышав условный сигнал машины, выбежал нам навстречу.

- Старший лейтенант Безродный приехал? - первым делом поинтересовался Дим-Димыч после приветствий.

- Засел в двадцати километрах, - доложил Каменщиков. - Там основательно замело дорогу. Звонил участковый уполномоченный. К утру доберется.

Дим-Димыч толкнул меня локтем и усмехнулся.

По узкой, протоптанной в снегу тропинке мы проследовали за Каменщиковым к его дому, стоявшему в глубине усадьбы.

Снегопад кончился. Поздняя луна ушла на покой, так и не показавшись. Над нами висело черное небо, и в нем плескались холодные звезды. На юге смутно проступала грива леса. Из высокой трубы дома Каменщикова тоненькой струйкой завивался дымок.

Через короткое время мы сидели в небольшой теплой комнате, оклеенной веселенькими обоями, распивали чай из урчащего самовара и слушали младшего лейтенанта Каменщикова.

Предварительное расследование, произведенное органами милиции, показало, что в ночь с двенадцатого на тринадцатое февраля гражданка Кулькова дала приют в своей квартире приехавшим в город мужчине и женщине. Со станции их доставил на своей машине шофер артели "Заря" Мигалкин. Он якобы не впервые устраивал таким образом квартирантов в доме Кульковой, которая приходилась ему дальней родственницей.

Утром мужчины не оказалось, а женщину обнаружили мертвой.

Работники уголовного розыска произвели тщательный осмотр комнаты, сфотографировали покойницу, обработали и зафиксировали следы пальцев, оставленные на бутылках с вином, на куске шоколада, на спинке дивана, покрытой слоем пыли.

- Прежде всего нам надо опознать покойницу, при ней не оказалось документов, - сказал Каменщиков. - Затем выяснить, с чем мы имеем дело: с естественной смертью, несчастным случаем, убийством или самоубийством.

"Короче говоря, осталось начать да кончить, - подумал я. - Плохо то, что покойница не опознана, плохо то, что не обнаружено ничего, проливающего свет на происшествие, исключая следы пальцев, плохо, наконец, в то, что осмотр комнаты произведен до нашего

приезда, И вообще все плохо".

Доктор Хоботов не задавал никаких вопросов. Он сидел в глубоком раздумье и катал на столе хлебные шарики. Судя по его упорно сдвинутым бровям, я решил, что он думает о чем-то своем, не имеющем отношения к делу, но я ошибся.

- Меры к сохранению трупа приняты? - осведомился он, когда Каменщиков кончил.

- Да.

- Какие?

- Печь не топится, форточка все время открыта. Комнату я опечатал. Так мне посоветовали ребята из угрозыска.

Доктор кивнул и опять умолк...

14 февраля 1939 г.

(вторник)

Встали мы сегодня поздновато. Давно уже занялось зимнее утро, давно уже излучало свой негреющий свет чахлое февральское солнце, а мы только сели за завтрак. Геннадия не было... И никто не звонил. Я предложил приступить к делу, и все согласились.

После завтрака "газик" доставил нас вместе с начальником райотделения к месту происшествия.

Двор на Старолужской улице, заваленный ворохами пиленых дров, стожками сена, заставленный пустыми телегами с поднятыми к небу оглоблями, набухал от разномастного люда.

- В чем дело? - спросил я Каменщикова.

Он объяснил, что такие необыкновенные истории, как загадочная смерть человека, происходят в городе не каждый день и, конечно, не могут не вызвать любопытства.

Мы оставили машину и направились к дому.

Он был рубленый, двухэтажный, какой-то замысловатой архитектуры и бог знает сколько лет прожил на белом свете. Во всяком случае, не меньше сотни. Крыша его с чердачными выходами угрожающе провисала на самой середине, узкие, прямоугольной формы окна смотрели косо, водосточные трубы держались на честном слове, балкончики, завешанные бельем, давно утратившим свой природный цвет, готовы были вот-вот свалиться на головы прохожих.

Войдя в дом, мы увидели облупленные стены коридора с обнаженными дранками. Тяжелый, застойный воздух, насыщенный странной смесью разнообразных запахов, сразу шибал в нос. Этими запахами пропитался не только коридор, но и стены, и заплеванная шаткая лестница, приведшая нас на второй этаж.

Внутри дом являл собой чудо старины. В нем было столько изгибов, хитрых переходов, непонятных тупиков, глухих безглазых каморок и кладовок, что новому человеку нетрудно было и заблудиться.

Пробравшись по сложным лабиринтам второго этажа, по его подгнившим, скрипящим полам, мы остановились наконец перед закрытой дверью.

Я осветил карманным фонарем. Каменщиков снял печать и отпер дверь. Мы переступили порог, и с нами вместе прошмыгнула в комнату многоцветная облезлая кошка.

Первое, что все мы увидели, - это мертвая женщина на узкой кровати, в простенке между двух окон. Только ее одну. На предметы, наполнявшие комнату, мы не обратили внимания.

Мне казалось, что женщина спит, что стоит только произнести слово, как она встрепенется, раскроет испуганные глаза и быстро натянет одеяло на свое совершенно обнаженное тело.

Казалось так потому, что она находилась в очень непринужденной позе, обычной для людей живых и неестественной для мертвых. Голова ее покоилась на высоко взбитой подушке, левая рука лежала за шеей, а правая на груди.

Мы подошли ближе к покойнице. Ни крови, ни повреждений, ни ранений, ни следов насилия и сопротивления - ничего. И само понятие "смерть" казалось здесь нелепым, нереальным, невероятным.

Женщине можно было дать от силы двадцать пять - двадцать шесть лет. Природа наградила ее красивым телом, правильными, хотя и немного крупными, чертами лица, большими, сочными, хорошо очерченными губами и черными густыми волосами, собранными в тугий узел. Нежные, незагрубевшие руки со свежим маникюром говорили о том, что хозяйка их не знала тяжелого физического труда.

И на лице с уже побледневшим покровом кожи нельзя было подметить даже намека на какую-то муку.

Я отлично знал, что решающие выводы приходят не в начале расследования, а в конце его, и все-таки подумал: "О каком убийстве может быть речь? При чем здесь убийство?"

Доктор Хоботов, скрестив руки на груди, исподлобья смотрел в упор на покойницу, шевеля, как жук, своими проволочными усами. Потом он отвел взгляд и сказал:

- Температура отличная. Форточку можно закрыть.

Каменщиков направился к окну, и в это время облезлая кошка выбралась из-под стола, примерилась и прыгнула на грудь покойной.

- Брысь! Брысь, чертова душа! - крикнул доктор.

Кошка метнулась назад под стол.

- Санитарную машину можно вызвать? - спросил Хоботов Каменщикова.

- Безусловно.

- Вызывайте! Пока она подойдет, я посмотрю эту особу, - и доктор кивнул на покойницу.

Каменщиков направился к двери.

- Я распоряжусь. - Он оглянулся на пороге. - И если не особенно нужен вам - отлучусь часа на два-три. У меня бюро райкома сегодня.

Дим-Димыч ответил за всех:

- Пока не нужны. Поезжайте!

Стуча сапогами, Каменщиков почти побежал по коридору.

Хоботов поискал глазами, куда можно пристроить шапку и пальто, и положил то и другое на диван. Затем ожесточенно потер свои большие, покрытые золотистым пухом руки, пододвинул стул к кровати, сел на него и извлек из кармана большую лупу в нарядной перламутровой оправе.

Мешать людям и отвлекать их от работы не входило в мои правила. Дим-Димыч придерживался такой же точки зрения. Мы уже знали, что тщательный осмотр комнаты сделан, подробный отчет составлен, снимки произведены, все предметы, имеющие значение для следствия, собраны, оттиски пальцевых следов обработаны, но тем не менее решили познакомиться с квартирой и вещами, в ней находившимися.

Кроме кровати, здесь стояли хромоногий дубовый стол, два дубовых же стула с отполированными до блеска сиденьями, диван, обитый черным дерматином, и рукомойник в углу. На крышке его лежал небольшой обмылок с прилипшими к нему волосами. Штифт умывальника проржавел и не держал воды. Вея она была в ведре.

На столе остались бутылка из-под вина и водки, видимо, кроме тех, которые сочли нужным приобщить к делу, пустая банка из-под шпрот, колбасная кожура, мандариновые корки, обертки от шоколада и конфет, хлебные крошки.

Мандаринов ни в районе, ни даже в областном центре не было. Их привезли, очевидно, ночные гости с собой.

Доктор между тем занимался мертвой. Теперь она лежала уже не на спине, а на боку, лицом к стене, и Хоботов внимательно исследовал ее тело через лупу.

- Серьги ей теперь ни к чему, - сказал он, добравшись до лица и отстегивая от ушей простенькие украшения. - А следствию они, возможно, понадобятся. Натек-ка!

Дим-Димыч взял бирюзовые серьги и спрятал в карман.

Доктор встал, окинул взглядом стол и философски изрек:

- Да... Алкоголь развязывает языки и упрощает отношения. Это факт.

Мы смотрели на него, ожидая, что он скажет дальше.

Хоботов вынул из кармана небольшую плоскую флягу со спиртом, тщательно протер свои

руки.

- До вскрытия я не могу предложить вам исчерпывающего объяснения, но... - он поднял указательный палец, - но одно могу сказать уже сейчас; мы имеем дело с убийством. Ее умертвили.

- Умертвили? - недоверчиво переспросил я. - Вы уверены?

- Сомнительно, - высказался Дим-Димыч.

- Абсолютно уверен, - твердо заявил доктор. - Она не по собственному желанию покинула лучший из миров. По всему видно, что она даже не заметила, как очутилась на том свете. Вернее, не почувствовала. Смерть пришла мгновенно. Кроме того, она была сильно пьяна. Возможно, до бесчувствия. А женщина, скажу вам, первосортная. Ее бы в натурщицы хорошему мастеру...

В коридоре послышался топот, а затем стук в дверь.

Я разрешил войти.

Двое санитаров с носилками вошли в комнату.

- Морг в вашем городе существует? - обратился к ним доктор.

- А как же без морга? - весело ответил один из санитаров.

- Отлично, - кивнул доктор. - Везите эту красавицу в морг. И я с вами. А вы где будете? - спросил он меня.

Я посоветовал Дим-Димычу поехать на вскрытие, а сам решил отправиться в районное отделение. На том и договорились.

Мертвую вынесли и уложили в машину. Доктор и Дим-Димыч залезли туда же. Машина побуксовала у ворот и выехала со двора.

Я отправился в райотделение, засел в кабинете Каменщикова и распорядился вызвать ко мне на допрос Кулькову и Мигалкина.

Нужно отдать справедливость работникам милиции, занимавшимся расследованием: они отнеслись к делу внимательно и добросовестно. В документах, которые лежали передо мною на столе, можно было найти все, вплоть до мелочей: время прибытия в комнату, расположение окон и дверей, мебели, положение мертвой. В отчете осмотра я нашел ответы на все элементарные вопросы, предусмотренные расследованием. Большое внимание было уделено отысканию следов преступления, отпечаткам пальцев. В папке лежало много фотоснимков и карт с уже обработанными пальцевыми следами.

В материалах не было, однако, самого главного - указаний на то, кто же такая убитая и кто ее убийца.

Скрывать нечего: меня охватило состояние внутренней растерянности. Что же делать? С чего мне начинать? Как опознать убитую? Что мне дадут пальцевые отпечатки? Зачем я вызвал Кулькову и Мигалкина, которые уже подробно допрошены и с показаниями которых я уже познакомился? Не ошибается ли Хоботов, утверждая до вскрытия, что мы имеем дело с предумышленным убийством?

Мысли мои растекались, как ртуть. Я ощутил потрясающую беспомощность, от которой тоскливо сжималось сердце. Дело представлялось мне неразрешимой загадкой.

В это время дверь открылась и вошел Безродный.

- Здравствуйте, товарищ лейтенант! - сухо и официально приветствовал он меня.

Я встал.

- Здравствуйте, товарищ старший лейтенант!

Безродный обвел нетерпеливым взглядом комнату, снял с себя шинель, шапку (он был в форме) и, пододвинув к горячей печи стул, сел на него.

Он молчал, потирая озябшие руки, и смотрел, как в открытом жерле печи перегорают и с легким шуршанием распадаются березовые поленья.

Странное дело! Скажу откровенно: приезд Геннадия обрадовал меня. Тут, видно, сказала застарелая болезнь, свойственная многим людям, - скрытое преклонение перед начальством.

Страдал, оказывается, этим недугом в известной мере и я. Мне думалось: Геннадий не лейтенант, а старший лейтенант, не начальник отделения, а начальник отдела. То, что для

меня составляет непреодолимую трудность, для него, возможно, пустяк. Значит, в нем есть что-то такое, что позволяет ему руководить большим коллективом. А Дим-Димыч и я не замечаем у него этого самого "что-то такое". Наконец, его терпят и держат в занимаемой должности. Значит, он оправдывает себя, значит, он умнее и способнее, чем мы думаем. Если я не вижу звена, за которое сейчас следует ухватиться, то он, возможно, увидит. Большому кораблю - большое плавание...

После продолжительного молчания Геннадий повернулся ко мне и спросил:

- Как дела?

- Плохи.

- Где лейтенант Брагин?

Я ответил.

- Та-а-к... - протянул Геннадий. - Ну-ка, введите меня в курс событий.

Я рассказал все, что знал, и не скрыл своих сомнений; выкладки и доводы проиллюстрировал показаниями уже допрошенных свидетелей, актами осмотра, приобщенными к делу вещественными доказательствами. В заключение счел нужным подчеркнуть, что личность убитой, как и личность убийцы, окутывает непроницаемый мрак.

- Стало быть, мы имеем дело с убийством? - проговорил Геннадий.

- Да... Так утверждает Хоботов.

- А ваша точка зрения? - поинтересовался Геннадий.

- Она не совпадает с точкой зрения

Хоботова. Я склонен полагать, что здесь или внезапная естественная смерть, или самоубийство.

- Хм... Сомнительно, - возразил Геннадий. - И в том, и в другом случае партнеру, сопровождавшему покойную, не имело никакого смысла скрываться.

- Пожалуй, да, - вынужден был я согласиться с резонным доводом.

Геннадий громко откашлялся, встал со стула, прошелся по комнате и нравоучительно заметил:

- Вообще, товарищ лейтенант, никогда не надо ничего усложнять и преувеличивать... - Он умолк на мгновение и, посмотрев в замерзшее окно, добавил: - От нас требуется объяснить необъяснимое, так вы, кажется, считаете? Что ж... мы попытаемся это сделать.

В его тоне мне почудилась уверенность, будто следствие напало по меньшей мере на горячий след преступника. Настроение мгновенно улучшилось. Появление Геннадия и наш короткий разговор послужили для меня бодрящей разрядкой.

- Первым делом я хочу прочитать все сам, - сказал он между тем и занял за столом место, которое я предупредительно освободил.

Геннадий только раскрыл папку, как дверь без шума открылась и в кабинет вошел шофер райотделения. Не зная Безродного, но видя в нем старшего по званию, он испросил у него разрешения обратиться ко мне и сказал, что приехал за мной от доктора Хоботова.

Я перевел взгляд на Геннадия.

- Вместе поедем, - сказал он без колебаний и начал одеваться...

В тылах большого больничного двора, в мрачном каменном помещении с низким потолком и влажными стенами, мы нашли Хоботова и Брагина.

Доктор, облаченный в клеенчатый фартук, сидел на табуретке. Рядом стоял Дим-Димыч. Оба они курили.

Посреди комнаты на высоком железном тонконогом столе, прикрытая не совсем чистой бязевой простыней, лежала та, которая неожиданно покончила расчеты с жизнью в доме на Старолужской улице. Видны были только ее свисающие распущенные волосы и ступни с пожелтевшими пятками.

Кроме нее, на голых топчанах вдоль стены лежали еще три ничем не прикрытых трупов.

Я представил Хоботову Безродного. Доктор поклонился, но руки не подал она была в резиновой перчатке.

Неистребимый, всюду проникающий сладко-удушливый запах разложения человеческих тел

мгновенно вошел в меня и тугим комком застрял в носоглотке.

- Закурите, так лучше будет! - заметив мое состояние, посоветовал Хоботов и показал на пачку папирос, лежавшую на подоконнике.

- Вы уже в курсе дела? - спросил он Безродного.

- Примерно.

- Отлично! Сейчас мы выясним, ошибся я или нет. Прошу сюда!

Доктор подошел к тумбочке, на которой стояла большая стеклянная банка с широким горлом, наполненная водой, и в ней плавало что-то.

- Так вот... - вновь заговорил Хоботов. - Что эта милая особа к моменту смерти была в состоянии сильного опьянения - установленный факт. Не так ли, товарищ Брагин?

- Да-да... - подтвердил Дим-Димыч немного возбужденным, как мне показалось, голосом.

- Что ее умертвили, - продолжал Хоботов, - тоже факт. А сейчас мы попытаемся получить ответ на главный вопрос: как ее умертвили? Что это, по-вашему? - Доктор ткнул пальцем в горловину банки, освещенной яркой двухсотсвечевой электрической лампой.

Я приблизился к тумбочке, наклонился и увидел плавающий синевато-красный ком.

- Сердце!

- Отлично! - подтвердил Хоботов. - Хорошее, молодое, совершенно здоровое и уже никому не нужное сердце. Оно-то, надеюсь я, и сослужит нам последнюю службу. Теперь внимание! Сейчас я вскрыю сердце в воде, а вы наблюдайте. Это очень важно и, главное, неповторимо. Если вверх побегут пузырьки, шарики воздуха, - я окажусь прав в своем предположении. Смотрите!..

Я отвел назад руку с дымящейся папиросой и стал ждать. Напряжение я подметил и во взглядах Безродного и Брагина.

Доктор просунул, не без усилий, свою левую руку в банку, захватил крепко сердце, а правой сильным надрезом полоснул его чуть не надвое. И тут же кверху цепочкой устремились один за другим прозрачные воздушные шарики...

- Вот-вот! - воскликнул Дим-Димыч.

- Прекрасно видно, - добавил Безродный.

- Фу! - облегченно и шумно вздохнул доктор. - Что и требовалось доказать. Задача решена. Ответ найден.

Он бросил на тумбочку нож, отряхнул с рук воду и начал стаскивать перчатки.

- Теперь я могу сказать точно, что покойной, когда она после выпитого была в полуобморочном состоянии, при помощи обычного шприца и очень тонкой иглы пустили в просвет вены несколько кубиков обычного воздуха. И все. Этого более чем достаточно для мгновенной смерти. Сердце не терпит воздуха. Произошла эм-бо-ли-я. Слышали?

Мы переглянулись, Для нас это медицинское слово было внове.

- Это отнюдь не изобретение, - пояснил Хоботов. - Старо как мир.

- А как вы догадались? - заинтересовался Дим-Димыч. - Что вас натолкнуло на первоначальную мысль?

Доктор пригласил нас к высокому столу, извлек из кармана свою лупу, подал ее Дим-Димычу и сказал:

- Смотрите сюда. Внимательно, - он указал на локтевой изгиб покойницы. - Что видите?

- Малюсенькую, едва приметную точку, - ответил мой друг.

- Вот-вот. Скоро она совсем исчезнет. Тут и вошла игла. Если бы я появился на свет божий не пятьдесят семь лет назад, если бы мне не довелось повидать на своем веку такие и им подобные штучки, я бы тоже не заметил точки.

Он задернул простыню, подошел к крану с водой и стал тщательно намывать руки...

Полчаса спустя, проводив Хоботова на станцию, я и Дим-Димыч направились в райотделение. В коридоре мы увидели взволнованных свидетелей.

На ходу я сказал другу:

- Безродный уверен. Это меня радует. Мозги у него все-таки есть.

- Боюсь, что у него их больше в костях, нежели в голове, - отпарировал Дим-Димыч.

Мы прошли в кабинет, где Безродный сосредоточенно изучал материалы дела.

- Свидетели давно уже здесь, - напомнил я.

Геннадий оторвался от бумаг и сказал:

- Точнее, обвиняемые, а не свидетели.

Я и Дим-Димыч переглянулись. Такое заключение нас несколько озадачило. Оно было неожиданным и, пожалуй, смелым.

Спустя несколько минут я впустил в кабинет костлявое и нескладное существо с решительным, если не наглым, выражением лица.

- Я Кулькова, - представилось оно. - Олимпиада Гавриловна.

- Садитесь! - сказал Безродный.

Кулькова села не сразу, она попросила разрешения снять пальто и прошла к стенной вешалке в углу.

Это была плоская спереди и сзади женщина, высокого роста, с несоразмерно тонкими ногами, оканчивавшимися удивительно большими ступнями. Ноги ее жалко болтались в полах короткого платья, из-под которого торчал конец нижней юбки. Чулки с вывернутыми швами напомнили мне крученые ножки гостинного столика. Удлиненную, расширяющуюся книзу голову украшала редкая растительность, сквозь которую просвечивала белая кожа. На одной щеке, у ноздри, и под ухом красовались две крупные и совершенно черные бородавки. Наконец она села и положила руки на стол.

- Вам предоставляется возможность сказать всю правду, - начал Геннадий с холодным и глубоким презрением в глазах. - Если вы этой возможностью не воспользуетесь сейчас, больше уже никогда ее не получите.

- Вы это о чем? - осведомилась Кулькова.

Геннадий нахмурил брови.

- Не валяйте дурака! Мы люди русские и обязаны понимать друг друга.

Кулькова часто-часто заморгала глазами.

- Поняли? - спросил ее Геннадий.

Она решительно тряхнула своей лошадиной головой.

- Вы должны говорить только правду, - напомнил Геннадий.

- Я и говорю правду... только правду.

- Пока вы ничего не говорите. На первом допросе вы заявили следующее, я привожу дословно ваши показания: "Убедившись, что дверь комнаты заперта изнутри и на мой стук никто не отзывается, я перепугалась и побежала звать участкового уполномоченного милиции". Так?

- Сущая правда. Так и было.

- В котором часу это произошло?

- Совсем рано.

- Точнее.

- Ну, совсем рано... Часов, однако, в семь.

- А что заставило вас чуть свет стучать в дверь ваших квартирантов?

- Кошка, - последовал ответ.

- Что? - блеснул глазами Геннадий.

- Кошка. Моя кошка.

Я, честно говоря, начал сомневаться в умственных способностях свидетельницы.

- При чем здесь кошка? - сдерживая раздражение, громко произнес Геннадий.

- При всем, - ответила Кулькова. - Она с вечера осталась в комнате, а потом размяукалась так, что у меня мурашки по спине забегали. Я потрогала дверь и крикнула: "Кошку выпустите! Нагадит она". А никто не отозвался. Я начала стучать, а квартиранты не подают голоса. Я перепугалась: обокрали, думаю, мене ночные гости, сами утекли, а кошку заперли! И подалась за участковым. Ну, потом дверь долой и увидели ее, сердешную. Лежит себе одна, а его и след простыл...

- А кто же мог изнутри запереть дверь? - попытался уточнить Геннадий.

- Никто изнутри не запирает. Я так думала поначалу, Это ее хлюст запер дверь снаружи на ключ...

- И вы не слышали, когда он ушел?

Кулькова опять тряхнула головой.

- Вот что, гражданка Кулькова, - растягивая слова, проговорил Геннадий. - Не стройте из себя казанскую сироту. Бесплезно... Мы вас хорошо знаем. Вы сектантка-вербовщица. В тридцать первом году по заданию "хлыстов" сожгли семь гектаров пшеницы на Кубани. В том же году утопили в реке Челбас двух новорожденных близнецов и были приговорены к пяти годам заключения. Вы преступница! И если думаете, что мы верим в ваше перерождение, то глубоко ошибаетесь. Выбирайте: или опять тюрьма, или душу наизнанку! Эта особа закрыла глаза не без вашей помощи. Это так же точно, как и то, что сейчас день. Выкладывайте все начистоту!..

Кулькова вытаращенными глазами уставилась на Безродного. Язык отказался повиноваться ей. Она молчала, застыв в каком-то оцепенении, видимо, переваривая длинную фразу.

Дим-Димыч, исполнявший обязанности секретаря, записал вопрос и ждал ответа.

Кулькова продолжала молчать и смотрела почти не мигая глазами.

Прошла минута, две. Дим-Димыч нацарапал на листке бумаги несколько слов и подсунул мне.

Я прочел: "Через женщину продолжается человеческая жизнь. И через эту тоже. Представляешь?"

- Ну?! - нетерпеливо крикнул Геннадий. - Я вызвал вас не для того, чтобы любоваться вашей красотой. Отвечайте! Как звали убитую? Где сейчас скрывается ее попутчик? Фамилия его? Нам все это известно, но мы ждем подтверждения от вас.

Я содрогнулся.

Это был ненужный, дешевый прием, ставящий следствие в нелепое положение. Умный свидетель мог бы ответить: если вам все известно, так зачем же спрашивать? Но Кулькова умом не блистала. Она в отчаянии замахала руками и заголосила:

- Да что же такое творится?.. Что вы от меня хотите? Никакая я не злодейка... Что было, то было и прошло, а тут чиста я, как росинка. Не знаю я никого и рук не прикладывала... Что хотите, то и делайте.

Геннадий пристукнул кулаком по столу:

- Не морочьте мне голову! Я хочу знать фамилии ваших ночных гостей...

Одного хотения, увы, было недостаточно. Кулькова не знала своих гостей. Она божилась, крестилась, клялась и под конец разревелась. И хотя весь облик Кульковой вызывал во мне глухую и все возраставшую антипатию, я был глубоко убежден, что она и в самом деле непричастна к преступлению.

Дим-Димыч вторично подсунул мне клочок бумаги, и я прочел: "Стрельба из пушки по воробьям. Она ни при чем".

Мы потратили на разговор с ней два с лишним часа и к допросу, снятому сотрудником угрозыска, не прибавили ни одной подробности, если не считать эпизода с кошкой.

Вслед за Кульковой вызвали шофера Мигалкина. Это был очень смысленный молодой человек, отлично понимавший, что его короткая, но трудная биография обязывает его быть особенно разборчивым в выборе средств к достижению своей цели. А жизненная цель его предельно ясна. Он изложил ее доходчиво и кратко. Сейчас он шофер второго класса, а к концу года получит первый. Через год попытается поступить в институт, хочет стать инженером-автомобилистом, возможно - конструктором. И только. Ни больше ни меньше. Что отец его эмигрант, враг советского строя - он не скрывал и не намерен скрывать. Они расстались навсегда. Подобно отцу, он мог стать чиновником, или коммерсантом, или переводчиком у японцев. Японским языком он владеет почти так же, как русским. Он мог, наконец, остаться на той стороне. Хотя в Россию его никто не приглашал, но и из Харбина не выгоняли. Он уехал по собственной воле и считает, что это был первый действительно

верный шаг в его самостоятельной жизни. Был ли отец против его отъезда? Нет! Больше того, именно отец первый подал ему эту мысль. Он сказал: "Ты, Серафим, русский, родился в России, должен жить и умереть там". За эти слова ему превеликое спасибо. Сам отец не собирается возвращаться на родину. У него свои счета с Советской властью. До революции он был видным чиновником, состоятельным человеком, имел трехэтажный дом в Воронеже, прекрасную дачу в Ялте, приличный счет в банке. В шестнадцатом году он перебрался в Москву, купил скромный домик из девяти комнат с чудесным садом и, главное, автомобиль. Автомобиль французской марки, о котором мечтал долгие годы. И все это через год вылетело в трубу. А тут еще политические разногласия... Помирить кадетов и большевиков было невозможно, а старик был активным членом партии кадетов.

Вот так... Значит, с отцом у Мигалкина дороги разошлись...

Если следствие хочет знать, почему он остановился на профессии шофера, ответить нетрудно: еще мальчишкой тянулся к ней, любил ее и не думал ни о чем другом.

Знает ли он о том, что школа в Харбине, которую он окончил, готовила диверсантов и террористов? Точно не знает. Ходили слухи. Но ему лично никто и никогда никаких предложений не делал.

По делу, которое интересует следствие, готов сообщить все без утайки. Да, он действительно подвез на своей трехтонке со станции в город в ночь с двенадцатого на тринадцатое февраля двух пассажиров: мужчину и женщину. Нет, сам он не набивался. Наоборот, они напросились. Встретился с ними на перроне часа три спустя после прохода поезда возле багажного склада, где получал четыре ящика с запасными частями.

Мужчина спросил его, где можно остановиться приедем Мигалкин ответил, что гостиницы в городе нет, приезжие устраиваются кто как может, но он знает одну квартирную хозяйку, у которой раньше жил. Речь шла о Кульковой. Мужчина согласился - на том и порешили. Перед чем как отправиться в путь, мужчина обратился со вторым вопросом: не слышал ли Мигалкин о ветвраче Проскуракове, жителе города? Мигалкин не знал Проскуракова.

О Кульковой он может сказать, что это особа жадная и сварливая. Живет на доходы от двух коров и квартиры, которую сдает приезжим. В прошлом она совершила какие-то преступления, о которых рассказывает очень туманно и без особого желания. Кулькова - женщина со странностями. Супружеской жизни не признает, но очень любит детей. Совершенно не употребляет в пищу мяса, однако пристрастна к спиртным напиткам.

Знала ли Кулькова мужчину и женщину, что приехали ночью в город? Нет, не знала. В этом Мигалкин уверен.

Может ли он описать внешность незнакомца? Конечно! Он хорошо разглядел его. Это мужчина лет тридцати пяти, выше среднего роста, с запоминающимся, открытым, энергичным, гладко выбритым лицом и большим лбом. Недурен собой. На таких обычно обращают внимание.

Вот все, что рассказал Мигалкин. И это было уже известно по материалам допроса уголовного розыска.

Геннадий попытался для большего воздействия повысить голос, но Мигалкин спокойно и вежливо предупредил его:

- Можно говорить тише. У меня отличный слух.

В конце допроса Геннадий снова применил, как и в разговоре с Кульковой, провокационный ход.

- Мы располагаем данными, что вы не случайно встретились с попутчиками на станции, а ездили встречать их.

Мигалкин опять-таки очень вежливо и резонно ответил:

- Если об одном и том же Двое говорят по-разному, то кто-то из них лжет и пытается ввести следствие в заблуждение. В ваших силах проверить как мои показания, так и данные, о которых вы упомянули. И тот, кто лжет, получит удовольствие познакомиться со статьей, о которой вы предупредили меня перед допросом...

Нет-нет... Мигалкин был парень очень смысленный, рассудительный, и Геннадий, мне

думается, понял это.

Когда мы остались одни, а это произошло около одиннадцати ночи, Безродный сказал:

- Надо во что бы то ни стало расколоть эту контру.

- Кого конкретно вы имеете в виду? - счел нужным уточнить я.

- Обоих, - угрюмо ответил Безродный.

- Вы уверены, что они контрреволюционеры?

- Я убежден, что они соучастники преступления. Налицо сговор.

- Так вы убедите и нас в этом, товарищ старший лейтенант! - попросил Дим-Димыч.

- Постараюсь, - ядовито заметил Безродный и посмотрел на стенные часы. - Теперь отдыхать.

Завтра с утра вы, товарищ Трапезников, загляните в берлогу Кульковой и побеседуйте с жильцами. А вы... - Он повернулся к Брагину.

- Я хочу предложить... - неосторожно прервал его Дим-Димыч, но Геннадий не дал ему высказаться.

- Вы будете делать то, что прикажу я. Договоритесь в больнице, чтобы труп убитой положили в ледник и сохранили. Это раз. Сходите в автохозяйство, где работает Мигалкин, и возьмите на него характеристику. Это два. Установите, живет ли в городе ветврач Проскуряков, и соберите сведения о нем. Это три. Договоритесь с уголовным розыском, чтобы размножили фото убитой. Это четыре. Пока все. Ясно?

- Предельно, товарищ старший лейтенант! - ответил Дим-Димыч.

15 февраля 1939 г.

(среда)

Утром каждый занимался своим делом. Дим-Димыч отправился в больницу. Безродный опять вызвал на допрос Кулькову, а я пошел на Старолужскую улицу.

Какое-то чувство подсказывало мне, что я понапрасну трачу время.

Стоило только переступить порог входной двери, как весь дом ожил и зашевелился, словно встревоженный муравейник. По коридорам зашлепали босые ноги, зашаркали башмаки, началось многоголосое шушуканье.

Я постоял некоторое время, осваиваясь с полумраком, и постучал в первую дверь налево.

Меня встретила улыбающаяся женщина. С ее разрешения я вошел в комнату, сел на расшатанный стул и повел беседу. За стеной в коридоре все время улавливались какие-то подозрительные шорохи. Они меня нервировали. Я шагнул к двери, толкнул ее: прилипнув к косяку, стояла курносая девчонка лет двенадцати.

- Ты что здесь торчишь? - строго спросил я.

Она прыснула, прикрыла рот рукой и убежала...

Я обошел шесть квартир и покинул злополучный дом уже под вечер, усталый и голодный.

Предчувствие мое оправдалось. Ничего интересного беседы не дали. О Кульковой говорили всякие небылицы, но к делу это не имело никакого отношения.

Наконец дом на Старолужской улице остался далеко позади, и я вернулся в районное отделение.

Дим-Димыч все поручения Безродного выполнил. Автохозяйство дало Мигалкину блестящую характеристику.

Ветврач Проскуряков Никодим Сергеевич действительно жил в городе, но совсем недавно, месяц назад, умер.

Доложить результаты Безродному сразу не удалось. Запершись в кабинете, он что-то печатал на пишущей машинке.

Пользуясь передышкой, мы - я, Дим-Димыч и Каменщиков - сели в дежурной комнате и стали обмениваться мнениями. Для меня было ясно, что следствие зашло в тупик. Руководство управления допустило ошибку, согласившись с доводами Каменщикова и приняв это дело в свое производство. Пока я не видел под ним никакой политической подоплеки.

Вот если бы к убийству имели непосредственное отношение Мигалкин и Кулькова, тогда можно было бы что-то предполагать, подозревать. А сейчас вся эта таинственная история

оборачивалась самым банальным образом. По-видимому, муж решил избавиться от своей благоверной - мало ли причин к этому, - завез ее в глубокую провинцию и тут совершил свой злодейский замысел. Правда, он почему-то прибег к такому необычному способу, как эмболия, но тут уж дело вкуса. Кому что нравится!

Я высказал свое мнение Каменщикову и Дим-Димычу и добавил, что было бы правильно немедленно возвратить все материалы уголовному розыску.

Каменщиков запротестовал. Он, как и Безродный, придерживался точки зрения, что и Кулькова, и Мигалкин причастны к убийству, и был против возвращения материалов органам милиции.

Дим-Димыч согласился с Каменщиковым в той части, что материалы не следует возвращать милиции, по крайней мере до той поры, пока

не станет окончательно ясно, что налицо чисто уголовное преступление. А относительно причастности к убийству Кульковой и Мигалкина мнение его не расходилось с моим.

- Мы должны, - сказал Дим-Димыч, - наметить себе минимум и осуществить его. Этим минимумом я считаю опознание убитой и установление личности ее спутника. Только тогда нам, возможно, удастся определить, с чем мы столкнулись: с уголовным или политическим преступлением. А сейчас мы топчемся на месте.

Младший лейтенант Каменщиков кивнул головой:

- Полностью согласен с вами, товарищ Брагин. Что же предпринять, чтобы выполнить этот минимум?

- Подумать надо, - ответил Дим-Димыч. - Задача слагается из двух частей: из опознания убитой и установления личности живого. Я бы на вашем месте мобилизовал сейчас все возможности и попытался выяснить: покинул город этот таинственный субъект или скрывается здесь? Можно это проделать? Безусловно. Давайте рассуждать так: предположим, незнакомец покинул город тотчас после убийства. До станции, кажется, семьдесят километров?

Каменщиков снова кивнул.

- Он мог рискнуть добраться пешком, но едва ли, - продолжал Дим-Димыч. - Скорее всего, воспользовался попутной машиной. Если так, то он облегчил не только свой путь, но и Нашу задачу. Выяснить, чьи машины за эти двое суток ходили в сторону вокзала, не такая уж сложная задача. Наконец, его могли видеть на станции. Ведь говорит же Мигалкин, что у незнакомца запоминающаяся физиономия. Он покупал билет. Он ходил по перрону в ожидании поезда. Возможно, заглянул в буфет. Пассажиров на вашей станции не густо, и новый человек легко запоминается.

Мысль Дим-Димыча мне понравилась, и я попытался развить ее:

- А если он направил свои стопы не на станцию, а в другую сторону, то все равно прибег к машине.

- Конечно! - согласился Каменщиков.

Мы с увлечением принялись обсуждать новый вариант, и в это время вошел Безродный со стопкой бумаг под мышкой.

Он выслушал поочередно меня и Дим-Димыча и сказал:

- Я предлагаю арестовать Мигалкина.

Мы остолбенели от неожиданности.

- Предложение по меньшей мере неостроумное, - не сдержался Дим-Димыч.

- Об этом разрешите думать мне, - ответил Геннадий.

- Думайте, сколько вам угодно, товарищ старший лейтенант, - не остался в долгу Дим-Димыч, - но разрешите и мне иметь собственное мнение.

- Разрешаю, - съязвил Геннадий. - Только не носитесь со своим мнением, как с писаной торбой. На вас напала куриная слепота. Именно слепота! Кулькова призналась и дала показания, что была предупреждена Мигалкиным о появлении ночных гостей.

Лицо у меня, кажется, вытянулось. Раскрыл глаза пошире, чем обычно, и Дим-Димыч. Ни он, ни я, конечно, не могли и предполагать такого поворота дела.

- Что вы скажете теперь? - обратился к Дим-Димычу Геннадий.
- Ничего, - коротко изрек тот. - Прежде всего я посмею испросить вашего разрешения и ознакомиться с показаниями Кульковой.

- Пожалуйста! - с усмешкой ответил Геннадий, подал Дим-Димычу протокол, а сам достал портсигар и закурил.

Да, действительно, в протоколе черным по белому было записано, что Мигалкин, прежде чем отправиться на вокзал, зашел на квартиру к Кульковой и предупредил, что привезет двух гостей: мужчину и женщину. И все. Но, кажется, достаточно и этого. Значит, Мигалкин не тот парень, за которого я и Дим-Димыч его приняли. Значит, правы Безродный и Каменщиков.

- Кулькова тверда в своих показаниях? - спросил Дим-Димыч.

- Как это понять? - задал встречный вопрос Геннадий.

Дим-Димыч подумал, подыскал более мягкую формулировку и спросил:

- Не колеблется?

- Это не наше дело. Что записано пером, того не вырубишь топором.

Дим-Димыч пожал плечами:

- Не находите ли вы целесообразным, прежде чем арестовать Мигалкина, сделать ему очную ставку с Кульковой?

- Не исключаю, - заявил Геннадий. - Очная ставка неизбежна.

- Тогда следует допросить Кулькову еще раз, - пояснил свою мысль Дим-Димыч.

Геннадий вскинул брови и насторожился:

- Зачем?

- Чтобы уточнить ряд деталей, без которых очная ставка может превратиться в пшик...

- Именно?

- Следствие должно точно знать, в какое время суток зашел Мигалкин к Кульковой, кто может подтвердить его визит, иначе на очной ставке Мигалкин положит Кулькову на обе лопатки. А этого в протоколе нет.

Безродный задумался.

- Во всяком случае, - заговорил он наконец, ни к кому конкретно не обращаясь, - эти подробности можно уточнить в процессе самой очной ставки.

Тут вмешался я:

- Рискованно...

- Вот именно! - присоединил свой голос Дим-Димыч. - И к тому же тактически неправильно и, если хотите, неграмотно. Прежде чем допрашивать подозреваемых на очной ставке, мы сами должны знать, что ответит на этот вопрос Кулькова. Это же очень важно.

- Даже очень? - сыронизировал Геннадий.

- Безусловно! - подчеркнул Дим-Димыч. - Вы знаете, что такое алиби?

- Допустим, - заметил Геннадий с той же иронией.

- Предположите на минуту, что на вопрос, в какое время к ней заходил Мигалкин, Кулькова ответит - в семнадцать часов, - продолжал рассуждать Дим-Димыч.

- Ну... - затягиваясь папиросой, буркнул Геннадий.

- А Мигалкин рассмеется ей в лицо и заявит: "Не фантазируйте, Олимпиада Гавриловна, именно в это время я сидел на производственном совещании в автобазе".

- А мы проверим, - вставил Каменщиков.

- Конечно, проверим, - согласился Дим-Димыч. - Но прежде чем мы это сделаем, очная ставка будет провалена.

Дим-Димыч был прав. Это понимал я, понял Каменщиков и должен был понять Безродный. Но я ошибся, Безродный не хотел понимать. Он отмел разумные предложения Дим-Димыча.

- Не будем залезать в дебри и делать из мухи слона. Если бы да кабы, да во рту росли грибы... Мигалкин не выкрутится. За это я могу поручиться. И как только его загребем - сразу заговорит. А загребать его надо, не теряя времени.

- Без очной ставки? - спросил Дим-Димыч.

- А что? - удивился Геннадий.

- Никакой мало-мальски уважающий себя прокурор не даст нам санкцию на арест Мигалкина, - твердо проговорил я. - Почему мы должны не верить Мигалкину и, наоборот, верить Кульковой, показания которой ничем не документированы?

- Попробуем обойтись без прокурора, - безапелляционно произнес Геннадий. - Нам за это головы не снимут, а вот если Мигалкин скроется или сговорится с Кульковой и заставит ее отказаться от своих показаний, то холки нам намнут основательно.

- Я не вижу оснований нарушать революционную законность, - решительно заявил Дим-Димыч. - А посему убедительно прошу вас, товарищ старший лейтенант, отстранить меня от участия в следствии.

Молодец Дим-Димыч! Смело, но правильно, правдиво, честно.

Геннадий, кажется, на минуту растерялся, но быстро взял себя в руки и зло сказал:

- Лучше поздно, чем никогда. Можете считать себя свободным. - И, посмотрев на часы, обратился к Каменщикову: - Обеспечьте лейтенанта Брагина транспортом до станции.

Дим-Димыч молча кивнул и, повернувшись на каблуках, вышел. Геннадий взял со стола протокол, подал его мне и спросил:

- Надеюсь, вы не повторите глупость своего дружка?

- Не надейтесь, - сказал я значительно мягче, чем Дим-Димыч. - Я, пожалуй, тоже уеду...

Геннадий деланно рассмеялся.

- Не смею вас задерживать... Трусы в карты не играют. - Он взял из моих рук протокол, отдал его Каменщикову и тоном приказа предложил: - Пишите постановление...

16 февраля 1939 г.

(четверг)

Поздно ночью меня и Дим-Димыча слушали Осадчий и Кочергин. Как мы и рассчитывали, Геннадий связался с управлением по телефону и предупредил майора Осадчего обо всем, что произошло. По выражению лица начальника управления видно было, что он не одобряет наше поведение. Капитан Кочергин молчал, лицо у него было непроницаемое.

Мы доложили все, что считали нужным. По нашему мнению, Безродный, не исчерпав всех возможностей для опознания убитой и установления убийцы, стал на неправильный, незаконный путь и пытался толкнуть на него нас.

Осадчий спросил, что мы имеем в виду под возможностями, которые игнорировал Безродный.

Дим-Димыч подробно изложил наш план действий.

- С этого и надо бы начинать... - заметил Кочергин.

- Да, пожалуй, - без особенного энтузиазма согласился майор Осадчий и обратился ко мне: - Ваше предложение?

- Если Мигалкин арестован, освободить его, - сказал я. - А все материалы передать органам милиций.

- А вы что скажете, товарищ Брагин?

- С первой частью предложения товарища Трапезникова я согласен, произнес Дим-Димыч. - А со второй нет. Мне думается, что до опознания убитой и установления личности убийцы возвращать дело органам милиции не следует.

- Так-так... - неопределенно произнес Осадчий. - Ну хорошо. Можете быть свободными...

Мы покинули кабинет.

Теперь следует рассказать о том, что произошло в промежутке времени между нашим разговором с Безродным в райотделении и докладом у начальника управления.

Когда мы уже сели в "газик", чтобы отправиться на вокзал, Дим-Димыч решил заглянуть к Кульковой и уточнить ее показания о Мигалкине. Я, хотя и не без сопротивления, согласился. В доме на Старолужской улице мы пробыли ровно столько, сколько потребовалось, чтобы задать Кульковой два вопроса и получить на них ответы. На первый вопрос Дим-Димыча, когда и в какое время суток Мигалкин предупредил ее о том, что доставит ей квартирантов, Кулькова, подумав немного, ответила: "Произошло это

двенадцатого февраля утром, примерно между девятью и десятью часами". На второй вопрос, кто может подтвердить этот факт, Кулькова заявила: "Об этом лучше всего спросить самого Мигалкина". Она была еще в постели и не может сказать, кто видел его входящим в дом.

Дим-Димыч приказал шоферу везти нас в автохозяйство. Мигалкина там не оказалось. Дежурный нарядчик дал нам домашний адрес Мигалкина, и мы отправились к нему на квартиру.

Наш визит его несколько не смутил, и я отметил про себя, что так может вести себя человек с большой выдержкой или абсолютно не чувствующий за собой никакой вины.

- Где вы были двенадцатого февраля утром? - спросил Дим-Димыч.

- Утром? - переспросил Мигалкин. - В шесть часов или немного раньше я выехал на своей трехтонке в совхоз имени Куйбышева и вернулся в город, когда уже стемнело. В хозяйстве мне передали телефонограмму директора с приказом получить груз Гутапсбыта. Не заезжая домой, я перекусил у механика и поехал на станцию.

- А до совхоза далеко? - поинтересовался я.

- Двадцать восемь километров.

- Что же вы делали там весь день?

Мигалкин охотно объяснил. Автобаза взяла у совхоза мотор на капитальный ремонт. После ремонта мотор обкатали на стенде, отвезли и помогли установить на полуторку. Все это заняло немало времени...

Мигалкин отлично понимал, что наши вопросы вызваны не простым любопытством. И когда возникла необходимость подтверждения этих сведений, он улыбнулся, надел шапку, пальто и сказал:

- Поедемте... Сейчас вам все станет ясно.

Через несколько минут машина подвезла нас к приземистому рубленому домику, засыпанному до самых окон снегом.

Как только мы вышли из "газика", огромный, свирепого вида пес с хриплым лаем заметался по небольшому дворику.

Из дома вышел пожилой седоголовый мужчина с отвисшими, как у Тараса Шевченко, усами и направился к машине.

- Это наш механик и секретарь парторганизации товарищ Омельченко, сказал Мигалкин. - Задайте ему тот вопрос, который вы задали мне.

- Прошу, заходите, - пригласил нас Омельченко. - Иди прочь, Шавка! прикрикнул он на собаку. - Черт тебя мордует...

- Спасибо, мы торопимся на поезд, - пояснил Дим-Димыч. - Вы нам нужны на одну секунду... Омельченко загнал пса в сени дома и вышел уже в шапке и полушубке, накинутом на плечи.

- Просим прощения за неожиданный визит и беспокойство, - обратился Дим-Димыч к Омельченко. - Нас интересует маленькая подробность: где весь день двенадцатого февраля был ваш шофер товарищ Мигалкин?

- Двенадцатого февраля? В воскресенье?

- Совершенно верно.

Омельченко посмотрел с некоторым недоумением на Мигалкина:

- А чего же вы не спросите его?

Мигалкин усмехнулся:

- Так, видно, надо, Сергей Харитонович...

Омельченко покачал головой и, извлекая из кармана кисет с табаком, сказал:

- Он был в совхозе. Со мной вместе, в совхозе. Мотор мы туда возили и устанавливали на машину. Это вас устроит?

- Вполне, Сергей Харитонович, - проговорил Дим-Димыч.

- А в котором часу вы туда выехали? - поинтересовался я.

- От моей избы отъехали ровно в шесть...

Мы тепло распрощались с симпатичным механиком. Я хотел было сделать то же самое с

Мигалкиным, но Дим-Димыч взял его под руку и повел к "газику".

- Вас не затруднит, - начал Дим-Димыч, - выполнить одно наше поручение?

- Если оно в моих силах, я к вашим услугам, - ответил Мигалкин.

- Конечно, в ваших силах. Вы не меньше нас заинтересованы в том, чтобы отыскать таинственного ночного пассажира...

- Ах, вот в чем дело! - закивал Мигалкин. - Слушаю вас...

Поручение было довольно хлопотливым. Надо было выяснить, чьи машины и куда именно выходили из города тринадцатого и четырнадцатого февраля и не воспользовался ли услугами одной из них ночной гость Кульковой.

Потом Дим-Димыч спросил Мигалкина:

- Омельченко знает о происшествии на Старолужской?

- Хм... Об этом знает весь город...

- А знает Омельченко, что мужчину и женщину к Кульковой доставили вы?

- Да! - твердо ответил Мигалкин. - Я сам сказал ему.

- Тогда попросите своего механика помочь вам.

- Понимаю... Разобьемся в лепешку...

Когда мы простились с Мигалкиным и направились к машине, Дим-Димыч сказал:

- Ну?

- Чего тебе?

- Прав я был относительно алиби?

- Получается, так... А почему ты не дал хотя бы адреса своего Мигалкину? Ведь он мог бы написать или телеграмму дать...

Дим-Димыч вздохнул:

- Боюсь, что Геннадий лишит его этой возможности. Но за Мигалкина это сделает Омельченко. Можешь быть в этом уверен.

24 февраля 1939 г.

(пятница)

Минула неделя. Я и Дим-Димыч опять едем в тот же райцентр и по тому же самому делу.

Почему и как это произошло? Безродный арестовал не только Мигалкина, но и Кулькову. Этого следовало ожидать: пытаясь запутать Мигалкина, Кулькова, естественно, не могла не запутать себя.

Районный прокурор выразил протест и довел до сведения областного прокурора... И колесо закрутилось...

Если бы Безродный располагал откровенными признаниями арестованных, или убедительными показаниями свидетелей, или, наконец, неопровержимыми документальными уликами, вещественными доказательствами, то любой прокурор, как человек государственный и заинтересованный в разоблачении и пресечении зла, мог бы в какой-то мере оправдать его действия, понять необходимость срочных мер и связанное с этим нарушение уголовно-процессуальных норм. Беда же заключалась в том, что Безродный не располагал ничем Кулькова, категорически отвергая обвинение в убийстве, заявила, однако, что была предупреждена Мигалкиным. На очной ставке Кулькова изменила свои показания и сказала, что Мигалкин посетил ее не утром, а вечером. Мигалкин, конечно, не признавал себя виновным. Следствие окончательно зашло в тупик, а настоящий преступник в это время разгуливал на свободе.

После нескольких звонков областной прокурора начальник управления Осадчий вынужден был дать указание об освобождении из-под стражи Мигалкина и Кульковой.

Безродный приехал вчера утром и подал рапорт Осадчему с протестом против освобождения арестованных. В этом же рапорте он отказывался вести дело в таких условиях и просил отстранить его от дальнейшего участия в следствии.

Вчера же вечером Кочергин сказал мне, что Осадчий решил передать ведение дела мне и Дим-Димычу, хотя я, откровенно говоря, считал это бессмысленным и, как известно, настаивал на возвращении его уголовному розыску. Но если начальство приказывает, надо

засучивать рукава и приниматься за работу.

Кочергин приказал наметить план действия и ровно через час доложить ему. Точно в назначенный срок я и Дим-Димыч предстали перед капитаном Кочергиным с очень подробным планом, который он, внимательно просмотрев, утвердил.

- План планом, - заметил он, - а жизнь остается жизнью. Ориентируйтесь на месте и сообразуйте свои действия с обстоятельствами. Одна маленькая деталь может перечеркнуть весь наш план, и он пойдет насмарку... - И, помолчав, добавил: - А младший лейтенант Каменщиков молодчина!

- Почему, товарищ капитан? - поинтересовался Дим-Димыч.

- Чутье есть. А это очень важно.

- А вы не допускаете, что он ошибся в постановке диагноза? - спросил я.

- Пока не допускаю. - Кочергин выдвинул ящик письменного стола, порылся в нем и вынул маленькую записную книжку. - Хочу поведать вам одну маленькую историю. В мае минувшего года я был в командировке в Благовещенске. Там незадолго до моего приезда имел место любопытный случай. На окраине города в частном домике китайца или корейца, точно не помню, был обнаружен труп мужчины средних лет. Работники розыска и эксперты долго не могли опознать труп и определить причину смерти. Наконец удалось все выяснить. Жертвой оказался работник одной из гостиниц, а умер он знаете от чего? От введения в вену нескольких кубиков воздуха. Как?

- Интересно! - вырвалось у меня.

- Даже очень, - добавил Дим-Димыч.

- Характерно, что, как и у нас, убийству предшествовала основательная выпивка и на жертве не оказалось ничего, что могло бы помочь опознанию личности.

- И преступление осталось нераскрытым? - спросил я, заранее предвидя утвердительный ответ.

- Не совсем, - заметил Кочергин. - Преступника схватили, но он убил одного оперработника, ранил другого и скрылся. И самое замечательное то, что убийца, как мне помнится, по своему внешнему виду мало чем отличается от ночного гостя Кульковой.

- Все это чрезвычайно важно, - произнес Дим-Димыч и стал что-то записывать на листке бумаги.

- И еще одна подробность, - продолжал Кочергин. - Если я не путаю этой истории с другой, совпадавшей с нею по времени, но не имеющей к ней никакого отношения, убитый оказался недавним жителем Благовещенска. До этого он работал в Москве и был связан с иностранной разведкой. Но чтобы уточнить... - Он подал мне бланк шифротелеграммы, - запросим Благовещенск.

Я вооружился ручкой и под диктовку Кочергина написал телеграмму. В ней мы запрашивали все имеющиеся сведения об убийце и убитом.

Одновременно были составлены тексты телеграмм в соседние областные центры с просьбой уведомить нас о возможном исчезновении молодой женщины, приметы которой мы сообщали.

А два часа спустя я и Дим-Димыч сидели уже в накуренном вагоне и мчались в райцентр.

26 февраля 1939 г.

(воскресенье)

Капитан Кочергин был прав. Жизнь вносила коррективы. Мы не успели выполнить ни одного намеченного планом пункта. Буквально ни одного. Все осталось на бумаге. Обстановка на месте, что тоже предвидел Кочергин, заставила нас поступать "сообразно обстоятельствам".

Попытаюсь изложить все по порядку.

Перед выездом Дим-Димыч связался по телефону с младшим лейтенантом Каменщиковым. Он попросил прислать к приходу поезда "газик" и предупредить шофера Мигалкина о нашем приезде.

На перроне нас встретил Мигалкин и передал записку Каменщикова. Тот писал, что

посылает машину, а сам приехать не может, так как второй день идет пленум райкома. Кстати, мы и не просили его встречать нас.

Мигалкин выполнил очень добросовестно поручение Дим-Димыча. Вернее, выполнили Мигалкин и механик Омельченко. Им удалось выяснить, что в четыре часа утра тринадцатого февраля, когда город еще окутывала ночная февральская темень, грузовую машину "Союзплодоовощ", направлявшуюся с бочками засоленной капусты в станционный поселок, остановил неизвестный. Он просил подбросить его на станцию. Заплатил за услугу двадцать пять рублей.

После ареста Мигалкина механик продолжал поиски. Он отправился на вокзал и стал беседовать с железнодорожниками. Ему рассказали, что "видный мужчина в коричневом пальто с поясом и с небольшим чемоданом в руке" проболтался на вокзале около четырех часов, пропустил два поезда в сторону Москвы и сел лишь на третий.

Приметы и одежда незнакомца совпадали с теми, которые сообщили Мигалкин и Кулькова. На этом деятельность Омельченко прекратилась.

Возобновилась она лишь после освобождения из-под стражи Мигалкина, то есть двадцать третьего числа. Мигалкин решил узнать, почему незнакомец не уехал со станции сразу, а пропустил два поезда. Оказалось, что на проходившие в сторону Москвы тринадцатого числа поезда билетов в кассе было сколько угодно. Должно быть, незнакомец задерживался по другой причине. Но по какой? Пришлось побеседовать со многими людьми. Однако никто не знал. Мужчина не разговаривал с пассажирами и тем более со служащими станции. Только случайно Мигалкин в разговоре со своим знакомым, сцепщиком вагонов, выяснил одну деталь.

Возвращаясь с ночного дежурства, сцепщик увидел около багажного склада мужчину в коричневом пальто и с небольшим чемоданом в руке. Он заглядывал в щель закрытой двери, трогал висячий замок. Поведение чужого человека показалось подозрительным: что ему надо? Хотя и одет вроде прилично, но все бродит у склада и присматривается. Сцепщик залез в пустой вагон на запасном пути и стал наблюдать за складом.

Незнакомец дважды подходил к закрытой двери и дважды возвращался в зал ожидания. На третий раз он столкнулся около склада со стрелочницей, о чем-то поговорил с нею и, махнув рукой, удалился. Больше сцепщик его не видел. Он спросил стрелочницу, что это за человек и зачем ходит возле склада. К великому его разочарованию, мужчина интересовался не складом, а кладовщиком, ему нужно было получить чемодан, который он сдал на хранение накануне.

"Придется подождать, - посоветовала незнакомцу стрелочница. - Кладовщик ночью принимал груз и поранил руку. Его отправили в городскую больницу".

- Вот все, что мы смогли сделать по вашему поручению, - окончил свой рассказ Мигалкин.

- Сделано немало, - одобрил Дим-Димыч. - А где находится склад?

- За станцией, около пути.

Мигалкин повел нас в конец перрона к серому казенному зданию, где помещались склад и камера хранения ручной клади.

Кладовщик, хмурый, бородатый мужчина с перевязанной рукой, выслушал нас и сообщил, что действительно принимал на хранение чемодан и он все еще лежит в ожидании хозяйка.

- Где он? - не скрывая волнения, спросил Дим-Димыч.

Кладовщик включил свет, и на боковой полке мы увидели элегантный желтый чемодан, перехваченный двумя ремнями. Он!.. Не могло быть сомнений! Впрочем, другого чемодана на полках не было; рядом с ним стоял деревенский сундук и бак для варки белья. И, кажется, еще какая-то корзина. Но это нас уже не интересовало. Пульс мой зачастил, что бывало всегда, когда судьба выводила меня на горячий след.

- Вот он, - показал кладовщик и с помощью Мигалкина одной рукой стал снимать чемодан с полки.

- Кто сдал его? - осведомился Дим-Димыч.

- Мужчина и женщина, но записан на мужчину.

- Когда сдали?

- А у меня есть корешок квитанции. - Кладовщик порылся в настольном ящичке среди бумаг, отыскал, что нужно, и подал нам: - Вот, пожалуйста... Двенадцатого февраля... Фамилия Иванов... Оценен в сто рублей... Сдан на трое суток...

- Закройте дверь, - попросил Дим-Димыч. - Нам надо познакомиться с содержимым чемодана.

Чемодан был заперт на два замка, но они довольно легко поддались. Не без волнения я поднял крышку. Внутри оказались: шерстяная серая шаль, три носовых платка, пара теплых женских чулок, кожаный пояс, прочно закупоренная и перевязанная бинтом банка с вареньем, отрез синего шевиота, чистая ученическая тетрадь в клетку и томик Чехова. И все. Мы прощупали до ниточки каждую вещь, убедились, что закрытая банка, кроме вишневого варенья, ничего не содержит, и, явно расстроенные, уложили все обратно в чемодан.

Я уже готов был захлопнуть крышку, как Мигалкин сказал вдруг:

- А что, если еще раз полистать книгу?

- Полистайте, - унылым голосом разрешил Дим-Димыч.

Мигалкин взял томик Чехова и начал перелистывать каждую страницу, изредка поплеывая на пальцы. Он искал надписи или пометки. Не знаю, как Дим-Димыч, но я не ожидал каких-либо открытий, однако не отводил взгляда от быстро работавших пальцев Мигалкина.

Стоп! Что это? Из томика Чехова выпала на цементный пол какая-то бумажка размером в листок отрывного календаря.

Я быстро поднял ее и подошел поближе к электролампочке.

Счет... да, это счет. Ресторанный счет, какие официанты обычно предъявляют клиентам...

Благодаря этому жалкому листочку бумаги мы предали забвению план, разработанный нами же самими и утвержденный Кочергиным, и, не заглянув даже в районный центр, первым проходящим поездом выехали обратно.

Младшему лейтенанту Каменщикову через Мигалкина мы послали письмо. Просили установить наблюдение за складом, возможно, "Иванов" пожалует за чемоданом. Напомнили и о трупe женщины - пусть по-прежнему хранят его на леднике.

28 февраля 1939 г.

(вторник)

- Любопытная подробность, - сдержанно проговорил Кочергин, всматриваясь в лоскуток бумаги. - Очень любопытная. Что же вы думаете по этому поводу?

Я и Дим-Димыч думали всю дорогу. Благо, что удалось сесть в совершенно пустое купе и никто не мешал нам высказывать догадки, предположения, спорить, опровергать нами же выдвинутые планы и тут же вырабатывать новые.

Мы выложили свои соображения. Счет вырван из блокнотной книжечки, какие обычно бывают у официантов. Вырван неровно, линия отрыва нарушена. От названия ресторана сохранились лишь четыре последние буквы - "наль". Это очень существенно. Думать, что это московский "Националь", наивно, ибо в правом нижнем уголке счета ясно виден текст, набранный петитом: "Областная типография... заказ номер... тираж..." Не станет же московский ресторан заказывать себе бланки счетов в областном городе!

Далее. По наименованию блюд, перечисленных в счете, можно предположить, что это был ужин, а не обед и не завтрак, а по количеству блюд - что в нем принимало участие пять персон. Еще деталь: из пяти персон две были дама. Почему? А вот почему: в счете названы бутылка муската, наряду с бутылкой водки, два пирожных "эклер", две плитки шоколада, две порции мороженого. Мужчины редко к этому прибегают. Еще подробность: ужин был обилен и продолжителен. Об этом говорит смена порционных блюд и итоговая сумма. И, наконец, самое главное - дата под счетом. Ужин состоялся десятого февраля. Хотя год и не поставлен, но, не боясь ошибки, можно дописать цифру - 1939.

Коль скоро компания ужинала десятого, а двенадцатого чемодан оказался в самой глубине нашей области, то можно, да и следует, думать, что ресторан с окончанием на "наль" находится где-то в ближайшей округе.

Если мы узнаем местонахождение ресторана, нам нетрудно будет по почерку отыскать официанта, обслуживавшего столик. Возможно, он запомнил своих клиентов.

- Резонно! - одобрил Кочергин. - Но не следует быть твердо уверенным, что жертва или убийца непременно участвовали в ужине. Так?

Я кивнул. Я умел быстро соглашаться с доводами начальства, а Дим-Димыч возразил:

- Ну, если оба не участвовали, то уж во всяком случае она-то в ресторане была. Чемодан, судя по вещам, принадлежит женщине.

- Возможно, и так, - кивнул Кочергин. - Будущее покажет.

Когда наш доклад был исчерпан, Кочергин предложил нам посидеть в его кабинете, а сам пошел к начальнику управления.

Вернувшись, он сказал:

- Осадчий не в особом восторге от вашей поездки, но наметки одобрил. Зайдите к дежурному по управлению и от имени Осадчего передайте приказание: пусть повиснет на телефоне, обзвонит все соседние управления и выяснит, в каком городе имеется ресторан с названием, оканчивающимся на "наль". Все! Вечер в вашем распоряжении. Отдыхайте!..

Дома я принял ванну и в расслабленно-блаженном состоянии в теплом халате лежал на диване, покручивая регулятор радиоприемника.

Чужеземная музыка нравилась Лидии и даже теще, и я, блуждая в эфире, выискивал для них экзотические танго и блюзы.

Вдруг зазвонил телефон. Я вскочил с дивана и схватил трубку:

- Лейтенант Трапезников слушает...

Говорил капитан Кочергин. Дежурный по управлению связался пять минут назад с Орлом, и оттуда сообщили что у них имеются гостиница и ресторан с окончанием на "наль" и называется полностью "Коммуналь".

- Значит?.. - начал было я.

- Значит, приходите сейчас в управление, - закончил за меня Кочергин, получайте документы и езжайте в Орел. Я туда позвоню, и вас встретят.

- Я один?

- Почему один? Брагин тоже!

- Слушаюсь, - и я повесил трубку.

Сборы заняли несколько минут.

1 марта 1939 г.

(среда)

Утром мы с Дим-Димычем были уже в Орле и обосновались в приличном, но без удобств номере гостиницы "Коммуналь".

И, конечно, сразу приступили к делу.

Бухгалтеру ресторана, представшему перед нашими очами, я предъявил изъятый из томика Чехова счет и спросил:

- Ваша фирма?

- Так точно, - подтвердил тот по-военному.

- Можете определить по почерку, чья это рука?

- Без ошибки! - не колеблясь, ответил бухгалтер. - Счет писал Ремизов. Старый официант. Так сказать, ресторанный корифей.

- А как его повидать?

- Только вечером. С утра он выехал куда-то за город. Вернется прямо на работу.

- Жаль. Ну да ничего не поделаешь. Вечером так вечером... Предупредите Ремизова, что он нам нужен.

- Хорошо.

Мы побродили по городу, который не произвел на нас особого впечатления. Город как город. Дим-Димыч сказал:

- Бывают города лучше - таких много, бывают хуже - таких меньше.

С этим, пожалуй, можно было согласиться. Орел не шел в сравнение с такими же, как и он,

областными центрами: Воронежем, Ростовом, Краснодаром, Ставрополем, не говоря уже об Одессе, Харькове, Горьком. Возможно, что летом, в зелени, он выглядит наряднее, веселее, но сейчас, в марте, заметенный снегом, с нерасчищенными мостовыми и тротуарами, с закованными в лед Окой и Орликом, он показался нам серым, скучным.

Мы заглянули в областное управление, и здесь нас известили о звонке капитана Кочергина. Он искал меня. Я прошел в кабинет начальника секретариата и с его разрешения попросил станцию соединить меня с нашим управлением.

Ответил майор Осадчий. Оказывается, получен ответ из Благовещенска. Данные о неизвестном мужчине совпадают. Он тоже средних лет, блондин, глаза большие, голубые, светлые, шевелюра пышная светло-каштановая. На левой щеке хорошо приметная красная родинка.

Мы вернулись в гостиницу.

Ровно в шесть часов вечера порог нашего скромного номера переступил хмурый по виду и довольно грузный старик, с прямым пробором в седых волосах и с серыми мешками под глазами. На нем была черная, хорошо отглаженная пара. Держался он чересчур прямо. От него веяло этакой величественной холодностью.

- Я есть Ремизов, - представился он вместо приветствия.

По нашему договору беседу с ним должен был вести Дим-Димыч.

Он пригласил официанта сесть возле стола, положил перед ним все тот же счет и спросил:

- Знаком?

Ремизов вооружился старомодными очками в белой металлической оправе, взглянул на бумажку и просто сказал.

- Моя работа.

Я ожидал встречных вопросов. А в чем дело? А зачем это вам? А что случилось?

К людям, которые так поступают, я отношусь с предубеждением. Они или неосторожны и выдают себя, или чрезмерно любопытны, что нескромно, или, наконец, трусоваты из-за не совсем чистой совести.

Ремизов, отрадно отметить, не подпал ни под одну из этих категорий. Вопросов от него не последовало. Он вложил очки в твердый футляр, спрятал его в карман и стал преспокойно курить, будто не имел никакого отношения к счету, лежавшему перед ним.

- Помните этот ужин? - поинтересовался Дим-Димыч.

- Как не помнить? Знатный ужин. Такие не часто у нас бывают в будние дни.

- Клиентов не разглядели? Что за люди?

- Нездешние. Проезжие, видать. Но солидный народ, вежливый, обходительный.

Ремизов обратил наше внимание на детали, которые он подметил сразу. Гости в конце ужина заказали кофе с ликером. Местные этим не шалят. Потом попросили специальные рюмки, а их отродясь не было в ресторане. А местные, уж если доходят до ликера, то пьют его или из бокалов, как вино, или из стопок.

- Сколько же их было? - спросил Дим-Димыч.

- Пять персон. Две дамы и трое мужчин.

"Значит, мы не ошиблись, предположив, что в ужине участвовало пять человек и среди них две женщины", - подумал я.

- И, по моему разумению, четверо состоят в родстве, - заметил Ремизов.

- Почему решили? - полюбопытствовал Дим-Димыч.

- Тут и решать нечего. Одна пара: муж и жена - пожилые люди, а другая молодые. Молодые зовут пожилых папа и мама. Тут же ясно.

- Какого же все-таки возраста были дамы?

- Как вам сказать... Пожилая в пору мне, а молодой самое большее двадцать. Девчонка совсем.

"Черт знает что, - с досадой подумал я. - Из дам ни одна не подходит".

- А мужчины, кавалеры их? - задал Дим-Димыч новый вопрос.

- Хм... кавалеры? Пожилой тоже недалеко от меня ушел, а другой парень безусый. Ну, годков

двадцать пять.

"Так. Двое мужчин тоже отпали", - отметил я.

- А пятый? Вы о пятом забыли сказать, - напомнил Дим-Димыч.

- Почему забыл? Совсем нет. Вы спрашиваете, я отвечаю. Пятый - средних лет, фигуристый такой, светлый, волосы богатые, красивый с виду...

- С родинкой на щеке, вот тут!.. - показал я.

- Не заметил.

- Маленькая родинка, - добавил Дим-Димыч. - Красная.

- Понимаю. Красная, маленькая. Родинки не заметил.

Я шумно вздохнул. Ерунда какая-то! Но при чем тут счет? Как он попал в чемодан?

- Кто рассчитался с вами? - спросил Дим-Димыч.

- Этот фигуристый, светлый и рассчитывался за всех. По всему видать, он и устраивал ужин.

- И никого из этих клиентов вы ранее не встречали?

Ремизов отрицательно покачал головой:

- Не встречал.

Мы отпустили старика и задумались. Разрозненные, беспорядочные мысли закопошились в голове. Ну, хорошо, эти люди не имеют никакого отношения ни к жертве, ни к убийце. Допустим - так. Но счет, счет... Каким образом он попал в чемодан убитой женщины?

Дело вновь заходило в тупик. Перед нами как бы возник глухой высокий барьер, преодолеть который было не в наших силах.

Что же делать дальше? Уж не запомнил ли старик? Быть может, он просто забыл о родинке, хотя и видел ее? Уж не такая это великая примета родинка! Быть может, он ее и не заметил? А если бы не родинка, то все как будто совпадает...

Наши раздумья прервал стук в дверь. Вернулся Ремизов.

- Прошу извинить, вспомнил... - проговорил он, закрывая дверь.

"Слава богу, вспомнил о родинке", - подумал я.

- Вот что я вспомнил, - продолжал Ремизов. - Надо вам поговорить с Никодимом Семеновичем...

Я сдвинул брови. Что такое?

- С каким Никодимом Семеновичем? - спросил Дим-Димыч.

- Скрипач. Первая скрипка в нашем оркестре. Мне сдается, что он знает этого фигуристого человека. Ну, этого, пятого, как вы сказали. Он подзывал Никодима Семеновича к столу, угощал его. Они чокались и пили...

Стоп! Обозначился просвет. Молодец старик! Вновь вспыхнула искра надежды. Быть может, скрипач прольет свет на эту темную историю?

- Оркестр скоро соберется, - добавил Ремизов.

Мы решили спуститься в ресторан поужинать. Да кстати и приглядеться к первой скрипке.

В зале было негусто. Оркестр еще не играл, и на эстраде царил странная тишина.

Мы сели за столик Ремизова, и старик довольно быстро подал нам густую и перенасыщенную всякими пряностями мясную солянку. Надо было обладать исключительным мужеством, чтобы проглотить ее без остатка. Но в ожидании музыкантов пришлось чем-то занимать себя к приносить какие-то жертвы. Правда, местное вино, довольно приятное на вкус, несколько смягчило удар, нанесенный нашим желудкам сборной солянкой.

Наконец из узкой двери в задней стене на эстраду вышли дружной гурьбой музыканты и стали рассаживаться по своим местам.

Первую скрипку мы узнали сразу. Да и нельзя было ее не узнать: она была единственной.

Никодим Семенович, как назвал его Ремизов, этакий молодой хлюст с глазами навывкате, выбритый до синевы, был одет по последнему крику моды и владел своей профессией не так уж плохо. Выходной марш Дунаевского, исполненный первым, не причинил нам никаких неприятностей. Потом музыканты сыграли "Утомленное солнце нежно с морем прощалось", "Давай пожмем друг другу руки", "Рио-Риту", а когда сделали перерыв, мы попросили

Ремизова пригласить к нашему столику Никодима Семеновича.

Он, видимо, привык к этому и, расцветившись профессиональной улыбкой, подошел к нам, как старый знакомый. Мы заказали дополнительно пива и повели деловой разговор.

Увы, нас ожидало разочарование. Блондин, устраивавший ужин десятого февраля, был хорошим знакомым Никодима Семеновича и жил в одном с нами городе, а в Орел попал наездом. Зовут блондина Борис Антонович Селихов. Он музыкант и педагог по профессии. Никодим Семенович лет пять назад учился под началом Селихова в Смоленске. Его адрес - улица Некрасова, дом семь, квартира шестнадцать. И все. И никакой родинки у Селихова нет и не было ранее.

Вспыхнувшая было искра погасла. Записав адрес Селихова, мы распрощались со скрипачом, уложили свое нехитрое барахлишко, рассчитались за номер и, окончательно расстроенные, спустились вниз. Громящий старомодный трамвай потащил нас на вокзал. Прощай, Орел! Здесь нам делать нечего.

В дороге, в который раз за день, мы вновь вернулись к уже не новой мысли. В самом деле, как же все-таки мог счет официанта, врученный Селихову, попасть в чемодан убитой?! Не по воле же духа святого! А что, если напутал Благовещенск? Что, если в самом деле у убийцы нет родинки? Мог же он, допустим, в Благовещенске прилепить себе, как поступают модницы, черную мушку? Вполне! Прилепил, а потом смыл. И ввел следствие в заблуждение. И ничего нет странного в том, что Селихов десятого числа давал банкет, а двенадцатого отправил на тот свет женщину.

Быть может, напрасно мы унываем. Еще, кажется, не все потеряно.

Утром, сойдя с поезда, мы направились, конечно, не в управление, а на улицу Некрасова.

На втором этаже оказалась квартира под номером шестнадцать.

Я вынул из заднего кармана брюк пистолет, снял его с предохранителя и положил в правый карман пальто. На всякий случай. Мало ли что бывает! Дим-Димыч последовал моему примеру.

Согнутым пальцем я настойчиво забарабанил в дверь.

Ее открыла миловидная девушка. На мой вопрос, могу ли я пройти к Борису Антоновичу Селихову, она доброжелательно ответила:

- Пройдите! Вот его дверь. Он, кажется, у себя. Еще рано.

Я взглянул на часы: да, действительно, рановато - семь минут девятого.

Я постучал в дверь. Послышались шаги, и она распахнулась. На пороге стоял мужчина лет сорока, немного ниже меня, блондин, конечно, с роскошной шевелюрой, хорошо сложенный и, странно, напоминавший мне кого-то. На нем были пижамные брюки и спортивная безрукавка. Но родинки не было.

- Вы ко мне? - сдержанно спросил он, оглядывая нас обоих.

- Если вы Селихов, то к вам, - проговорил я.

- Прощу! Простите за беспорядок. На несколько минут я оставлю вас одних. Приведу себя в божеский вид.

Я кивнул, и он вышел. Никакого беспорядка мы не заметили. Убранство комнаты говорило о том, что живет в ней человек с достатком и аккуратный. Свет утреннего солнца через два больших окна заполнял уютную комнату и делал ее еще более уютной. Глухую, самую большую стену занимали стеллажи, заполненные книгами. У другой стены между окнами стояло пианино, а на нем бронзовая Диана венской работы. Ореховую кровать покрывал клетчатый, приятной расцветки плед. Посреди комнаты расположился стол овальной формы, а с него почти до пола свисала тяжелая бархатная скатерть с крупным цветочным рисунком. На этажерке рядом с пианино возвышалась большая стопка нотных тетрадей. Стоячие часы старинной работы в углу комнаты мерно и мягко отстукивали секунды.

Неожиданная мысль встревожила меня. Позвольте, а где же хозяин? Неужели он сообразил, с кем имеет дело, и исчез? Вот это будет номер! Дим-Димыч хотел было уже шагнуть в коридор, но в это время дверь открылась с дружелюбным скрипом и вошел Селихов. На нем была отличная пиджачная пара из синего бостона, белая сорочка и галстук.

- Давайте познакомимся! - предложил я, решив приступить к делу.

- А мы уже знакомы, товарищ Трапезников, - улыбнулся Селихов и подал мне руку. - Я вас помню, а вот вы меня забыли.

Я смущенно рассматривал Селихова, хлопал глазами и призывал на помощь память.

- Мы встречались, - помог мне Селихов, - на совещаниях пропагандистов в райкоме партии.

Я хлопнул себя по лбу: "Правильно! Ну конечно же!"

- Вспомнил! - воскликнул я. - Вы, как мне помнится, работали...

- Работал и работаю, - подхватил Селихов, - заведующим учебной частью музыкальной школы. Садитесь, умоляю.

Я сел, попросил (с небольшим опозданием) прощение за столь ранний визит и заговорил на интересующую нас тему.

- Помогите нам разобраться в запутанной истории... Десятого февраля вы были в Орле?

- Был...

- Устраивали ужин в ресторане "Коммуналь"?

- Устраивал...

- Так... - Я полез в карман. - Вот счет официанта, по которому вы расплачивались за ужин. Объясните, каким образом через двое суток после ужина этот счет смог оказаться за триста километров от Орла на глухой железнодорожной станции в чемодане, сданном в камеру хранения ручной клади?

Обескураженный Селихов смотрел на меня с любопытством, откинувшись на спинку стула. Я озадачил его.

- Понятия не имею. Мне надо вспомнить все последовательно. - Он закинул руки за голову, уставился в потолок и задумался.

- Вы чемодан свой никому не одалживали? - поинтересовался я.

- Боже упаси! - с каким-то испугом ответил Селихов. - У меня один чемодан. Вот, под вешалкой. Но я должен вспомнить все, как было. Скрывать не буду, я выехал из Орла тотчас после ужина, и под солидным градусом. Собственно, что значит под солидным?.. Я был просто, как говорится, на взводе, но помню каждый свой шаг. Надо вот только привести мысли в порядок. Вы не торопитесь?

- Нет-нет, - заверил Дим-Димыч.

- Тогда разрешите мне припомнить все?

- Пожалуйста.

Пока Селихов приводил в порядок свои мысли, мы, чтобы не мешать ему, встали. Дим-Димыч подошел к окну, а я к стеллажу и стал разглядывать книги. Тут были и мои любимые: Лесков, Мамин-Сибиряк, Горький, Джек Лондон. Взгляд задержался на подписном издании Чехова. Я пробежал глазами по корешкам и обратил внимание, что среди книг отсутствует третий том. Поначалу я воспринял это как-то машинально и не придал никакого значения, а потом какой-то внутренний толчок заставил меня вздрогнуть.

- Товарищ Селихов! - нарушил я раздумье хозяина. - Где третий том Чехова?

Селихов быстро обернулся, пристально посмотрел на меня посветлевшими глазами, взъерошил вдруг рукой свою пышную шевелюру, вскочил с места, точно ужаленный, и воскликнул:

- Спасибо! Спасибо!.. Теперь все вспомнил... Сейчас расскажу...

И он рассказал. Как всегда, так и в этот раз, отправляясь в дорогу, он захватил с собой книгу. Это был третий том Чехова. На обратном пути, утром в вагоне, он достал из портфеля Чехова, раскрыл и стал читать. Его соседка по купе, очень приятная молодая особа, обратилась к нему. "Чехова можно читать вслух, - так сказала она и добавила: - Это доставит удовольствие всем". Селихов не стал возражать, хотя и не привык читать вслух. Он прочел "Утопленника", "Дельца", "Свистунов", а потом решил заглянуть в вагон-ресторан и "поправиться" бутылкой пива после вчерашнего ужина. Извинившись перед слушателями и поискав глазами, что можно использовать в качестве закладки, Селихов сунул руку в карман

и извлек оттуда уцелевший каким-то чудом счет официанта. По возвращении читать вслух уже не пришлось. Завязалась обычная дорожная беседа. Селихов узнал, что приятная особа живет в Орле, работает в ветбаклаборатории, звать ее Лариса Сергеевна, что сейчас она в отпуске и едет повидаться с отцом. Куда - она сказала. Перед тем как сходить Селихову, Лариса Сергеевна спросила его: "Вы верите, что на свете существуют порядочные люди?" Селихов ответил, что, конечно, верит. "Тогда оставьте свой адрес и томик Чехова. Я верну его вам в полной сохранности. Я не взяла с собой ничего и с удовольствием почитаю в дороге". Вот и все.

- Теперь вам ясно? - искренне обрадованный, закончил Селихов.

- Даже очень, - ответил я.

- Вопросов вам я не задаю, - сказал Селихов. - Думаю, они будут неуместны.

- Вы догадались, - проговорил Дим-Димыч. - Просим извинить, что потревожили вас...

Пожав Селихову руку, мы с чувством одухотворенной легкости покинули его комнату, скатились по лестнице и оказались на улице.

Мартовское солнце, как бы радуясь за наш небольшой успех, грело по-весеннему тепло и ласково.

- Андрей! - бодро воскликнул Дим-Димыч. - Мы за своими командировками и весну прозеваем. Гляди, как греет! Можно и без пальто.

Я ничего не ответил. Я думал о другом. Успех это или ре успех? Несомненно, успех! Лариса Сергеевна наверняка и есть жертва загадочного преступления. Теперь нам известно, как попал к ней счет, теперь мы знаем, что она из Орла и работала в ветбаклаборатории. Наконец-то следствие сдвинулось с мертвой точки.

Продолжая размышлять на эту тему, я сказал Дим-Димычу:

- Надо бы предъявить Селихову фотокарточку покойной. Он бы, конечно, опознал ее.

- Правильно сделал, что не предъявил. Зачем расширять круг лиц, посвященных в эту историю. А потом...

- Что потом?

- Вдруг опять осечка?

- Не думаю...

На перекрестке мы остановились.

- Ты куда? - удивленно осведомился Дим-Димыч, видя, что я сворачиваю налево.

- Как куда? В управление... А ты?

- Я думал, что на вокзал и - прямо в Орел.

Я запротестовал. Надо было повидать Кочергина и, кроме того, получить требования на билеты.

- Ну, ладно, - огорченно вздохнул Дим-Димыч. - Пошли!

Кочергин принял нас немедленно.

Когда мы открыли дверь кабинета, он разговаривал по телефону:

- Да!.. Они уже у меня... Прошу, Геннадий Васильевич.

Ясно. Кочергин пригласил к себе старшего лейтенанта Безродного.

Мы сели и стали ждать. Ждали минут десять. Кочергин ничем не выдавал своего раздражения. Он спокойно рассматривал утреннюю почту в пухлой папке.

Я внимательно наблюдал за ним. Он все больше рос в моих глазах. Было приятно и отраднo сознавать, что должность Курникова, человека и работника, безмерно уважаемого мною и всем коллективом, занял человек не менее достойный.

Вошел Безродный. Он даже не счел нужным извиниться за опоздание. Пренебрежительно бросив: "Привет!", он поставил стул рядом со стулом Кочергина. Он и тут хотел показать, что является начальником отдела и ему неприлично сидеть на другом месте.

- Ну, давайте выкладывайте, товарищи! - произнес Кочергин и отодвинул от себя папку с почтой.

Докладывал я. Дим-Димыч вносил дополнения.

- У вас будут вопросы? - обратился Кочергин к Безродному, когда мы окончили.

Тот отрицательно покачал головой.

Ах, как я хотел знать, что думает Геннадий! Неужели ему непонятно, что он со своими методами следствия оказался в дураках? И в каких дураках! Но он держал себя так, будто ничего не произошло.

- Вы уже знаете, - продолжал Кочергин, - что портрет преступника, переданный Благовещенском, полностью совпадает с тем, кто назвал себя в камере хранения Ивановым? Мы дружно кивнули.

- Родинка мешает, - усмехнулся Дим-Димыч.

- Да! Ни Мигалкин, ни Кулькова не заметили ее.

- Ну... - протянул Кочергин, - родинку можно и не заметить. Это не бросающаяся в глаза примета... Тут надо быть профессионалом... А вот если бы вы сказали свидетелям о существовании родинки, то они, возможно, и припомнили бы ее...

- Пожалуй, верно, - согласился Дим-Димыч.

- Благовещенск сообщил нам исчерпывающие сведения и о жертве, - снова заговорил Кочергин. - Убитый работал дежурным администратором в гостинице. Фамилия его Рождественский. В Благовещенске он прожил всего четыре месяца, а до этого работал в Москве, тоже в тресте гостиниц. Причем перебрался из Москвы в Благовещенск по собственному желанию, - он сделал паузу. - Думаю, что вы на верном пути. Куйте железо, пока горячо. Если вам удастся задокументировать опознание убитой, дальше пойдет легче. Что ж... поезжайте снова в Орел. - Кочергин посмотрел на часы. - В вашем распоряжении сорок семь минут. Вызывайте мою машину.

Мы встали.

- Какие будут указания? - задал я совершенно глупый вопрос.

Умница Кочергин улыбнулся.

- Сила инерции? Указаний никаких. Вам на месте будет виднее.

Я покраснел.

Дим-Димыч закусил губы, сдерживая смехок.

Мы вышли. Надо было хоть на минуту заехать домой.

- А этот болван, - сказал Дим-Димыч, имея в виду Безродного, - не смог выдавить из себя ни одного слова. Это при нас он строит из себя гения, а при Кочергине - пустое место. А твой Кочергин молодчина! Смотри - пригласил! Быть может, специально для того, чтобы дать понять ему, что он идиот?

- Не думаю. Все-таки ты - его работник, и это надо учитывать...

- Идиот! - саркастически усмехнулся Дим-Димыч. - Идиот, а держится. Если бы кто другой напортачил, как он... Ого! Всыпали бы ему по самую завязку, а с него - как с гуся вода. Не понимаю я майора Осадчего. Неужели он не раскусил его?

- Да... - буркнул я, не зная, что сказать...

3 марта 1939 г.

(пятница)

Вторично оказавшись в Орле, мы с места в карьер бросились в ветбаклабораторию.

День начался успешно.

Заведующая лабораторией, не заглядывая в список сотрудников, точно и определенно заявила, что Лариса Сергеевна, носящая фамилию Брусенцовой, работает лаборанткой. Сейчас она в отпуске. Через пять дней должна вернуться.

Дим-Димыч попросил личное дело Брусенцовой. Взглянув на фотокарточку, мы сразу поняли, что Лариса Сергеевна из отпуска больше не вернется. Это была та самая женщина, труп которой лежал сейчас в морге на леднике.

Бумажки, заключенные в личном деле, поведали нам следующее.

Брусенцовой двадцать восемь лет. Она была замужем, жила в Москве, после развода перебралась в Орел. Носила в замужестве фамилию Плавской. В пригороде Москвы живут ее отец, Сергей Васильевич Брусенцов, и его вторая жена, мачеха Ларисы Сергеевны, Софья Кондратьевна Брусенцова. В Москве Лариса Сергеевна работала... Где бы вы думали? В

гостинице...

- Черт возьми! - воскликнул Дим-Димыч. - И Рождественский тоже в гостинице... Нелепое совпадение!

- Роковое, кажется, - заметил я.

Нам предстояло еще предъявить фотокарточку убитой и заполнить протокол опознания. Эту неприятную обязанность взял на себя Дим-Димыч. Он пригласил

в комнату, которую нам отвели для просмотра документов, заведующую лабораторией, выложил перед ней четыре фотографии и спросил:

- Узнаете, кто это?

Заведующая, уже немолодая женщина, мгновенно изменилась в лице и, конечно, узнала свою лаборантку.

- Исключите ее из списка сотрудников как умершую, - сказал Дим-Димыч, а дело сдайте в архив...

Выполнив все формальности и получив домашний адрес Брусенцовой, мы отправились на Вторую Пушкарную улицу.

Нас встретила пожилая опрятная женщина, хозяйка дома, в котором Брусенцова снимала комнату.

Дим-Димыч вынужден был расстроить и ее. После предъявления снимков и заполнения протокола опознания мы попросили показать нам комнату покойной.

Здесь мы ничего существенного, к сожалению, не обнаружили, исключая добрую дюжину пустых бутылок. Хозяйка объяснила, что Лариса Сергеевна, как правило, перед тем как лечь в постель, выпивала стакан-другой вина. Она жаловалась на бессонницу, и это будто бы ей помогало.

- Когда ваша квартирантка уехала? - спросил я.

- Десятого февраля утром, - последовал ответ. - Она намеревалась первую половину отпуска провести здесь, походить на лыжах, а вторую - в Москве у родителей. А девятого вечером отец прислал телеграмму...

Мы насторожились.

- Какую телеграмму? - спросил Дим-Димыч.

- А вот... - Хозяйка подняла край клеенки на столе, вынула оттуда развернутую телеграмму и подала ее Дим-Димычу.

Телеграмма была послана из Москвы девятого, в восемнадцать часов с минутами. Под ней стояла подпись Брусенцова. Отец сообщал, что чувствует себя неважно, едет в командировку и настоятельно просил дочь встретить его именно на той глухой станции нашей области, где был оставлен чемодан.

Кстати, о чемодане. Хозяйка подтвердила, что Брусенцова поехала с новым желтым чемоданом, подаренным ей отцом.

Мы попрощались с хозяйкой и поспешили на вокзал.

- У меня мысль, - сказал Дим-Димыч уже на перроне. - Надо тебе сейчас же дозвониться до Кочергина.

- Зачем?

- Придется ехать в Москву к родителям Брусенцовой. И ехать немедленно, не заглядывая домой. Пусть Кочергин организует нам документы, билеты до Москвы и передаст с нарочным во время остановки поезда.

Мысль мне показалась дельной. Я отправился в транспортное отделение НКГБ. Полчаса спустя вышел оттуда, переговорив с Кочергиным. Он одобрил нашу инициативу и заверил, что на станции нас встретит Селиваненко.

Мы прогуливались по перрону в ожидании поезда. Погода портилась. Весна походила на зиму. По небу тянулись серые тучи. Дул холодный северо-западный ветер.

- Что за дьявольщина? - проговорил Дим-Димыч. - Неужели отец решился поднять руку на родную дочь?

Ерунда. Быть не может.

- А почему нет? В истории преступлений немало примеров, когда дети расправлялись со своими родителями, жены - с мужьями, братья - с сестрами. Чего не бывает в жизни! Мне не хотелось думать об этом. Не знаю почему, но не хотелось.

- Ты учти, - продолжал Дим-Димыч, - что наличие в семье мачехи или отчима нередко служит причиной ссор, распрей, скандалов.

- Согласен, но не хочу думать об этом. Ну хорошо, допустим, что убийца - отец. Но неужели он настолько глуп или наивен, что, замыслив кровавую расправу, послал телеграмму за собственной подписью? Это же явная улика.

- Да, резонно, - согласился Дим-Димыч.

- На что же он рассчитывал? - продолжал я. - Или был уверен, что дочь уничтожит телеграмму? Откуда такая уверенность? Да и почему она должна так поступить? Нет, тут что-то не то.

Дим-Димыч рассмеялся.

- Я осел... Как могла прийти мне в голову такая идиотская мысль! Ведь по всем приметам партнеру Брусенцовой самое большое сорок. Так ведь? А если ей самой двадцать восемь, то в день ее рождения отцу ее едва исполнилось двенадцать?

- Ну вот видишь? - сказал я. - Нет, отец тут ни при чем... Я вот подумываю о ее бывшем муже, как его там... Плавский, что ли? Уж не он ли сфабриковал телеграмму?

- Все возможно... Быть может, и Плавский. Не стоит ломать голову. Москва должна нам кое-что дать. А Кочергин твой как в воду глядел. Помнишь, он сказал: "Может случиться и так, что на ужине в ресторане ни убийца, ни жертва не присутствовали!"

- Помню. Вообще он парень головастый. Не то что твой шеф, - сказал я и рассмеялся.

- Мой шеф обделался с головы до ног, а старается держать себя как умник из умников.

Нашу беседу прервал гудок подходящего поезда.

5 марта 1939 г.

(воскресенье)

Ранним утром мы оказались на просторной Комсомольской площади средоточии трех крупнейших столичных вокзалов.

Задувал знобкий мартовский ветерок.

Не без труда мы заарканили старенькое такси и уселись в него. Ехать надо было в пригород, в Покровско-Стрешнево, где жили родители Брусенцовой.

Нам выпала не совсем приятная миссия - сообщить отцу о трагической смерти дочери. Дим-Димыч, когда мы обсуждали эту щекотливую проблему в вагоне поезда, рассудил так:

- Важно не содержание, а форма.

Я был не согласен. Мне казалось, я был даже уверен, что в какие бы сладкие слова мы ни облакали эту страшную весть, она от них не станет приятнее.

- Хорошо, - сказал Дим-Димыч. - Поручи эту деликатную операцию мне.

Я, конечно, не возражал.

Машина остановилась. Мы расплатились и вышли.

Дом Брусенцовых, видимо, собственный, рубленый, граничил с высоким сосновым бором и на фоне снега, сохранившего здесь свой естественный цвет, выглядел уютно и опрятно.

Дверь нам открыла высокая, статная, седая женщина с выразительными, но очень усталыми глазами. Когда-то, бесспорно, красивая, сейчас она была примечательна только своей крепкой, хорошо сохранившейся фигурой.

- Нам нужен Брусенцов, - сказал Дим-Димыч.

- Он в отъезде, - ответила женщина низким голосом. - А вы кто будете?

Дим-Димыч представился. Я подметил, что на лицо женщины легла легкая тень. Оно и понятно: визит сотрудника органов государственной безопасности не мог, конечно, не вызвать удивления.

- Я жена Брусенцова, - в свою очередь, пояснила хозяйка.

- Софья Кондратьевна? - уточнил Дим-Димыч.

- Да... - удивленно подняла глаза женщина. - Но я, очевидно, не смогу заменять мужа?

- Как сказать... Придется побеседовать с вами...

И хотя слово "побеседовать" вряд ли успокоило Софью Кондратьевну, она пригласила нас в дом, предложила раздеться и провела в гостиную.

Мы оставили чемоданчики в передней.

Согнав с широкой софы, застланной ковром, откормленного до неприличных размеров кота, хозяйка сказала:

- Садитесь!

Мы послушно сели. Но сама Софья Кондратьевна продолжала стоять. Это было не совсем удобно. Мне хотелось успокоить ее, сказать, что ни мужу ее, ни ей самой не грозит никакая опасность, но я не знал, имею ли на это сейчас право. В ее усталых, оплетенных густой сетью морщинок глазах и даже в движениях, заметно скованных, чувствовалась понятная нам настороженная напряженность.

Я ждал, когда Дим-Димыч начнет и, главное, как начнет. Он молчал и делал вид, что рассеянно разглядывает убранство комнаты.

- Если курящие - курите! - разрешила хозяйка. - Я тоже закурю.

Мы обрадовались, поспешно извлекли из карманов папиросы, угостили Софью Кондратьевну и закурили. Мы сидя, она стоя.

В душе я был рад, что Брусенцова не оказалось дома. Миссия наша облегчалась. Сказать о смерти дочери родному отцу или же мачехе - это не одно и та же.

Дим-Димыч раздувал папиросу, чего никогда не делал, но это не могло продолжаться вечно. Надо было начинать, но он молчал.

- Вы, я вижу, приезжие? - нарушила молчание хозяйка.

- Вы угадали, - подтвердил Дим-Димыч и для уверенности громко кашлянул. - Очень жаль, что не застали вашего супруга...

Это была ложь... Самая бессовестная ложь со стороны моего друга. Я уже сказал, что нам надо было радоваться отсутствию Брусенцова.

То, что мы приезжие, не разрядило напряженную атмосферу. Терпение Софьи Кондратьевны подходило к концу. Она улыбнулась какой-то вымученной улыбкой, смяла в руке недокуренную папиросу и бросила ее в большую раковину на столе.

Я многозначительно взглянул на своего друга. Глаза мои говорили: "Не тяни! Становится просто неприлично... Начинай! А если не можешь - давай я".

Дим-Димыч едва приметно кивнул и спросил:

- Куда же выехал ваш супруг?

- В Барнаул. Там целая комиссия из Наркомата сельского хозяйства.

- Давно?

- Десятого числа прошлого месяца.

Дим-Димыч достал из кармана телеграмму на имя Ларисы Сергеевны и подал ее Софье Кондратьевне. Подал и не счел нужным добавить ни одного слова. Быть может, так и лучше.

Софья Кондратьевна прочла телеграмму прищуренными глазами, повела плечом и сказала:

- Чушь какая-то... Чья-то неумная шутка... Сергей не посылал, иначе я бы знала. А как она попала к вам? Что случилось?

"Важна форма, а не содержание, - вертелось у меня в голове наставление Дим-Димыча. - Ну-ка, как он проявит свое искусство?" Надо было отвечать. Минутой раньше, минутой позже, но надо. Наконец мой друг раскрыл рот и бухнул:

- На нашу долю выпала неприятная обязанность. Лариса Сергеевна почти месяц назад умерла...

Получилось совсем как в рассказе Чехова.

В комнате стало до жути тихо. Софья Кондратьевна смотрела на нас широко раскрытыми глазами, силясь, видимо, понять значение сказанного, и потом тихо, задуманным голосом переспросила, будто не доверяла собственному слуху:

- Умерла?

- Да, - кивнул Дим-Димыч.

- Ее заставили умереть, - пришел я не совсем удачно на помощь.

- Боже!.. Сергей! - вскрикнула Софья Кондратьевна.

Мне ни разу в жизни не доводилось видеть, как женщины падают в обморок. Я видел их страдающими от тяжелых ран, падающими под ударами мужских кулаков, умирающими от потери крови. С женскими обмороками мне приходилось сталкиваться лишь в книгах небезызвестной Клавдии Лукашевич. Поэтому обмороки я не принимал всерьез. А теперь принял. Не мог не принять. Софья Кондратьевна вскрикнула, всплеснула руками, откинула назад голову и, покачнувшись, неожиданно рухнула.

Все это произошло так быстро, что мы не смогли прийти к ней на помощь. Просто не успели. Она навалилась на край стола, он наклонился, и все, что было на нем, со звоном и стуком полетело

на пол. Я не ожидал подобной реакции. Ну, слезы, крики, плач, а обморок...

- Вот тебе и мачеха! - сказал Дим-Димыч. - Воды, полотенце! - скомандовал он, бросаясь к женщине.

- Хорошо бы нашатырный спирт! - вспомнил я.

- Давай ищи! Что стоишь? Хотя подожди, давай положим ее на софу.

Мы подняли Софью Кондратьевну и уложили на софу.

Конечно, кроме холодной воды и полотенца, я ничего в чужом доме не нашел. Обморок был настоящий, глубокий, основательно нас перепугавший. Он продолжался очень долго. Софья Кондратьевна пришла наконец в себя помимо наших неумелых усилий. Поддерживаемая под руки, она прошла во вторую комнату, отыскала флакон и выпила несколько капель какой-то темной жидкости.

Лишь часа через полтора, когда она наплакалась вволю и несколько оправилась от неожиданного удара, мы сочли возможным продолжить прерванную беседу.

По ее настоянию пришлось поведать со всеми подробностями историю убийства Ларисы Сергеевны. Потом слушали ее. Она была по-настоящему матерью, а не мачехой. Когда она вышла за Брусенцова, Ларисе сравнялось два года. Софья Кондратьевна вынянчила девочку, полюбила, как родную, и считала ее самым близким существом.

Мы слышали ее и понимали, что словами, обычными человеческими словами она не в состоянии выразить всю глубину своего горя, хотя и пытается это сделать. Софья Кондратьевна говорила, а правую руку все время держала на сердце. Она говорила медленно и очень тихо. Говорила о том, что нам совсем не было нужно. Но мы ее не прерывали. С точки зрения человеческой мы были правы.

Но постепенно и очень тактично мы все же перевели разговор в интересующее нас русло. И добрались наконец до причины развода Ларисы Сергеевны с ее бывшим мужем Плавским.

- Я уже сказала вам, - продолжала Софья Кондратьевна, - что я крепко любила Лару. Но, любя, я видела в ней не только ее достоинства, но и недостатки. У Лары, таить нечего, характер был отцовский, далеко не мягкий. Ей передалась по наследству его душевная тяжеловесность. Она с трудом признавалась в своих ошибках, хотя в душе мучилась, раскаивалась. Я часто задавала себе вопрос, любила ли она Константина, выходя за него замуж. И никогда не могла ответить на него. Мне кажется, на заре их супружеской жизни между ними что-то произошло. Что-то серьезное и непоправимое. Очень быстро они стали как бы чужими. И все дальше и дальше отходили друг от друга...

- А что вы можете сказать о Плавском? - спросил я.

- О Константине? Ничего. То есть как ничего? Не могу сказать ничего плохого. Это очень приличный, порядочный, культурный человек, хороший специалист. Вот в его чувствах я никогда не сомневалась. Уж он-то любил Лару. Да как любил!

Софья Кондратьевна сидела теперь ссутулившись, напоминая чем-то крупную прикорнувшую птицу. Глаза ее были устремлены в одну точку.

Мы записали телефоны Плавского и вручили Софье Кондратьевне письмо на имя младшего лейтенанта Каменщикова. Она намеревалась взять тело Ларисы, похоронить в Москве.

До поселка Сокол мы добрались трамваем. Отыскали телефон-автомат и позвонили на службу к Плавскому. Нам ответили, что Плавский, вероятно, дома, так как ночью должен выехать в командировку.

- Этого еще не хватало. Звони домой! - поторопил Дим-Димыч.

Плавский оказался у себя. Я объяснил причину нашего звонка и, не вдаваясь в подробности, напросился на встречу. Условились, что Плавский будет ждать нас на Кропоткинской улице, возле дома с колоннами, и проведет в свою квартиру.

- Плохо, что мы не спросили у Брусенцовой, как выглядит Плавский, выразил я сожаление.

- Ты думаешь, он с родинкой?

- Шут его знает. Между супругами всякое бывает.

- Но он же любил ее.

- Тем более. Отелло тоже любил.

- А мне чутье подсказывает, - признался Дим-Димыч, - что Плавский тут ни при чем...

Мы вышли на Кропоткинскую улицу со стороны Зубовской площади и стали медленно прогуливаться. Зажглись фонари, и в их свете родился мелкий, колкий, явно невесенний снежок.

Плавский появился в условленном месте. По внешнему виду он не имел никакого сходства со спутником Ларисы Сергеевны: высокий худощавый брюнет, лет тридцати двух - тридцати трех, с большими мягкими глазами. Мы поздоровались. Меня немало удивило, что Плавский совершенно не интересовался, зачем он нам понадобился. Он был по натуре человек общительный и за какие-нибудь четверть часа, пока мы добрались до его дома, рассказал о себе почти все.

Жил он на четвертом этаже в отдельной квартире, состоявшей из комнаты с альковом и передней.

Мы вошли, устроились на диване и продолжили начатый разговор.

Плавский слушал терпеливо и внимательно, опершись локтями о стол и склонив голову на руки. Лишь по папиросе во рту, которая ежесекундно меняла положение и перескакивала из одного угла рта в другой, можно было догадаться, что внешнее спокойствие дается ему не без усилий.

Он долго молчал, как бы собираясь с мыслями, а потом сказал:

- Перед нашим разрывом я сказал Ларе, что совесть ее нечиста, что на ней, как и на солнце, есть какие-то пятна. Я попросил ее быть откровенной. Я клятвенно обещал ей помочь. Знаете, что она мне ответила? Она ответила: "Есть пятна, которые можно смыть только кровью". И больше на эту тему говорить не захотела.

- Чем же все-таки вызван был развод? - попытался уточнить Дим-Димыч.

- Я любил ее, - вздохнул Плавский. - Любил, как только может любить мужчина. Я полюбил ее сразу, с первого взгляда, и окончательно. На втором месяце знакомства мы поженились, она покинула дом родителей и перебралась ко мне, сюда. Но счастливым человеком я был только первые восемь дней. Заметьте - восемь дней. На девятый день начальник главка предложил мне срочно вылететь, правда, ненадолго, в Красноярский край. Я распрощался с Ларой, увидел первые слезы разлуки и поехал на аэродром. Это было, как сейчас помню, в полдень, в декабре. С этого момента события принимают, я бы сказал, банальный характер. Я не улетел. Не было погоды. Я проторчал в аэропорту до полуночи и поехал домой. Сами понимаете, что я не был опечален. В то время мне дорога была не только ночь, а каждая минута, проведенная с Ларой. Явился домой в начале второго. Время позднее для того, чтобы бодрствовать.

Плавский прервал рассказ, встал, прошелся по комнате - он явно волновался, вспоминая прошлое, - потом резко повернулся к нам и продолжал:

- У меня был ключ от этой двери. Я отпер ее, вошел и остановился. Моим глазам предстала такая картина: яркий верхний свет, на диване, на вашем месте, сидит мужчина, против него моя жена; на столе бутылки, закуска, в руках у них бокалы. Ну прямо как в бульварном романе. Я стою в темноте, меня не видно, а я их вижу через эту вот застекленную дверь. Не

буду рассказывать о том, что творилось в моей душе. Скажу, однако, что я поступил поджентльменски, хотя после проклинал себя тысячу раз за это джентльменство. Я включил свет и стал виден. Лариса оглянулась, вскочила и бросилась ко мне. Она обняла меня, начала очень сбивчиво что-то объяснять. Я стоял как истукан и из всего ею сказанного уловил только то, что этот визит вызван служебной необходимостью, что иначе нельзя было поступить и что мы, то есть я и он, должны познакомиться. Это был очень коварный и жестокий сюрприз для начала семейной жизни. Гость между тем встал, прошел к окну и закурил.

Не чувствуя под собой ног, я прошел за руку с женой в комнату, и она представила меня гостю. Он назвал себя Андреем, хотя я в это не поверил. Он сразу вызвал во мне острейшую антипатию. Я готов был вцепиться ему в глотку и задушить. Наглая физиономия, самоуверенная улыбка и прозрачные, стеклянные глаза его и сейчас стоят передо мною...

Чтобы сразу внести ясность, я прервал Плавского и попросил поподробнее описать внешность гостя.

Плавский исполнил мою просьбу.

Ладони мои загорелись, будто я прикоснулся к чему-то горячему. Никаких сомнений быть не могло: речь шла об одном и том же человеке.

- И вы его больше не видели? - спросил я.

- Если бы! - усмехнулся Плавский. - В том-то и дело, что видел, и не раз.

- Так-так... - с трудом проговорил я. - Скажите, какие-нибудь особые приметы у него были?

Плавский задумался и спросил:

- Это как понимать? Видите ли, в чем дело... Если быть объективным, надо сказать, что этот тип был недурен собой. Даже красив. У него этакая мощная, гордой посадки голова, хороший, открытый лоб, довольно правильные черты лица, отличная фигура. Его портили глаза и эта самодовольная улыбка.

- Это не то, - возразил Дим-Димыч. - Под особыми приметами имеется в виду другое. Ну, допустим, заметный шрам или рубец на лице, вставные зубы. Или какой-нибудь дефект. Например, прядь седых волос, картавость, отсутствие пальца на руке, хромота, близорукость.

- О нет! - воскликнул Плавский. - У него все в порядке. Хотя позвольте: такая деталь, как родинка, может служить особой приметой?

Вот это нам и нужно было... Сердце мое запрыгало. Я взглянул на Дим-Димыча. Тот от волнения потирал ладони.

- Пожалуй! - внешне спокойно ответил я. - А у него была родинка?

- Представьте себе, была.

- Вы точно помните? - для большей ясности спросил Дим-Димыч.

- Ну конечно! Родинка сидела на щеке, а вот утверждать на какой - не берусь. Не помню. Родинка небольшая, но яркая, если можно так сказать.

- Так... Что же было дальше? - заторопил я Плавского.

Он зажег новую папиросу от докуренной, не глядя, бросил окурок и заговорил с прежним жаром:

- Вы, я думаю, согласитесь, что всегда верится в то, во что хочешь верить. Я верил в хорошее. Верил в Ларису. И я убедил самого себя, что так будет лучше. Я поверил поначалу, что ночной гость - сотрудник общества "Интурист", что их встреча носила деловой характер, что больше встречаться им нет никакой надобности, что его визит был вызван неожиданным приездом большой группы иностранцев, и прочее, и прочее. Я попытался зализать раны, нанесенные мужскому самолюбию, не ведая о том, что готовит мне будущее. А оно готовило мне новые сюрпризы.

Как-то раз, месяца три спустя, я по чистой случайности проходил мимо Новомосковской гостиницы.

К этому времени я уже успокоился, смирился и даже начал сомневаться: уж не придумал ли я сам всю эту историю? И вдруг перед самым моим носом из подъезда гостиницы выбежала моя жена. Я едва поверил своим глазам. Зачем она очутилась здесь, в гостинице, к которой

не имела никакого отношения, да еще около часа ночи? Я окликнул ее. Она сделала вид, что не услышала, а быть может, и в самом деле не услышала. Она села в машину, стоявшую у подъезда, и скрылась. Этот случай поколебал мою веру. Я начал следить за женой. Я не хотел оставаться в дураках. Измышляя различные способы, пользуясь телефоном, меняя голос, я добился того, что в каждую данную минуту знал, где моя жена. Она продолжала встречаться с ночным гостем. Я видел их в лодке на Москве-реке, на пляже "Динамо", в метро "Красные ворота", возле академии Жуковского, на стадионе "Спартак". Продолжалось это не день, не неделю и не месяц. Все это меня бесило, раздражало, доводило до белого каления. Их встречи стали источником моих мучений. Я стал серьезно опасаться, что закончу буйным помешательством. В нашу жизнь ворвалось, вломилось что-то роковое, непреодолимое. Чуть не каждый день происходили объяснения, ссоры, сцены, от которых надолго расстраивался разум. Тогда я предложил Ларисе бросить службу в гостинице. Она отказалась. Ко мне пришла злая, непреклонная решимость немедленно пойти в правление "Интуриста" к секретарю парткома и попытаться выяснить, что там делает друг моей жены, что он собой представляет. Лариса поверила в мое намерение и запротестовала. В этот раз она плакала, умоляла меня, целовала мои руки и просила не губить ее. Это меня насторожило. "Не губить". Как это понимать?

Я стал еще более непреклонен и заявил, что отправляюсь сейчас же. И тут она призналась мне. Она сказала: "Прости, Костя! Я говорила тебе неправду. К "Интуристу" Андрей не имеет никакого отношения". Я окончательно рассвирепел. "Так кто же он в конце концов? Доколе же ты будешь морочить мне голову?" И вот тут под большим секретом Лариса сообщила мне, что этот Андрей работает в "большом доме на горке". Она так именно и сказала. "Фамилия его?" потребовал я. Она назвала, но попросила тотчас же забыть. А фамилия немудреная - Кравцов.

- Минутку, - прервал рассказчика Дим-Димыч. - Что она имела в виду под "большим домом на горке"?

Плавский усмехнулся его наивности и объяснил.

Усмехнулся потом и я. Проработав столько лет в органах, мы не знали, что наше центральное учреждение на Лубянке зовут "домом на горке".

- Теперь дальше, - нетерпеливо подтолкнул я Плавского. - Почему вы?..

- Простите, - прервал он меня. - Я, наверное, угадал, что вы хотите спросить. Вы хотели спросить, почему я поверил ей и на этот раз?

- Совершенно верно.

- Я не поверил ей. Я сделал вид, что поверил. На другой день созвонился с другом моего отца, старым чекистом Плотниковым, и напросился к нему домой. Я рассказал ему все. Он пообещал выяснить. А через неделю ровно позвал к себе и сказал коротко и ясно: "Костя, тебя водят за нос. Андрей Кравцов миф. Сделай вывод". И я сделал. Чаша моего терпения переполнилась. Я пришел домой и выложил перед женой все начистоту. Она, как ни странно, не стала спорить и заявила, что уйдет к отцу. Вот тогда-то и произошел у нас разговор о совести и пятнах на ней. Месяца два спусти я встретил ее отца. Оказалось, Лариса бросила работу в гостинице, уехала в Орел и поступила в ветбаклабораторию...

- После отъезда Ларисы Сергеевны вы никогда не встречали этого типа? поинтересовался я.

- Встречал. И совсем недавно. И помню где. Я встретил его у Сретенских ворот.

- Когда, когда? - допытывался я.

Плавский начал усиленно массировать лоб.

- Это было... Это было... Дай бог памяти... Нет, числа я не вспомню... Но что в первой декаде февраля - могу поручиться.

"Хм... Совсем недавно и в то же время очень давно", - подумал я и спросил:

- Вы умеете, когда надо, молчать?

- Да... Я член партии.

- Этот Андрей Кравцов, или как там его, и есть убийца вашей бывшей жены. Да и не только ее.

- Так я вам могу помочь! Неужели я никогда его не встречу? Быть не может! - воскликнул Плавский.

- На это мы и рассчитываем, - признался я.

Ночь мы провели у Плавского. Не спали до четырех часов утра. Обо всем договорились и, перед тем как проститься, оставили ему свои адреса и номера телефонов. Мы возвращались домой. Плавский вылетал в командировку с геологической партией на Дальний Восток.

19 марта 1939 г.

(воскресенье)

Пока мы занимались своими делами, на международном горизонте собирались грозные тучи. Гитлер готовился к большой аванюре. Седьмого марта он напал на Албанию и оккупировал ее. Четыре дня назад он захватил и расчленил Чехословакию. Госпожа Европа явно терялась перед его наглостью.

Обо всем этом мы не могли не думать. И мы думали. Часто и много думали и в то же время делали свое дело. Я корпел над тем, что входило в круг моих обычных обязанностей.

Следствие по делу о загадочном убийстве Брусенцовой вошло в новый этап. Начался всесоюзный розыск преступника - крайне затяжная, крайне трудоемкая работа, требующая усилий множества людей в различных краях нашей обширной страны.

Органы государственной безопасности искали этого злополучного Иванова-Кравцова по куцым описаниям его внешности. Мы не знали точно ни его фамилии, ни его имени и отчества, ни рода занятий, ни места жительства.

Трудно было искать, но надо. Наши усилия походили на усилия человека, ищущего иголку в стоге сена, и тем не менее мы искали.

Нарядный желтый чемодан продолжал преспокойно лежать на полке камеры хранения ручной клади, и судьбой его никто не интересовался.

Нам оставалось терпеливо ждать. А время шло, бежало, принося радости, печали, неожиданности.

Полной неожиданностью было присвоение, вне всяких сроков, Безродному звания капитана. Начальник секретариата управления поведал мне, что, когда он ознакомил Безродного с приказом о присвоении звания, тот обрадовался самым неприличным образом.

На людях он вел себя, конечно, иначе, делал вид, что факт этот вполне закономерный, соответствующий его заслугам.

Внеслужебные связи с людьми, стоящими ниже его по должности, Безродный решительно прервал. Он сторонился даже равных себе. Лишь Осадчий и заместители начальника управления интересовала его. Он по надобности и без надобности торчал у них в кабинетах.

Кочергин, например, тоже капитан и тоже начальник отдела, живет интересами всего коллектива. Он, как подметил Дим-Димыч, отлично понимает, что начальник силен своими подчиненными, а подчиненные, в свою очередь, сильны при умном и хорошем начальнике. Кочергин искренне радовался успеху каждого оперативного работника, печалился его неудачами. Если он прибегал к наказанию, то оно доставляло ему не меньше неприятностей, чем виновному. И наказания эти были неизбежны и справедливы. Они только возвышали Кочергина во мнении подчиненных. Новый человек в коллективе, он удивительно быстро смог создать себе авторитет и вызвать уважение окружающих.

А Безродный? Он по-прежнему упивался властью. В его кабинете часто слышались крик и брань. Брань служила приправой к речи Безродного, стала его привычкой. "Я не могу с вами работать! - орал он на подчиненных. - Я сниму с вас петлицы!.. Я испорчу вам биографию".

Знал ли об этом Осадчий? Думаю, что знал. А вот почему прощал, на этот вопрос я ответить не могу.

Сегодня по управлению прошел слух, что Безродный собирается в отпуск, на курорт, лечить отсутствующие у него недуги. В связи с этим я решил предпринять кое-какие шаги делового порядка.

Я пришел к Кочергину и сказал:

- Если вы помните, московская бригада предложила товарищу Безродному передать нам материал на Кошелькова.

- Отлично помню, товарищ лейтенант, - ответил Кочергин. Он пододвинул настольный календарь, перевернул листок и продолжал: - Прочтите! Это касается вас.

Я прочел: "Т.Трапезникову. Принять от Безродного материалы на Кошелькова и др."

- Можно взять?

- Да. Безродный получил уже приказание майора Осадчего... Ознакомьтесь с материалами и доложите мне во вторник. Успеете?

- Постараюсь.

Я тотчас отправился выполнять поручение. Дело на Кошелькова оказалось тонким по объему, но довольно интересным по содержанию.

В тридцать четвертом году в нашем городе появился некто Кошельков. Он поступил работать экономистом на местный ликеро-водочный завод. Через некоторое время из управления Минской области прислали материалы, в которых указывалось, что в двадцать восьмом и двадцать девятом годах Кошельков имел несколько законспирированных встреч с активным германским разведчиком. Этот разведчик - назовем его "Икс" - в тридцать третьем году был арестован и осужден. На следствии он не назвал в числе сообщников Кошелькова, и тот избежал репрессии.

Полгода спустя после ареста Икса Кошелькова задержали в непосредственной близости от пограничной зоны. И на этот раз Кошелькову повезло. Он выставил какие-то убедительные доводы и вышел сухим из воды.

Вот, по сути, и все, что сообщалось в материалах из Белоруссии.

Летом тридцать шестого года в поле зрения наших органов попал Глухаревский. Прошрое его просвечивалось с большим трудом. По мобилизации он служил у белых, потом был взят в плен махновцами, после этого оказался в Красной Армии и, наконец, стал коммунистом. В двадцать третьем году его исключили из партии за сокрытие социального происхождения и уголовную судимость. Собственно, важны были не эти подробности Глухаревский, как и Кошельков, в свое время встречался с немецким агентом Иксом. Такое совпадение наводило на размышления. Оба знали Икса, оба из Белоруссии, оба оказались в нашем городе. Случайно ли?

Глухаревский приехал в середине июля и устроился работать механиком в артель "Гарантия". В августе Кошельков и Глухаревский встретились возле загородного лесного пруда, где любители-рыболовы обычно таскали окуней.

Сотрудники отдела Безродного не придали особого значения этой встрече. А спустя почти год выяснилось, что у Кошелькова есть еще знакомый - массовик Дома культуры Витковский.

Его видели с Кошельковым в тире Осоавиахима, в платной поликлинике, на спектакле "Без вины виноватые". Глухаревский в этих встречах не участвовал. Все трое имели много знакомых, и определить, кто из этих знакомых заслуживает нашего внимания, было чрезвычайно трудно.

За последнее время ничего нового в дело внесено не было, и оно лежало, ожидая своей участи. И вот передо мной встала задача - как решить его судьбу...

21 марта 1939 г.

(вторник)

Сегодня утром, точнее, в полдень в буфете за одним столиком завтракали Фомичев, Дим-Димыч и я. Завтракали и болтали.

В буфет неожиданно вошел капитан Безродный. С той поры как стал начальником отдела, он обычно требовал завтрак и ужин в кабинет, а тут пришел.

Все поняли, что пришел он лишь ради того, чтобы показать новенькую форму и знаки различия капитана.

- Привет! - бросил он всем сразу и на ходу обвел взглядом комнату. Единственное свободное

место было за нашим столиком. Безродный занял его и громко сказал буфетчице" - Как всегда!

Это означало: стакан сметаны, два яйца всмятку и чай.

- Идут слухи, - заговорил я, - что вы решили отдохнуть?

- Пора! - снисходительно ответил Безродный.

Я искоса взглянул на Дим-Димыча. В его глазах прыгали чертики. Он нарочито медленно отхлебывал чай и энергично дул в стакан.

Буфетчица подала Геннадию еду.

На тумбочке в углу задребезжал телефон. Кто-то из ребят снял трубку и ответил:

- Да... буфет... Здесь! Хорошо. - И, положив трубку, сказал: - Капитана Безродного к майору Осадчему.

Геннадий шевельнул бровями, встал и, ни слова не говоря, вышел.

- Жаль! - произнес Дим-Димыч. - Я только хотел подбросить ему вопросик для поднятия настроения...

- Ох и штука ты! - крутнул головой Фомичев. - Какой же вопросик?

Дим-Димыч охотно ответил:

- Я хотел спросить у Безродного, почему его мать, приехавшая в город, остановилась не у него, а у брошенной им жены.

- В самом деле? - удивился Фомичев.

Я и Дим-Димыч подтвердили. Это была правда.

- А в чем же дело? - допытывался Фомичев.

Я объяснил. Мать Безродного, узнав о разводе сына с женой, решила приехать и попросила сына выслать денег на дорогу. Безродный отвечал, что сейчас у него с деньгами затруднения и что выслать он не может. Мать обратилась к невестке. Оксана заняла деньги у меня, у Дим-Димыча, добавила к ним немного своих и сделала перевод. Старуха приехала прямо к Оксане, а когда узнала подробности развода, сказала: "Будем считать, что ты потеряла мужа, а я сына. Я останусь с тобой и с внучкой".

- Затруднения! - зло бросил Дим-Димыч. - Получает в два раза больше прежнего, алименты не платит и - затруднения!

Явно заинтересованный, Фомичев спросил:

- Как вы все это узнали?

Ответил Дим-Димыч:

- Видели его мать. Тихое, хрупкое создание со скорбным лицом и отрешенным от мира взглядом. Непостижимо, как такая кроткая лань могла породить шакала?

Разговор прервался: вернулся Безродный. И тут же меня вызвали к Кочергину.

Обычно вызов к начальнику отдела бывает неприятен. Неприятен прежде всего своей "таинственностью". Подчиненный не знает, зачем он понадобился, и, чувствуя за собой определенные промахи (а у кого их нет?), волнуется, заранее ожидает выговор или головомойку. Перед дверью кабинета он спрашивает у секретаря: "Как начальник сегодня? С какой ноги встал?" Именно так ведут себя подчиненные Безродного и некоторых других. Так вел себя раньше и я. Но с тех пор как стал работать под началом Курникова, а потом Кочергина, все изменилось.

Курников и Кочергин были, по меткому выражению Дим-Димыча, "чекистами особого склада". Они не переносили свои настроения на отношения с оперативными работниками. Их невозможно было "взвинтить", как Безродного, одной неудачной фразой, заставить кричать и стучать кулаком по столу. Они умели уважать людей, ценить в них главное - их человеческое достоинство. Поэтому даже в те дни, когда меня постигала в работе неудача, я шел на вызов начальника спокойно.

В кабинете, кроме Кочергина, никого не оказалось. Ответив на мое приветствие, он глотнул какую-то таблетку, запил ее минеральной водой, предложил мне сесть и спокойно потребовал:

- Докладывайте о Кошелькове.

Возвращаясь от Кочергина, я услышал, как захлебывается телефон. Меня охватила тревога. Быстро щелкнув ключом, я вбежал и схватил трубку. Но тут же успокоился: говорила Оксана. Она просила меня зайти к ней в обеденный перерыв. Ей нужно было посоветоваться по личному, но очень важному делу. Какому делу? По телефону она объяснить не хотела.

Тон Оксаны да и сама просьба удивили меня. Что могло произойти важное, требующее срочного решения? Уж не вздумала ли Оксана выйти вторично замуж? Но почему понадобился в таком случае мой совет?

В обеденный перерыв я забежал на несколько минут домой, поел на скорую руку и отправился к Оксане. У нее, к моему удивлению, оказались Дим-Димыч и Варя Кожевникова. Действительно, намечалось что-то серьезное.

Я поздоровался, разделся, сел и всем своим видом показал, что готов слушать.

Оксана приступила к делу без особых предисловий.

- Сегодня я узнала, что арестован мой отец... - сказала она.

Мы трое уставились на нее. Я ощутил, как по спине моей пробежал мелкий, очень неприятный холодок.

Первым заговорил Дим-Димыч.

- Как ты узнала?

Ей сообщила, оказывается, свекровь. По приезду она смолчала, а вот сегодня не выдержала, открыла тайну.

- Где он работал? - заинтересовался я.

Отец Оксаны, старый коммунист, комиссар полка в гражданскую войну, до ареста работал начальником политотдела одной из железных дорог на Украине. Что он мог совершить - ни ей, ни свекрови, ни тетке Оксаны, у которой жил отец, неизвестно.

- Я знаю одно: на подлость отец не способен, - закончила она свой рассказ.

Я подумал: "Не слишком ли спокойно восприняла Оксана эту страшную весть? Ведь речь идет об отце, о самом близком, родном человеке! Как бы повел себя я, случись такая беда? Трудно сказать... Во всяком случае, я не смог бы держаться так спокойно... И почему Оксана решила сказать об этом именно нам? Она говорила по телефону, что хочет посоветоваться..."

Я перевел взгляд на Варю. Та сидела, положив руки на колени, и увлажненными глазами смотрела в одну точку. Глаза ее сейчас косили. На ум мне пришел разговор с Дим-Димычем. Я как-то сказал ему, что между Оксаной и Варей много сходства. Он возразил: "Все равно что луна и солнце. Первая только светит, а вторая и светит, и греет". Дим-Димыч, кажется, прав. С ним это часто случается. Он лучше разбирается в людях.

В это время Оксана, стоявшая у окна, резко повернулась. Вся она дрожала, и крупные зерна слез сыпались из ее глаз. Впервые я увидел ее такой, и мне стало не по себе от моих недавних подозрений. Опершись обеими руками о подоконник, она все тем же спокойным и ровным голосом заговорила:

- Вы помогли мне устроиться на работу... С вами я хочу и посоветоваться. Как мне поступить? Должна ли я сказать об этом начальнику госпиталя?

"Вот это характер! Вот это выдержка!" - подумал я и поспешно сказал:

- Глупо! Тебя никто за язык не тянет...

- Правильно! - решительно поддержала меня Варя Кожевникова. - Ты могла и не знать ничего... Отец - отцом, а дочь - дочерью... Ты самостоятельный человек...

Дим-Димыч резанул рукой воздух и, сжав кулак, ударил им по своему колену.

- А ты как думаешь? - спросил он Оксану.

- Мне думается, что я обязана сказать...

- Правильно! - одобрил Дим-Димыч и, встав с места, заходил по комнате. - Только так и не иначе...

- Что значит "так и не иначе"? - запальчиво возразила Варя. - Ты хочешь, чтобы ее уволили с работы? Это устраивает тебя?

Я не слышал, чтобы Варя разговаривала в таком тоне с Дим-Димычем. Но еще больше меня удивил взгляд, которым одарил Дим-Димыч "восьмое чудо света". Его глаза как бы

говорили: "Какая же ты глупая!" Но сказал он не так.

- Я хочу, чтобы Оксана жила честно.

Варя молчала, хотя и не была согласна с Дим-Димычем. Она покусывала губы и, прищурившись, смотрела в сторону. Ноздри ее подрагивали.

- Ладно... Хватит... - проговорила Оксана. - Недоставало, чтобы вы из-за меня еще перессорились... Завтра утром я подам рапорт начальнику госпиталя.

- Пожалуй, так лучше, - одобрил я с некоторым опозданием.

- Хуже или лучше, покажет время, - произнес Дим-Димыч. - Но иначе поступить нельзя. В конце концов свет клином не сошелся на этом госпитале. И не унывай!.. Пошли, товарищи...

Прощаясь с нами, Оксана постаралась улыбнуться. Ей это удалось с трудом.

На улице Дим-Димыч взял меня и Варю под руки.

- А ты не дуйся! - сказал он своему "чуду". - Толкнуть человека на неверный путь - пара пустяков... А ей потом расхлебывать придется. Сегодня она промолчит, - значит, обманет раз. Потом ее спросят: "А разве вы не знали об аресте?" Что ж ей, по-твоему, обманывать во второй раз и отвечать, что не знала?

- С тобой трудно спорить, - ответила Варя. - Ты ортодокс...

- При чем тут ортодокс? - поинтересовался Дим-Димыч.

- При всем... - Варя похлопала его по руке и с улыбкой добавила: Довольно! Это мне урок: прежде чем советовать - подумать!..

- Вот за это я и люблю тебя, Варька! - сказал Дим-Димыч и попытался обнять свою подругу.

Она ловко вывернулась. Дим-Димыч посмотрел на нее как-то странно, потом на меня, хлопнул себя по лбу и бросился обратно к дому Оксаны.

- В чем дело? - удивился я.

- Наверное, портсигар забыл, - высказала догадку Варя.

Минут через десять Дим-Димыч догнал нас.

- Что стряслось, друже? - спросил я с нескрываемым интересом.

- Сейчас... сейчас... - проговорил он и опять взял нас под руки. Знаете, зачем я вернулся?

Мы молчали.

- Узнать, когда арестовали отца Оксаны!

- А какое это имеет значение? - продолжал удивляться я.

- Сейчас узнаешь. Его арестовали седьмого января.

- Допустим.

- А ровно через пять суток Геннадий оставил Оксану.

Я остановился.

- Ты хочешь сказать?..

- Да-да... Я хочу сказать, что, разыгрывая всю эту комедию, Геннадий был кем-то своевременно предупрежден.

- Неужели у него мозгов нет?

- Это вопрос, - проговорил Дим-Димыч. - Однако на сей раз эта стратагема может обойтись ему очень дорого...

- Да... - не без смущения согласился я. - Дело некрасивое...

26 марта 1939 г.

(воскресенье)

Варя Кожевникова оказалась права: Оксану уволили с работы. Двадцать второго марта утром она подала рапорт начальнику госпиталя об аресте отца, а спустя три часа вышел приказ об ее увольнении.

Трудно было вколотить в башку начальнику госпиталя простую человеческую истину, что дети не обязаны расплачиваться за грехи родителей. Он был глубоко уверен, что, лишая работы дочь репрессированного, делает полезное дело. Ему наплевать было на чужую судьбу.

В ночь начались хлопоты, звонки, не особенно приятные разговоры, уговоры и поиски. Я и

Дим-Димыч во всей этой истории, с позиции стороннего наблюдателя, выглядели довольно странно. Кое-кто из руководителей учреждений, к которым мы обращались, думал примерно так: "Непонятно! Работники органов государственной безопасности пекутся о трудоустройстве человека, отец которого репрессирован этими же органами!"

Но ни меня, ни Дим-Димыча эта сторона вопроса ни в какой мере не волновала. Оба мы были глубоко убеждены, что поступаем правильно, что наши действия не порочат нас как коммунистов.

К сожалению, наши хлопоты не увенчались успехом. Уж больно много оказалось в нашем городе работников сродни начальнику госпиталя.

Не успела Оксана оправиться от одного несчастья, как на нее свалилось другое. В среду она позвонила мне и сообщила, что у дочери высокая температура, девочка бредит с самой ночи.

- Доктора приглашала? - спросил я.

Нет, доктора она не приглашала.

- Жди дома, - предупредил я ее. - Привезу врача.

Рабочий день только начался, меня ежеминутно мог вызвать начальник отдела или его заместитель, и отлучиться без разрешения было неудобно. Я позвонил, Кочергину и попросил принять по личному делу. Обманывать его я не собирался и сказал, куда и зачем мне нужно поехать. Он не задал ни одного вопроса, вызвал гараж и потребовал к подъезду свою "эмку".

- Поезжайте на машине, - сказал он.

- Спасибо, товарищ капитан, - ответил я взволнованно. Откровенно говоря, поступок Кочергина меня тронул.

Детский врач, за которым я отправился, работал в железнодорожной клинике, и мне предстояло пересечь почти весь город. Несмотря на торопливость и озабоченность, я по профессиональной привычке поглядывал через смотровое стекло на тротуары и фиксировал лица прохожих. Они мелькали, как на киноленте. Вдруг одно насторожило меня. Я всмотрелся и узнал доктора Хоботова. Он шел своей твердой походкой, большой, грузный, и ни на кого не обращал внимания. Я остановил машину и окликнул его. Зачем я это сделал, не знаю. Просто приятно было встретить человека, который оставил в душе хорошее воспоминание. О возможной помощи с его стороны даже не подумал. И вот совершенно неожиданно эта помощь пришла.

Узнав о цели моей поездки, он вызвался сам посмотреть ребенка. Поглядел на часы, взвесил ему одному известные возможности и сказал:

- Везите меня к ней... С живыми я тоже умею обращаться... Когда-то умел...

Вот так я ввел в дом Оксаны Хоботова.

Это было в среду.

В четверг я узнал, что у дочери Оксаны температура снизилась до нормы.

В пятницу она сообщила по телефону:

- С Натуськой все в порядке... А я звоню с работы... Да-да... Я теперь секретарь суда Центрального района... Хоботов чудный человек. Расцелуйте его за меня. Это он помог мне устроиться. И судья здесь такой же чудный, как Хоботов...

Я почувствовал, что душа Оксаны вновь обрела мужество.

В этот день она позвонила еще раз и пригласила на воскресенье на обед вместе с женой. Будут блины.

Ага, блины! И я спросил Оксану:

- Дим-Димыча зовешь?

- Да-да. Будут он и Варя...

О Дим-Димыче я спросил потому, что блины были его страстью. Он предпочитал их любому другому блюду. Но знала ли Оксана об этой слабости Дим-Димыча? Или тут случайное совпадение?

И вот настало воскресенье. Сбор у Оксаны был назначен на три часа дня. Чтобы полнее использовать свободное воскресенье, мы решили утро посвятить прогулке по городу.

Только сегодня я, кажется, понял, что зима определенно переломилась и уже зарождается весна. Она угадывается в высоком прозрачном небе, откуда текут ласковые лучи солнца, в деревьях, которые полны движущихся соков, в земле, ненасытно вбирающей в себя теплую влагу.

Да, быстро, очень быстро летит время. Кажется, вчера только мы пробирались с Дим-Димычем и Хоботовым на "газике" райцентра сквозь метель и поземку, а сейчас в пору снимать теплое пальто.

Прогулка отняла у нас около четырех часов. Вернувшись домой, мы сдали бабушке внука и направились к Оксане.

Она встретила нас, расцеловала обоих. На ней было летнее ситцевое расклешенное платье, старенький фартук и косынка на голове. Все обычное, повседневное, домашнее. Но Оксана была женщиной, не теряющей привлекательности ни при каких обстоятельствах. Простенький фартук только ярче выделял ее красоту.

В комнате моим глазам представилась такая картина: на диванчике с гитарой в руках сидел Дим-Димыч, а рядом с ним Варя. Она гладила рукой его волосы, всегда не причесанные. Против них на стуле, скрестив под мощной грудью сильные руки, восседал Хоботов.

"Умница Оксана, что позвала Хоботова, - отметил я про себя. - Компания подобралась на славу".

Оксана подошла ко мне и просто сказала:

- Спасибо за знакомство с Вячеславом Юрьевичем. Он чудесный человек и доктор...

Наташку сразу поднял...

Хоботов крикнул и недовольным тоном произнес:

- Чудесный доктор тот, с которым реже имеешь дело.

- А Оксана теперь секретарь суда, - сказал Дим-Димыч. - Шутите?

За столом заговорили о международном положении.

- Война, хлопцы, не за горами, - серьезно сказал Хоботов.

- Ничего, - бодро заметил я. - Если Гитлер сунется к нам, мы ему быстро обломаем зубы. Мы уже не те, что были двадцать или десять лет назад. Дальше границы ему не пройти!

- Хорошо бы, - коротко заметил Дим-Димыч.

- Что мы не те, спору нет, - вновь заговорил Хоботов. - И что зубы Гитлеру мы в конце концов обломаем, тоже факт. Но что всем нам придется братья за оружие и что обойдется это нам недешево - очевидно.

- Неужели всем? - испуганно спросила Варя.

- Всем, девушка, - заверил Хоботов. - Поверь мне, старому вояке. Я знаю, что такое немцы и с чем их едят. А сейчас они в угаре. Гитлер готовит большую войну. И только глупец может поверить, что он ограничится расчленением Чехословакии.

Потом по просьбе всех Оксана рассказала, как она устроилась на работу. Когда Хоботов представил Оксану судье как дочь арестованного, тот спросил ее:

- А вы не арестовывались?

Она ответила отрицательно.

- И жили отдельно от отца?

- Да!

- Ну и слава богу. Приступайте к работе! Наш секретарь вышла замуж и уезжает в Свердловск...

- Не перевелись еще смелые люди, - сказал Дим-Димыч.

Оксана следила за Варей и Дим-Димычем полуприкрытыми глазами и молчала. Потом неожиданно спросила меня:

- Как вы думаете, будет у них толк?

Я сразу сообразил, кого она имеет в виду, и ответил безжалостно:

- У них накрепко...

Она повернулась ко мне лицом, усмехнулась и сама ответила на свой же вопрос:

- Нет, не будет...

Я удивился: откуда такая уверенность?

- Вас не настораживают эти припадки влюбленности? - продолжала она развивать свою мысль. - Все это искусственно и бросается в глаза. Зачем показывать на людях то, что надо свято хранить в себе?

Оксана неожиданно сжала мою руку у локтя и, наклонившись немного, жарко сказала:

- Вы лучший друг Димы... Перед вами я не хочу скрывать... Я не верю... Вот на столечко не верю, - она Показала кончик мизинца. - Нет! Я тоже разбираюсь в людях... Варя тянется к нему, когда он здесь, рядом... Сейчас он ей нужен... А если придет разлука - забудет его...

Мне захотелось задать прямой вопрос:

- Ты сказала, что откровенна со мной?

- Да... безусловно...

- Ты любишь его?

Оксана плотно сомкнула веки и твердо сказала:

- Очень... Но мешать им не буду.

29 марта 1939 г.

(среда)

Ровно в шесть Глухаревский оказался на трамвайной остановке "Первый гастроном". Он пропустил два Трамвая и влез в третий, на площадке которого его подждал Кошельков. Тот держал на нитке большой голубой воздушный шар. На очередной остановке, во время сутолоки, Глухаревский незаметно опустил что-то в карман пальто Кошелькова и спрыгнул с трамвая.

Вагон двинулся дальше. Кошельков спокойно стоял и будто не догадывался, что у него в кармане передача. Только спустя минут пять он стал пристраивать к нитке шара трамвайный билет, потом полез в карман, нашел бумажку и будто от нечего делать привязал на кончик нитки. Так с шаром он и вышел на остановке возле большого четырехэтажного дома.

Здесь былолюдно: детвора шмыгала на коньках, таскала за собой санки. Примерно через четверть часа из второго подъезда показался уже известный нам массовик-культурник Витковский. Он вел за руку парнишку лет трех. Мальчик сразу заметил голубой шар и, оставив своего спутника, подбежал к Кошелькову.

- Дяденька, продайте шарик! - залепетал малыш.

Женщины, свидетельницы этой сцены, с любопытством смотрели на мальчика и владельца шара.

Кошельков улыбнулся:

- Сначала давай познакомимся. Как тебя зовут?

- Генька, - бойко ответил паренек.

- Геннадий, значит? - уточнил Кошельков.

- Ага! - подтвердил Генька и, уже осмелев, спросил: - А тебя как?

- Меня зовут Митрофан Сергеевич, - солгал Кошельков и подал Геньке руку, которую тот по-мужски пожал. - Продавать шарик я не буду, но, раз он тебе понравился, могу подарить...

Генька схватился за нитку, бросил на ходу: "Спасибо, дядя!" - и побежал назад, к Витковскому. Вместе они некоторое время гуляли, а потом скрылись в том же втором подъезде, из которого вышли.

Я поспешил к Кочергину.

Он сказал:

- Вы понимаете, как у них хорошо продуман вопрос связи?

- Понимаю, - ответил я. - В течение четырех часов проведены три встречи, все вне квартир, в естественной обстановке и без всяких премудростей.

- Нужно полагать, что Глухаревский из автомата позвонил Кошелькову на работу, а тот, прежде чем выйти на свидание, созвонился с Витковским.

- А как вам нравится фокус с шариком? - усмехнулся я.
- То есть? - поднял глаза Кочергин.
- Хитро придумано, - сказал я. - С очевидным расчетом на мальчишку.
- Если бы так... - проговорил Кочергин.
- А вы считаете?..

Кочергин ответил не сразу:

- Тут дело хитрее: я полагаю, что мальчишка придуман для шара, а не наоборот. Ведь у Витковского детей, кажется, нет?
- Да-да, - подтвердил я. - Очевидно, соседский.
- Ну что Ж... для первого раза не так уж плохо, - заключил Кочергин и встал, давая понять, что беседа окончена.

К середине дня поступило новое сообщение. Неизвестный, стучавший в окно Глухаревскому, оказался Полосухиным. Он шофер по профессии. Родился в девятьсот двенадцатом году. По отбытии срока действительной военной службы в одной из частей нашего гарнизона устроился шофером на строительство военного аэродрома, а сейчас работает вольнонаемным в авиабригаде я ездит на бензозаправщике. Имеет жену и дочь. Родители - колхозники Белгородского района. Живет по соседству с Глухаревским.

Сообщение было тревожным. Я взял дежурную машину и поехал в энскую авиабригаду. Мне было известно, что авиабригада бомбардировщиков дальнего действия совершенно новое соединение в нашем гарнизоне.

Она начала формироваться после окончания строительства аэродрома. Сейчас укомплектовывалась летно-техническим составом и оснащалась боевыми машинами новейшей конструкции. Связь Полосухина с Глухаревским и его компанией требовала действий быстрых и решительных.

В штабе бригады я познакомился заочно с Полосухиным. Ничего интересного, как это бывает обычно, в его деле я не нашел. И лишь характеристика привлекла мое внимание. В ней были такие сведения: "Нерешителен: стоя на посту у артсклада, не нашелся, как поступить, и не смог задержать злоумышленника, напавшего на часового соседнего поста. Теряется в сложной обстановке: на маневрах при форсировании водной преграды, в момент, когда сильным течением сбило с ног лошадей, бросил упряжку и вплавь добрался до берега. Быстро подпадает под чужое влияние: на второй день после знакомства со спекулянтом остался у него ночевать и по его просьбе в течение недели распродал среди красноармейцев бумажники, перочинные ножи, кожаные перчатки. Жаден к деньгам: торгуется даже в парикмахерской".

Когда я передал характеристику Кочергину, он спросил:

- Кто писал?

Я ответил, что младший командир.

- Меткая характеристика! Несколько живых слов, примеров - и перед тобой человек. Умница этот младший командир. А я на днях просматривал аттестации на оперсостав нашего отдела. Скука! Зубы ноют! Все, как одна, будто под копирку написаны. Набор общих фраз, ничего не дающих ни уму, ни сердцу. Это просто безобразие. Чиновники раньше знаете как аттестовали подчиненных? Я читал, довелось копаться в архивах. Там что ни утверждение, то обязательно и пример. Как у этого младшего командира. А наши начальники, не в обиду им будь сказано, отделяются голыми утверждениями - и ни одного факта, ни одного примера. Я сделал себе выписки... - Кочергин открыл ящик письменного стола, вынул большой блокнот, полистал его. - Вот характеристика на младшего лейтенанта Карпачинского. Слушайте! "Энергичен... Инициативен... Дисциплинирован... Скромнен в быту. Требователен к себе... Авторитетен... Систематически работает над собой. В аморальных поступках не отмечен". И вывод... Слушайте вывод: "Занимаемой должности соответствует. Выдвигению не подлежит". Слово-то какое - "не подлежит". Почему же не подлежит, спрашивается? Оказывается, что дисциплинированный Карпачинский имеет за семь лет службы пять взысканий. Ну об этом мы поговорим особо, а сейчас... Что же нам

предпринять сейчас?

Мне казалось, что прежде всего необходимо было выяснить, в какой степени эта четверка связана между собой, кто кого знает. За многолетнюю борьбу с вражеской агентурой мне приходилось сталкиваться с различной тактикой, с различными приемами конспирации. Бывали случаи, когда во вражеских формированиях, независимо от их количественного состава, один человек мог знать только одного или когда личное знакомство не выходило за пределы определенного звена; когда старший знал всю низовку или когда он не знал ее совершенно и был связан с ней через вербовщиков. Да и мало ли еще было вариантов! Иные формирования были так умно и хитро построены, так глубоко и тщательно законспирированы, что арест одного звена, даже двух, не давал возможности не только вскрыть и ликвидировать остальные звенья, но даже узнать, существуют они или нет. Рискованно идти на оперативное вмешательство преждевременно. Можно арестовать одного агента и - оказаться у оборванной нити. На Северном Кавказе произошел такой случай. Органы узнали, что один из работников морского порта собирает шпионскую информацию. Возник вопрос, для кого он делает это? Кому и как передает собранные сведения? Это было главным. А недостаточно опытные товарищи поторопились. Убедившись, что объект их внимания вышел с территории порта с секретными записями, они задержали его. Изъятые записки носили важный характер и являлись бесспорной уликой. Задержанный вынужден был признаться, что выполнял задания иностранного генштаба, в лапы которого попал в двадцатых годах.

Дальше он заявил, что все сведения в письменном виде относит в так называемый "почтовый ящик". Делает это раз-два в месяц, а то и реже. "Почтовым ящиком" служит дупло старой акации на одном из городских бульваров. А кто вынимает его корреспонденцию из "почтового ящика", ему было неизвестно. Вполне возможно, что он говорил правду. Длительная засада у "почтового ящика" ничего не дала.

Торопливость в данном случае помешала вытянуть вражескую цепочку.

Я высказал свою мысль капитану Кочергину.

- Всяко бывает, - заметил он. - Что Полосухин знает лишь одного Глухаревского - это вне сомнений. И что Глухаревский не знает Витковского, тоже вполне возможно. Тут мы столкнулись с обычной и очень простой схемой, то есть цепочкой, от низшего к высшему, от младшего к старшему. Согласны?

- Пожалуй, да.

- Жизнь учит нас находить звено, ухватившись за которое мы овладеем всей цепочкой. Так, кажется? - продолжал рассуждать Кочергин.

Я опять вынужден был согласиться, но добавил:

- Вся беда в том, что мы еще не нашли это самое важное звено.

- Тут вопрос спорный, - возразил Кочергин.

- Значит, вы уверены, что необходимое звено найдено? - спросил я.

- Думаю, что да, - твердо сказал Кочергин, хлопнул ладонью по столу и встал. - Думаю, что да... - повторил он. - Можно начинать со старшего, то есть сверху, можно и с младшего, то есть снизу, можно, наконец, начинать с середины. Во всех случаях мы выхватываем какое-то определенное звено из цепи. Весь вопрос состоит в том, как мы вырвем это звено. Обычный арест принесет мало пользы. Улик-то нет? Нет. Опять ждать случая, когда Полосухин что-то передаст Глухаревскому и вся цепочка придет в движение, по-моему, нецелесообразно. Часто жизнь требует от нас действий, а не рассуждений. Важнее предупредить преступление, а не ожидать, пока оно совершится. А авиабригада - дело такое, что волокитой заниматься нельзя. Значит, надо думать над тем, как ухватиться за нужное звено... Попробуем обойтись на первых порах без арестов... Да-да, - он энергично потер руки и стал прохаживаться по кабинету. - Заготовьте повестку на вызов Полосухина... Обычную повестку...

- Как свидетеля? - уточнил я.

- Ну конечно... Вызывайте его ко мне на девять вечера.

- Сегодня?

- Да! Повестку вручите ему лично. Но сделайте это так, чтобы Глухаревский знал о ней. Вы поняли меня? В этом вся суть. Именно в этом. Ясно?

Я кивнул. Но сейчас могу признаться, что в то время у меня ясности не было. Абсолютно.

- Сделать это несложно. Ведь их дома рядом? - сказал Кочергин.

Я подтвердил.

- Придумайте что-нибудь...

- Постараюсь, - заверил я. - И все?

- Пока - да.

- Простите, товарищ капитан, - решил я спросить, - кто будет допрашивать Полосухина - я, вы или вместе?

Кочергин добродушно рассмеялся, лукаво, по-мальчишески подмигнул мне и сказал:

- Об этом узнаете вечером...

В пять часов я сел в трамвай, доехал до конца Советской улицы, сошел там и через несколько минут оказался в Больничном переулке. Когда-то до революции и в первой половине двадцатых годов в конце переулка у самого выгона размещалась городская больница, а теперь ее заново оборудованные помещения занимала артель "Гарантия", в которой, кстати, и работал Глухаревский.

Дома, в которых жили Глухаревский и Полосухин, стояли рядом, стена в стену, хотя дворы были отдельными. Когда-то, видимо, оба дома принадлежали одному хозяину, поэтому номера различались только по букве "а". Глухаревский жил в доме номер 11, а Полосухин - в доме номер 11-а. На этом сходстве я и строил план своих действий. В повестке на имя Полосухина умышленно была допущена ошибка - вместо номера 11-а поставлен номер 11.

Я взошел на крылечко к Глухаревскому и без всяких колебаний постучал в дверь.

Прежде чем она открылась, раздался сухой, отрывистый, неприятный кашель, а затем уже выглянула пожилая женщина, хозяйка дома. Я заранее предвидел такую возможность и быстро спросил:

- Квартирант у себя?

- Да.

- Позовите его!

Через короткое время она вернулась в сопровождении плотного мужчины с крупными чертами лица. По мне скользнул взгляд холодных, настороженных глаз.

"Такому поперек дороги не становись. Сомнет", - подумал я и, подавая ему повестку, сказал:

- Это вам... Вот здесь распишитесь!

Хозяйка смотрела то на меня, то на квартиранта и поеживалась.

Лицо Глухаревского не изменилось. Он всмотрелся в повестку и, возвращая ее мне, угрюмо сказал:

- Ошиблись адресочком, гражданин...

- Как? Одиннадцатый номер?

- Номер одиннадцатый, но никаких Полосухиных здесь нет, - так же угрюмо пояснил Глухаревский.

- Вот тебе на! - проговорил я и почесал затылок. - Где же искать Полосухина?

- Это уж ваше дело, - ответил Глухаревский. - Вам за это гроши платят...

Тут хозяйка, по простоте душевной, подвела квартиранта.

- Василий Спиридонович! Это же Федя... Федя, который...

Глухаревский не дал ей окончить и, перехватив инициативу, торопливо пояснил:

- Тьфу ты... Правильно, Федька-шофер! - он довольно бесцеремонно оттер хозяйку своим мощным плечом, вышел на крылечко и захлопнул за собой дверь. По фамилии его тут и не знают. Федька и Федька. Но живет он рядом, в доме 11-а. Тут ошибочка. Пойдемте, я покажу...

Мы вместе спустились с крылечка, прошли через калитку соседнего двора, повернули направо. Глухаревский сказал:

- Вот там его жилье... - и показал на узкую замызанную дверь.

Я поблагодарил за любезность и постучал. Провожатый мой постоял немного и неторопливо удалился.

На стук вышел рыжий, нескладный парень с лицом, усыпанным веснушками. Одет в легкомысленно короткие брюки с гармошкой у колен и несолидно сшитый куцый пиджак.

- Полосухин? - осведомился я.

- Точно. А что?

- А ничего. Вот вам повесточка. Распишитесь... Сегодня в девять вечера... Адрес указан...

Нет, это не Глухаревский! Руки у Полосухина задрожали. Поставив свою фамилию, он недоуменно повертел повестку, словно не ведая, куда ее сунуть, и вопросительно взглянул на меня.

- Пропуск будет выписан, - объяснил я и предупредил: - Без опозданий.

У ворот я обернулся: Полосухин глядел мне вслед с открытым ртом...

Вечером, точно в срок, Полосухин постучал в дверь приемной Кочергина. Проинструктированный капитаном, я принял его, усадил на стул возле окошка, а сам расположился за столом секретаря и стал писать справку, не имеющую отношения к делу.

Сейчас Полосухин был уже не тот, что днем. От растерянности не осталось и следа. Наоборот, на лице его была написана решительная готовность ко всему, что его ожидает...

Он сидел, ждал. Так прошли пять, десять минут, полчаса. Полосухин кашлянул, поерзал на месте. Я не обратил внимания. На сороковой минуте он попросил разрешения закурить. Я разрешил. Спичек у Полосухина не было, и я дал ему прикурить от своей папиросы.

В этот момент, как заключил я, мысли Полосухина отражались на его лице, как в зеркале. К нему вновь вернулась растерянность.

Он вошел сюда, обдумав все. Он подготовился к обороне, к отражению атак, но его никто не атаковал. И в глазах появился недоуменный вопрос: "В чем дело? Почему вы не спрашиваете меня?"

Вопросов ему я не задавал. Когда стенные часы мерно отбили одиннадцать ударов, я взял пропуск, отметил время, поставил печать и сказал:

- Можете идти... Вы больше не нужны...

Растерянность, охватившая Полосухина, была так велика, что он даже не спросил, зачем его вызывали, надел поспешно кепку и ушел.

Через минуту я стоял перед Кочергиным.

- Ну как? - поинтересовался он.

Я передал ему свои впечатления.

- Что и требовалось доказать. Он пока "вещь в себе", надо добиться, чтобы он стал "вещью для нас". Заготовьте новую повестку. Вызовите его на завтра, в двенадцать часов. Глухаревский, оказывается, перехватил Полосухина, когда он шел к нам, и ожидал его в двух кварталах от управления. Возле краеведческого музея. Сейчас они идут вместе... Теперь вам ясно, что я решил проделать?

Я ответил утвердительно. Теперь мне было все ясно.

К полудню следующего дня, когда Полосухин вновь сидел в приемной Кочергина, но теперь уже в компании дежурного по отделу, нам стали известны кое-какие не лишние интереса подробности.

Утром Глухаревский, прибегнув к помощи телефона-автомата, дозвонился, видимо, до Кошелькова. Но не встретался с ним. А вот Кошельков с Витковским встретились в пивной, что рядом с Госбанком.

За Полосухиным, который шел по вызову к нам, теперь наблюдал не только Глухаревский, но и Кошельков. Первый по-прежнему занял позицию возле краеведческого музея, а второй - наискосок, возле кинотеатра. С Полосухиным же повторилась вчерашняя история. Он прождал в приемной два часа. Потом зашел я, сделал отметку на его пропуске и сказал, что он свободен.

Узкий лоб Полосухина, за которым, как в сейфе, прятались интересующие нас сведения, весь собрался в морщины. Я чувствовал, что он хочет заговорить со мной, спросить что-то, но не

решается это сделать.

На этот раз Глухаревский к нему не подошел. Вместе с Кошельковым они наблюдали издали, с противоположной стороны улицы.

Вечером, а точнее, в половине десятого, когда уже совсем стемнело, я, по приказанию капитана Кочергина, отправился на квартиру Полосухина.

Мой визит поверг Полосухина в изумление. Открыв дверь, он уставился на меня одуревшими глазами и застыл как парализованный.

- Плохо вы гостей встречаете, - произнес я обычным тоном. - К вам можно?

- Почему же... Понятно, можно, - приходя в себя, ответил Полосухин и затоптался на месте.

"Вот что такое страх", - мелькнуло у меня в голове.

Легонько отстранив хозяина, я потянул на себя входную дверь и первым вошел в комнату. В ней была женщина, по-видимому жена Полосухина, но только старше его по годам.

- Настя! Выдь до соседки, - сказал ей Полосухин. - Нам покалякать надо...

Женщина молча вышла.

Небольшая комната с обычной для семейной квартиры немудреной обстановкой никакого интереса не вызвала. Я сел у стола, пригласил сесть хозяина и заговорил с ним о начальнике материального склада авиабригады. Так было задумано капитаном Кочергиным. Каков из себя этот начальник склада, как он ладит с народом, любит ли компанию, какие у него порядки в складе, с кем он дружит, не довелось ли Полосухину бывать у него дома и т.д. и т.п.

Полосухин отлично понял, что весь этот разговор так только, для отвода глаз, однако старался давать обстоятельные ответы и говорил все, что знал. Потом я переключился на начальника автобазы бригады. Ставил те же вопросы и получал примерно такие же ответы. Для меня этот разговор, занявший битый час, был нужен, нужен хотя бы для того, чтобы заполнить время.

Потом я сказал "спасибо!", надел кепку и вышел.

Через полчаса у Кочергина, кроме меня, собрались все оперработники моего отделения. Отпустил нас Кочергин около двух ночи... А сейчас уже... О, очень поздно! Пора и на покой!

1 апреля 1939 г.

(суббота)

Сегодня я встал необычно рано, выпил стакан чаю из термоса и отправился в управление.

Стояло холодное солнечное утро. По небу лениво плыли белые грудастые облака. В сквере перед зданием управления с криками и перебранкой облюбовывали места для жилья первые грачи.

Всю неделю я был полон нетерпеливого ожидания: чем окончится эксперимент, предпринятый капитаном Кочергиным?

В четверг мы вызвали Полосухина еще раз. Он был похож на человека, пропущенного через мясорубку: глаза ввалились, щеки обросли многодневной щетиной. Он то и дело вздрагивал, испуганно оглядывался, будто ожидал удара. Грязным платком ежеминутно стирал пот с лица.

На сей раз Кочергин приказал мне подвезти Полосухина до дому на машине. В этом тоже таился определенный смысл.

Когда я вышел из подъезда и предложил Полосухину сесть в машину, он испустил тягостный вздох и тихо пробормотал:

- Так... понятно... Ну и слава богу...

Но радость его была преждевременной: я направил машину не в тюрьму, как он ожидал, а в Больничный переулок.

Глухаревский прождал его у краеведческого музея до двух ночи, а потом рискнул заглянуть к нему домой. Но Полосухина дома не оказалось. И не оказалось по вине самого Полосухина.

Когда я въехал в Больничный переулок, он понял, что его везут домой, и взмолился:

- Подбросьте меня до аэродрома... Вам ничего не стоит. В четыре утра я должен подвозить бензин.

Я исполнил его просьбу.

С той ночи Полосухин ни дома, ни в городе не появлялся: он не покидал территории аэродрома.

В полдень меня вызвал капитан Кочергин. Я застал его в приподнятом настроении. Он расхаживал по кабинету и жадно курил.

- Настал момент проверить, во имя чего мы рисковали, - сказал он.

- Что прикажете делать?

- Позвоните в бюро пропусков, - он показал на свой телефон, - и закажите пропуск Полосухину!

- Опять вызвали?

- И не подумал. Звоните!

Я заказал пропуск и выжидающе посмотрел на капитана. Он не стал дразнить мое любопытство и объяснил:

- Телефонистка коммутатора сообщила, что кто-то звонит из-за города, себя назвать отказывается и настойчиво просит соединить его с начальником, который сидит в восемьдесят пятой комнате. Стало быть, со мной. Я разрешил. Оказывается, Полосухин. Просит принять. Срочно принять. Он на аэродроме. Дальше терпеть не может и должен все сказать. Дело якобы пахнет кровью: его жизнь в опасности.

- Что же произошло? - прервал я капитана.

- Очевидно, то, чего следовало ожидать. Я послал дежурного на машине. Так быстрее, - добавил Кочергин.

Минут через десять дверь приоткрылась, и дежурный по отделу ввел Полосухина. Вид у него был неприглядный: вымазанное известкой пальто застегнуто на одну пуговицу, ворот рубахи открыт и подвернут, волосы всклокочены, под глазами серые мешки.

- Здравствуйте... - тихо проговорил он и затоптался на месте.

Кочергин предложил ему сесть:

- Вы хотите что-то сказать нам?

Полосухин решительно кивнул, но не ответил ни слова. Он, видимо, приводил в порядок растрепанные мысли.

Мы ждали. Пауза затянулась. Полосухин глядел куда-то мимо нас и ожесточенно грыз ногти. Он был в чрезвычайном возбуждении.

Я сидел рядом с капитаном, по правую руку. Он взял карандаш и своим крупным почерком вывел в блокноте: "Скис! Жидкая дрянь".

Наконец Полосухин заговорил. Заговорил захлебывающейся скороговоркой, будто опасался, что ему не дадут высказаться:

- Все выложу! Все дочиста! Он все одно не верит мне... Не верит... Сказал, что перекусит меня пополам! И вполне свободно перекусит. Для него это все одно что сплюнуть...

- Кто он? - строго спросил Кочергин.

Полосухин будто споткнулся. Он умолк и уставился на Кочергина. Настала для него решительная минута. Надо было назвать фамилию.

- Глухаревский. Да вы знаете... - выдавил он из себя.

- Так, - подытожил первый этап допроса Кочергин. - Рассказывайте все по порядку!

И Полосухин рассказал все. Да, он виноват, но лучше сесть в тюрьму, чем умереть от руки Глухаревского. Это он, Глухаревский, сбил его с пути и заставил сообщать все об энской авиабригаде. Что нужно было Глухаревскому? Много: сведения о новых боевых машинах, количество вооружения на них, запас горючего, длительность полета, состав экипажа; сведения о том, где сложены авиабомбы, где расположен склад горючего, для чего подведена к аэродрому узкоколейная дорога, какой марки бензин идет на заправку самолетов и многое другое. Был ли доволен Глухаревский работой Полосухина? Видимо, да. Из чего это видно? Да хотя бы из того, что Глухаревский щедро одаривал его

деньгами. В феврале, например, сумма, полученная от Глухаревского, в три раза превысила месячную зарплату Полосухина. И Глухаревский верил ему, а с понедельника перестал верить. Почему с понедельника? Потому что в понедельник Полосухина вызвали в УНКГБ. Глухаревский перехватил его по дороге и спросил: "Зачем вызывали?" Полосухин ответил, что он и сам не знает. "О чем говорили?" - "Ни о чем. Просидел два часа, и никто даже словом не обмолвился". Глухаревский изменился в лице: "Как это ни о чем? Ты за кого же меня принимаешь? Выкладывай, не то перекушу пополам!" А что выкладывать? Что? В четверг рано утром Глухаревский перехватил Полосухина на пути к аэродрому. Он ударил Полосухина по лицу и предупредил: "Смотри, шкура! Если тебя опять вызовут и ты опять будешь заливать мне байки, я тебя так тихо переправлю на тот свет, что ты и сам не заметишь".

- А мне жить надо! Понимаете - надо! - каким-то воплем закончил Полосухин.

Я посмотрел на Кочергина. Мне показалось, что он не особенно уверен в том, что Полосухину надо жить.

Покаянный порыв Полосухина был вызван не сознанием степени и глубины своего преступления перед Родиной, а страхом перед старшим сообщником.

- Кто познакомил вас с Глухаревским? - спросил Кочергин.

Никто! Дело было так. В прошедшую ноябрьскую годовщину днем его затянул к себе приятель, тоже шофер, но с "гражданки". Они здорово выпили. Полосухин явно перебрал, еле-еле добрался до дому. Он помнит, что на крыльце увидел соседа - Глухаревского и, кажется, поздоровался с ним. Нет, они не были знакомы. Поздоровался впервые, по пьянке. Пришла такая блажь, взял да и сказал: "Здравствуйте! С праздничком!" Глухаревский сбрасывал снег с крыльца и ответил на приветствие. Дома жена начала "пилить" Полосухина и величать его обидными словами, вроде: "Нализался, как пес!", "Пропасти на тебя нет", "Когда мои глазыньки перестанут видеть тебя, злыдень проклятуший" и т.д. Начавшаяся перебранка переросла в ссору. Полосухин без пальто и шапки, разгоряченный, выбежал на улицу. Выбежал и упал в сугроб. Да там и остался. А очнулся, когда было темно, на диване у Глухаревского. Утром они пили пиво и водку. Вели беседу, как давние друзья. Потом спали и опять пили. Домой Полосухин не хотел возвращаться. Был зол на жену. С того дня все и началось. А потом, когда Полосухин передал первую записку со сведениями о вновь присланных в бригаду самолетах, тот предупредил его, что для пользы дела встречаться им более не следует и лучше делать вид, что они незнакомы. Так безопаснее и спокойнее...

Телефонный звонок прервал исповедь Полосухина. Кочергин поднял трубку, выслушал и вызвал дежурного.

- Уведите Полосухина к себе, - приказал он. - Накормите его. Дайте бумагу, ручку. Пусть изложит все подробно, по порядку, от начала до конца.

Когда мы остались одни, Кочергин торопливо сообщил:

- Крысы покидают корабль. Значит, кораблю грозит гибель. Примета верная.

Что же узнал по телефону Кочергин? Оказывается, Глухаревский собрал на скорую руку вещички и проследовал на вокзал. По пути он передал Кошелькову бумажный сверточек, что-то вроде сложенного в несколько раз конверта, и сел в трамвай. Сейчас Глухаревский на вокзале, ожидает поезда.

- Первым должен удалиться тот, кому больше угрожает опасность провала, - заключил Кочергин. - Надо арестовать всех троих. Займитесь Кошельковым. Лично займитесь. Об остальном позабочусь я. Глухаревский что-то передал Кошелькову. Это "что-то", по всей видимости, предназначено Витковскому, но должно попасть в наши руки. Кстати, вы хорошо стреляете?

Как человек скромный и любящий правду, я ответил:

- Горжусь, что состою в лучшей стрелковой пятерке коллектива.

Кочергин сдержал улыбку:

- Отлично. Прихватите с собой малокалиберный пистолет. Возможно, понадобится. По воздушным шарам не приходилось стрелять?

Я признался, что не приходилось.

- Смотрите не промажьте! Пристрастие Кошелькова к шарам не случайно.

Спустя короткое время я сидел в уютной комнатке старой учительницы напротив дома Кошелькова и смотрел в окно. День клонился к исходу. Учительница пристроилась у стола и трудилась над внушительной стопой ученических тетрадей. Она не мешала мне, я - ей.

Я выжидал. Проще простого было бы зайти к Кошелькову, арестовать его и произвести обыск, но обыск мог не дать желанного результата. Нет, терпение и терпение... "Передача" должна попасть в наши руки.

Наконец, из калитки, прорезанной в высоких воротах, вышел Кошельков. Над его головой покачивался большой красный шар. Он постоял немного, взглянул в небо, где рокотал пролетающий самолет, и зашагал в сторону центральной улицы.

Я встал. Это было машинальное движение, ибо я мог не вставать и не торопиться: с Кошелькова не спускали глаз три работника из моего отделения, находившиеся на своих постах.

Я покинул комнату учительницы через четверть часа, когда уже был уверен, что Кошельков удалился квартала за два.

Большой шар привлек мое внимание еще издали. Он оказался хорошим ориентиром. Сначала он двигался прямо, выплыл на улицу Карла Маркса, потом повернул на Советскую, затем на Гоголевскую и стал подниматься по ней.

Гоголевская улица выходила на небольшую площадь, вид которой портил старый, облупившейся штукатуркой и обезглавленными куполами собор. На паперти стоял высокий худощавый мужчина и разглядывал остатки былых лепных украшений у входа.

"Витковский", - мелькнула догадка.

Место для свидания было выбрано удачно. Витковский видел все вокруг и мог сразу заметить подозрительного человека. Я шел еще по тротуару, а Кошельков уже пересекал площадь. Идти следом было опасно, а остановиться нельзя: остановлюсь я, остановятся и мои ребята. Решение принял на ходу вернулся до угла назад, обошел собор с другой стороны и вышел навстречу Кошелькову. Но тот уже успел приблизиться к Витковскому.

На площади в это время появились двое из моих ребят. Они смеялись, толкали друг друга, дурачились. Это был условный знак: значит, я опоздал. Кошельков уже передал что-то Витковскому, и теперь тот держал в руках красный шар. Они шли рядом и мирно беседовали. Нельзя было терять ни секунды. Я пошел прямо на них, а с противоположной стороны стали приближаться мои помощники.

Да, место для свидания было удачное. Об этом я подумал еще раз в тот момент, когда нас разделяло не более двадцати пяти шагов. Площадь возле собора оказалась пустой, и подойти к цели незамеченными нам не удалось.

Витковский обернулся, увидел моих ребят и инстинктивно почувствовал опасность. Красный шар тут же оторвался от его руки.

- Будь ты неладен! - фальшиво-огорченно вскрикнул он.

Ветром шар несло на меня, и поднимался он не так уж быстро. На конце нитки болталась свернутая в трубку бумажка.

Я быстро вытащил из внутреннего кармана пальто малокалиберный наган и, вскинув его, нажал курок.

Все это произошло в считанные секунды; за негромким щелчком выстрела последовал хлопок, и шар маленьким комочком упал на снег.

Витковский решился на последнюю попытку.

- Спасибо! - крикнул он и бросился к остаткам шара.

- Ни с места! - предупредил я.

С другой стороны подбегали мои ребята. Кошельков и Витковский автоматически подняли руки. Другого выхода у них не было.

Я отвязал от шара груз. Обычный почтовый конверт, заклеенный и свернутый в трубку. В нем что-то таилось.

Оставалось уточнить личность задержанных.

- Кошельков? - спросил я.

- Да...

- Витковский?

Тот кивнул.

- Вперед! Руки за спину!

Капитан Кочергин ошибся в расчетах. Он предложил мне заняться Кошельковым, а на себя взял двоих. Вышло наоборот. Короче говоря, к двум часам ночи вся четверка находилась там, где ей давно полагалось быть.

6 апреля 1939 г.

(четверг)

Я заканчивал докладную записку о ликвидации шпионской группы Витковского. Вошел Дим-Димыч.

- Завтракать пойдём?

- Посиди минуты две, - попросил я. - Сейчас сдам на машинку последнюю страничку.

В буфете за завтраком Дим-Димыч пожаловался мне:

- Что-то от Андрея давно ничего нет... Не захворал ли?

Андрей, его брат, работал прокурором на Смоленщине.

- Как это давно? - поинтересовался я.

- В ноябрьскую прислал поздравительную телеграмму - и с тех пор молчок...

Я знал, что Дим-Димыч и его брат ленивы на письма, а потому сказал:

- Что это, первый случай? А ты когда ему писал?

Дим-Димыч покрутил головой:

- Не помню...

- То-то... Скажи лучше, как вы управляетесь без своего драгоценного начальника? - Я имел в виду Безродного, который двадцать второго марта отбыл на курорт.

- Превосходно! По-моему, следует продлить его отпуск на полгода. Мы бы отдохнули, а он убедился бы, что отдел не пропадет без него.

После завтрака я зашел в машинное бюро, взял отпечатанную докладную и сел ее вычитывать.

Сказать, что дело Витковского окончилось так, как мы желали, никто не имел права.

Собственно, для суда в деле имелось все необходимое, чтобы решить судьбу преступников. Следствие закончилось неожиданно быстро. Сам Витковский и его подопечные Кошельков и Полосухин признались во всем. Упорствовал один Глухаревский. Он отрицал принадлежность к шпионской группе, отказывался от знакомства с Кошельковым и Полосухиным, заявлял, что Полосухин никогда не был у него дома. Так он вел себя на допросах, точно так же и на очных ставках. Его изобличали, кроме Кошелькова и Полосухина, жена последнего и квартирная хозяйка. Своим упорством он лишь оттягивал собственную вину.

Кошельков вел себя на следствии, по выражению Кочергина, "прекрасно". В этом огромную роль сыграл "груз", привязанный к воздушному шару.

В заклеенном конверте оказался лист почтовой бумаги, а на нем - зашифрованное донесение, написанное рукой Глухаревского. Кошельков расшифровал его. В донесении шла речь все о той же авиационной бригаде. Витковский поначалу пытался выкрутиться. Это вполне естественно для преступника: он хотел прощупать, чем располагает следствие, но, когда ему сделали очную ставку с Кошельковым, выложил все без утайки. В тридцать втором году его привлекла к сотрудничеству германская секретная служба. Как и где это произошло, что вынудило его пойти на измену Родине, - это уже подробности. И не о них сейчас речь. Речь о другом: с кем он поддерживал связь, перед кем отчитывался.

При вербовке Витковского предупредили: до тридцать шестого года его никто не будет тревожить и он может забыть, что в его жизни произошли изменения. Четыре года Витковский, являясь агентом иностранной разведки, бездействовал, а в тридцать шестом ему

напомнили об этом. Он проводил летний отпуск под Москвой и как-то решил посетить столицу. На перроне Ярославского вокзала к нему подошел незнакомый мужчина, взял его под руку, назвал по имени и отчеству и сказал пароль. Сам он представился Дункелем, и Витковский подумал, что имя это вымышленное: "дункель" - по-немецки "темный". Здесь же Витковский получил задание найти в нашем городе Кошелькова и через него заняться разведкой строительства военного аэродрома. Дункель не предложил никаких условий связи. Он сказал: "Когда вы будете нужны, я вас найду".

Спустя два месяца, уже в нашем городе, Дункель подошел к Витковскому, когда тот возвращался с рынка в воскресный день. Он вручил ему приличную сумму денег и указал три тайника - "почтовых ящика". Первый - в стене общественной уборной в городском парке, им пользовались преимущественно летом. Второй - основной - в отдушине каменного фундамента гардероба на пляже. Им пользовались чаще всего. Третий - резервный - оказался в телеграфном столбе на выгоне, недалеко от перекрестка. В столбе было высверлено отверстие величиной с большой палец, которое прикрывалось хорошо пригнанным сучком. Вторая встреча с Дункелем была для Витковского и последней. Больше они не виделись. Связь осуществлялась через тайники.

Глухаревского и Полосухина Витковский ни разу не видел, не стремился к этому, но о существовании обоих знал со слов Кошелькова. Полосухин знал лишь Глухаревского.

Мы питали надежду, что на темную личность Дункеля прольет свет Кошельков, но надежды наши не сбылись. Нет, Кошельков о Дункеле не имел никакого понятия. Кошелькова к шпионской работе привлек, как я уже говорил, немецкий агент, которого я назвал Иксом. Это было в Белоруссии в двадцать девятом году. По рекомендации, полученной от Кошелькова, Икс завербовал тогда же Глухаревского. В тридцать третьем Икс был арестован, осужден, но свою сеть не выдал.

Оставалась последняя надежда "познакомиться" с Дункелем - встретить его у одного из тайников. Но и она разрушилась. После первого вызова Полосухина на допрос Витковский опустил в резервный тайник короткую записку с предупреждением о грозящей опасности. Записки этой в тайнике мы уже не обнаружили. Надо полагать, что или сам Дункель, или его доверенный своевременно извлекли ее оттуда. Ничего не дали и организованные нами засады у всех трех тайников. Дункель не появлялся.

Короче говоря, шеф захваченной нами четверки ускользнул. И узнали мы о нем лишь то, что знал Витковский. По его словам, Дункель был русский. Во всяком случае, ничего инородного ни в его речи, ни в его облике не подмечалось. Обычный, ничем не отличающийся от других человек среднего роста, с правильными мужественными чертами лица, не старше сорока лет, глаза темные, скорее, карие, такая же и шевелюра, не особенно густая, с пробором сбоку. И все...

24 апреля 1939 г.

(понедельник)

За день до отчетно-выборного партийного собрания Безродный неожиданно изменился. Он стал подозрительно общителен, разговорчив и даже любезен. У него появилось желание заглядывать в кабинеты начальников отделений, рядовых работников, где его давно уже не видели, завязывать разговоры, угощать всех папиросами и, к удивлению многих, даже рассказывать анекдоты.

В читальном зале библиотеки, непосредственно перед собранием, он толкался среди "простых смертных", переходил от одной группы к другой.

Дим-Димыч сказал мне:

- Быть глупцом - право каждого, но нельзя этим правом злоупотреблять. Он старался стать глупцом большим, чем настоящий глупец.

Возразить было нечего.

Собрание открыл секретарь бюро отдела Корольков ровно в восемь вечера.

Первой неприятной неожиданностью для Безродного, испортившей ему настроение с самого

начала, явилось то, что его не избрали в президиум. Его кандидатуру никто не предложил, хотя он и сидел на виду у всех.

В президиум попали: Зеленский, Брагин, Осадчий, состоявший на учете в парторганизации этого отдела, Корольков и я.

Фомичев, к сожалению, на собрании присутствовать не мог: по заданию обкома он накануне выехал в район.

Корольков, выступивший с отчетным докладом, раскритиковал и себя, и выбывших из отделов членов бюро. Но это никоим образом не улучшило впечатления о его работе. Мне кажется, даже ухудшило. Получалось так, будто Корольков и члены бюро все отлично видели, знали, понимали, но ничего не делали.

В прениях, как ни странно, выступил первым Безродный. Я был больше чем уверен, что он возьмет под защиту Королькова, который являлся его "тенью", но Безродный подверг Королькова полнейшему разгрому. Он говорил резко, безапелляционно, не смягчая формулировок, и выступление его звучало, я бы сказал, довольно убедительно. Раздав Королькова, Безродный счел нужным пояснить присутствующим, каким должен быть чекист-коммунист. Он говорил о моральном облике, о чувстве товарищества, о самодисциплине, о внутренней культуре, обо всем том, без чего немислим настоящий чекист.

Осадчему выступление Безродного, видимо, понравилось. Он смотрел в его сторону, одобрительно кивал и даже что-то записывал.

После Безродного слово взял старший оперуполномоченный - редактор стенной газеты Якимчук.

"Ну, этот расскажет, как Безродный пропесочил его за карикатуру", подумал я.

Якимчук, славный парень, жизнерадостный, полный кипучей энергии и инициативы, не решился портить отношений с начальником отдела. Он ограничился жалобой на саботажников, то есть на тех, кто обещал писать в газету и не дал ни строчки.

И лишь в выступлении заместителя Безродного Зеленского, человека, по сути дела, нового, я уловил кое-какие тревожные нотки. Он, видимо, уже разобрался в обстановке, потому что сказал: "Корольков не один коммунист, и валить на него все беды было бы несправедливо. В отделе много старых членов партии, старших по работе, - таких, как он, Зеленский, как Безродный, как второй заместитель Рыбалкин..." Потом коснулся роли руководства отдела, его ответственности за партийную работу.

- Руководство само по себе, без вас, без коллектива, - пустой звук, говорил Зеленский. - Будь у каждого из нас семь пядей во лбу, одни мы ничего не сделаем. Нет полководца без войска, нет руководителя без коллектива. Успех дела зависит от того, как руководители строят свои отношения с коллективом, как коллектив понимает их. Все ли у нас благополучно? Думаю, что нет. Руководство отдела может ошибаться. Более того, ошибаясь, оно может верить в то, что поступает правильно. Кто должен подсказать ему? Кто обязан покритиковать его? Вы, и только вы. А вы молчите. Вы критикуете Королькова, будто на нем свет клином сошелся. Не кажется ли вам такое отношение к судьбам отдела равнодушием? А равнодушие штука страшная. Оно убивает самое горячее начинание, оно не оставляет места чистосердечию, оно порождает льстецов, честолюбцев, при нем расцветают стандарт, бюрократизм...

Работу бюро признали неудовлетворительной. Затем объявили перерыв.

Безродный, приунывший было, заметно оживился. На глазах у всех он взял под руку майора Осадчего, отвел к окну и начал что-то говорить, усиленно жестикулируя.

Я подошел к Дим-Димычу:

- Оказывается, твой шеф не так уж уязвим, как я рассчитывал.

- Посмотрим, - усмехнулся Дим-Димыч. - Ему невдомек, какую свинью я ему подложу.

После перерыва место председателя занял Зеленский. Приступили ко второму вопросу повестки - выборам нового бюро.

- Прошу называть кандидатов, - объявил Зеленский.

Первым в список попал Брагин, затем Зеленский, за ним Якимчук, потом Бодров и, наконец,

Безродный.

- Хватит! Подвести черту! - предложил кто-то.

- Никаких хватит! Почему подвести черту? Мы собрались выбирать, а не просто голосовать. Вопрос поставили на голосование. Большинство решило продолжать список. В него попали Корольков, Фролов, Иванников, Демин и Боярский. Потом подвели черту.

Началось обсуждение выдвинутых кандидатур.

Первые четыре кандидатуры остались в списке и прошли без сучка и задоринки. Когда Зеленский назвал фамилию Безродного, Дим-Димыч поднялся и сказал:

- Я даю отвод товарищу Безродному.

Зал затих, будто мгновенно опустел. Безродный поерзал на стуле, откинулся на спинку и глянул на Осадчего. А тот смотрел на Дим-Димыча. И в его взгляде было не то удивление, не то досада.

- Можно сказать? - спросил Дим-Димыч председателя и, получив разрешение, начал: - Товарищ Безродный наговорил здесь много хорошего о том, каким должен быть чекист-коммунист. Но сам он выглядит очень неудачной иллюстрацией к своим же словам. Перед нами наглядный пример того, как человек говорит одно, а делает другое...

Сдержанный гул одобрения прокатился по залу.

- Что вы мастер болтать - все знают. Давайте примеры! - не сдержался Безродный.

- Не перебивайте, - предупредил Зеленский.

Но перебить или сбить Дим-Димыча было не так просто. Кто-кто, а уж я-то знал его ораторские способности.

- Вы просите примеры? - обратился он к Безродному. - За ними дело не станет. Я утверждаю, что критика в нашем отделе - смертный грех. Кто осмелится покритиковать коммуниста Безродного, тот неизменно впадет в немилость. И не случайно, что все сегодня сидят, будто воды в рот набрали. На одном из последних собраний коммунист Бодров сказал, что наш начальник отдела злоупотребляет взысканиями и забывает, что взыскание - это еще не самая лучшая мера воспитания. Этого оказалось достаточно, чтобы Бодрову было отказано в квартире, в которой он остро нуждается. Вот вам один пример.

- Квартирами распоряжаюсь не я, а начальник управления! - выкрикнул Безродный.

- А кто ходатайствует? - спросил Дим-Димыч. - Да и к чему оправдываться? Спросите любого сидящего здесь, прав я или не прав. Фролов смел выразиться, что вы совершили акт великодушия. Ерунда! Нельзя смешивать великодушие с холодным расчетом. А у вас был расчет. Кто ходатайствовал перед парткомом и начальником управления о предоставлении квартиры Бодрову? Вы! Кто пошел против себя? Вы! И сделали это на следующий же день после выступления Бодрова на собрании.

Безродный сидел красный как рак.

- Минутку! - обратился Осадчий к председателю. - У меня вопрос к товарищу Бодрову. Какова ваша семья?

- Я, жена, мать жены и трое ребят. Шесть душ, - ответил Бодров.

- И одна комната в восемнадцать метров без удобств, - подал голос осмелевший Якимчук.

- Товарищи! - запротестовал Фролов. - Мы должны кандидатуры обсуждать, а тут бытовой разговор получается.

- А что в этом плохого? - спросил Осадчий. - Или собрание против?

Нет, собрание было не против. Посыпались возгласы:

- Давайте! Давайте!

- Разговор по душам...

- Это же хорошо!

- Вот и отлично, - одобрил Осадчий. - А с квартирами я разберусь. Разберусь и доложу следующему собранию.

- Можно продолжать? - заговорил Дим-Димыч. - Продолжу. Еще пример. В предыдущем номере стенгазеты появилась безымянная карикатура. Она не имела ни с кем даже отдаленного портретного сходства. Надпись под ней гласила: "Молчать! Слушайте меня!"

Товарищ Безродный безошибочно догадался, что речь идет о нем. Он вызвал редактора стенгазеты и приказал: "Снять эту гадость!" Когда Якимчук попытался объяснить что-то и напомнил о редколлегии, на него обрушилось: "Молчать! Вон отсюда!"

Безродный краснел все гуще и гуще.

- И еще несколько слов, - продолжал Дим-Димыч. - Вы, товарищ Безродный, красиво, витиевато и очень пространно говорили, каким должен быть чекист. Кого вы имели в виду? Подчиненных или начальников? Видимо, всех. Говорят, что подчиненные не любят слабохарактерных начальников. Это, пожалуй, верно. Но они не любят и грубиянов. Кто дал вам право кричать на сотрудников, унижать их человеческое достоинство? Что такое ругань? Это, прежде всего, бескультурье. Это, наконец, хулиганство. А как можно совместить то и другое с должностью, которую вы занимаете? Да и кого вы оскорбляете? Того, кто не может ответить вам тем же. Уж наверняка Осадчего не оскорбите! Фомичева тоже... А вот Якимчука, Сидорова, Зоренко - да. И с какой это поры в нашем отделе все вдруг стали болванами? С кем же вы работаете, товарищ Безродный? Беда в том, что ошибки других не делают нас умнее. Вы, наверное, забыли историю Селиванова. Вы смогли внушить к себе не только неуважение, но и антипатию. Поэтому я и даю вам отвод.

Дим-Димыч сел.

Все чувствовали себя как-то растерянно.

- Кто еще желает выступить по кандидатуре товарища Безродного? каким-то не своим голосом осведомился Зеленский.

Желающие оказались. Выступили Корольков, Фролов, Ракитин, Боярский, Коваленко, Нестеров, Иванников. Семь человек. Они не пытались опровергнуть сказанного Дим-Димычем. Это было рискованно. Они искали у Безродного положительные стороны, грубость объясняли горячим характером, нелюбовь к критике - болезненным состоянием, усталостью, большой нагрузкой по работе и всякой иной чепухой. Короче говоря, они считали возможным оставить Безродного в списке для тайного голосования.

И как ни силен был бой, данный Дим-Димычем, я, честно говоря, усомнился в его исходе. Безродный, сидевший все это время как под дулом наведенного пистолета, несколько отошел и воспрянул духом.

Однако Дим-Димыч решил добить его. Он обратился к собранию с вопросом:

- Быть может, товарищ Безродный даст себе самоотвод?

Этого было достаточно, чтобы вернуть Безродного в прежнее состояние. Он подарил Дим-Димыча таким взглядом, что мне его никогда не забыть. Если бы в эту минуту Безродному разрешили безнаказанно расправиться с Дим-Димычем, он бы слопал его вместе с потрохами.

- Ставьте вопрос на голосование! - предложил Корольков.

Зеленский проголосовал. За отвод Безродному подняли руки Дим-Димыч, Бодров и Якимчук. Трое воздержались. Большинство решило оставить его в списке кандидатов.

Сообразительный Корольков выступил с самоотводом, и просьбу его удовлетворили.

В списке осталось девять кандидатур.

Но самое неожиданное произошло, когда председатель счетной комиссии стал объявлять итоги тайного голосования.

Почти единогласно, исключая два голоса, прошел Дим-Димыч. За ним следовал Зеленский, потом Якимчук, Бодров и, наконец, Корабельников.

- Остальные четверо, - сказал председатель счетной комиссии, выражаясь парламентским языком, не получили вотума доверия.

Безродный сейчас же встал и, не ожидая конца собрания, покинул зал.

На первом заседании партийного бюро секретарем избрали Дим-Димыча.

30 апреля 1939 г.

(воскресенье)

Произошло нелепое, чудовищное: Дим-Димыча исключили из членов партии и уволили из

органов государственной безопасности. Началось все на другой день после отчетно-выборного собрания и закончилось сегодня. Несколько строк приказа, подписанного Осадчим, уничтожили моего друга как чекиста. Мне кажется, будто все это дурной сон, а не явь. Я не хочу верить этому, но от этого ничего не изменится. Ровным счетом ничего.

За весь сегодняшний день в моей голове не нашлось места ни для одной путной мысли. Я не мог ничего делать. Я перекидывал бумаги и папки с места на место, курил одну папиросу за другой или бродил по кабинету из угла в угол. Отчаяние, непередаваемая боль охватывали меня, сжимали сердце. С трудом мне удалось дотянуть до вечера, выполнить то, что требовали служебные обязанности. И как только стемнело, я, сославшись на головную боль, ушел. Ноги сами повели меня за город, к реке.

Стояла теплая, но пасмурная ночь. Низко плывущие тучи приглушили звезды. Как длинный развернутый холст, лежала передо мной река. Я минул пешеходный мост, спустился с обрыва и лег на еще не утративший дневного тепла песок. У края обрыва росли березы, опушенные свежей листвой. Даль реки затягивал густой зеленоватый сумрак.

Что же произошло с Дим-Димычем? Из управления кадров центра пришло письмо с категорическим указанием рассмотреть вопрос о пребывании в партии и органах государственной безопасности Брагина Дмитрия Дмитриевича. К письму прилагались материалы, в которых сообщалось, что в конце прошлого года органами государственной безопасности была арестована подозреваемая в связях с троцкистами сотрудница ОТК одного из заводов на Смоленщине Брагина Валентина Федоровна - жена брата Дим-Димыча. В процессе следствия она заболела глубоким расстройством нервной системы и накануне нового, тридцать девятого года умерла в тюремной больнице. Две недели спустя муж Валентины Федоровны и брат Дим-Димыча - Андрей Брагин покончил с собой.

Дим-Димыча обвинили в том, что он знал обо всем я скрыл. Больше того, молчание истолковали как сочувствие жене брата и брату-самоубийце.

А Дим-Димыч ничего не знал и ничего не скрывал. В этом я мог поручиться. Лишь один раз, обеспокоенный долгим отсутствием писем, он поделился со мной тревогой.

На собрания парторганизации отдела он так и заявил, но добавил, что ни минуты не сомневается в том, что до последних дней своей жизни его брат и жена брата оставались честными советскими людьми и настоящими коммунистами.

Это заявление лишь подлило масла в огонь. Как он смеет так утверждать? Как он может ручаться? И это говорит чекист?

Да, это говорил потомственный чекист! Он мог ручаться и за своего брата, и за его жену. Он не переставал утверждать, что те, кто отдал свои юные годы жестокой борьбе с многочисленными врагами Родины, кто, не жалея своей жизни, бился в рядах ЧОНа с бандитами, кто бесстрашно разоблачал скрытых и явных недругов Советского государства и в их числе тех же троцкистов, кто поставил целью своей жизни борьбу за святые идеалы ленинской партии, кто ради и во имя этого переносил холод, голод, страдания, кто выполнял задания комсомола под наведенным стволом кулацкого обреза, кто, наконец, в боевых схватках проливал свою кровь, - тот не пойдет на предательство, тот не запятнает имя коммуниста.

Поступок брата он не оправдывает. Но как судить его? Валентина была для Андрея не только женой и другом. Их любовь выдержала испытание огнем и временем. Они пронесли ее через бури гражданской войны, через тяжкие испытания разрухи.

Дим-Димыч понимает, что у брата Андрея произошел разлад между партийным долгом и чувством, между разумом и сердцем, но от этого понимания никому не легче.

- В наше время можно ручаться лишь за себя, - сказал свою любимую фразу Безродный. - Я не верю Брагину. - И с отвратительным хладнокровием добавил: - Ему не место в партии.

Собрание отдела при четырех голосах "против" и двух воздержавшихся исключило Дим-Димыча из членов Коммунистической партии.

На другой день решение собрания рассматривал партком.

Дим-Димыч вел себя так же, как и на собрании отдела. Он твердо стоял на своем: брат и

жена его были честные люди. О смерти их никто ему не сообщал.

- Честные люди не кончают самоубийством, - бросил реплику Геннадий, присутствовавший на заседании в числе приглашенных.

Взял слово следователь Рыкунин. Я его никогда не любил. За глаза его звали человеком с каучуковым позвоночником. Я удивлялся, как мог такой необъективный человек быть следователем.

Смысл его высказывания сводился к тому, что Андрей Брагин покончил с собой, видимо, потому, что боялся разоблачения. Если он держал около себя жену-троцкистку, то уж, конечно, не мог не сочувствовать врагам народа. А его брат, чекист, теперь записался в адвокаты и дерет за него глотку.

Можно ли после этого держать Брагина в партии? Нельзя! На него неизбежно будет ориентироваться враг.

Потом поднялся Кочергин. Он поправил Рыкунина и других выступавших. Жена Андрея Брагина не была троцкисткой. В документах сказано, что она лишь подозревалась в связях с троцкистами. Это не одно и то же. И в документах ничего не сказано о том, что подозрение подтвердилось. Обвинять Дмитрия Брагина в сокрытии факта ареста Брагиной и смерти ее мужа мы не можем. Не можем по той простой причине, что нам нечем это доказать. Вопрос требует доследования. Надо послать на место опытного товарища. Пусть он ознакомится с материалами следствия и доложит нам, на чем основаны подозрения, в чем заключалась связь Брагиной с троцкистами. Вопрос следует оставить открытым. Исключать из партии и увольнять из органов Брагина пока нет оснований.

Всеми своими мыслями и душевными силами я был на стороне Дим-Димыча, а потому попросил слова вслед за Кочергиным.

- Мне думается, - начал я, - что здесь может совершиться жестокая и вопиющая несправедливость. Мы решаем судьбу коммуниста Брагина, а не его родственников. Так давайте и говорить о Брагине. Я согласен с Кочергиным и поддерживаю его предложение. Более того, я верю Брагину. Он никогда не обманывал партию и не обманет. Если он берет под защиту порядочность своего брата и его жены, значит, верит в них, как я верю в него. Предлагаю отменить решение парторганизации отдела.

- Чекисты так не рассуждают, - подал голос Безродный.

Он ликовал - это было написано на его физиономии. Но ему недоставало ума и такта скрыть свое ликование.

- Как видите, рассуждают, - ответил я запальчиво. - Вы ошибаетесь, считая себя чекистом. Вы ошибаетесь и в том, что ваше мнение непререкаемо. Не так давно вам дали возможность убедиться в этом, и, я думаю, подобная возможность повторится.

Это произвело впечатление на Безродного. Когда приступили к голосованию, он неожиданно для всех заявил, что поддерживает предложение Кочергина. Но это не спасло Дим-Димыча. Большинство приняло предложение, сформулированное Рыкуниным: "За сокрытие от партии и органов факта ареста жены брата и самоубийства последнего, а также за бездоказательную защиту их - исключить из членов партии Брагина Дмитрия Дмитриевича".

А сегодня Осадчий подписал приказ об увольнении Дим-Димыча.

После собрания отношение к Дим-Димычу некоторых товарищей резко изменилось. Еще вчера они весело приветствовали его, с удовольствием жали руку, голосовали за его кандидатуру, доверяли ему большое партийное дело, а теперь... Да, теперь они старались обойти его стороной, "забывали" приветствовать.

Мне трудно забыть об эпизоде, который произошел со мной в молодости. Я стал чекистом в двадцать четвертом году. До этого работал в рабочем клубе на родине. Я был универсалом: совмещал должности кассира и руководителя драмкружка, гримера и артиста, декоратора и суфлера. Меня окружала куча друзей-комсомольцев, чудных боевых ребят. А Дорошенко, Цыганков и Приходова были лучшими из лучших. За них я готов был в любую минуту хоть в пекло. Нас сдружили вера в будущее, совместная работа, стремления, ЧОН, борьба с бандитами, опасности.

Помню, стояли теплые предмайские дни. Комсомольцы готовили к празднику какую-то революционную пьесу. На сцене при поднятом занавесе шла репетиция. Я командовал парадом, учил "актеров" правильным жестам, показывал, как надо стоять, ходить, сидеть, возмущаться, смеяться. Я безжалостно бранился с Петькой Чижовым, который меня не слушал и ставил ни во что. Петька был мой "враг". Он всегда придирался ко мне, умалял мой авторитет руководителя кружка, строчил на меня злые фельетоны в стенгазету. И ничто не могло примирить нас. Чижов по крайней мере был убежден в этом. Он говорил, что я и он - антиподы. Я этого слова тогда не знал, но, коль скоро Петька распространял его не только на меня, но и на себя, я не видел оснований принимать его как обиду или оскорбление.

Так вот, шла репетиция. И вдруг в самый разгар ее в зале появился райуполномоченный ОГПУ Силин. Уж кого-кого, а его, грозу бандитов, саботажников, заговорщиков и дезертиров; мы, комсомольцы, претотлично знали. И весь город знал. И он знал каждого из нас вдоль и поперек. Он знал вообще все, что надо мать. По крайней мере я был в этом твердо убежден.

Всегда чем-то озабоченный, хмурый и немногословный, он остался верен себе и на тот раз. Он подошел к рампе, посмотрел исподлобья на нашу самодеятельную горячку и, остановив взгляд на мне, скомандовал:

- Трапезников, за мной!

Отголоски его команды звонко прокатились по пустому залу. Ребята оторопело и растерянно уставились на меня. Силин откашлялся, повернулся и вразвалку, как все бывшие моряки, направился к выходу. Я не стал ожидать повторного приглашения, передал бразды руководства Петьке Чижову и последовал за Силиным.

Через час я и он сидели в кабинете секретаря уездного комитета комсомола. Два дня спустя Силин ввел меня в помещение окружного отдела ОГПУ. Прошло еще четыре дня, и я вышел из этого помещения один. На мне была новехонькая форма из отличного "сержа", хромовые сапоги и на правом бедре в жесткой желтой кобуре пистолет "маузер" калибра 7, 65. В застегнутом нагрудном кармане гимнастерки покоилась небольшая, аккуратненькая, обтянутая красным коленкором книжечка. В ней четким каллиграфическим почерком было выведено, что такой-то, имярек, является практикантом ОГПУ и имеет право хранить и носить все виды огнестрельного оружия.

Мне было тогда девятнадцать лет. Я получил трехдневный отпуск: съездить в родной город, распрощаться с друзьями, сняться с комсомольского учета и взять личные вещи.

С поезда я, конечно, отправился прямо в клуб к ребятам. Был канун Первого мая, зал пустовал, и я по длинному коридору направился к красному уголку. Подошел к двери и невольно остановился: она была неплотно прикрыта и из красного уголка отчетливо доносились громкие, возбужденные голоса. Я сразу узнал голос моего верного дружка Цыганкова. Но то, что он говорил, меня ошеломило. А он говорил вот что. Я помню каждое слово:

"Как хотите, ребята, а зазря Силин арестовывать не будет. Не такой он человек. Значит, запутался Андрей в чем-то. Определенно!"

"Правильно, Валька! - одобрила Приходова. - Трапезников - дрянь. Я догадываюсь, в чем дело. Помните, он конвоировал трех бандюков и один сбежал? Ну вот... Не сбежал он, Андрей отпустил его..."

Я стоял потрясенный, обиженный. Тугой, тошнотворный ком подкатил к горлу и стеснял дыхание. Так обо мне говорили два моих лучших друга Цыганков и Приходова. Друзья, за которых я готов был перегрызть глотку любому. И вдруг в уши мои вошел высокий, писклявый голос Петьки Чижова, моего "врага", антипода. Он не говорил, а кричал на тонкой, противной ноте:

"Сволочи, вот кто вы! Поняли - сволочи! Ладно, я не люблю Андрюшку. Мы антиподы. Он бузотер, копуха, волокитчик и воображала. Но разве он пойдет на такое? Да как у вас язык повертывается? А еще друзья! Он настоящий..."

Тут я пересилил себя, сглотнул тугой ком, протер на всякий случай глаза, сильно толкнул

дверь ногой и вошел в комнату.

Стало тихо, как под землей.

Я огляделся: все налицо. Во мне дрожал каждый нерв.

Первым опомнился Петька Чижов. С присущей ему язвительностью он бросил:

- Во! Видали гуся! Ишь вырядился! Прошу любить и жаловать.

Тут Валька Цыганков сорвался с места, перегнулся через стол с протянутой рукой и восторженно воскликнул:

- Андрюшка! Дружище! Вот это здорово!

Я сделал вид, что не заметил ни его, ни его руки.

Приходова хлопнула себя по коленкам:

- Ба-тюш-ки! Что делается?!

Я посмотрел Чижову в глаза и сказал:

- Выдь на минуточку.

- Ну прямо... - как всегда, окрысился Петька.

- Выдь! - настаивал я. - Прошу. Надо.

То ли тон моей просьбы, то ли необычная одежда подействовали на моего антипода, но он неторопливо вышел. У стенной газеты он остановился, засунул руки глубоко в карманы, сбылся и нетерпеливо спросил:

- Ну, дальше?

- Я слышал все, - произнес я с волнением.

- Дальше? - продолжал Петька.

- Спасибо, Петька, на добром слове... Я этого никогда не забуду, - и, не дав ему опомниться, я взволнованно обнял его и горячо поцеловал.

Смущенный Петька старательно вытер рукавом губы, покачал головой и, нарочито нахмурившись, произнес:

- Ох и бузотер ты, Андрей...

Вот так бывает в нашей жизни. Слабые люди теряют веру в самого близкого, дорогого им человека, забывая о том, кем он для них был. А Дим-Димыч не утратил этой веры. Он продолжает верить в брата и жену его. И за эту веру он тоже пострадал. Она усугубила его положение.

Начальник отделения Бодров, пользующийся моей симпатией и крепко уважающий Дим-Димыча, в разговоре со мной сказал:

- Странно ведет себя Димка... Прокурора Андрея Брагина не стало. Жены его тоже. Что думают и говорят о них теперь, как расценивают их поступки, им глубоко безразлично. Их не воскресишь. Они ушли туда, откуда не возвращаются. А Димка печется о них, защищает их, как будто им это очень важно. К чему дразнить гусей?

Я задумался. Бодров говорил это, руководствуясь своим хорошим чувством к Дим-Димычу, но все равно он не прав. Умерших, если они этого заслуживают, надо уважать и защищать так же, как и живых.

Я так и сказал Бодрову.

Я продолжал лежать под обрывом у реки до той поры, пока темная тучка не окропила меня мелким, теплым дождичком. Тогда я встал и пошел домой, думая о своем друге.

2 июня 1939 г.

(пятница)

Прошло более месяца с того дня, как на моего друга свалилась беда. И ничего нового, отрадного не внесло время в судьбу Дим-Димыча. Все как бы застыло на мертвой точке. Дима ездил в Смоленск, но там к его появлению отнеслись недоверчиво. Тогда он отправился в Москву. В минувшее воскресенье Дим-Димыч позвонил мне на квартиру, и я понял из короткого разговора с ним, что и Москва ничем не обнадежила его. В наркомате заявили, что вопрос о реабилитации его по служебной линии якобы целиком и полностью зависит от восстановления в партии, в то время когда здесь, в парткоме, ему было сказано,

что вопрос партийности может рассматриваться лишь после реабилитации его как чекиста. Я знал, что сбережений Димка не имеет и никогда не имел. На какие же средства он живет в Москве? Где нашел приют?

Эти вопросы я задать не успел. Он звонил с центрального телеграфа, и времени было в обрез. Я лишь успел сказать ему, что надолго уезжаю, что нам надо повидаться в Москве, и попросил дать свой адрес. Дима сказал, чтобы я предупредил его телеграммой до востребования на Главный почтамт...

Я действительно уезжаю. Уезжаю неожиданно и, возможно, надолго. Я еду навстречу опасностям, на Дальний Восток. Там идет, как мы ее называем, малая война. Но она, как и большая, как и всякая война, не обходится без жертв.

Японские самураи, эти кладбищенские рыцари, не извлекли уроков из прошлогодних событий в районе озера Хасан. В мае они вторглись в пределы Монгольской Народной Республики на реке Халхин-Гол. Оставаться в стороне мы не можем, не имеем права. Я еду в распоряжение штаба армии. До Москвы поездом, а оттуда самолетом.

Сегодня, в начале десятого вечера, оплетенный скрипящими ремнями нового снаряжения с таким вкусным запахом, я распрощался с Кочергиным и пошел домой.

По дороге вспомнил о носовых платках. Когда бы я ни ездил, всегда забываю о них. Не забыть бы теперь. Надо вынуть из шкафа хотя бы дюжину и сунуть в чемодан.

Открыв дверь, я в смущении остановился: теща, опустившись на колени перед совершенно пустым углом, усердно молилась. Осеняя себя крестами и отбивая поклоны, она нашептывала слова молитвы, вплетая в нее мое имя.

Странно. До сегодняшнего дня я не замечал в ней религиозных настроений. И разговоров никогда на эту тему в семье не было. Странно... Скорее, даже забавно!

Я тихо попятился, забыв о носовых платках.

В столовой была Лидия.

- Уже? - спросила она.

- Да, пора.

Лидия все эти дни держалась бодро.

- Иди сюда... - тихо позвала она и села на диван.

Мне казалось, что Лида хочет сказать мне что-то значительное, необычное, но она ничего не сказала, а склонила голову к моему плечу и заплакала.

- Не надо, Лидуха... Все шло так хорошо... - начал было я, но тут Максимка соскочил с качалки и подбежал к нам.

Он с полдня готовился к моим проводам, но, вконец измученный ожиданием, забрался в качалку и позорно уснул. Я поцеловал жену, сына, посмотрел на часы и встал. Пора! Машина Кочергина стояла у дома.

На вокзале ожидали Фомичев, Хоботов, Оксана, Варя.

Фомичев был в полной военной форме со знаками различия капитана. Усердно начищенные сапоги отливали зеркальным глянцем.

На Хоботове сияла белизной тщательно отглаженная сорочка. Ее ворот и черный галстук плотно облегли могучую шею доктора. Аккуратно сложенный пиджак он держал на руке.

Настороженная и чем то озабоченная Варя Кожевникова стояла, обняв Оксану. А Оксана в легком, раздуваемом ветерком ситцевом платье без рукавов, с глубоким вырезом на груди и спине выглядела лучше и наряднее всех.

- Как настроение? - деловито осведомился Фомичев.

- Бодрое! - громко ответил я и тут же отметил про себя, что это слово не вполне точно передает мое состояние. Именно бодрости я и не ощущал. Я бодрился, но это не одно и то же.

- Возвращайтесь капитаном, - пожелала Варя.

- Совсем не обязательно, - заметил Хоботов. - Живой лейтенант тоже неплохо. Не так ли, Лидия Герасимовна? - обратился он к моей жене, беря ее под руку.

Лидия через силу улыбнулась.

У входа в вагон остановились. Хоботов подошел ко мне вплотную, зацепился за мой поясной ремень толстым волосатым пальцем и заговорил:

- Всякая война - испытание, мой друг. А испытания, если хотите знать мое мнение, только и определяют настоящее место человека на нашей беспокойной планете. Испытания - самая верная мера значимости человека и его дел. О. Генри, которого я люблю, сказал очень точно: тот еще не жил полной жизнью, кто не знал бедности, любви и войны.

- Хорошо! - воскликнул Фомичев, внимательно всматриваясь в доктора, с которым познакомился несколько минут назад. - Что же можно добавить? Бедность Андрей Михайлович хлебнул в свое время, с любовью его познакомила Лидия Герасимовна, остается познать войну.

Максимка цепко держал меня за руку, внимательно заглядывал в лица моих друзей и напряженно слушал, полуоткрыв рот.

- Ты почему не смотришь на меня? - спросил я Лиду.

Жена смущенно опустила голову. Я давно не видел ее такой растерянной и немного жалкой.

"Нет! Любит меня Лидка!" - подумал я, вспомнив давний разговор с Дим-Димычем.

- Слушайте меня! - заговорила немного властно Оксана. - Один умный человек сказал, что любить - это не значит смотреть друг на друга, а смотреть только вместе и в одном направлении, - и тут она прямо посмотрела в глаза Вари.

- Здорово! - заметил я и обнял Лидию. - Ты согласна с этим?

Лидия подняла лицо с влажными глазами и прижалась ко мне.

В колокол отбили два удара.

Началось прощание. Незаметно Оксана сунула что-то мне в карман и тихо сказала:

- Вы его, конечно, увидите. Передайте.

Поезд тронулся.

Мне махали руками. Я - тоже. Лидия плакала и держала закушенный зубами носовой платок.

"Платки забыл! - вспомнил я. - Опять забыл!"

Родные и близкие лица скрыл мрак. Я направился к своему месту, опустил руку в карман и вынул оттуда заклеенный конверт. На нем было одно слово, написанное рукой Оксаны: "Брагину".

"Почему же написала Оксана, а не Варя - невеста Димки? - подумал я. - В самом деле: если Оксана уверена в том, что, проезжая через Москву, я не могу не повидаться с другом, то почему же такая мысль не могла прийти в голову Вари? Да, Оксана любит Димку. Надо быть дураком, чтобы этого не понять".

12 сентября 1939 г.

(вторник)

Я отсутствовал четыре месяца с лишним и за это время не прикасался к дневнику. Он так и пропутешествовал со мной в полевой сумке ни разу не раскрытым.

Войны, в широком понимании этого слова, я не узнал. Но чувствовал ее ежеминутно и был удовлетворен тем, что вложил в нелегкую победу над врагом свою скромную долю.

Вернулся я более мудрым. Я понял, что даже этот локальный военный конфликт потребовал с нашей стороны немалого напряжения и немалых жертв. Закидать врага шапками, как предполагали некоторые, не удалось. Война была как война. Без дураков.

Кочергин был первым, кому я подробно поведал обо всем, что видел, слышал, передумал. Мы обменялись мнениями о международных событиях. Договор с Германией о ненападении, заключенный в конце августа, можно было только приветствовать, а вот захват германскими войсками Польши наводил на грустные размышления. Теперь никто нас не разделял, мы стояли лицом к лицу с вооруженным фашизмом.

- Какова цена этому договору, - заключил Кочергин, - покажет будущее.

Для семьи день моего приезда превратился в праздник. Из дому я обзвонил всех друзей: Фомичева, Хоботова, Варю, Оксану. Кстати, она сообщила мне приятную и радостную весть: неделю назад ее отца освободили из-под стражи, полностью реабилитировали и

восстановили на прежней работе.

- Значит, есть правда на земле! - заключила она.

Да, дорогая Оксана, правда есть!

До Дим-Димыча дозвониться не удалось. Он работал в мастерской по ремонту радиоприемников где-то на окраине города, и надо было преодолевать неповоротливость двух коммутаторов. Варя заверила меня, что съездит к нему.

Звонили и мне - и кто! Только подумать - Безродный!

- Ты, Андрей? - услышал я в трубке. - Сейчас подъеду. Не возражаешь?

- Что ты? Ради бога! Жду.

Геннадий решил меня проведать. В его голосе звучали те старые дружеские нотки, от которых я давно отвык. Неужели урок, преподанный тайным голосованием, пошел ему впрок? Что ж... надо только радоваться.

Геннадий приехал через четверть часа, расцеловал меня, и мне почудилось, что снова вернулась прежняя дружба.

Но почудилось лишь на минуту. Когда Геннадий сел в качалку и оглядел меня, в глазах его мелькнуло что-то холодное, отчужденное.

- Ну, вояка, рассказывай, как сражался. Нанюхался пороха? - обратился он ко мне с улыбкой.

По простоте душевной я начал делиться с ним своими впечатлениями, и вдруг на самом, как говорится, интересном месте Геннадий прервал меня:

- Ты знаешь, моего тестя выпустили!

"Тестя! - подумал я. - Какой же он теперь тебе тесть?" Но кивком головы подтвердил, что новость мне уже известна.

Геннадий опустил глаза и стал внимательно рассматривать ногти на руке.

Я умолк. Казалось, после долгой разлуки нам можно было переговорить о многом, но разговор не клеился. Геннадий стал вдруг скованным, застенчивым. Он держал себя так, словно не имел права находиться в моем доме. Пришлось поддерживать разговор мне. Я говорил о погоде, о том, что пора начать ремонт квартиры, что перегорела лампа в приемнике, об урожае яблок... Геннадий прервал меня вторично.

- У меня к тебе... просьба, - нерешительно, не особенно связно и не глядя мне в глаза, сказал он. - Я много думал... Ты смог бы переговорить с Оксаной?

- С Оксаной? - переспросил я удивленно.

- Ну да...

- О чем?

Геннадий похрустел пальцами, выдержал паузу:

- Понимаешь, в чем дело... Теперь ничто не мешает нам снова быть вместе. Семья остается семьей. Она одна мучается с дочкой, а тут еще моя драгоценная мамаша к ней прилепилась. Да и мне не того... не особенно весело. Но у Оксаны характер... А с тобой она считается.

Я слушал и чувствовал, как внутри у меня что-то с болью переворачивается. "Ничто не мешает снова быть вместе!" Как это понимать? А что мешало? Арест отца Оксаны? Неужели Димка был прав в своих подозрениях? Мне припомнилась недавняя история с разводом, наделавшая много шума и вызвавшая столько кривотолков. Но какой же идиот Геннадий! Одной фразой он выдал себя с головой.

Я спросил:

- А что мешало раньше?

- Хм... Ты прекрасно знаешь - Брагин... Я думал, что у них что-то серьезное, а теперь вижу - был не прав.

Нет, он не идиот. Я сделал преждевременный вывод и ошибся. Возможно, ошибся и Геннадий, но вовремя поправился.

- Оксана к тебе не вернется, - заявил я уверенно.

- Почему?

- Есть обиды, которые не прощаются даже близким людям.

- Но ты можешь

поговорить с нею? - гнул свое Геннадий.

- Могу, но не хочу, - твердо ответил я. - Из уважения к Оксане и к самому себе - не хочу. Геннадий изменился в лице. Оно стало обычным, равнодушно-злым. Несколько минут длилось неловкое молчание, потом он посмотрел на часы, поднялся.

- Пора идти. Работа не ждет.

"Какой же подлец сидит в тебе!" - подумал я, провожая взглядом уходившего Безродного.

И не успела за ним закрыться дворовая калитка, как в комнату влетел Дим-Димыч.

- Ага! Решил появиться инкогнито! Здорово! - воскликнул он, заключая меня в объятия. - Спасибо за гроши! Выручил ты меня, брат. Дырки есть на тебе? Все сошло благополучно? Да ты все такой же! Бери, закуривай.

Друг забросал меня вопросами, и я едва успевал отвечать. Его интересовало все. Буквально все: какие части были у японцев, сколько их, каковы их танки, пушки, пулеметы, сдаются ли они в плен, почему эта "волынка" затянулась на три месяца, как дрались монголы, как показала себя наша авиация.

Потом, верный своей привычке, он резко переключил разговор и спросил:

- Безродный у тебя был?

Я подтвердил.

- Вербовал тебя в парламентареры?

- А ты откуда знаешь?

- Догадываюсь. Не ты первый. Он и Хоботова обрабатывал.

- Вот оно что...

Димка расхохотался. Он смеялся, как и прежде: громко, искренне, заразительно. И изменился мало: разве что похудел немного.

- Почему ты не встретил меня в Москве? - спросил я.

- Прости, Андрей. Не по моей вине вышло. Плавский виноват.

- Постой-постой, - прервал я друга. - Тот Плавский?

- Ну да.

И Дим-Димыч рассказал. В Москве в день приезда он столкнулся с Плавским. Тот затащил его к себе и предложил воспользоваться своей квартирой. Более удобное жилье трудно было найти. Через несколько дней произошло событие, имевшее немалое значение для органов госбезопасности. На Тверском бульваре Плавский увидел "эмку" и признал в человеке, сидевшем рядом с шофером, "сослуживца" своей покойной жены.

Плавский не растерялся: остановил первую попавшуюся машину и на ней бросился вдогонку. У станции метро "Дворец Советов" ему удалось настичь ее и уже не выпускать из поля зрения. Она прошла по улице Кропоткина, развернулась на Зубовской площади, манула Крымский мост, Калужскую площадь, Серпуховку и в каком-то переулке, возле деревянного дома, остановилась. Человек вылез из машины, вошел во двор, а "эмка" стала поджидать его. Плавский расплатился со своим шофером и повел наблюдение за дворовой калиткой. Наблюдение затянулось. Желая выяснить, долго ли еще придется ждать, он подошел к "эмке" и попросил водителя подбросить его на улицу Кропоткина. Он-де торопится на совещание, хорошо заплатит.

Шофер посмотрел на часы, подумал и сказал, что, пожалуй, успеет обернуться.

У парка культуры Плавский расстался с "эмкой", пересел в такси и помчался за Дим-Димычем. Теперь они продолжали наблюдение вместе. Прикатили в переулок, где находилась "эмка", остановились метрах в двухстах от нее, рядом с двумя грузовиками. Прождали час и сорок две минуты. Наконец вышел этот тип, сел в "эмку", и она тронулась.

"Эмка" привела на Первую Мещанскую и остановилась возле пошивочного ателье. Человек покинул машину, зашел в ателье. Преследователи проехали мимо, развернулись, остановились на противоположной стороне и стали наблюдать.

Прошло десять минут, двадцать, полчаса, на исходе час. Плавский предложил заглянуть в ателье. Дим-Димыч не согласился - боялся испугать. Он решил использовать прием Плавского. Подошел к шоферу "эмки" и спросил: "Не подбросишь, браток?" Тот взглянул на

часы и ответил: "Через пяток минут пожалуйста!" Дим-Димыч удивился: почему именно через пяток минут? Шофер объяснил: клиент заплатил вперед и предупредил, что если не вернется через час, то шофер может уезжать.

Все стало ясно - их ловко провели. Через пять минут "эмка" уехала, не дождавшись своего пассажира. В ателье его тоже не оказалось. Вот и вся история, из-за которой Дим-Димыч не смог встретить меня на вокзале.

- Да... - протянул я, готовый продолжать разговор на эту тему, но вовремя спохватился. Нетактично было говорить с Димой о сорвавшейся операции, когда я не узнал еще, в каком положении находятся его партийные дела.

Дим-Димыч вынул бумажник, извлек из него четверть листка и подал мне. Это была копия письма на имя майора Осадчего из управления кадров Наркомата. В нем было сказано:

"...На заявлении бывшего сотрудника Вашего управления Брагина Д.Д. имеется следующая резолюция руководства: "Если точно установлено, что он не знал об аресте своей родственницы и самоубийстве брата, можно возбуждать вопрос о восстановлении его на работе в органах".

- Резолюция неглупая, но и неумная, - прокомментировал Дим-Димыч, забирая у меня бумажку. - В старину говорили, что между резолюцией и ее выполнением остается немалый простор для всяческих раздумий и проволочек. От меня требуют доказательств. Ты представляешь всю глупость такого требования? Как и чем я могу доказать, что не знал о брате?

- А чем они докажут, что ты знал?

- Они и не собираются доказывать. Это должен сделать я.

- Действительно сложное положение, - согласился я.

- Фомичев заверил, что сам займется этим делом. А пока что написал в ЦК. Своего я добьюсь.

Я смотрел на Дим-Димыча и думал: "Небось на сердце у него кошки скребут. Ему тяжело и больно. А ведь об этом не догадаешься. Говорит он без всякой горечи и, что прямо удивительно, со свойственным ему юмором".

- Ну, а, честно говоря, настроение как? - допытывался я.

- Настроение у меня особенное... Чего-то жду. Понимаешь, не верю, что так вот все и кончится, что никогда больше не вернусь к вам. - Дим-Димыч смутился. - Ну, к делу... Не верю! Иногда забываюсь, и кажется, будто еще работаю с вами, думаю над какой-нибудь старой операцией. Или вот над этой, связанной с Брусенцовой. Тогда в Москве увлекся, бросился вместе с Плавским за "эмкой". И только потом понял, что вел себя как мальчишка. То есть легкомысленно присвоил себе чужие полномочия Ну, ты понимаешь... - Дим-Димыч растерянно посмотрел на меня, опустил голову. - Но ты не ругай меня. Так уж получилось... Думаю, не во вред делу.

- Нет, конечно, - подбодрил я его, - другого выхода не было.

В начале разговора и особенно теперь меня беспокоила одна мысль: в какой роли должен выступать Дим-Димыч во всей этой истории с Плавским? Работу мы до последнего момента вели вместе, а теперь он должен был отойти, отойти в силу формальных причин. И я обязан сказать ему об этом. Честно и определенно. Дима уже не сотрудник органов. И хотя в последней операции принимал непосредственное участие, все дальнейшее должно проходить без него. Такова логика.

- Плавский знает, что ты... - начал я осторожно.

- Теперь знает. Вначале неловко было навязывать человеку свои заботы, А после погони за "эмкой" сказал.

- И как он отнесся к этому?

- Никак... По крайней мере ничем не проявил перемену, если она и произошла.

- Я должен тебя предупредить... - проговорил я, подбирая слова полегче и потеплее. - Немного неловко получается... Плавский да и другие могут неверно понять твои намерения сейчас.

- Почему неверно? - искренне удивился Дим-Димыч.

- Ну... я имею в виду... формальную сторону. У каждого человека есть дело, занятие, что ли... А просто так ведь никто не станет, например, вмешиваться в работу какого-нибудь учреждения, да и не разрешат ему. Везде есть свои планы, намерения, наконец соображения. Ты понимаешь меня?

- Понимаю, - упавшим голосом произнес Дима. - Все ясно и просто как день, что тут не понять!

Мне от души было жаль друга. Своим предостережением я убил все радостное, что еще теплилось в нем, и в то же время осознал правоту совершенного. Увлечшись, Дима мог допустить опрометчивый шаг, последствия которого легли бы страшным бременем и на все дело, и на него самого.

- Значит, отойти мне? - глухо выговорил Дим-Димыч.

В тоне, которым он произнес эти слова, была еще какая-то надежда на мою сговорчивость.

- Да, - отсек я одним словом.

Он сидел, чуть сгорбившись и опустив голову. Еще несколько минут назад, рассказывая о преследовании "эмки", друг мой смеялся, шутил, а теперь поблек. Я встал, подошел к нему и обнял за плечи.

- Терпенье, Димка!

- А ты думаешь, я еще не натерпелся, - невесело усмехнулся он. - Или норма установлена выше?

- Выше, - в тон ему ответил я.

Мы еще долго сидели и говорили, но уже не о деле, а о всякой всячине. Дим-Димыч никак не входил в свое обычное настроение и, только когда неожиданно вернулся к воспоминаниям о поездке в Москву, оживился, стал хвалить Плавского, мол, умен, сообразителен, быстр в решениях, горяч. Ему следовало бы родиться контрразведчиком.

- Все мы рождаемся одинаковыми, - заметил я. Мне казалось, что Димка приписывает Плавскому качества, которыми тот не обладает.

- Парень - цены нет!

- Так уж и нет, - подкусил я с какой-то досадой.

Восторг, с которым Дим-Димыч отзывался о Плавском, вызывал во мне, как ни странно, чувство ревности.

13 сентября 1939 г.

(среда)

В моей жизни наступил период неожиданностей. Сегодня утром - звонок Кочергина:

- Зайдите ко мне!

Когда я предстал пред ясные очи начальства, Кочергин без предисловий сказал:

- Майор Осадчий распорядился предоставить вам пятнадцатидневный отпуск.

"Майор Осадчий распорядился!" Так мог сказать лишь такой человек, как Кочергин. Капитан Безродный преподнес бы все иначе - так, как оно и было на самом деле: "По моему настоянию майор Осадчий решил дать вам отпуск".

Кочергин так не сказал. Но я отлично понимал, что если бы не его ходатайство...

Это был поистине дар небес. Это было так же неожиданно, как и отправка на Дальний Восток.

- Отпуск без выезда, - добавил Кочергин. - Вы можете понадобиться в любую минуту. Положение такое... сами понимаете.

Я кивнул и помчался к себе передавать дела, а потом домой. "Отдыхать! Отдыхать! Отдыхать!" - твердил я про себя и улыбался. Точно знаю, что улыбался.

Но вот как отдыхать - я еще не знал. "Потом, - решил я, - посоветуюсь с Димкой, что-нибудь придумаем".

13 сентября. Осень...

Правда, еще тепло и солнечно, но надо торопиться. Так и сказал мне Дима: "Будем

насыщаться природой, пока она позволяет это делать". И он, кажется, прав. В нашем распоряжении река, лес. Что еще нужно двум истомившимся в разлуке друзьям?

Собираем удочки. Димка договаривается с завом своей мастерской и переходит временно на двухдневную работу (он прикинул, что больше двух дней в неделю занят не будет) - и мы отправляемся за город.

Мы рады всему. Рады тому, что распоряжаемся, как нам заблагорассудится, своим временем, что мы вместе.

Солнце валится к горизонту. На нешироком плесе реки выложена золотая дорожка. Смотреть на нее больно. И поплавки видно плохо.

Мы сидим и тихо беседуем. Дима, кажется, восстановил прежнее равновесие и рассказывает обо всем, что пережил без меня.

- Я никогда не был так одинок, как в те дни, когда вернулся из Москвы, - говорит Дима. - Ты был далеко. А что может быть страшнее и тягостнее одиночества! Я запирался на сутки, двое, трое в своей комнатухе - обитатели раздумий, сомнений, тоски, - сидел, лежал. Спать не мог. Даже книги опротивели. В них открывался не тот мир, в котором я живу. Совершенно иной. Я начинал читать и бросал. А время шло. Потом я спросил себя: "Сколько же можно пребывать в этом возвышенном уединении? К чему приведет оно? Что делать дальше? Ведь деньги, те деньги, которые прислал тебе друг, на исходе!" Решил стучаться во все двери "Кто хочет, тот добьётся; кто ищет, тот всегда найдет!" Правильные слова Варька мне сказала как-то, что опасалась за меня. Боялась, как бы я не последовал примеру брата. Я посмеялся, сказал ей, что человек очень крепко привязан к жизни и оторваться от нее не так просто. Я ходил, стучался. Ничего не получалось, но я твердил: "Нет ничего превыше истины, и она восторжествует". Потом добрался до артели Жить не стоит тогда, когда ты твердо знаешь, что ни ты сам, ни твоя голова, ни твои руки никому не нужны. Тогда надо уходить. А если не я сам, не моя голова, но хотя бы руки мои понадобились - надо жить. Жить и переносить любые испытания.

Дим-Димыч забросил удочку, и не успел поплавок успокоиться, как он опять выдернул его.

- Терпение! - сказал я. - Терпение, друг, тоже работа. И не из легких.

- Правильно, - засмеялся Дима. - Работенка эта не легкая. Самое главное - не запачкать душу и совесть. Ведь она постепенно налепливается, эта житейская грязь. А надо прожить чистым.

- Это задача мудреная.

- Пусть мудреная, но разрешимая. И каждый, почти каждый может добиться этого.

Солнце скрылось. На заречной стороне накапливалась прозрачная дымка. И до утра там обычно дремали легкие туманы.

Не торопясь, мы свернули свое нехитрое рыболовное хозяйство и зашагали домой. Вечер быстро переходил в ночь. Сумрак затоплял тихие городские окраины.

- А как у тебя дела с Варей? - спросил я.

Этого вопроса Дима не касался в своих откровениях. Мне казалось, что за время моего отсутствия после передрыг, выпавших на долю друга, в их отношения проник холодок. По крайней мере он редко заводил разговор о "восьмом чуде света".

- А что тебя интересует? - в свою очередь спросил Дим-Димыч.

- Регистрироваться будете?

- Не знаю.

Ответ меня не устраивал. Он лишь давал новую пищу для предположений. Мне уже давно казалось, что связь моего друга с Варей Кожевниковой вылилась в какую-то очень неопределенную, ничего не обещающую форму.

Я сказал просто:

- Зачем заставляешь меня гадать? Скажи правду.

Дима вздохнул. Мы шагали по булыжной мостовой. Она поднималась в гору. Остановились, закурили.

Над городом по-хозяйски располагалась теплая осенняя ночь. Взошла луна. Ее нежный голубоватый свет серебрился на реке.

Помолчав немного, Дима заговорил и, взяв меня под руку, повел вперед.

- Говорить, собственно, нечего. Время само покажет. Сейчас о женитьбе вопрос не стоит. Я получаю половину того, что зарабатывает она. Понимаешь? Иждивенцем быть не хочу.

- Ей ты говорил об этом?

- Да.

- И как она?

- Клянется, что у нее хватит сил ждать. Она верит, что настанут лучшие времена.

"При таких ее взглядах, - подумал я, - можно поспорить, кто походит на луну и кто - на солнце".

- Ты говорил, что страшно одиноко. А как же Варя?

Дим-Димыч мастерски, щелчком отшвырнул на середину улицы недокуренную папиросу.

- Ездил в отпуск... Тут была. В самые тяжелые дни она звонила мне по нескольку раз в день. Это было трогательно, но бесполезно.

Дим-Димыч не договаривал. Почему? Быть может, он и сам еще не разобрался окончательно в своих чувствах. Вполне возможно. Я больше не задавал вопросов.

23 сентября 1939 г.

(суббота)

Идут дни. Все такие же удивительно солнечные и теплые. Мы, то есть я и Дим-Димыч, почти все время вместе: удим рыбу, ходим в лес, ездим в ближайшие деревни. Мне легко - я наслаждаюсь отдыхом, ни о чем не думаю, кроме способов, как лучше провести время. Дим-Димычу труднее. Он без конца говорит о Плавском, о поисках человека с родинкой, строит всевозможные планы. В душе он остается чекистом.

Каждое утро, когда мы выходим на речку (а день у нас начинается с реки, от нее мы шагаем дальше, в лес или вдоль берега к тихой заводи), я отсчитываю, сколько дней и часов мне осталось для отдыха. И всякий раз Дим-Димыч бросает свою провокационную фразу:

- Неужели не надоело?

- Нет, только подумать, человек первый раз за весь год взялся за "приведение в порядок организма", а его уже корят. Нисколько не надоело, отвечаю ему с усмешкой. - Готов продолжать до полного месяца. А честно признаться, не то чтобы надоело, а попросту непривычно.

Но это только утром. А потом, когда бродим по лесу или сидим на опушке, залитой тихим и мягким теплом осеннего солнца, Дима уже не торопит меня. Он мечтательно смотрит в голубое, чуть выцветшее небо и говорит:

- Все-таки природа хороша... Знаешь, во мне бродят изначальные инстинкты. Хочешь верь, хочешь не верь, а вот тянет меня в какие-то неведомые дали. Шел бы так лесом без конца или плыл на лодке день и ночь, куда не вынесет в озеро или в море, далекое море... без края, без имени, никем не открытое.

Как-то раз на глухой, уже присыпанной первыми желтыми листьями тропке среди увядающих берез Дима остановился.

- Знаешь, Андрей, что меня смущает?

- Нет.

- Равнодушие природы. Она все живое принимает одинаково. Нравится тебе этот лес?

- Да... Ну и что?

- И мне тоже... И вот по этой красоте одинаково идут и хорошие, и плохие люди. Здесь могла пройти и Брусенцова (Дима всегда считает ее хорошей), искавшая спасения, и этот тип с родинкой, спокойно путивший ей в вену кубик воздуха.

- Могли, конечно, - согласился я, не догадываясь, к чему, собственно, клонит друг.

- А это нехорошо, - сокрушался Дима. - Природа должна быть чиста, должна принимать только прекрасное.

Я покачал головой:

- Мудришь ты что-то. Только человек различает красивое и некрасивое, хорошее и плохое. А

природе все равно.

- Значит, ты согласен со мной - она равнодушна. Она равнодушна, совершенно серьезно заключил Дим-Димыч.

- Пусть будет по-твоему.

Так мы гуляли, и я начинал уже свыкаться с мыслью, что отпуск мой, в нарушение правил, дотянется до положенных двух недель. Оставалось всего четыре дня. И главное - завтра воскресенье. Всей семьей я смогу провести его на реке. Но планы мои неожиданно рухнули.

Сегодня, когда я был еще в постели, вбежал Дим-Димыч.

- Кто говорил, что Плавский мировой мужик? Я! - закричал он и сунул мне в руки телеграмму. - Читай!

На телеграфном бланке стандартным шрифтом была вытиснена одна короткая фраза:

"Срочно выезжайте, тяжело больна тетя Ксения. Петр".

Все было понятно: условный текст, выработанный нами вместе с Плавским. Он означал: появился человек с родинкой.

- Ну как? - торжествуя посмотрел на меня Дима. - Что будем делать с отпуском?

От моего вчерашнего спокойствия не осталось и следа. Я уже загорелся, взволновался.

- Скорее... Заказывай разговор с Москвой, с квартирой Плавского.

24 сентября 1939 г.

(воскресенье)

Прошли сутки. В истории Вселенной это до того мизерный срок, что не стоит и фиксировать, а в нашем деле, деле розыска преступника, это огромный промежуток времени. Тут важны часы, минуты и, если хотите, секунды. Мы торопились. Но темп то и дело срывался из-за непредвиденных обстоятельств. В самом начале все перевернул Плавский. Дима заказал разговор с Москвой, и вдруг вторая телеграмма:

"Выезжайте Калинин. Адрес такой-то".

Мы опешили: что произошло? Но ключи находились в руках Плавского.

Поезд отходил в девять вечера. Впереди уйма времени, но дорога каждая минута.

Весь день я потратил на беседы с начальством, на оформление документов, хотя все это можно было уложить в полчаса.

Немалое беспокойство доставил мне Дим-Димыч, и не сам он, а его желание ехать вместе со мной. Он ничего не говорил, но достаточно было взглянуть на него, чтобы все понять. Нет, друг мой неисправим. Вообще-то и мне хотелось ехать на операцию вместе с ним, но с точки зрения государственной такое объединение представляло собой уже не оперативную группу, а дружескую компанию. Что делать?

Я решил поделиться своими соображениями с капитаном Кочергиным. Его мнение о Дим-Димыче я знал. Он высказал его на парткоме. Ответ получил быстрый и несколько неожиданный. Кочергин без колебаний, без оговорок и предупреждений дал согласие на поездку Брагина. Признаюсь, на месте капитана я бы так легко не решил.

И вот мы в Калинин. Пришли по адресу, который сообщил Плавский. Сидим и, как говорится, ждем у моря погоды. Семь часов пятьдесят минут. Рановато, но Плавского уже нет.

Перед нами хозяин дома, пожилой человек, разбитый параличом. У него некрасивое, но доброе и очень симпатичное лицо. Такое лицо может быть только у светлого человека. Когда вернется его квартирант, он определенно сказать не может. Квартирант, уходя, предупредил хозяина, что мы, возможно, появимся.

Надо ждать. Другого выхода нет. Что бы там ни было, а в моих глазах, и в глазах Димы особенно, Плавский зарекомендовал себя человеком положительным. Так, зазря, телеграфировать не будет. Есть,

значит, причина. И она одна, эта причина: напал на след того, кого мы ищем. Коль скоро покойная Брусенцова называла человека с родинкой Кравцовым, буду и я, до знакомства и уточнения анкетных данных, именовать его Кравцовым.

На душе не совсем спокойно. В голову лезут тревожные мысли. Приходится прикидывать: как удалось Плавскому снова напасть на след? Почему он оказался в Калининне? Чем руководствовался, выбирая для жилья именно тот дом, в котором мы сейчас сидим? Что делает в Калининне Кравцов?

Я остановил взгляд на портрете, висевшем на стене. Хозяин заметил и сказал:

- Мой дед. Большой был умелец. Плотник, слесарь, бондарь, шорник. Дом этот сам рубил и ставил. И все, что в доме, его руками сделано.

Поведав нам частичку своей родословной, хозяин вздохнул, тяжело поднялся и, волоча одну ногу, вышел из комнаты.

Дом был стар, но не ветх, рублен по-северному - "в лапу". Населяли его причудливые вещи, от которых глаза наши давно поотвыкли: старомодная фисгармония; узорчато-кружевные, выпиленные из фанеры этажерки, полочки, шкатулки, ящички; около десятка птичьих клеток различной конструкции, но без обитателей; посудный шкаф - широченный, во всю стену, от пола до потолка, с вычурными резными украшениями; явно самодельные, бог весть когда сделанные стулья с высокими, как для судьи, спинками; три окованных медью сундука замысловатой работы, все с горбатыми крышками и на высоких ножках; модель челна из дерева. На таких челнах выходили на просторы Волги соратники Степана Разина.

Из кухни доносился бодрящий звон посуды. Там орудовала хозяйка, очень полная, точно налитая женщина. Должно быть, она готовила нам завтрак.

Дим-Димыч сказал:

- Что ж, надо притираться к новой обстановке. - И тоже стал разглядывать портрет.

Из грубой сосновой рамы грозно глядел глазами прошлого века старик с бородой святого пророка.

Дима вздохнул, покачал головой:

- Самого нет, а память о нем живет вот в этих вещах. И еще долго будет жить. А что останется после нас? Записи в загсе? Личные дела? Фотокарточки? Как ты находишь: не маловато?

- Варю успел перед отъездом повидать? - спросил я друга.

- Когда же это?

- Как когда? Я же Оксану повидал.

- Ну, то ты... А в артель кто за меня мотался?

- Эх, Дима, Дима, темнишь ты что-то.

- Нисколечко, - заверил он меня вполне серьезно. - Видишь ли, в чем дело, дорогой. Любовь не любит нужды, лишений, страданий. Это не ее атрибуты. Они притупляют это великое чувство, охлаждают его. Говорят, что с милым и в шалаше рай. Но это лишь красивые слова. Я был удивлен: Дима пел явно с чужого голоса.

- Когда же ты сделал такое открытие?

- Почему "я"? Ты невнимателен. Я сказал не с милой, а с милым.

Так... Кое-что начинало проясняться. Углублять не стоит. Любовь, очевидно, остывала. Известно с незапамятных времен, что у любви, как у моря, бывают свои приливы и отливы, бури и затишья. Наступил, видимо, отлив.

- Короче говоря, для полной ясности скажу тебе вот что: я боюсь испортить Варькину жизнь, а она мою. Это ясно и ей и мне. Она решила ждать. Хорошо. Она твердо верит, что для меня придут лучшие времена. И что они не за горами. Я не возражаю. Подождем. Она крепковато сидит у меня вот тут, - и Дима похлопал себя по груди. - Люди бывают разные. Варя...

Он не закончил фразу: вошла хозяйка с крынкой в руках и поставила ее на стол. За крынкой последовали чашки, соль, хлеб.

Разговор не возобновился.

Мы стали есть горячий хрустящий серый хлеб, выпеченный на поду, и запивать его холодным молоком. Но каким молоком! Густым, ароматным, вкусным. Чтобы сготовить его, надо иметь вот такую крынку и обязательно русскую печь. Разве может идти в какое-либо сравнение это топленое молоко с молоком, вскипяченным, как вода, на плите в

эмалированной кастрюле!

Во время завтрака Дим-Димыч спросил меня:

- Узнал бы ты Плавского, если бы встретил его на улице?

- Безусловно.

Но когда я попытался мысленно представить себе Плавского и даже зажмурил глаза, портрета не получилось. Вырисовалось что-то зыбкое, расплывающееся, неопределенное. Но я был уверен, что, встретив Плавского, узнал бы его. Тут моя зрительная память сработала бы безотказно.

Наконец появился Плавский. После приветствий, рукопожатий он устало опустился на могучий дубовый стул и спросил нас:

- Ругаете меня?

- Это за что же?

- Чертовски не везет. Болтался полдня по городу без толку. Со стороны глядя, я, наверное, походил на ту собаку, которая не помнит, где зарыла кость.

Он сидел боком к столу, обхватив переплетенными пальцами рук свое колено. Лоб его был нахмурен, губы сжаты.

Я смотрел на него, и мне казалось, будто встреча с ним на его московской квартире была не весной, а недавно, несколько дней назад.

- Сейчас расскажу все по порядку, - устало выдавил он.

И рассказал.

Двадцать первого, в полдень, Плавский неожиданно наткнулся на Кравцова. Произошло это возле кассы предварительной продажи билетов. Плавский шел туда с приятелем, который собирался в Минеральные Воды. Опасаясь, что Кравцов может его узнать, Плавский попросил приятеля проследить и разведать, зачем здесь появился Кравцов, а сам побежал за такси, чтобы иметь его под рукой на всякий случай. Он отсутствовал считанные минуты, а когда вернулся, приятель его встретил у входа и огорошил: Кравцов ушел. К нему подкатился какой-то услужливый субъект и сунул в руки билет. Приятель слышал, как субъект назвал номер поезда и добавил: "Запомните - харьковский".

Этого было достаточно, чтобы Плавский воспрянул духом. Харьковский поезд существовал.

И номер его соответствовал тому, который назвал услужливый субъект.

Плавский прикинул: в день покупки билета выехать невозможно. Для этого существует касса на вокзале. Значит, надо сторожить Кравцова в последующие дни.

Двадцать второго, имея в кармане билет до Харькова, Плавский появился на перроне вокзала и подсел к группе пассажиров сразу у входа.

Время шло. До отправления поезда оставалось двадцать, пятнадцать, десять, наконец, пять минут. И вот показался Кравцов с небольшим черным чемоданчиком в руке. Он не торопясь, походкой человека, у которого все рассчитано и который не боится опоздать, направился в голову поезда и остановился возле третьего вагона. Вошел он в него, когда состав уже тронулся. До Тулы Кравцов не показывался, а в Туле сошел, сдал чемодан в камеру хранения ручной клади, направился в ресторан и заказал себе полный обед с бутылкой сухого вина.

Харьковский поезд оставил Тулу. Плавский задумался. Чемодан можно получить из камеры, лишь предъявив документ. Значит, можно узнать, какую фамилию носит тот, кого я зову Кравцовым. Случай редкий.

Полагаться на свои собственные возможности в таком деликатном предприятии, как разговор с кладовщиком, Плавский счел неблагоприятным.

Он зашел к дежурному железнодорожной милиции. Так и так... Человека этого он знает в лицо, подозревает в убийстве своей жены и просит содействия. Чемодан незнакомца лежит в камере хранения.

Дежурный высказал мысль - проверить под каким-либо предлогом документы неизвестного и тем самым узнать его фамилию, но Плавский, помня наш разговор в его квартире, запротестовал. Нельзя пугать Кравцова. В нем заинтересованы органы госбезопасности. Быть может, он не только уголовный преступник. Надо выяснить, куда он пойдет, зачем

сюда приехал, что у него в чемодане.

- Ясно! - сказал дежурный. - Покажите мне его.

Плавский показал.

- А теперь идите в дежурную и отдохайте, - предложили ему.

Плавский так и поступил.

Некоторое время спустя дежурный вернулся.

- Ваш подшефный взял билет до Калинина и ровно через двадцать минут поедет обратно.

Вот так. Чемодан записан на фамилию Суздальского Вадима Сергеевича.

"Суздальский... Суздальский Вадим Сергеевич", - повторил несколько раз про себя

Плавский.

- Вы поедете за ним? - поинтересовался дежурный.

- Да, конечно.

- Тогда давайте деньги. Я пошлю за билетом, а то там очередишка. Вам в разные вагоны?

- Безусловно.

Объявили о подходе скорого поезда. С билетом в четвертый вагон Плавский из комнаты дежурной наблюдал за перроном. Появился Кравцов-Суздальский. Не торопясь, с пустыми руками он направился к составу.

Дежурный снял трубку с затрепавшего телефона, выслушал кого-то, положил молча трубку на место. Плавскому он сказал:

- По всему видно, что чемодан останется у нас.

В вагон Суздальский, как и в Москве, вошел в последнюю секунду.

А по прибытии в Москву Плавский потерял его. Он ходил вдоль состава, дежурил у выхода в город - Суздальский как в воду канул.

Расстроенный Плавский поехал на Ленинградский вокзал, узнал, когда отходит первый поезд в направлении Калинина. Он не рискнул ожидать Суздальского у кассы, где компостируют билеты. Он не стал гадать, каким поездом воспользуется Суздальский, воспользуется ли вообще, а решил отправиться в Калинин и встретить его там. Другого выхода у него не было. И поступил правильно.

В Калинин он приехал двадцать третьего, списал себе в книжку расписание поездов и стал дежурить. Встретил один пригородный и четыре проходящих поезда: Суздальского не было. Наконец в половине третьего ночи, то есть двадцать четвертого числа, из вагона скорого поезда вышел Суздальский. Не задерживаясь на перроне, он через перекидной мост вышел на привокзальную площадь.

Там царил пустота. Трамваи уже не ходили. Луна собиралась на покой.

Плавский отлично понимал, что в такой сложной обстановке вести наблюдение ему будет трудно, но сдаваться не хотел.

Около трех ночи к вокзальной площади подошел "пикап" и высадил из кузова четырех человек. Суздальский тотчас же подбежал к шоферу, переговорил с ним и сел в кабину. "Пикап" помчался обратно в город.

Плавский ограничился тем, что запомнил номер машины.

Утром первым шагом Плавского был визит в милицию. Он назвал номер "пикапа" и попросил справку, какому учреждению тот принадлежит. Он присочинил историю: "пикап" подбросил его ночью с вокзала в город. Он сидел в кузове и, очевидно, там обронил свою записную книжку. Она нужна позарез.

"Пикап" принадлежал одной из городских

больниц. Шофер принял Плавского не за того, кем он был, а за представителя органов. Он проводил его на Медниковскую улицу и показал дом, к которому он подвез ночного пассажира.

Плавский в течение суток наблюдал за Суздальским. Тот вел себя довольно скромно. Утром гулял по набережной, затем завтракал в ресторане "Волга", отдыхал дома, обедал снова в том же ресторане, опять гулял и после ужина вернулся на Медниковскую улицу. Сегодня утром повторилось вчерашнее расписание, но вот днем - это было в три часа - вместо ресторана он

отправился в баню. И до сих пор из бани не вышел А если и вышел, то, следовательно, Плавский его прохлопал. Не может же человек мыться четыре часа!

- Очень осторожный, мерзавец, - закончил рассказ Плавский. - Он принадлежит к категории лиц, которые трижды подумают даже в том случае, когда надо расстаться с докуренной папиросой.

Последовали вопросы. Я поинтересовался, видел ли Плавский Суздальского в чьей-либо компании.

Плавский отрицательно покачал головой:

- Ни разу. Везде и всегда один.

Дим-Димыч, любопытствовал, почему Плавский остановился именно в этом доме, где мы сейчас находимся.

- Потому, - пояснил Плавский, - что в этом доме родилась моя мать, а хозяин дома мой родной дядя.

- Ясно! - воскликнул Дим-Димыч и показал на портрет. - Значит, это ваш прадедушка?

- Совершенно верно.

Мы посоветовались, обменялись мнениями и кое о чем договорились. Прежде всего надо выяснить связи Суздальского-Кравцова здесь и особенно в Москве, проверить, зачем он ездил в Тулу и почему оставил там чемодан. Надо, наконец, узнать, под какой же фамилией, по каким документам он живет.

- Начнем со "знакомства" с Кравцовым-Суздальским, - сказал я, - и осуществим это фундаментально: с участием калининских чекистов.

Дим-Димыч сделал удивленное лицо:

- Это еще зачем? По-моему, нас троих вполне достаточно. Время не подошло для аврала.

Я разъяснил Диме.

- Предполагается не аврал, а организованное наблюдение в ряде точек, выявление окружения Суздальского. Он вроде не птичка с неба, у кого-то живет, с кем-то разговаривает.

- Осложняешь, - возразил Дим-Димыч. - Здесь временная отсидка Суздальского, и для ее фиксирования наших шести глаз хватит.

Упрямство друга начинало раздражать меня. Я, конечно, мог сказать ему, что в данном случае решение вопроса зависит только от моей точки зрения, а он, собственно, не имеет права настаивать, но не сказал, не захотел обижать его.

- Не будем кустарничать, дабы потом не каяться и не кусать локти, снова пояснил я, но уже твердо.

- Ну ладно, - нехотя согласился Дим-Димыч. - Не возражаю.

И тут Дима остался верен себе. Не возражает - каково!

- Кстати, Константин Федорович, - обратился я к Плавскому, - завтра вы сможете возвратиться в Москву.

Я встретился с недоуменным и разочарованным взглядом больших и мягких, точно бархат, глаз.

- Вы сделали все, что могли, и даже намного больше. Все ваши расходы я оплачу.

- Да разве дело в этом! - махнул рукой Плавский. - Но вы уверены, что я вам не понадоблюсь?

- Дело не в том, понадобится вы или нет, - объяснил я мягко. - Дальше рискованно и опасно пользоваться вашими услугами.

- Вы полагаете... - начал он.

Я угадал его мысли:

- Полагаю. Суздальский мог вас заметить?

- Да, пожалуй, - признался Плавский. - Он в конспирации имеет больше опыта и сноровки.

- То-то и оно, - заметил я. - Если даже не заметил, то может заметить. Зачем же рисковать?

- Я понимаю... Вы правы, - согласился Плавский. - Все надо предвидеть.

- А теперь посидите здесь, - предупредил я друзей. - Вернусь скоро.

Моя беседа с местными чекистами несколько затянулась, но через час я, Плавский и Дим-

Димыч были уже на Медниковской улице и осматривали дом, в котором жил Суздальский. Он оказался удобным, стоял один во дворе.

Потом мы бродили по набережной вдвоем с Димой: Плавский отправился на разведку в ресторан "Волга".

Сигнал от него поступил довольно скоро.

- Ужинает! - сообщил Плавский. - Сидит за столом в компании двух моряков в форме.

- Места свободные есть? - осведомился Дим-Димыч.

- Ни одного.

У входа в ресторан, прямо у дверей, околачивались три типа под приличным хмельком. Они выворачивали свои карманы и что-то подсчитывали. Видимо, определяли финансовые возможности. Я легонько раздвинул их плечом, и мы вошли внутрь.

У стойки мне и Дим-Димычу подали по кружке пива и по паре раков.

Да, это был он, пропадавший и ускользавший. Он старательно прожевывал пищу и разглядывал своих со седей по столику. Мы пили пиво, закусывали раками и разглядывали Суздальского-Кравцова.

Времени оказалось достаточно не только для того, чтобы расправиться с раками и пивом, но еще и для того, чтобы накрепко зафиксировать в зрительной памяти облик человека с небольшой родинкой на левой щеке.

Расплатившись, мы вышли и встретили на Радищевском бульваре терпеливо поджидавшего нас Плавского.

По дороге я сказал:

- Предсказывать дальнейший ход событий я не берусь, но сдается мне, что карьера Суздальского подходит к своему финалу.

- Пора, - кивнул головой Дим-Димыч.

В полночь мы проводили Плавского на московский поезд.

28 сентября 1939 г.

(четверг)

Погода резко переменилась. Похолодало. С Волги задул напористый, по-осеннему неприятный ветер. Он налетал порывами, озоровал, выметая остатки ушедшего лета.

У меня побаливала голова. Всю ночь в комнате между обоями и стеной надоедливо шуршала мышь. Поначалу я запустил наугад, по слуху, ботинок и, кажется, угодил в Диму. Потом я спустил с кровати ноги и затопал ими по полу. Мышь на несколько секунд умолкла, а потом вновь начала возню. Лишь под утро я немного уснул.

А Дим-Димыч выспался преотлично.

Утром мы опять наслаждались топленым молоком я заедали его хрустящим хлебом. Затем отправились в город.

Сейчас мы стояли на набережной у моста, на самом ветру, в некотором отдалении друг от друга и исподволь наблюдали, как наш подопечный совершает свою предобеденную прогулку. Наблюдали за ним не одни мы. Суздальский возбуждал во мне еще больший интерес, чем прежде. И для этого были причины.

Вчера я разговаривал по телефону с Тулой. Вернее, продолжил начатый разговор. Никак не удавалось узнать о содержимом оставленного Суздальским чемоданчика. Дежурный железнодорожной милиции оказался не в курсе дела и попросил позвонить на другой день самому начальнику отделения. То, что сообщил начальник, огорошило нас с Димой.

Оказывается, чемодан в течение трех суток преспокойно лежал на полке. Сообразительный (теперь это очевидно) начальник отделения не разрешил до поры до времени интересоваться его содержимым. Считал, что оснований для этого не было. Какой-то инженер Плавский подозревает кого-то в убийстве своей жены, сам преследует этого "кого-то", путает сюда органы безопасности. Вообще - дело темное. Подождать надо. И он распорядился ждать.

На четвертые сутки в полдень явился гражданин, предъявил квитанцию и паспорт на имя Суздальского Вадима Сергеевича и потребовал "свой" чемодан. Фотокарточка на паспорте

была копией с оригинала, то есть владельца паспорта. Но внешне новый Суздальский нисколько не походил на прежнего - ни по лицу, ни по росту, ни по возрасту. Помимо всего прочего, он оказался горбатым.

С чемоданом новый Суздальский отправился на службу, в проектную контору, где он занимал должность чертежника, и, поскольку обеденный перерыв закончился, приступил к работе.

Вечером Суздальский доехал трамваем домой, прошел в свою комнату и закрылся.

Жил он одиноко в коммунальной квартире.

Через полчаса сильный взрыв потряс дом. Потух свет, посыпалась штукатурка, вылетели стекла. Взрыв произошел в комнате Суздальского. Его нашли разорванным на части. От чемодана осталась четвертушка ручки. Обыском, произведенным в комнате, удалось обнаружить телеграмму из Москвы, спрятанную в кармане летнего пальто. Она гласила: "Все переслал. Можешь получить. Валентин".

- Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! - заметил Дима, когда мы шли опять к ресторану, где оставили подопечного. У нас он спровадил на тот свет Брусенцову, в Благовещенске кокнул Рождественского, а в Туле подорвал Суздальского. Смотри, и тут еще сделает покойника!

- Все возможно. Все возможно, - ответил я.

Начальник милиции из Тулы сообщил мне еще одну любопытную подробность. Оказывается, Суздальский появился в Туле всего полтора месяца назад. До этого он жил в Москве и работал, как я понял, в тресте канализации. И Брусенцова прежде работала в Москве И Рождественский.

- Кто поручил этому подлецу приводить в исполнение приговоры? - спросил Дима.

- Очевидно, тот, кто их выносил.

- А быть может, он сам и судья и палач?

- Тоже возможно.

Мы прошли мимо ресторана. В окно был виден Кравцов (фамилия Суздальский уже отпадает), рассчитывавшийся с официантом. Он, должно быть, дал ему на чай, потому что официант поклонился и изобразил на лице улыбку.

Через минуту Кравцов вышел, огляделся и уже хотел перейти улицу, когда к нему привязались трое подвыпивших мужчин, кажется, те самые, что толкались у входа в день нашего приезда. Они или просили у него закурить, или навязывались в компанию - издали понять было трудно. Один взял Кравцова под руку, но тот резко оттолкнул его. Поднялся шум. Выскочил швейцар, раздался свисток, стали сбегаться прохожие.

Инцидент закончился появлением милиционера и проверкой документов. Целый и невредимый, Кравцов поспешно покинул шумное место и зашагал на свою Медниковскую улицу.

От милиционера мы узнали вечером, что Кравцов значится как Вадим Данилович Филин.

Ночью я разговаривал по телефону с Кочергиным. Доложил итоги и свои соображения. Он их одобрил. Попросил его затребовать из Тулы телеграмму от Валентина на имя Суздальского.

Остаток ночи мы спали. Мышь меня не беспокоила. Дим-Димыч высказал предположение, что у мыши, возможно, выходной день.

Утром, следуя примеру Филина, мы посетили калининскую баню и чудно попарились. Посвежевшие и помолодевшие, отправились с визитом к хозяину дома на Медниковской.

О хозяине мы успели узнать все, что следовало. Ни его прошлое, ни настоящее, ни его род занятий, ни поведение - ровным счетом ничто не вызывало сомнений или подозрений. Приводам не подвергался, не арестовывался, под судом не был, в белой армии не служил, в бандах не участвовал, права голоса не лишился, женат один раз, алиментов не платит.

- Более чистого человека трудно себе представить, - сказал Дим-Димыч.

Собственно, это и позволило нам пойти на известный риск и заглянуть к нему.

Но идеального, в полном значении этого слова, человека найти трудно. У хозяина дома по

Медниковской был порок. Он пил. Пил запоем. Запой длился дней десять - двенадцать. Наступала депрессия. Месяц, другой, иногда и третий бедняга крепился, но стоило споткнуться на одну ногу - и следовал рецидив.

Вот мы и у дома на Медниковской.

Дворовая калитка болталась на одной петле под порывами ветра и жалобно поскрипывала.

Я толкнул первую дверь. Она подалась. Без стука мы прошли через вторую. В просторной комнате, с выходящими на улицу окнами, мы увидели хозяина. Пухлый, бледный мужчина полулежал-полусидел на диване с яркой, цветистой обивкой, опершись спиной на большую подушку. Голова его, затылок и часть лица были обложены крупными капустными листьями. Возле дивана стояла табуретка, на ней медный таз, наполовину наполненный водой, а рядом фарфоровая чашка в проволочной оплетке с какой-то жидкостью ядовитого цвета. Воздух был пропитан валерьянкой и еще чем-то едким, неприятным, не поддающимся определению. "Запашок - хоть святых выноси", - отметил я и любезно приветствовал хозяина, назвав его по имени и отчеству.

Глаза его удивленно и оторопело уставились на меня. Чересчур удивленно и чересчур оторопело.

- Кх... кх... Откуда вы меня знаете? - спросил он отсыревшим голосом.

- Не подумайте, что из энциклопедии, - невозмутимо ответил Дим-Димыч, подошел бесцеремонно к окну и открыл форточку.

Хозяин неожиданно улыбнулся и покачал головой. Затем он решительно содрал с себя капустные листья и швырнул их в медный таз.

Нашим взорам открылось опухшее лицо с обвисшей, как у индюка, кожей на шее, довольно внушительный голый бугристый череп.

Хозяин встал, проворно заправил нательную рубашу в брюки, застегнул их, сунул босые ноги в домашние войлочные туфли.

- Прошу садиться, - проговорил он. - Чем могу быть полезен?

"Слава богу, - подумал я. - Не пьян. Вышел из штопора".

Мы отрекомендовались работниками паспортного отдела и изложили суть дела. До нас дошли сведения, что в доме долгое время живет непрописанный человек.

- Ну что за народ эти соседи! - возмутился хозяин. - В чужом глазу соринку подмечают, а в своем бревно не видят. Как же это так - долго? Пять суток жил человек. Ну и что?

- Говорите, жил? А где он сейчас? - осведомился я.

- Уехал. Вчера уехал.

- Неожиданно? - решил уточнить Дим-Димыч.

- Почему неожиданно? Я знал, когда он уедет. Он сказал об этом в день приезда.

- Это ваш родственник? - спросил я.

- Какой там родственник! Второй раз в жизни встретились. Познакомились год с лишним назад. В Иркутск я ездил. Дочка у меня там. Замужняя... На обратном пути в вагоне познакомились. Сами небось ездили, знаете. Разговорились. Слово за слово. Картишки, выпивка. Вместе до Москвы-матушки. Я из отпуска, он в отпуск из Благовещенска. Инженер. Серьезный такой. Цену деньгам знает. В питье умерен. Адрес взял. Интересно, говорит. Когда-нибудь загляну в Калинин. Вот и заглянул. Деньги предлагал. Я отказался. Все-таки одарил меня. Вот эту штучку пожаловал, - и хозяин показал нам очень тонкий металлический портсигар с вырезанными на нем тремя буквами: "Р.В.С."

- Вроде как "Реввоенсовет", - объяснил хозяин.

Это было все, чем отметил здесь свое пребывание Филин.

- А как его зовут? - спросил Дим-Димыч.

- Валентином. Полностью: Валентин Серафимович Рождественский.

Меня будто что-то обожгло. Рождественский Валентин Серафимович. Ведь это тот самый, которого Филин в свое время собственными руками отправил в бессрочную командировку на тот свет.

- Вы уверены, что его фамилия Рождественский? - спросил я.

- Господи! Что же я, безглазый, что ли? Паспорт его в руках держал. Он просил: "Пропишите!" А стоит ли? На пять суток-то? Волокита одна.

Дим-Димыч разглядывал буквы на портсигаре. Переглянулись. Поняли друг друга. В словах не было нужды. Мы встали, предупредили хозяина о соблюдении паспортного режима и распрощались.

Половицы захлюпали под нашими ногами, когда мы шли к выходу. Пожилая женщина, видимо жена хозяина, с подобранным подолом старательно смывала грязь с наслезанных ступенек крыльца.

- Ожидал ты что-либо подобное? - спросил Дима уже на улице.

- Что угодно, но не это, - признался я.

24 октября 1939 г.

(вторник)

Сегодня московские чекисты получили санкцию прокурора на арест Филина-Рождественского. Понадобился почти месяц, чтобы собрать о нем необходимые сведения.

Под фамилией Филин он был прописан в Москве и жил на юго-западной окраине, в Арсенальном переулке, а документами Рождественского пользовался при выездах из столицы. По возрасту он оказался старше, чем мы предполагали. Ему стукнуло сорок два года.

Филин нигде не служил и занимался частной медицинской практикой как фельдшер. Часть клиентуры принимал у себя, часть обслуживал у больных на дому: делал лечебные массажи, внутривенные вливания, ставил банки, пиявки. Его хорошо знали завсегдатаи Сандуновских бань, где он раз в неделю делал массажи.

Жил холостяком, увлекался музыкой, дома играл на виолончели. Никаких сборищ в квартире не устраивал и у хозяев пользовался репутацией спокойного и солидного жильца.

Получив санкцию прокурора на арест Филина, капитан Решетов - работник центрального аппарата НКГБ - провел узкое совещание, на которое вызвал меня.

О капитане Решетове я много слышал, но увидел его впервые лишь сегодня. Имя его в кругах чекистов было овеяно романтикой. Он отчаянно дрался в рядах Интернациональной бригады в Испании. О его храбрости рас сказывали легенды. Внешне он был хмур, суров, говорил спокойно и умел заставить себя слушать. Все участники совещания, в том числе и я, ловили каждое его слово.

Когда все было оговорено, Решетов помял кисть своей левой раненой руки, кровь в которую, как я понял, поступала не совсем нормально, и сказал, ни к кому персонально не обращаясь:

- Ждать больше нельзя, а надо бы. Ой, как надо бы... Трудно поверить, что Филин над собой никого не имеет. Невероятно!

В десять вечера старший лейтенант Аванесов, лейтенант Гусев и я сели в машину и отправились на операцию.

Задача наша состояла в том, чтобы застать Филина врасплох. Известно, что преступнику достаточно нескольких секунд, чтобы уничтожить непровержимые улики и приготовиться к самообороне.

В комнате Филина, двумя окнами выходящей во двор, горел неяркий свет. Но разглядеть, что происходило внутри, было нельзя: плотные шторы, закрывавшие окна, оставляли лишь узкие щели. Сквозь одну из них мы увидели стену, сквозь вторую - угол платяного шкафа.

Расположение комнат в доме было заранее изучено. Через ход со двора и коридор можно пройти прямо к Филину, а с улицы - только минуя две хозяйские комнаты. Лейтенант Гусев остался на улице, а я и Аванесов поднялись на ступеньки крыльца.

Дверь, как и следовало ожидать, была заперта. Мой спутник достал что-то из кармана и бесшумно вставил в замочную скважину. Два осторожных поворота кисти руки - и створка подалась. Мы оказались в совершенно темном коридоре, замерли, прислушались. Я включил карманный фонарик. Все правильно: левая дверь ведет в кухню, правая - к Филину. Интересно, заперта она или нет? Если заперта, придется прибегать к содействию хозяина. Но

прежде надо проверить, не производя никакого шума. Аванесов протянул уже руку к двери, как за нею послышались шаги, шум переставленного стула, опять шаги и скрип задвинутого ящика. Мы, точно по команде, попятнулись, и я погасил фонарик.

Дверь открылась, и в рамке света показался Филин. На нем была военная форма со шпалой на петлицах. Держа пистолет на изготовку, мы надвинулись на него, и Аванесов негромко скомандовал:

- Спокойно! Поднимите руки! Так.

Тесня Филина, мы заставили его вернуться в комнату.

Я прикрыл дверь, спрятал пистолет и стал обшаривать карманы Филина. В них оказался пистолет "браунинг", большой складной нож, два кожаных бумажника - один с документами, другой с деньгами - и разная мелочь.

- Можете опустить руки, - разрешил Аванесов. - Садитесь и отдыхайте.

Филин опустился на стул. Лицо его оставалось совершенно спокойным и ничего не выражало: ни страха, ни растерянности, ни волнения. Он сидел между дверью и единственным столом, на котором горела настольная лампа, освещавшая комнату.

- Пригласите хозяина и лейтенанта, - приказал мне Аванесов.

Я направился к двери, открыл ее, шагнул через порог и, повинувшись какой-то неожиданной мысли, оглянулся. В этот момент Филин сделал прыжок к столу. Я тоже прыгнул, взмахнул рукой и угодил ему в челюсть. Без звука он рухнул на пол и на мгновение потерял сознание.

Аванесов, стоявший к нему вполоборота и рассматривавший бумажник, удивленно взглянул на меня, потом на лежавшего Филина.

- Что, собственно, он хотел сделать?

- По-моему, разбить лампу, - ответил я.

- Лампу? Зачем? - Аванесов подошел к выключателю на стене и щелкнул им. Загорелся верхний свет. - Нет, тут что-то другое.

Филин легонько простонал, зашевелился. Аванесов наклонился над ним, помог подняться.

- Мы же с вами договорились отдыхать, а вы нарушаете порядок. Не годится, гражданин Филин. Сидите спокойно!

Филин снова устроился на стуле и стал ощупывать рукой ушибленное место. Он молчал и только косился на меня.

Теперь, кажется, можно было спокойно идти за лейтенантом Гусевым и хозяином дома.

Когда я вернулся в сопровождении понятых, Аванесов кивком головы подозвал меня и показал обнаруженный им на столе железнодорожный билет на двадцать восьмое октября. Плацкартный билет от Москвы до хутора Михайловского.

"Так вот зачем Филин бросился к столу! - сообразил я. - Пытался уничтожить билет. Не удалось!"

Вместе

с Гусевым мы начали обыск квартиры. Он занял у нас добрую половину ночи, но ничего существенного и интересного, с нашей точки зрения, не обнаружили. В три часа 25 октября Филина привели на первый допрос.

25 октября 1939 г.

(среда)

Допрашивал капитан Решетов. Я вел протокол. То, что Филин совершенно не запирался и сразу стал давать, как выражаемся мы, признательные показания, ни для кого неожиданностью не было.

Улики опровергнуть было невозможно. Перед ним стоял выбор: или полное и чистосердечное признание, или ложь. В первом случае он мог рассчитывать на снисхождение, во втором - нет. Он, как и большинство преступников, избрал первое. Филин хотел жить. Он рассказывал все.

В тридцать четвертом году его завербовала германская разведывательная служба. Это

произошло в Гомеле, где он работал фельдшером в одной из городских больниц. До тридцать шестого года никаких поручений не выполнял, ни с кем из представителей вражеской разведки не встречался. В начале тридцать шестого года на гомельском вокзале он неожиданно столкнулся с человеком, который его в свое время завербовал. Человек этот снабдил Филина крупной суммой денег, предложил бросить работу и перебраться в Москву. Филин так и поступил. И вновь бездействовал долгое время. В апреле следующего года его, опять-таки неожиданно-негаданно, в Москве, в районе Покровки, взял под руку какой-то человек, и Филин, повернувшись, узнал своего патрона. Они побродили по Садовому кольцу, побеседовали. Филин опять получил деньги и несколько дней спустя выехал в Благовещенск. Ему предстояло найти Рождественского и прикончить его. Филин выполнил поручение и едва избежал правосудия. Затем было дано задание познакомиться с Брусенцовой, увлечь ее куда-либо за город и тоже прикончить. Брусенцова что-то почуяла и сама покинула Москву. Не без труда Филин отыскал ее. А совсем недавно подошел черед Суздальского.

Каждый из этих троих, в свое время и при различных обстоятельствах, стал агентом германской разведки, выполнял ее задания, а потом по причинам, Филину неизвестным, начал уклоняться от встреч с шефом.

У них не хватало смелости поддерживать дальнейшую связь с вражеской разведкой, но и недоставало мужества пойти в органы безопасности и обо всем рассказать. Но они могли в конце концов обрести это мужество. Это и пугало шефа.

Была, конечно, возможность покончить с любым из троих в Москве. Но шеф и слушать не хотел об этом. Только не в Москве!

Когда шеф узнал, что Филин умертвил Брусенцову тем же способом, что и Рождественского, он был разгневан. Поэтому убийство Суздальского пришлось осуществить способом, предложенным самим шефом. Он же снабдил Филина и чемоданом, в который был вмонтирован взрывной заряд.

Существует еще один человек, над которым нависла угроза расправы. Предрешен даже вопрос о том, как его ликвидировать. Филин должен столкнуть этого человека с электропоезда между Москвой и Малаховкой. Нужна только команда шефа, а тот медлит - должно быть, проверяет своего агента.

Никаких других поручений Филин не выполнял. Его роль сводилась к уничтожению агентуры, которая или уже "выдохлась" и не могла больше приносить пользы, или попала под подозрение органов контрразведки, или же, наконец, не хотела дальше сотрудничать с шефом.

- Я уничтожал врагов ваших, - неожиданно и вполне серьезно заявил Филин. - Те, с кем я расправился, уже утратили право быть среди вас и считать себя равноправными гражданами. Пусть это не смягчает моей вины, но это так. Я устранял тех, до кого не дотянулись ваши руки. Устранял - и получал за это хорошие деньги. А вот за благовещенских чекистов - того, которого я убил, и того, что ранил, - я готов класть свою голову на плаху. Но я вынужден был так поступить. Я очень не хотел сидеть в тюрьме из-за подлеца Рождественского. А он такой же подлец, как и Суздальский, как и Брусенцова.

Я и Аванесов переглянулись. С такой, довольно оригинальной философией мы встречались впервые.

Решетов продолжал допрос. Дело дошло до Калинина. Филин рассказал: шеф однажды намекнул ему, что было бы неплохо подыскать "спокойную крышу" недалеко от Москвы, на случай "нужды".

Возвращаясь из Благовещенска, в поезде Филин познакомился с человеком из Калинина и решил навестить его. Город и дом ему понравились, но конкретного разговора с хозяином он не вел. Считал, что еще рановато.

Осведомленность Филина о своем шефе была весьма ограничена. Ни разу с момента вербовки шеф не назначал ему заранее свиданий. Появлялся всегда в такой момент, когда Филин его не ожидал. Никаких письменных донесений не требовал; снабжая деньгами, расписок не брал. О том, где он живет, какова его фамилия, чем занимается, - Филин не

имеет ни малейшего понятия.

- Опишите его внешность, - потребовал Решетов.

Филин сделал это охотно. Шеф - мужчина лет сорока пяти. По виду, во всяком случае, не старше. Темный шатен. Кто он по национальности - сказать трудно. Роста скорее невысокого, чем среднего. Коренаст, широк в плечах и груди. Ходит крупными шагами. Идти с ним в ногу трудно. Походка вразвалку, но это не очень заметно. Полнотой не страдает и производит впечатление человека физически тренированного.

- Когда вы впервые с ним встретились, он как-нибудь назвал себя? спросил Решетов.

Филин повел бровями, усмехнулся:

- Понятно, назвал. Но я не придал этому никакого значения. Ему надо же было что-то сказать.

- Можете припомнить, как он назвал себя? - допытывался Решетов.

- А я и не забывал. Он представился как Дункель. Возможно, это кличка.

Я вздрогнул и уронил ручку. Уронил - и оставил на протоколе большую кляксу. Пришлось прибегнуть к помощи пресс-папье.

Решетов пристально посмотрел на меня и продолжал допрос. А я пододвинул протокол Аванесову, сказал, что мне надо на минуту выйти, и покинул кабинет.

В коридоре я стал у стены и сильно потер виски. "Что же такое? Дункель... Дункель... Одного этого слова оказалось вполне достаточно, чтобы вывести меня из равновесия. Дункель! Это имя назвал и Витковский. Значит, шеф Филина являлся и шефом Витковского? Неужели совпадение? Нелепое совпадение, которое час-то путает все карты. Быть не может... Портрет Дункеля, обрисованный Филиным, не отличается от того, который в свое время нарисовал Витковский. Конечно же: невысок, коренаст, крепок, походка вразвалку. Все совпадает. Речь идет об одном человеке. И совпадает не только внешний вид, но и другое. Стиль, если здесь это слово применимо. И тот и этот Дункель никогда заранее не назначают встреч и появляются неожиданно для своих подшефных".

Я нервно прошелся по коридору. Потом заглянул к дежурному и набрал номер телефона Решетова.

- Товарищ капитан! - произнес я в трубку. - Вы помните из наших докладных дело Кошелькова, Глухаревского, Витковского?

- Помню, - тихо ответил Решетов.

- Там тоже шла речь о Дункеле.

- Помню и это.

- Тогда прошу извинить Я думал...

В трубке послышались отбойные гудки.

Я тотчас же вернулся в кабинет и снова взялся за протокол.

Без меня Аванесов уже сделал новую запись. Филин рассказал, что подметил у Дункеля одну довольно странную привычку. Еще при первой встрече с ним в Гомеле (а встреча происходила в больничном саду) ему показалось, что Дункель только что вышел из-за стола после сытной еды. В ходе беседы он несколько раз доставал из бокового кармана пиджака зубочистку и принимался ковырять в зубах. При этом он все время причмокивал и продувал зубы. Подобная картина повторилась и при второй и последующих встречах: Дункель постоянно прибегал к зубочистке. И особенно в те минуты, когда он не говорил, а слушал. Филин склонен объяснить эту привычку нервозностью Дункеля.

- А чем он пользовался в качестве зубочистки? - спросил Решетов.

- Только гусиным пером.

Решетов кивнул, дав понять, что этот вопрос исчерпан. Потом вынул из папки конверт, извлек из него знакомый мне билет, показал его Филину и спросил:

- Чем вызывается эта ваша поездка на хутор Михайловский?

- Вероятно, я вновь понадобился Дункелю.

- А из чего вы это заключили?

- Сейчас объясню. В тот день, когда я вернулся из Тулы и собирался в Калинин, я имел

встречу с Дункелем. Он предложил двадцать восьмого октября выехать на хутор Михайловский. Число и номер поезда он повторил дважды. И ни слова больше. Искать Дункеля я не имею права. "Если вы когда-нибудь попытаетесь подойти ко мне по собственной инициативе, это будет ваша первая и последняя попытка", - предупредил он меня. И я хорошо это запомнил.

- Вы полагаете, что он подойдет к вам и в этот раз?

- Иначе и быть не может. Я ведь не знаю, что делать на хуторе Михайловском.

Решетов прервал допрос и приказал увести арестованного.

Мы остались одни. Капитан энергично помял левую руку, откинулся на спинку кресла и сказал:

- Сильный вражина. Умный. Как хотите, а я предпочитаю иметь дело с таким, нежели со слюнтяем. Хм... "Я уничтожал врагов ваших. Я устранял тех, до кого не дотянулись ваши руки". Здорово! А что заявил бы он, если бы на его счету не было убитого и раненого чекистов?

- Он попросил бы представить его к награде, - пошутил Аванесов.

- А что? - заметил Решетов. - Он все взвесил, обдумал. Мозговитый, подлец. А теперь ступайте обедайте, - он посмотрел на часы: - Ровно в двенадцать ноль-ноль быть у меня.

28 октября 1939 г.

(суббота)

Поезд прошел станцию Кокоревку. Я попытался припомнить, какие еще остались остановки до Михайловского. Насчитал шесть. Да, вероятнее всего, что Дункель появится на хуторе Михайловском, как условился с Филиным. Если вообще появится...

Я лежу на боковой нижней полке в конце плацкартного вагона. Отсюда хорошо просматривается весь коридор до его начала, где на такой же, как и я, скамье-боковушке занимает позицию лейтенант Гусев. А Филин, Аванесов и Решетов находятся в середине вагона. Что они делают - я не знаю. Знаю лишь одно: никто из них не спит, хотя время приближается к полуночи. Филин не спит потому, что ему так приказано, а Аванесов и Решетов - по долгу службы.

План поимки Дункеля с помощью Филина принадлежит Решетову. С нашим участием он обсудил детали, распределил обязанности, оставалось только получить согласие самого Филина. И это было, пожалуй, самое сложное. Никто не знал, как он воспримет наше предложение. Но Филин опередил нас. Сегодня утром на допросе он сказал:

- Я не утаил от следствия ни одного факта. В правдивости моих показаний вы скоро убедитесь. Но я могу сделать больше, чем сделал.

Решетов приподнял нахмуренные брови и тяжелым взглядом уставился на арестованного. Его глаза как бы говорили: "А мне неважно, можете вы или не можете".

- Я сделаю это потому, что хочу жить, - твердо продолжал Филин. - И не подумайте, что я боюсь умереть. Ошибаетесь. Кто лишает жизни других, должен сам быть готов в любую минуту расстаться с нею. За убийство мне дадут "вышку". И правильно. Жизнь за жизнь, смерть за смерть... Вы понимаете меня?

- Пытаюсь, - проговорил Решетов.

Я дивился Филину и скрывать этого не хочу. Меня удивляло его самообладание. Какие надо иметь нервы, волю, чтобы, ясно предвидя, что его ожидает, так невозмутимо и спокойно держать себя.

Филин продолжал:

- Я выдам вам Дункеля. Если, конечно, он еще не пронюхал о моем аресте. Если пронюхал - его никому и никогда не найти. Поверьте мне. Это не тот человек, который, подобно рыбе, легко пойдет в расставленные сети. Он сам мастер расставлять их. Большой мастер... - Филин откашлялся, хрустнул пальцами и добавил: - Но я думаю, что мы не опоздали еще. Мне хочется вместо "вышки" получить "срок". Любой срок. Не важно. Тюрьма, лагерь - тоже не важно. Но только обязательно жить! Впрочем, об этом после... - и он умолк.

Это произошло сегодня утром, а сейчас поезд тащит нас сквозь холодную сырую ночь. На четырех крупных станциях, как заранее было условлено, Филин выходил на перрон и прогуливался до отправления поезда. За ним неусыпно следил один из нас: на Тихоновой пустыни - лейтенант Гусев, в Сухиничах - я, в Брянске старший лейтенант Аванесов, в Навле - капитан Решетов.

В дороге Филин немного отдохнул, а мы четверо бодрствовали. Мы ждали Дункеля, а он не показывался. Мне в голову лезли сомнения. "Если он пронюхал, его никому и никогда не найти", - сказал Филин. Я хорошо запомнил эти слова. А что, если Дункель пронюхал все-таки? Тогда напрасна эта поездка, напрасны ожидания и волнения. Тревожило и другое: вдруг Филин решил спасти своего шефа и предпринял ложный ход? При посадке в Москве, в общей суতোлке или на одной из стоянок, заметив Дункеля, он мог подать ему условный знак. Знак, неприметный нам и понятный Дункелю. Тот скрывается, а Филин продолжает начатую роль, морочит нам голову... Все, все возможно.

В вагоне стоял полумрак. Редкие лампочки под потолком горели вполнакала. Пассажиры, за малыми исключениями, спали. Из разных уголков вагона доносился храп. За окном шел дождь вместе со снегом. Сквозь залепленное мокрыми хлопьями стекло нельзя было ничего разглядеть.

Минули Холмичи, Неруссу, Суземку, Горожанку... До хутора Михайловского остались две остановки: Зерново и Шалимовка. А вот и Зерново. Поезд замедляет ход и без толчков останавливается. В вагон входят два пассажира. Они задерживаются, разговаривают с проводником. О чем? Об этом знает лейтенант Гусев. Это возле него. Один из пассажиров уже лезет на верхнюю полку, что над Гусевым, а другой пробирается в мою сторону. Поезд трогается. Остается одна остановка. Пассажир одет в брезентовый плащ, изрядно промокший. Капюшон так надвинут на глаза, что мне видна лишь нижняя часть лица. Но вот, кажется, и он нашел себе местечко, свернул влево.

Опять не то. Теперь вся надежда на хутор Михайловский. Но что это? Я вижу Филина. Да, определенно Филина. А за ним... за ним следует человек в брезентовом плаще.

Дункель! Конечно, Дункель. Никто другой не мог бы заставить Филина покинуть свое место. Не спеша они направляются в тамбур. Там Дункель, видимо, посвятит Филина в новую, последнюю тайну, даст ему последнее задание и в Шалимовке сойдет. Нет, не сойдет. Мы не дадим ему сойти.

Открылись и захлопнулись двери. Они в тамбуре. Я вскочил с места. В коридоре показались Решетов и Аванесов, за ними Гусев.

Решетов подал условный знак.

"Быстрее! Дункель может не задержаться в тамбуре и поведет Филина по вагонам".

Правую руку, зажавшую пистолет, спущенный с предохранителя, я сунул за борт пальто.левой рукой открыл первую дверь, вторую и, когда шагнул в темноту тамбура, почувствовал толчок в грудь. А быть может, мне так показалось? Толчок был не такой уж и сильный. На ногах я устоял, но свет в моих глазах мгновенно померк. И ноги стали будто из ваты. Они не держали меня. Я рухнул без ощущения какой бы то ни было боли. Последнее, что я отлично помню: упал я на что-то мягкое.

20 декабря 1939 г.

(среда)

Понадобилось пятьдесят три дня для того, чтобы я мог взять в руки перо и написать эти строки. Пятьдесят три дня - ни больше ни меньше.

Единственной реальной вещью, которую я ощущал непрерывно в течение почти двух месяцев, была больничная койка. Она явилась моим пристанищем. Упав в тамбуре, я очнулся в больнице. И по тому, как вокруг меня хлопотали, я догадался, что со мной произошло что-то страшное.

На другой день в санитарном самолете меня отправили в Москву и тотчас же положили на операционный стол. Третий раз за мою не такую уж долгую жизнь.

Два дня спустя после операции меня навестили Решетов, Аванесов и Гусев.

Что же произошло в ту ночь в поезде Москва - Одесса?

Прежде всего я напоролся на нож. Он повредил ключицу, плевру, левое легкое и едва не достиг сердца. Еще каких-нибудь десять миллиметров - и я бы не писал этих строк. Именно эти десять миллиметров отвели от меня смерть.

Преследуя Филина, я не закрыл за собой ни первой, ни второй двери. И капитан Решетов еще на подходе к тамбуру в слабом свете увидел человека в брезентовом плаще. Он стоял на ступеньках, смотрел вниз и явно готовился к прыжку в ночь. Встречные потоки холодного воздуха, смешанные со снегом и дождем, врывались в тамбур и коридор. Но Решетов увидел не только это, а еще и мои ноги.

Первой мыслью Решетова было задержать преступника. Человек в плаще уже оторвал руку от поручней и бросился вниз. Две пули, посланные почти одновременно, должны были настигнуть его. Однако ни крика, ни стола Решетов не услышал. Впрочем, грохот идущего поезда поглощал все звуки.

- Стоп-кран! - скомандовал капитан Аванесову, а сам бросился ко мне. Я лежал хотя и живой, но без сознания, а подо мною в луже собственной крови затих Филин. Его счеты с жизнью были окончены. Один и тот же нож убил Филина и не добил меня.

Дальнейшее приняло естественный и даже несколько обычный ход. Лейтенанту Гусеву поручили доставить меня в хутор Михайловский, свезти в больницу и самому связаться с местным отделением госбезопасности.

Гусев сделал все, что ему было приказано.

Пока в больнице обрабатывали мою рану, Решетов и Аванесов шагали по шпалам сквозь кромешную тьму, а вслед за ними мчалась дрезина с Гусевым и местными чекистами.

Но дождь со снегом работали не на нас, а на врага. Решетову не удалось обнаружить ни человека в брезентовом плаще, ни его следов. На поиски потратили остаток ночи, утро, весь день и вернулись ни с чем.

Можно ли утверждать, что человек в плаще, убивший Филина и ранивший меня, был Дункель? Да, можно. Решетов и Аванесов видели собственными глазами, как он вошел, подсел к Филину, читавшему книгу, молча подал ему знак следовать за ним, как Филин, поднимаясь с места, уронил на пол коробку спичек. Это был условный сигнал для нас.

Возникает вопрос, почему Решетов и Аванесов сразу не задержали Дункеля?

Они могут ответить то же, что ответил бы на их месте и я. Во-первых, мы не предвидели, что в итоге встречи Филина с Дункелем последует кровавая расправа. Во-вторых, мы хотели знать, зачем понадобилось новое свидание с Филиным, какое задание он ему подготовил.

Планы врага - это всегда важнейшая тайна, которую надо раскрыть!

Зачем Дункель убил Филина, своего верного агента-боевика, беспрекословно и мастерски выполнявшего все его приказания? Предполагать можно разное. Филин многое знает, многое сделал. Пока ему везло, но неизбежно придет время, когда он попадетсся. Почему Дункель должен ожидать этого времени, когда он может заранее, без особого риска освободиться от такого свидетеля, как Филин? Предаяющий Родину должен всегда помнить, что, будь он чудом из чудес, придет все равно пора, когда надобность в нем у врага минует. И тут же встанет вопрос: как поступят с ним? Чем преданнее служил он хозяевам, чем успешнее выполнял их задания, чем ближе они подпускали его к себе и к своим тайнам, тем безжалостнее будет приговор.

Это один возможный вариант. Допустим и другой. Дункель разведал об аресте Филина. Разведал и все же решился на свидание с ним, отлично понимая, что хотя это и крайне рискованный, но тем не менее единственный шанс зажать Филину рот и навсегда избавиться от него.

В нашем смелом, хорошо продуманном плане нашлось уязвимое место. Дункель перешиб нас и Филина. Он оказался хитрее и предусмотрительнее.

Теперь о другом. Весь ноябрь я пролежал в Москве. Дело быстро шло на поправку. Меня все время навещали Решетов, Аванесов, Гусев. Один раз вместе с Фомичевым и на его машине

приезжали Лидия и Оксана. Приходил Плавский.

Четвертого декабря неожиданно позвонил Дим-Димыч. Звонил он с Ленинградского вокзала. В его распоряжении, от поезда до поезда, оставалось два десятка минут. Он ехал добровольцем на фронт. Пока я болел, началась война с Финляндией.

Положив телефонную трубку, я ощутил какую-то странную пустоту. Со слов друга, а ранее из разговора с Фомичевым я узнал, что вопрос о партийности Дим-Димыча и восстановлении его в органах по-прежнему висит в воздухе. Он изнервничался, измотался и, боюсь, пал духом.

Меня вся эта волокита возмущала до глубины души. Как можно так жестоко, несправедливо, необъективно относиться к человеку? Да и к какому человеку! Ведь Дима, если это понадобится, отдаст за наше дело и кровь, каплю за каплей, и жизнь. И не задумается!

А теперь он там,
где полыхает война.

Пятнадцатого декабря капитан Кочергин прислал в Москву за мной свою "эмку". В сумерки я сел в машину, а когда звездная пыль осыпала небо, окраины Москвы остались позади.

Ночь стояла морозная, ветреная.

Километров за сто от дома у "эмки" полетела цапфа. Шофер и я развели костер в кювете и, поджигая его высохшими стеблями травы, затоптались у огня. Под утро нас взяла наконец на буксир попутная грузовая машина.

Вместо левого переднего колеса мы смастерили из доски, оторванной от чьей-то изгороди, подобие лыжи. Ехали страшно медленно.

Дома я измерил температуру: тридцать восемь. На другой день она скакнула до тридцати девяти с половиной. На третий - я оказался в военном госпитале с двусторонним воспалением легких. И только сегодня, пятьдесят три дня спустя, я почувствовал себя способным сесть за дневник.

Я не одинок. Хоботов, Оксана, Варя, не говоря уж о жене, теще и сыне, часто навещают меня. Не хватает лишь Дим-Димыча.

Вчера был капитан Кочергин. Просидел больше часа. Говорили о многом, и в частности о Филине, Кошелькове, Дункеле. Кочергин рассказал, что две недели назад арестовали активного эмиссара гитлеровской разведки. На допросе выяснилась интересная вещь. Оказывается, адмирал Канарис, глава абвера*, дал указание своим резидентурам не только в Советском Союзе, но и во Франции, Румынии, Венгрии, Болгарии провести решительную чистку агентурной сети. Вся пассивная, колеблющаяся или "выдохшаяся" часть ее должна быть физически уничтожена. Следовательно, расправа над Рождественским, Брусенцовой, Суздальским, Филиным - звенья одной цепи.

* Абвер - военная разведка в гитлеровской Германии.

Эмиссар рассказал также, что гитлеровская разведка пытается разными методами компрометировать в глазах партии, Советской власти и народа высший командный состав Красной Армии. Это провокация, рассчитанная на определенный эффект в будущем.

- Сейчас любое дело, на первый взгляд даже чисто уголовное, - пояснил Кочергин, - должно приковывать к себе самое пристальное внимание. Вполне возможно, что за обычной уголовщиной скрывается или хитрый маневр, или шантаж, или попытка скрыть политическую подкладку дела. Ну, а при такой обстановке возможны и ошибки, и перестраховка со стороны отдельных товарищей.

23 декабря 1939 г.

(суббота)

Я дома. Два часа как дома. Выкупался, побрился и, обновленный, сижу в качалке. Сижу и курю. Курю первую папиросу с той злосчастной ночи, когда схватил воспаление легких.

Я ожидаю Фомичева. Он звонил только что. У него какие-то радостные вести. Какие? Фомичев не говорит по телефону, а я не могу догадаться. Скорее бы приходил.

Приятно сознавать, что все страшные недуги остались позади, что из схватки со смертью ты вышел победителем, что ты вновь здоров, силен, можешь встать и пойти куда угодно, крепко пожать протянутую руку, поднять хотя бы вот эту качалку.

Подобная радость доступна лишь тому, кто испытал тяжесть больничной койки, будь она хоть на семи пружинах.

Я делаю неглубокие затяжки, но все равно голова приятно кружится, как после первой рюмки водки. Ничего, привыкну.

Лидия настаивает, чтобы я бросил курить. Не смогу. Долго думал над этим, но, кажется, не брошу. Не выйдет. Не стоит и пытаться.

Дим-Димыч смотрит на меня с кабинетной фотокарточки, что стоит на письменном столе. Как раз против меня. Его темные и почему-то усталые глаза как бы говорят мне: "Ничего, дружище! Разлука нам не впервой".

Теперь я смотрю на портрет друга веселее. Дима прислал вчера телеграмму, коротенькую, но бодрую: "Жив, здоров. Жди письма". Молодчина Димка! Не унывает.

Фомичев появился через час после звонка с тоненькой серой папкой под рукой. Раздевшись в передней, он вошел, положил папку на стол, обнял меня, похлопал по спине и, всмотревшись в лицо, шутливо сказал:

- Вот с таким, как ты сейчас, я согласен играть в бильярд так на так.

- И обставлю, - заверил я.

- Ну прямо... Сначала соков наберись, а потом петушишь.

- Дай-ка лапу, - предложил я.

Фомичев подал руку. Я так ее стиснул, что даже у самого суставчики захрустели. Фомичев сморщился и еле сдержал озорное слово, готовое сорваться с языка.

- Медведь! - сказал он и стал разминать кисть правой руки.

Я усадил гостя на диван, сам сел рядом и потребовал:

- Ну, выкладывай!

Фомичев перевел глаза с меня на Димину карточку и сказал:

- Половина сражения, и половина главная, выиграна. Дим-Димыч - член партии.

Я разинул рот и уставился на Фомичева.

Он объяснил: горком отменил решение нашего парткома. Дима был и остается коммунистом.

- Лидка! - крикнул я.

Жена вошла. Я подскочил к ней, схватил ее и оторвал от пола.

- С ума сошел... Пусти! - запротестовала Лидия.

- Димка - коммунист! Ты понимаешь - по-прежнему коммунист! - выпалил я.

- Господи! - воскликнула жена. - Вот Варька обрадуется! Давайте пошлем сейчас телеграмму Диме.

Предложение было одобрено незамедлительно. Фомичев тут же сел к столу, набросал текст телеграммы и поставил под ней свою и мою фамилии. Лидия сейчас же оделась и побежала на телеграф.

- А теперь давай все по порядку! - настоял я.

И Фомичев рассказал. С ведома и согласия Осадчего он был в Москве и Смоленске по делу Дим-Димыча. Все разузнал, проверил, поставил вопрос о проведении официального расследования. Картина вскрылась до того неприглядная, что неприятно говорить. Жену брата Дим-Димыча, Валентину Брагину, арестовали на основании клеветнического доноса. В материалах нет ни одной улики, ни одного свидетельского показания о связях ее с троцкистами. Сотрудники, ведшие дело, отстранены от занимаемых должностей.

- Вот все, - Фомичев положил свою тяжелую руку на серую папку, - что осталось от двух коммунистов, в честности которых я не сомневаюсь.

Я не знал ни брата Димы, ни жены его, но я верил другу. Верил, что это были настоящие советские люди, хорошие коммунисты. Я ждал, что еще скажет Фомичев. Он молчал, хмуро смотрел своими глубокими глазами в пол и большими лапами поглаживал себе колени.

Потом я спросил, как же с восстановлением Дим-Димыча в органах.

Фомичев выпятил губы и пожал плечами. Я понял, что делу выглядит безнадежно. В чем же заковыка? Что еще требуется? Кажется, все ясно. Осадчий же заявлял, что восстановление по службе зависит целиком от решения вопроса о партийности? Да, Осадчий заявлял. Такой точки зрения он держится и сейчас. Но дело не только в Осадчем. Есть наркомат, а в наркомате - управление кадров, а в управлении кадров сидит твердолобый чинуша. И у него тоже есть своя точка зрения: пусть Брагин докажет, что он ничего не знал. Он-де утратил политическое доверие. Железная логика!

Я не первый год состою в партии, немало повидал, кое-что испытал, но понять подобную логику не в силах.

31 декабря 1939 г.

(воскресенье)

Случилось это сегодня, в воскресенье. Я один был дома. Лидия вместе с Оксаной помогали жене Фомичева готовиться к встрече Нового года. Теща и сынишка гуляли. Я тоже собирался на прогулку, оделся, закурил и при выходе в дверях столкнулся с письмоношцем. Он передал мне газеты и письмо. Авиазаказное. Адрес написан совершенно незнакомым почерком. Но не это удивило меня, а то, что внизу конверта, где напечатано "Обратный адрес", я прочел: "Ленинград, почтовый ящик такой-то. Брагин Д.Д."

Мне стало не по себе. Что за ерунда! Писал, конечно, не Дима. Уж его-то руку я знал.

Я вернулся в комнату, торопливо вскрыл конверт и снова увидел тот же чужой почерк. Волнение мое усилилось. Не вчитываясь, я перевернул лист и посмотрел на обратную сторону, на подпись. Там стояли четыре слова: "Крепко обнимаю. Твой Дмитрий".

Слава богу, жив! Глаза забегали по фиолетовым, удивительно ровным и четким строчкам. Кто-то чужой, неизвестный мне, заговорил устами Дим-Димыча.

"Андрей, дружище! Отвоевался я. Сейчас, следуя твоему примеру (дурные примеры заразительны), лежу в ленинградском госпитале. Восемнадцать дней (всего лишь восемнадцать) прошагал я, отгоняя смерть, а в начале девятнадцатого она подкараулила меня, подлая.

Но я жив, ты не волнуйся.

Я понял, на что ты намекал в нашем последнем разговоре по телефону. Ты, дорогой, ошибался. Странно даже, дружили всю жизнь - и не знаем друг друга. Странно и горько. Нет, брат, не так уж я безразличен к собственной судьбе, как тебе показалось. Я не искал смерти. Есть люди, которые сами лезут на дуло автомата или, допустим, на нож диверсанта (какие люди - уточнять не будем...), но я не отношу себя к их числу. Памятуя о том, что чему быть того не миновать, я все же не стремился и не стремлюсь быть покойником. Меня даже не устраивает и то, что после моей смерти кто-нибудь скажет обо мне, что, мол, покойник был неплохой человек. К черту! Хочу жить...

Утром шестого я отправил тебе телеграмму, а вечером во главе группы из восьми человек перешел линию фронта. Приказ был короток и предельно ясен: поднять на воздух армейские склады боеприпасов противника.

Все мы пошли добровольно. Не скрою: идя на такое дело, все отдавали себе отчет, что эта "экскурсия" в тыл врага может стать для нас первой и последней. Для шестерых из нас она и оказалась последней. Приказ мы выполнили. Это было двадцать четвертого. Вернулись двое: я и радист, совсем молодой паренек и большой счастливец. Смерть его даже не коснулась. А благодаря радисту остался жить и я. Короче говоря, я сделал все, что должен был сделать.

Меня царапнуло в двух местах. И контузило. Скажу не таясь: оробел я. Оробел, когда почувствовал, как по капельке уходит из меня кровь, как угасают силы, как все труднее становится шагать и держать свое тело на лыжах, когда руку, свою руку, я уже не мог сжать в кулак. "Вот он и конец", - подумал я. А потом померк свет. По-настоящему померк. Стоял день, но перед глазами была ночь. Контузия вызвала временную потерю зрения. Я подчеркиваю: временную. И ты не хныкай. Затронут какой-то нерв. Не такой уж и важный, но все же...

Я могу, конечно, поплакаться, пожалеть себя, разжалобить тебя, но к чему все это? Теперь я чувствую себя бодро, а тогда... не особенно.

Врача я спросил: "У вас есть сердце?" Он, шутник такой, ответил, что сердце у него должно быть, но на всякий случай он проверит. Я попросил его (дурак этакий!) одолжить мне на одну минуту пистолет. Я люблю оружие и объяснил, что хочу погладить холодную сталь. Ну, не идиот ли? Он ответил: "Потерпите две недели. Только две". - "Почему?" Врач потянул меня за нос и сказал: "Если вы не прозреете к этому времени, я принесу вам не один, а сразу два пистолета. Так вернее. С двух сторон, в оба виска. Пиф-паф - и деньги на бочку! Согласны?" Что мне было ответить? Конечно: "Согласен". Врач заверил, что я получу возможность вновь зрительно обрести тот мир, в котором сейчас существую и в котором живете вы - ты, Лидия, Оксана, Варя.

Вообще-то говоря, не особенно приятно лежать и не отличать день от ночи.

Скорее пиши! Обязательно и подробно напиши, как и чем завершилась филинская история. Анекдотов я здесь в госпитале нахватался - уйма! Настроение у меня, как видишь, далеко не похоронное. Целуй Лидию и Максима. Привет от слепого зрячим: Кочергину, Фомичеву, Хоботову, Оксане, Варе и всем, кто не забыл о моем существовании. Обнимаю. Твой Дмитрий. 27 декабря. Ленинград".

Я, как был в одежде, тяжело опустился, в кресло у стола. Бедный Димка! Как не повезло ему! И он еще шутит, как всегда. "Настроение далеко не похоронное"... "От слепого зрячим"...

Я взял его карточку, посмотрел в смелые темные глаза и почувствовал, как щекочет у меня в горле...

Вечером, точнее, ночью, часа за полтора до наступления сорокового года, я прочел вслух письмо Дим-Димыча в доме Фомичева. Слушали его Кочергин, Хоботов, наши жены, Оксана и Варя.

Женщины плакали. Все, исключая Оксану. Варе стало плохо, и потребовалось вмешательство Хоботова.

Оксана не проронила ни слезинки. Лицо ее напряглось и стало до неузнаваемости суровым и холодным. Сухими, горящими глазами смотрела она в какую-то точку и думала неведомо о чем.

Сороковой год встретили не особенно весело. У всех на уме был Дима, все жалели Варю Кожевникову. Выпив первый праздничный бокал, она извинилась и покинула нас. Да и остальные долго не задержались.

Кочергин с женой, я с Лидией и Оксаной до Лермонтовской улицы шли вместе. Когда начали прощаться, Кочергин сказал мне:

- Правильно сделали, что прочли письмо Брагина.

Я не был уверен в этом. Наоборот, сожалел, что прочел. Не стоило портить настроение людям в праздничную ночь. Я так и сказал Кочергину.

Он возразил. Нет. Хорошо, что Брагин сегодня был среди нас.

Оксана шагнула к Кочергину вплотную, молча посмотрела ему в глаза и энергично встряхнула его руку.

Странная Оксана. Чувства она выражает по-своему, по-особенному. Вот и сейчас. Она, конечно, хотела поблагодарить Кочергина за его хорошие слова. Мне это понятно. Понятно Лидии. Но как расценили ее порыв Кочергин, его жена? Ведь они, я думаю, не имеют представления о чувствах Оксаны к моему другу.

По предложению опять-таки Лидии (все же умница она у меня!) мы всей компанией отправились на Центральный телеграф.

Коллективно диктовали, а Кочергин писал телеграмму Дим-Димычу в Ленинград, в госпиталь. Получилась огромная, чуть не в пятьдесят слов. Поставили не только свои фамилии, но и Фомичева, Хоботова, Вари Кожевниковой.

Уже дома Лидия вдруг спросила:

- А что, если зрение не вернется к Диме? Что тогда?

Я почувствовал неприятный озноб. В самом деле: что тогда? Дима слепой... Как и сам Дима,

я верил тому шутнику врачу, который установил двухнедельный срок, ну а вдруг? Это было страшно. Я ответил твердо:

- Вернется!

Лидия вздохнула, провела ладонью по моему плечу и тихо проговорила:

- Дай бог... А Варя, я боюсь, не перенесет. Каким числом подписано письмо?

Это я помнил отлично: 27 декабря. Ясно - теперь Лидия начнет считать дни.

6 января 1940 г.

(суббота)

Отпуск по болезни окончен. Сегодня я должен приступить к своим служебным обязанностям.

Выбритый, причесанный, я сидел за столом и завтракал.

В это время зазвонил телефон. Лидия поднялась, неторопливо подошла к столу и сняла трубку.

- Да, я... Здравствуй, Оксаночка! Что ты? В сегодняшней? Честное слово? Ой! Ты подумай! Рада? А я? Я тоже рада... Сейчас посмотрю. Что? Ладно... Тоже целую.

Я вслушивался, но ровным счетом ничего не понял.

Лидия, положив трубку, вприпрыжку, пощелкивая пальцами, заторопилась в переднюю.

- Чему ты обрадовалась? - поинтересовался я.

- Сейчас узнаешь, - загадочно ответила она, скрываясь за дверью.

Я отхлебывал горячий чай и размышлял над тем, что могла сказать Оксана. Что значит: "В сегодняшней?" - или: "Я тоже рада"?

Лидия отсутствовала несколько минут. И не вошла, а буквально влетела в столовую. В руках она держала развернутую газету "Красная звезда". Лицо у Лидии сияло, что бывает с нею не так часто.

Положив газету передо мной, она ткнула пальцем в строку и потребовала:

- Читай!

Я прочел:

- Брагин Дмитрий Дмитриевич.

И такая радость охватила меня - я опять, как недавно при Фомичеве, поднял жену и закружился с нею по комнате.

- Здорово!

- С ума сойти можно!

Потом мы еще раз, вместе, прочли указ. Ошибки или опечатки быть не могло: в числе награжденных орденом Красного Знамени был Дим-Димыч.

Аккуратно сложив газету - так, чтобы, не развертывая ее всю, можно было прочесть, что следует, - я положил ее в боковой карман пиджака, оделся и отправился в управление.

Я шествовал по морозу, по скрипучему свежему снегу в приподнятом настроении. На сердце было легко, весело, радостно, будто орденом наградили не Диму, а меня. В голове роились планы: кому первому показать газету Фомичеву, Кочергину, Осадчему? И потом вдруг решил: Безродному. Да, именно ему - недругу Дим-Димыча, честолубцу, властолубцу, завистнику... Испорчу сегодня ему настроение. Он большой мастер портить его другим, так пусть сам испытает.

Я зашел в свой кабинет, разделся и направился к Безродному.

Вошел без стука.

Геннадий оторвался от бумаг. Давненько я не видел его рыхловатого, без четких линий, тепличного цвета лица. Давненько... Он не изменился, но, кажется, еще немножко раздался, расплылся.

- Восставший из мертвых! - воскликнул Геннадий. - Рад. Очень рад. Как твои недуги?

Он опять обращался ко мне по-старому, на "ты", и этим словно располагал к дружеской беседе.

- Все недуги сданы в архив, - ответил я, протягивая руку.

Его лицо растянулось в каком-то подобии улыбки. Желая казаться любезным и внимательным, он, не ожидая, когда я стану сам рассказывать, принялся расспрашивать, как протекала операция, кто меня оперировал, какой был уход, думаю ли я поехать на курорт, как обстоят дела дома. О Филине - ни слова. Я предвидел: об этом не заговорит. Зачем воскрешать старое? Ведь если речь пойдет о Филине, нельзя обойти Брусенцову, нельзя не вспомнить о Мигалкине, о Кульковой. А это, как ни говори, воспоминания не из приятных.

Потом я положил перед Безродным свернутую газету.

- Что это? - сухо и деловито осведомился он.

- Прочти! - посоветовал я.

Я подсунил ему эту горькую пилюлю и невозмутимо наблюдал, как он ее проглотит. Геннадий прочел, фыркнул и оттолкнул от себя газету концами пальцев, как крапиву.

- Не сомневался, что Брагин отправился зарабатывать орден.

Меня покорило. Я посмотрел ему прямо в глаза и медленно, очень медленно проговорил:

- Чтобы получить орден, надо прежде всего стать достойным его. Это во-первых. Во-вторых, было бы тебе известно, что Дима дважды ранен, контужен и потерял зрение. А в-третьих, ты свинья!

Геннадий смотрел на меня выпученными глазами.

Я поднялся и вышел, не закрыв за собой дверь.

Мне казалось, что я первым принесу в управление весть о награждении Дим-Димыча. Но я ошибся. Многие узнали об этом еще ночью из последних известий. По инициативе Фомичева в адрес Димы готовилась поздравительная телеграмма, и я поставил под ней свою подпись двадцать седьмым.

- Хорошо! Хорошо! - говорил Фомичев, энергично потирая руки. - Это будет ему лучше всяких лекарств.

Меня приятно поразило, что первым подписал телеграмму Осадчий.

К концу дневных занятий секретарь принес мне служебную почту. Я отвык за это время от деловых бумаг, от резолюций начальства. Со свежим интересом и удовольствием стал просматривать материалы.

На полном листе с приколотой к нему половинкой я прочел резолюцию Кочергина. Почерк косой, крупный, размашистый. Она гласила: "Можно было предвидеть, что этот тип еще всплывет на поверхность. Прошу переговорить".

Это была ориентировка Наркомата госбезопасности Украины. В начале декабря в Киеве был арестован некто Ч. - оценщик мебели комиссионного магазина. Его арестовали с поличным, во время радиосеанса. Он передавал в эфир депешу, в которой упоминался Филин. Подписал депешу не кто иной, как Дункель. Опять Дункель!

Радист Ч. показал то же самое, что и Филин, и Витковский. Местопребывание, род занятий, профессия, источники существования Дункеля ему неизвестны. Встречи происходили всегда по инициативе Дункеля, ни разу в одном и том же месте и всегда неожиданно. Депеши, отпечатанные на машинке, Ч. зашифровывал, передавал и сейчас же сжигал.

"Герои" преступления один за другим попадали в руки правосудия: Кошельков, Глухаревский, Витковский, Полосухин, Филин, Ч., а Дункель продолжал гулять на свободе.

В двенадцать ночи позвонил Фомичев и попросил зайти. Я зашел.

- Не везет Димке! - сказал он и покачал головой. - До чего же невезучий он парень!

Предчувствие чего-то недоброго охватило меня. Я ощутил слабость во всем теле. Что еще стряслось?

Фомичев развел руками:

- Варя Кожевникова уволилась с работы и покинула город. Она вышла замуж.

Я облегченно вздохнул. Это еще не так страшно. Я думал, что случилось что-нибудь с самим Дим-Димычем.

- Смотри, какая дрянь, - заметил Фомичев. - Кто бы мог подумать?

Да, подумать никто не мог. "Восьмое чудо света" выкинуло номер совершенно неожиданный.

- Вероломное существо! - возмущался Фомичев. - И главное, тихой сапой... А что выказюривала у меня, когда письмо читали? Честно говоря, побаивался за нее. Вот же стервотина!

Уже далеко за полночь,

вернувшись домой, я разбудил Лидию и поведал ей о случившемся. Боже мой, что было с моей женой! Я никогда не видел ее в таком гневе. Какие только не выкапывала она слова и эпитеты для Варвары Кожевниковой!

Потом она подняла с постели мать и ввела ее в курс событий. Затем, несмотря на позднее время, под села к столу и начала вызывать квартиру Оксаны. Звонила долго, упорно.

Вместо Оксаны к телефону подошла заспанная мать Геннадия. Она сообщила, что Оксана утром уехала в Чернигов, к отцу.

- Что же это такое? - воскликнула в сердцах Лидия, сдерживая рыдания. Одна тайком замуж выходит, другая тайком уезжает! Неужели нельзя было позвонить?

11 января 1940 г.

(четверг)

Только сегодня, пять суток спустя, я позвонил в суд, где работала Оксана. Настояла на этом Лидия. Если мать Геннадия не знала, зачем понадобилась Оксане встреча с отцом, то, возможно, знали на работе. Но ничего нового узнать не удалось: Оксана взяла месячный отпуск и уехала. Действительно, в Чернигов.

Я злился на Оксану не меньше Лидии: от кого-кого, а уж от нее этого никто не ожидал. Так друзья не поступают. В самом деле: если она не имела времени забежать, то можно было позвонить по телефону. А теперь думай что хочешь!..

От Дим-Димыча за эти дни пришли три телеграммы: на имя Кочергина, Фомичева и мое. Он благодарил, обнимал, целовал, рассыпал приветы. О зрении - ни слова.

Странно: если брать срок, установленный врачом, с того дня, когда Дима диктовал свое большое письмо, миновало уже полмесяца. А впрочем, в таких вещах определить точно срок, конечно, трудно. Это не расписание поездов. Врач может ошибиться на неделю, даже на две. Лишь бы не ошибся он в главном.

Сегодня утром в почтовом ящике оказалась открытка от Дим-Димыча. Из Ленинграда. Писал не он. Значит, еще не прозрел. На открытке было всего шесть строк. В правом углу в виде эпиграфа: "О женщины, ничтожество вам имя!" Если не ошибаюсь, что-то подобное в свое время сказал Гамлет. Далее следовало четверостишие:

Чего мне ждать, к чему мне жить,

К чему бороться и трудиться?

Мне больше некого любить,

Мне больше некому молиться.

И последняя строка: "Обнимаю всех. Краснознаменный Дмитрий". Все.

Лидия вздохнула не тяжело и не грустно и сказала:

- Значит, о Варьке он без нас узнал. Вот же шалопутный! Ну ничто его не берет.

Что верно - то верно.

Почерк на открытке был другой, не похожий на первый: мелкий, бисерный, без наклона, с кругленькими буквами, явно не мужской.

27 февраля 1940 г.

(вторник)

Наконец пришел этот день. Дим-Димыч в нескольких минутах от нас, а мы, его друзья - Фомичев, Хоботов, Лидия и я, - ходим по перрону вокзала. Ходим и прислушиваемся: вот-вот раздастся шум приближающегося поезда. Он где-то совсем недалеко. Уже выпустили на платформу уезжающих, встречающих, провожающих. Носильщики стоят наготове.

В руках Лидии букетик из привозных мимоз.

Мы уже обо всем переговорили и ждем. С нетерпением ждем. Прислушиваемся и

поглядываем в ту сторону, откуда должен подойти поезд.

Истекло больше месяца, как я не прикасался к дневнику. Отпала охота. Да и работы так много, что буквально не продохнуть.

Зрение к Диме вернулось: доктор не подвел его. Случилось это, правда, не через две, не через три недели, а через двадцать восемь дней. Но важно, что случилось. От Дим-Димыча мы получили два письма, написанных его собственной рукой.

Оксана как в воду канула. Ни звука... И адреса ее черниговского никто не знает. Получилось все глупо, непонятно, странно. Странно и то, что свекровь Оксаны к загадочному исчезновению своей бывшей невестки относится с каким-то удивительным спокойствием. "Ну что же, - говорит она, - ей виднее... Она знает, что делает... А мне и с Наташенькой неплохо. Нет, денег мне не надо. И ничего не надо. У нас, слава богу, все есть. Да и Оксаночка должна скоро объявиться. Не совсем же она бросила нас".

Что "ей виднее"? Откуда видно, что "она знает, что делает"? Непонятно.

О Варваре Кожевниковой точных сведений нет. Дошли слухи, что живет якобы в Воронеже, и живет неплохо. Ну и бог с ней.

Вот и все знаменательные события минувших дней.

Я дал себе слово закончить дневник в тот день, когда придет Дим-Димыч. Так оно, видно, и будет. Это лишний раз подчеркивает непостоянство моего характера. То я не мог прожить и дня, не замавав нескольких страниц, а то вдруг убедился, что великолепно обхожусь без записей.

- Идет! - сказал Хоботов, и все, точно по команде, обернулись.

Показался поезд. Всех охватило волнение. Фомичев зажег спичку, она вся сгорела, а он так и не запалил папиросу. Хоботов расстегивал и вновь застегивал пуговицы пальто.

- Шестой вагон останавливается вот тут, - безапелляционно заявил Фомичев. - Я изучил. Сюда, товарищи!

Запорошенный снегом, заиндеветый, окутанный горячим паром, глухо погромыхая на стрелках и стыках рельсов, приближался локомотив. Промелькнул первый вагон, второй, прошел третий, плавно проплыл четвертый. Фомичев ошибся ненамного. Все устремились к шестому вагону.

Дим-Димыч стоял при выходе из тамбура в распахнутом пальто, со сдвинутой на затылок кепкой и махал рукой. Если бы не проводник вагона, преграждавший ему путь, он, конечно, давно бы прыгнул на ходу. Поезд вздрогнул, скрипнул и стал.

- Ди-ма-а! - каким-то истеричным незнакомым мне голосом закричала Лидия.

Дим-Димыч переходит из объятий в объятия. Раздаются возгласы, шутки, смех. Мы тискаем поочередно своего друга, не замечая, как толкают нас, как толкаем мы проходящих.

Шею Димы теснил отлично отглаженный, идеальной чистоты белый воротник, из-под которого выглядывал красный галстук с черными крапинками.

Кепка его не удержалась на затылке и упала. Хоботов поднял ее, ударил об руку и водрузил на прежнее место.

И тут Лида вторично издала истерический вопль, заставивший всех нас вздрогнуть:

- Оксана!

Да, чуть-чуть поодаль, в сторонке от нас, между двумя чемоданами стояла Оксана. Та самая загадочно исчезнувшая Оксана.

Что же произошло? Как они оказались в одном поезде? Что за совпадение?

Все обалдели. Слово это грубоватое, но оно точно выражает наше состояние. Разинув рты, удивленные, пораженные, мы переводили взгляды с Дим-Димыча на Оксану.

Каким теплом, какой радостью светились ее обычно холодные красивые глаза! Она была неузнаваема. Она преобразилась. Она выглядела еще лучше.

Обалдели все, исключая Оксану и Дим-Димыча. Правда, на лице друга проглядывало то ли смущение, то ли растерянность. И то, и другое казалось мне необычным.

Димка подошел к Оксане, легонько подтолкнул ее в спину и сказал:

- Моя половина. Уверен - не худшая. Прошу любить и жаловать.

Лидия издала вопль в третий раз и метнулась к Оксане.

Так вот оно что! Все теперь ясно.

Хоботов присвистнул и стал почесывать затылок.

Фомичев сказал:

- Мерзавец. Даже не предупредил. А еще краснознаменец!

"О женщины, ничтожество вам имя!" - вспомнил я.

- Значит, ты... Значит, ты... - твердила Лидия, дергая борт пальто Оксаны.

А та сияла, улыбалась, кивала головой:

- Ну да. Ну да.

- Значит, Чернигов... - допытывалась Лидия. Она хотела поставить точки над "i".

Оксана отмахнулась. Все ясно и так. Зачем объяснения?

- Друзья! - опомнился я. - Машины нас ждут не собственные!

Все направились к выходу на площадь.

В одну машину сели Оксана, Лидия и Хоботов. В другую - Дим-Димыч, Фомичев и я.

От избытка чувств, как это часто бывает, мы на первых порах утратили способность говорить и молчали. Потом Фомичев обратился к Диме:

- Здорово у вас получилось! Даже зависть берет! - Он хлопнул себя по коленям и расхохотался.

Дим-Димыч улыбнулся:

- Судьба. Иначе не мог поступить, - и тут же по извечной своей привычке резко переключил разговор и спросил: - Изменился я?

- А ну-ка, повернись вот так, - предложил Фомичев и, всмотревшись в друга, сказал: - Не очень, но маленько есть. Похудел. Возмужал.

- Не согласен, - возразил я. - Очень снисходительная оценка. Фомичев щадит тебя как молодожена. Вокруг рта у тебя залегли морщины. Я их раньше не видел. И седина прет наружу. Вот так, дорогой.

Испытания не прошли для него даром и оставили свои меты. Но в глазах, темных, острых, поблескивал все тот же, так знакомый мне, упрямый огонек.

- Хорошо все то, что хорошо кончается, - заключил я.

К удивлению моему и Фомичева, первая машина свернула вдруг с намеченного нами курса, и мы вынуждены были последовать за нею. Через несколько минут показался подъезд дома Оксаны. Я выскочил, готовый протестовать.

- Как же это так? Все должно быть у нас!

Но Оксана и слушать не хотела:

- Нет! - Она даже притопнула ногой.

- Но у нас же все готово, только на стол подать. Зачем терять время?

- Нет! У нас! - еще раз повторила Оксана.

Лидия молчала. Хоботов тоже. Все ясно. Их Оксана успела убедить. Фомичев пожал плечами. Я вынужден был сдаться.

Вошли в дом. Оксана кинулась к дочери. Дим-Димыч поцеловал старушку мать Безродного.

- Кто же она теперь ему? - толкнул меня в бок Фомичев. - И не теща, и вообще...

- Неважно. Она чудная старуха, - сказал я.

В комнате на столе мы увидели закуски, рюмки, бутылки с вином. Значит, старушка-то знала о приезде. Лидия, поправляя на ходу волосы, подошла ко мне:

- Вот надули нас! Ну и Димка! Хорош!

- Оксана тоже ничего себе, - заметил я. - Два сапога - пара.

Оксана тискала дочурку, смеялась, а слезы сыпались из ее глаз. Дим-Димыч гладил ее по голове и что-то нашептывал.

- Голубчики! - неожиданно подала голос свекровь Оксаны. - Кто пособит мне завернуть пельмени?

- Я! - подал свой басовитый голос Хоботов. - Я - и никто другой.

Он снял с себя пиджак из полосатой грубошерстной ткани, повесил его на спинку стула.

Потом закатал рукава до локтей и, кряжистый, широкогрудый, решительно направился в кухню.

За ним последовали Фомичев и Лидия. Шествие замкнула свекровь Оксаны.

Я смотрел на Оксану и Диму. Оксана перехватила мой взгляд, передала дочь Дим-Димычу и подошла ко мне:

- Вы хотите что-то сказать мне? - спросила она, глядя мне в глаза своими, встревоженными.

Я пожал плечами и сел на диван.

- Что

я могу сказать? Ты достойна его, он - тебя.

Оксана склонилась и поцеловала меня в щеку. Дим-Димыч сел рядом со мной, держа на коленях Наташеньку. Та покусывала очищенный мандарин и молча мигала сонными глазами.

Дима, кажется, блаженствовал. Его душа обрела наконец покой. Сердце его, на мой взгляд, было полно счастья и гордости. Теперь у него жена, дочь и, как подметил Фомичев, что-то вроде тещи.

- Дай ее сюда, - сказала Оксана, осторожно взяла у Димы дочь и понесла ее, уснувшую, в другую комнату.

Дима и я остались вдвоем. Заговорили о войне. Дим-Димыч сказал, что ему кое-что не ясно: или финны оказались значительно сильнее, чем мы предполагали, или же мы встретились с ними неподготовленными. Урок. Жестокий, но урок. Мы поняли, что такое снайпер, "кукушка", автомат, миномет. Оценили значение шапки-ушанки. Говорят, что нет ничего дороже человеческой жизни. Возразить нельзя. Правильно! Говорят, что победу надо завоевывать "малой кровью". Тоже правильно. И когда видишь, как мы щедро жертвуем этой дорогой человеческой жизнью, - больно и обидно.

Впечатлительный Дим-Димыч, как и раньше, остро воспринимал все, что казалось ему несправедливым. Следуя своей привычке, он перескакивал с одной темы на другую, радовался, возмущался, ругал, хвалил. Там, в госпитале, ему прочли рассказ из армейской газеты. Чудно! Умирает человек. Умирает в считанные секунды, а автор навязывает ему воспоминания. Перед взором умирающего проходит родной край, дом, поля, леса, реки, отец, мать, любимая, друзья.

- Неправда же это! Не бывает так! - возмущался Дима. - Когда смотришь в могилу, не до воспоминаний. Я испытал это на собственной шкуре. - И вдруг совсем неожиданно улыбнулся и сказал:

- Ну к черту! Не нужно о смерти. Будем жить! - И уже совсем не в тоне беседы заключил: - Что они там копаются с пельменями? Пойдем проверим!

Мы, поддерживая друг друга, словно еще чувствовали свои раны, поднялись и направились в кухню.

Хоботов, мурлыкая басом, долепливал последние пельмени. Делал он это уверенно и так проворно, будто с детства ничем другим не занимался.

Фомичев толкался среди женщин, поднимал крышки, заглядывал в кастрюли.

Мы наблюдали.

Лидия сложила глубокие тарелки горкой и подала Фомичеву:

- Несите!..

Вбежала немножко смущенная Оксана.

- Прошу извинения, - сказала она. - Еще не вошла в курс хозяйства. Кажется, можно за стол.

Наконец мы расселись. Оксана положила мне полную тарелку дымящихся пельменей. Все взяли за рюмки. Все, кроме Димы. Ему было запрещено, по крайней мере на год, притрагиваться к спиртному.

Первый тост подняли за молодоженов.

Взгляд Дим-Димыча последовал за рюмкой сидящего против него Хоботова, и, когда она опорожнилась, Дима вздохнул. С завистью, сожалением и облегчением.

Оксана и Лидия переглянулись и рассмеялись.

Я замахнулся вилкой, и тут позвонил телефон. Ближе всех к нему оказался Фомичев. Он снял трубку:

- Да. Фомичев. Пожалуйста. Это тебя, Андрей.

Я подошел к телефону. Говорил Кочергин. Он был краток. В развалинах старой, сгоревшей лет пять назад мельницы, что возле "казенного" леса, обнаружен склад. В нем два ящика сигнальных ракет, четыре ракетных пистолета, много карманных фонарей, маленькие зажигательные гранаты. Надо немедленно организовать засаду.

Я положил трубку и с кислой миной посмотрел на пельмени.

- В чем дело?

- Говори! - потребовали Фомичев и Дим-Димыч.

Я отвел их в сторонку и рассказал.

- А чего ты скис? - спросил Дима. - Это не такая уж мировая трагедия. Скорее за пельмени! Я тоже поеду.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЗАПИСКИ МАЙОРА БРАГИНА

1. Так было

Ненастье поздней осени. Ни луны, ни звезд. Темень. По измятому небу волокуются растрепанные, взлохмаченные тучи. Завывает ветер, налетая шквалами на оголенные, беззащитные деревья.

Я шлепаю по лужам, разъедающим тротуар, по грязи, липкой и тягучей, как смола.

- Вер да? Кто идет? - раздается требовательный окрик, и я останавливаюсь.

- Свой, обыватель! - отвечаю по-немецки и, напрягая зрение, всматриваюсь в ту сторону, откуда донесся голос. Мрак густ. С трудом угадываются нечеткие линии строений на противоположной стороне улицы. От серой стены дома как бы отделяются два черных пятна и, пересекая бульжную мостовую, медленно направляются ко мне.

Жду. Двигаться нельзя. И нельзя идти навстречу. Гитлеровские порядки мне знакомы. Стою и неслышно переступаю застывшими в прохудившихся ботинках ногами.

В нескольких шагах от меня вспыхивает свет ручного фонаря. Его острый голубоватый лучик ощупывает меня снизу доверху и гаснет. Становится еще темнее. Патруль подходит вплотную. Лиц солдат я не могу разглядеть. Тот же резкий простуженный голос требует:

- Аусвайс! Удостоверение.

Подаю.

Вновь вспыхивает фонарик. Теперь я вижу конец ствола автомата. Его отверстие холодно глядит на меня. Лучик света пробегает по бумажке и меркнет.

- Кеннен геен! Можете идти!

- Данке... Спасибо, - отвечаю я, получаю документ и опять шагаю по грязному тротуару.

Сыро. Холодно. Пусто в желудке, но что значит это в сравнении с тем, что я только что узнал? Сущие пустяки. Мелочь, о которой не стоит думать.

Где-то за тучами, под звездами, разгуливает самолет. На высокой, ноющей ноте выводит свою беспокойную песнь мотор.

"Наш, - определяю я по звуку. - Куда же несет его в такую погоду?"

Взметнулся луч прожектора, полоснул по рваным краям туч, сломался и погас. Самолет был недостижим.

А я иду, и сердце мое ликует.

На пороге дома обнаружил, что ключа в кармане нет. Забыл. Пришлось стучать.

Дверь открыл Трофим Герасимович. Заспанный, в нательном белье, он держал в руке горящую немецкую плошку. Слабенький огонек ее заметался на ветру, вздрогнул, сжался и сник.

- Мать твою... - спокойно выругался хозяин.

Я запер дверь, вынул зажигалку и чиркнул.

- Ну, как там? - угрюмо осведомился хозяин.

- Собачья погода, - ответил я, снял пальто и встряхнул его.

В первой комнате он поставил плошку на стол, поежился и спросил:

- Отощал?

- А что? Хочешь угостить пельменями?

Трофим Герасимович вздохнул и опять ругнулся. Как часто мы мечтали о приличном обеде! Только мечтали...

- И когда она, жизнь, вернется! - с тоской произнес хозяин, направляясь к кровати с никелевыми спинками. На ней, укрытая двумя одеялами и овчинным тулупом, сладко спала супруга Трофима Герасимовича.

- Скоро! - шепотом сказал я. - Теперь совсем скоро.

Хозяин испытующе поглядел на меня и спросил:

- Взаправду?

- Точно. Наши под Сталинградом перешли в наступление. Сразу тремя фронтами ударили.

Трофим Герасимович истово перекрестился:

- Морозца бы на них, проклятых.

- Тсс! - я прижал палец к губам. - И вообще - ни гугу! Понял? Ты ничего не слышал, я ничего не говорил.

- Вот уж это напрасно, - обиделся Трофим Герасимович.

- Ладно. Спи!

Я взял плошку и прошел в свою комнату. Пальто бросил на одеяло. Разделся торопливо, дунул на огонек и улегся. Боже мой, какая холодина! Будто окунулся в ледяную воду. С минуту покрутился, клацая зубами, и только потом ощутил что-то наподобие тепла.

Такими были каждая ночь, каждое утро, каждый день: холодно, голодно, тяжело. И все-таки не безутешно. Невзгоды давили, точно ноша - мучительная, ненавистная. Однако вскоре ее можно будет сбросить. И этот час приближается. Я верю, чувствую, жду.

А было другое время. В безрадостные дни лета и осени сорок первого года мое сердце сжималось от боли и отчаяния. Мне казалось, что всему пришел конец.

Собственными глазами я видел, как пылали дома, как дымились сугробы отборной пшеницы, как рушилось и превращалось в прах все, что создавали веками умелые человеческие руки. Я видел неохватные глазами зарева пожарищ: они превращали ночь в день. Видел людей, сломленных бедой, бредущих на восток. Голодные, обессиленные, оглушенные горем, все потерявшие, они думали лишь об одном: как бы выжить. Я видел ребятишек с душами стариков и недетской тоской во взоре и стариков, превратившихся в детей. Непомерные страдания и непосильные испытания стерли с их лиц привычные черты.

Я видел, как наши фанерные "ястребки" с геройским отчаянием, чуть не в одиночку бросались на стаи бронированных чудовищ, а они, зловеще распластав крылья с черными крестами, терзали наши села, города, поливали смертным огнем людей. А ночами, по радио, гитлеровцы крутили нашу советскую пластинку. Больно до крика и горько до слез было слышать слова любимейшей песни: "Любимый город может спать спокойно, и видеть сны, и зеленеть среди весны..." А любимый город погибал в огне. Улицы его загромождали вороха скрюченных, искореженных балок, листов железа.

Под ногами уходивших солдат скрипело крошево из стекла, кирпича, бетона. Я видел людей, вернее, то, что от них осталось и что было погребено в стенах примитивных бомбоубежищ. Я видел, как тяжело раненные бойцы и командиры молили прикончить их. Я никогда не верил, что человек может просить смерти, а пришлось поверить. Я видел столько слез обреченности, бессилия, отчаяния, сколько никогда не увижу. Я видел ту несметную, до дикости беспощадную серо-черно-коричневую силу, напозавшую на нас... Скрежетали и лязгали танки, самоходки, бронетранспортеры, за сопящими тягачами волоклись громоздкие, в брезентовых намордниках, пушки. Я не видел в небе наших самолетов, но я видел, как на

земле не на жизнь, а на смерть дралась наша пехота. Ей не хватало танков, пушек, ее прижимали вражеские бомбовозы, а она дралась и умирала.

Что случилось? Кто повинен в этом? Не переоценили ли мы себя? Если так, то излишняя самоуверенность оказала нам плохую услугу.

Ответ я искал сам. И ответ пришел не сразу. На это потребовалось время. Понял я, что, невзирая на тяжкие неудачи сорок первого года, мы устоим. И не только устоим, но и победим. Только надо решительно и начисто изгнать из сердца все сомнения. Надо поверить в победу и бессмертие нашего дела до конца. Надо зарядить себя этой верой - могучей, неиссякаемой.

Удары судьбы иного убивают сразу, другого лишь сбивают с ног: он еще может встать, оправиться, выпрямиться. Я принадлежу ко второму типу.

В тот памятный день солнце подходило к зениту. Тени сжимались, укорачивались. Широким, бескрайним морем колыхались духовитые, перестоявшиеся хлеба, возвращая земле, что их взрастила, золотые зерна. Выгорали под жаркими солнечными лучами густотравные луга. Деревья в садах роняли спелые плоды, и они с грустным гулом ударялись о землю. Били перепела. Машина остановилась на развилке. Оксана крепко обняла меня. Я расцеловал Наташу и нашего первенца - сына Мишу. Произошел короткий разговор.

- Ты должен выжить, - умоляла Оксана, глядя на меня полными слез глазами.

- Постараюсь.

- Ради меня, Наташи, Миши...

- Попробую.

- Сможешь. Ты уже однажды доказал это.

Машина тронулась. Оксана с детьми ехала в Чернигов к отцу. С ним вместе она должна была отправиться в Пензу. Я стоял и смотрел, как подпрыгивает в облаках пыли и уменьшается полуторка. Мне думалось, что скоро мы снова увидимся, и, возможно, в иной, более радостный день.

Через неделю по командировке управления я попал в Чернигов. На месте дома, в котором я надеялся повидать Оксану и детей, зияла огромная воронка с рваными, точно рана, обугленными краями.

Не стало дома. Не стало дорогих моему сердцу людей. Погибли Оксана, Наташа, Мишуха, погиб отец.

...Теперь это - кусочек прошлого. Кажется иногда, что ничего и не было. Память отражает его неточно, как в кривом зеркале. Оно отодвигается все дальше и уменьшается под тяжким грузом времени. Это закономерно. А то, что я недавно пытался разглядеть в дымке будущего, сейчас уже настоящее. Завтра и оно станет прошлым. И я теперь не такой, каким был. Душа моя отвердела. Я окреп духом, обрел веру, я вернул себе силы.

2. Как и раньше, мы вместе

Сложилось все так, что война забросила в Энск и Безродного, и Трапезникова, и меня. И это не по воле случая.

На второй день войны я имел на руках предписание военкомата отбыть на фронт, на должность переводчика. Мне дали сутки на устройство личных дел. По пути забежал в Дом Красной Армии, где числился руководителем кружка по изучению иностранных языков, чтобы получить расчет, и заодно позвонил Андрею.

- Где ты пропадаешь? - закричал он в трубку. - Давай скорей ко мне. Пропуск закажу. Срочное дело.

Я усмехнулся. Срочное дело! Уж какие тут дела, когда в кармане у меня предписание? Но так или иначе, надо зайти.

Андрей рассеянно кивнул на мое приветствие и продолжал свое дело. На столе пухлым ворохом возвышались разноцветные - тонкие и толстые - папки. Он быстро сортировал их и складывал в отдельные стопки на диване, на полу и подоконниках, на стульях. Сейф и шкаф

были распахнуты настежь.

Я примостился на краешек дивана, спросил:

- Эвакуация?

- Ты что, рехнулся?

- На фронт?

- Помолчи...

Андрей энергично постучал кулаком сначала в одну стену, затем в другую. На стук явились его заместитель и два оперуполномоченных.

- Забирайте! - распорядился Андрей, показывая на папки. - Сверьте с описью. Стол пуст. Подшивка с докладами у Кочергина.

Когда ребята унесли папки, Андрей подсел ко мне:

- Дай закурить.

Я сдержал улыбку: на столе лежала начатая пачка папирос. Да, друг мой был немного не в себе.

Заговорил он сразу, торопливо и странно-возвышенно. Начал доказывать мне, что все, чем мы жили до этого, чему мы учились и учили других, что делали изо дня в день, - все это было лишь подготовкой к тому, что предстоит нам сделать теперь.

Кое с чем в этой странной речи Андрея я не мог согласиться, готов был поспорить, но он не дал мне, - перешел к главному, ради чего позвал. Формируется несколько групп для проведения патриотической и разведывательной работы в тылу фашистской армии. В одну из групп включен и Андрей.

- Хочешь вместе? - услышал я неожиданное предложение.

Сердце мое дрогнуло: хочу ли я?

- Я уже не чекист.

Андрей никак на это не реагировал.

- Хочешь?

Я вздохнул, вынул из кармана предписание и подал ему. Он бегло пробежал глазами бумажку, пожал плечами.

- На фронт посылают всех, - объяснил мне Андрей, - а в тыл врага только добровольцев. Вещи разные. Здесь капитан Решетов. У него большие полномочия. Нужно только согласие.

- Если это не препятствие, - я помахал предписанием, - считай, что мое согласие ты имеешь.

К концу дня все было улажено. Меня включили в группу. Ночью Решетов и Кочергин принимали нас троих. Да, троих: меня, Андрея и Геннадия. Старшим группы назначался Безродный. Последнее, мягко сказать, немного удивило меня. Как Андрей мог дать согласие на такой альянс? К чему это? Неужто нет более подходящего руководителя?

Очень сдержанно я намекнул об этом Андрею. Он ответил:

- Безродный уже не тот, каким был год-два назад. Кое-что перенес, понял, переоценил. Жизнь - диалектика.

Но мне казалось, что изменилось лишь служебное положение Геннадия, а не его характер. Был он начальником отдела и опять вернулся в отделение, на прежнюю должность: провалил ответственную операцию.

Андрей надеялся, что между нами троими, возможно, установится прежняя дружба, но мне такая мысль в голову не приходила.

- А как он отнесся к моей кандидатуре? - поинтересовался я.

Андрей ответил, что положительно: сейчас не до симпатий и антипатий, все подчинено одной цели. Если нас не объединит дружба, должно объединить дело.

У Решетова и Кочергина мы просидели долго. Обсуждали планы на будущее. Все было ново, сложно, опасно, значительно сложнее, опаснее и труднее того, что мы когда-либо делали. Предстояло рассчитать каждый шаг, а сколько их впереди, этих шагов?

Следующей ночью, напутствуемые пожеланиями родных и друзей, мы не без труда втиснулись в вагон поезда, который повез нас в Курск.

Мы забрались на полки, подложили под головы чемоданы, сделали вид, что спим, но,

конечно, не спали. Как все, принявшие важное для себя решение, мы были спокойно задумчивы.

И естественно, что я, а возможно Геннадий и Андрей, задавались неизбежными вопросами: какие испытания выпадут на нашу долю, как мы их встретим, преодолеем, перенесем? Думали о близких, с которыми расстались. По крайней мере, я думал. На сердце было тоскливо. Перед глазами стояла Оксана. Все время она, с грустным лицом, будто я чем-то огорчил ее, обидел. Я безмерно уважал Оксану. Кажется, еще никого на свете я так не уважал, так не почитал. И был обязан ей всем. Но я не любил ее. Знала ли об этом Оксана? Конечно. Но это не помешало ей устроить наше счастье. И любить меня. Любить искренне, необыкновенно.

Сейчас, удаляясь от нее, я чувствовал себя почему-то виноватым. Хотелось вернуть прошлое, отблагодарить Оксану, сказать, что она достойна ответной любви, большой любви, и что я, конечно же, полюблю ее и буду любить.

- Полюблю... Полюблю, - шепотом повторял я под стук колес и верил, что Оксана меня слышит. Слышит и верит мне.

После нескольких дней пребывания в Курске мы разъехались в разные стороны, чтобы вновь встретиться уже в Энске - под другими именами и фамилиями. Мы выбрали себе клички для работы в подполье. Геннадий стал Солдатом, Андрей - Перебежчиком, я - Цыганом. Документы подтверждали, что нет теперь Безродного, а есть Булочкин, вместо Трапезникова появился Кириленко, а вместо меня, Брагина, - Сухоруков.

3. Наше появление в Энске

В первых числах июля в энский военный госпиталь с партией раненых, прибывших с фронта, постудил контуженый и страдающий припадками эпилепсии старшина сверхсрочной службы Булочкин. После госпиталя он попал в городскую больницу. Этому предшествовало увольнение его из армии "по чистой". В больнице Булочкин познакомился с санитаркой Телешевой, а через месяц, выписавшись из больницы, женился на ней.

Сыграли свадьбу Настоящую, хотя и скромную, свадьбу. Для соседей и окружающих все это выглядело нормально и естественно. Булочкин "выбрал" себе паспорт и прописался по месту жительства своей "законной" супруги, владелицы крохотного домика из двух комнаток.

Затем "инвалид" Булочкин при содействии военкомата получил должность кладовщика в той самой больнице, где лечился и где работала его супруга.

Таким образом, Булочкин бросил прочный якорь в Энске.

В тот день, когда Геннадий впервые вышел на работу в больницу, в Энске появился я, но уже другим путем. Моему появлению предшествовала более сложная история. После "окончания" Всесоюзного семинара педагогов в Москве я был переведен из Владимира, где "работал" несколько лет преподавателем техникума, в Минск, в сельхозинститут. Здесь я получил комнату и прописался по новому адресу. Но Минску стала угрожать оккупация, и мне "предписали" выехать в Гомель. Но в Гомеле тоже задержаться не удалось. Близился фронт. Вуз эвакуировался в глубь страны. Меня "отослали" в Энск, в распоряжение военкомата.

Я имел при себе кучу убедительнейших документов, начиная от паспорта и кончая трудовой книжкой. Но мне "не улыбалась" служба в армии. В мою задачу входило определить себя человеком, уклоняющимся от призыва на военную службу. С этой задачей, при помощи местных товарищей, я неплохо справился. Меня нацелили на дом, где можно было обрести надежное убежище и преспокойно ожидать прихода оккупантов. Этим домом владел некий Пароконный. Мне сказали, что человек он с пятнышком, симпатий к Советской власти не питает и скорее всего останется жить "под немцем".

Так все оно и вышло. В доме Пароконного я получил уголок и стал окапываться.

А вот с водворением в город Андрея все произошло наперекор нашим планам. Получилось по пословице: не бывать бы счастьем, да несчастье помогло. Жизнь сама подсказала ход,

которым мы и воспользовались.

Утренними сентябрьскими сумерками я и Андрей встретились у водоразборной будки, что недалеко от вокзала. Вот-вот должен был подойти Геннадий.

Город ожидал своей тяжелой участи. На него надвигалось страшное, неизведанное, неотвратимое. Бои шли на ближних подступах. Далеко и глухо бухали тяжелые дальнобойные орудия немцев. Со зловещим шелестом, распарывая дрожащий воздух, пролетали снаряды и рвались, судя по звуку, на северо-восточной окраине города.

Утренняя заря охватила уже полнеба. С минуты на минуту должно было показаться солнце.

Геннадий прибежал

с вокзала запыхавшийся, с мокрым от пота лицом. Он начал было рассказывать, как удалось погрузить в эшелон последнюю партию тяжелобольных, и сразу смолк: недружно и негусто захлопали наши зенитки. Мы задрали головы. В бледно-голубоватом, бездонном и беспредельном, как сама вечность, небе двигалась армада гитлеровских бомбовозов. Она наплывала на город с юго-запада.

- За мной! - крикнул Геннадий и выбросил вперед руку. - Там я видел водопроводную траншею.

Мы бросились бежать.

Пикировщики, шедшие первыми, нацелились и круто ринулись к земле. Остальные бомбовозы раскрыли свои животы, и оттуда вывалились бомбы, похожие на мелкие груши. Зловеще завывала сирена, к ней подключился единственный уцелевший заводской гудок.

Добежать до траншеи мы не успели.

- Ложись! - вновь крикнул Геннадий. Он плюхнулся в канаву между мостовой и тротуаром, я упал позади него. Перед моим носом торчали ботинки Геннадия с каблуками, подбитыми резиной. А Андрей побежал дальше, желая, видимо, добраться до траншеи. Он забыл, что ничтожные, ничего не значащие в мирной жизни секунды играют здесь решающую роль. Бомбы-ревуны приближались к земле быстрее, чем Андрей к траншее.

Земля содрогнулась. Небо раскололось. Воздух разорвался на тысячу кусков. Все заходило ходуном. Дома закричали на своих каменных фундаментах, тяжело заохали. Нас оглушила лавина сатанинского грохота. Бомбы вгрызались в земную твердь, кажется, в самое сердце земли. Раскаленный металл брызгал во все стороны. Предательский страх мгновенно вошел в кровь. Взрывная волна давила на барабанные перепонки, отрывала от земли и вновь прижимала к ней. Я боялся, что из меня вот-вот вытряхнет душу.

"Вот тут, кажется, мы и закончим свой жизненный путь", - обожгла нерадостная мысль.

И вдруг стало тихо. Так тихо, что в тишину не хотелось верить. Я с трудом преодолел это тягостное ощущение звуковой пустоты и встал. Встал, ощупал себя. Значит, еще не конец. Я жив и даже не ранен. Проворно оторвался от земли и Геннадий. Лицо его было перепачкано грязью. Но Андрей не поднялся. Он лежал шагах в двадцати от нас на спине, крестом раскинув руки. Мы подбежали к нему и остановились, растерянные, потрясенные. Из-под полуприкрытых век его в утреннее небо смотрели неподвижные, потухшие зрачки.

Никаких признаков жизни. Из раны повыше левого уха медленно сочилась кровь. Из другой - на шею, под челюстью, она била тонкой пульсирующей струйкой. Кровь скапливалась и застыла на земле. Кровь Андрея, самого дорогого мне человека.

На несколько мгновений я и Геннадий, казалось, потеряли способность соображать. Мы стояли в оцепенении и не знали, что предпринять. Наконец я пришел в себя, упал на колени и схватил бессильную руку друга повыше кисти: чуть-чуть бился пульс.

- Жив! - вырвалось у меня.

Геннадий не поверил. Тоже опустился на колени и приник головой к груди Андрея.

- Жив! - подтвердил он.

- Что же делать? - тихо спросил я.

- Вывозить, - твердо сказал Геннадий. - Весь план к черту. Еще не ушел последний состав.

Мы подняли друга и медленно пошли в обратную сторону, к вокзалу.

Путь был не особенно далек, но груз нелегок. Андрей был почти на голову выше меня и

значительно плотнее.

В центре города рвались снаряды. Шум боя приближался с западной стороны. Он ширился, нарастал. Там, где недавно стояла водоразборная будка, красовалась большая воронка, быстро наполнявшаяся водой. Здание вокзала было охвачено пламенем. Оно злобно гудело. По привокзальной площади метались перепуганные люди. Кто-то плакал, кто-то кого-то искал и звал. На крики и стоны никто не откликался.

Деревянное строение пригородного вокзала тоже горело. Из самой середины здания с треском, похожим на ружейные выстрелы, взлетали к небу фонтаны беснующихся искр. Горели и пакгаузы. Тягучий и тяжелый, молочно-белого цвета дым густыми клубами рвался из-под раскаленной крыши.

Мы пробирались к запасным путям, где, по расчетам Геннадия, формировался последний эшелон.

Обойдя развороченную цистерну, полыхающую бесцветным и бездымным пламенем, мы сделали привал. Обильный пот лил по моему лицу, стекал за шиворот и струился ручейком между лопатками.

Андрей застонал. Нет, нам не почудилось. К нему возвращалось сознание.

Мы осмотрелись. Безнадежно-скорбная картина открылась нашим взорам. По склону горы, охватывающей полудугой город, поспешно откатывалась наша пехота.

Мы подняли Андрея и вновь понесли. Путь преграждали разорванные составы, искореженные вагоны, воронки, воронки, воронки. Запах гари разъедал легкие. Приподнятые вместе с рельсами шпалы стояли на протяжении десятка метров подобно какой-то фантастической ограде.

Вдруг Геннадий, который шел впереди, остановился и прислушался: вновь нарастал рокот моторов.

- Что такое? - неожиданно спросил очнувшийся Андрей.

Я вздрогнул. Голос друга звучал незнакомо. Но то, что он заговорил, обрадовало и приободрило меня.

- Ничего особенного, - ответил я. - Молчи!

Мы спустились в глубокую воронку, над которой нависал одним краем развороченный вагон с окнами, забранными в решетку. Земля в воронке была черная, рыхлая, свежая, еще теплая, не по-земному пахнущая.

Мы осторожно опустили Андрея.

- Зачем мы тут? - спросил он недоуменно и задвигался.

- Лежи! Ты ранен, - строго произнес Геннадий.

Над нашими головами волна за волной четким строем проплыли бомбовозы. Теперь они обрушились не на город, а на отступавшую пехоту.

Геннадий выбрался из воронки и пошел на разведку: быть может, состав еще не ушел и мы сумеем отправить Андрея.

Я тоже поднялся наверх, и, осмотревшись, решил, что ни о каком составе думать нечего: по склонам горы, где только что откатывалась наша пехота, медленно ползли немецкие танки с высокими башнями. Железнодорожная магистраль была уже перерезана гитлеровцами.

Совсем рядом с нами лежали в неестественных позах изуродованные человеческие тела. Десятка полтора, если не два. Молодой парень в форме бойца конвойных войск был раздавлен стальной вагонной рамой. Рядом лежала сломанная пополам винтовка. Еще двоих конвоиров я обнаружил в сплюсненном взрывной волной тамбуре.

"Арестантский вагон, - мелькнула у меня догадка. - Прямое попадание".

Вокруг пестрели разноцветные бумажки, скрепленные булавками, тоненькие папки. Это были приговоры судов, определения трибуналов, кассационные жалобы, этапная переписка.

- Дима! - послышался слабый голос Андрея.

Я спустился к нему. Он сидел, держа в руках какой-то листок. Множество таких же листков было разбросано в воронке.

- Дай закурить... - попросил Андрей.

Я поколебался, но дал.

Андрей сделал глубокую затыжку, поморщился и прикрыл глаза.

- Плохо? - спросил я и вынул из его рук папиросу.

- Тошно... горит все, - ответил он. Равнодушие и усталость тлели в его глазах.

В воронку свалился возбужденный Геннадий.

- Гитлеровцы оседлали железную дорогу и шоссе, - прошептал он в отчаянии. - Никакого состава нет. Единственный паровоз разбит. Что делать?

- Ничего, - подал голос Андрей. - Чем хуже, тем лучше.

Геннадий недоуменно посмотрел на меня. Подбородок его подрагивал.

- Как это понимать?

Андрей судорожным усилием протянул мне листок бумаги, который держал в руке.

- Попробую стать им...

Я и Геннадий ничего не понимали, слова друга казались странными. Уж не помутился ли у него рассудок?

- Читай! Скорее! - поторопил Андрей.

И я прочел:

- "Прокурору Новосибирской области. Г. Новосибирск

Согласно Вашему No P/2758 от 13 июня с.г. направляется этапом Кузьмин Никанор Васильевич, приговоренный по ст.58 п.8 УК РСФСР к высшей мере социальной защиты, бежавший из-под стражи и задержанный на станции Дебальцево.

При задержании Кузьмин оказал сопротивление и нанес смертельные раны ножом сотруднику управления".

Под направлением красовались соответствующие подписи.

- Ну и что? - удивился Геннадий.

- Буду Кузьминым, - пояснил Андрей.

Вначале мы возмутились. Что за нелепая затея, понимает ли он, какая сложилась обстановка? Немцы вступают в город, надо искать прибежища и постараться залечить раны. Сейчас это главное. Но Андрей и слушать не хотел.

- Идите! Надо делать что-нибудь. Иначе провалим план.

Он был прав. И мы подчинились.

Дальше мы действовали по его указаниям. Нельзя было терять ни минуты. Шум боя приближался. Видимо, железнодорожный поселок был уже в руках врага. Мы вывернули карманы Андрея, извлекли из них все, кроме носового платка. Сняли часы. Вынесли его из воронки и уложили рядом с конвоиром, придавленным вагонной рамой. Киевскую препроводительную сунули в какую-то папку и подложили под труп бойца. Все? Да, все!

- Уходите, - шептал Андрей. Он был бледен, губы едва шевелились.

Я поцеловал друга, Геннадий пожал ему руку. Молча простились.

Пора было уходить. Мы побежали в разные стороны.

4. Первые дни

Две ночи я мучился в полусне и, лишь когда начинал брезжить рассвет, впадал в забытие. Оно не снимало ни усталости, ни тревоги, ни душевной боли. В который раз я уже убеждался, что ночь - плохой советчик, что она явно непригодна для утешительных мыслей.

Утром третьего дня хозяин дома притащил и показал мне инструкцию, изданную седьмым отделением фельдкомендатуры. Он содрал ее со стены какого-то дома.

- Надо знать назубок, - объяснил он свой поступок. - А то как бы не обмишуриться... Читай. Вслух читай.

Я стал читать.

Инструкция оповещала, что бывшие административные границы - область, район и даже волость (!) - остаются без изменений. Административные учреждения оккупантов создаются пока лишь в городах (общинах) и районных центрах. Город возглавляется бургомистром

(городским головой). У бургомистра должны быть помощник и секретарь. Бургомистр подбирает помещение для управы и штат. В управе должны быть следующие отделы: регистрации жителей, приискания труда, жилищный, здравоохранения, хозяйственный, дорожный, полицейский и казначейский. Предписания фельдкомендатуры, местной и сельскохозяйственной комендатур для бургомистра обязательны. Бургомистры обязаны в трехдневный срок взять на учет все население по двум реестрам. Реестр "обывателей"

- проживавших в городе или райцентре до 22 июня 1941 года, и реестр "чужих". В него входят прибывшие и прибывающие в населенный пункт после 22 июня. Сюда же включаются евреи, под буквой "Г", и иностранцы, под буквой "А". Все лица гражданского населения свыше шестнадцати лет должны иметь удостоверения личности. Русские паспорта, срок которых не истек, могут служить видом на жительство после регистрационной отметки в них. Не имеющим паспортов выдаются временные удостоверения личности. Номера регистрационных отметок и временных удостоверений личности должны соответствовать порядковым номерам реестров. Движение местного населения за пределами населенного пункта разрешается лишь владельцам специальных пропусков. От вечерней до утренней зари жители должны оставаться в своих домах. Лица, дающие приют в своих домах тем, кто не прошел регистрацию, подлежат расстрелу. Сходки и сборища на улицах города и в домах запрещаются. Плата за работу и цены на продукты и предметы обихода остаются на уровне 22 июня. Одна германская марка соответствует десяти советским рублям. Лица, хранящие огнестрельное оружие, подлежат расстрелу. Все улицы, площади, скверы, учреждения и предприятия, напоминающие советский режим и носящие фамилии советских деятелей, должны быть переименованы в недельный срок. Должны быть взяты на учет все инженеры, техники, десятники, врачи, фельдшеры, акушерки и квалифицированные рабочие. Все, занятые работой до 22 июня, обязаны явиться для получения службы в свои учреждения и предприятия... И так далее.

- Видал?! - воскликнул хозяин, когда я вернул ему инструкцию. - Эти наведут порядок. Там висит еще указание о торговле, о рынке... Надо будет стянуть и прочесть, не то еще обмишуришься. Да и регистрироваться следует. Как думаешь?

- Обязательно, - ответил я.

В полдень, захватив все документы и спросив хозяина, где расположена управа, я направился в город.

По главной и параллельным ей улицам бесконечным потоком тянулись вражеские войска. Я вздохнул огорченно: сейчас бы сюда пяток наших бомбардировщиков. Только пяток! Но небо было удивительно чистым и спокойным.

Площадь имени Карла Маркса. На ней разбиты длинные коновязи. Памятник Марксу разрушен до основания. В открытых дворах теснятся повозки, полевые кухни, слоподобные автобусы, машины с радиоустановками. Сквера не узнать он перепахан танками и грузовиками. Клумбы вытоптаны. Валяются осколки гипсовых вазонов, бюстов. Всюду руины, пепелище, глыбы скованного цементным раствором кирпича, ребра обнаженного железобетона, осколки стекла. Оно сверкает под лучами нежаркого полуденного солнца.

До управы я не дошел. В квартале от нее, возле сгоревшей фельдшерско-акушерской школы, меня остановил немецкий патруль. То ли потому, что на моем паспорте не было еще регистрационной отметки, то ли потому, что я попытался объясняться с младшим офицером на его же языке, он коротко скомандовал:

- Комм! Идем!

Через самое короткое время я оказался в местной комендатуре. За столом в высоком кресле с инкрустациями на спинке сидел молодой обер-лейтенант. Черный китель. Розовые петлицы. Значит, танкист. Аккуратный и прямой, точно стрела, пробор разделял его не особенно пышную шевелюру на две равные части. Он напоминал только что снесенное яйцо и показался мне препротивным.

Обер-лейтенант не задал мне ни единого вопроса. Просмотрел документы, аккуратно сложил

их в плотный конверт и спокойным голосом отдал команду автоматчику, стоявшему за моей спиной:

- В камеру!

Очень коротко и очень ясно.

Мне это определенно не нравилось. За что? Почему? Какие основания сажать меня? Неужели провал на первых же шагах? Нет! Возможность предательства я исключал. Я верил в товарищей. Но могло произойти другое. В городе много приезжих, и кто-либо из них случайно оказался моим земляком и узнал при встрече.

Обер-лейтенант предоставил мне для раздумий много времени. Восемь дней просидел я в одиночке. За это время меня не только не допросили, но и ни разу не вызвали. Можно было думать что угодно, рисовать самые мрачные картины. На девятые сутки, когда все надежды на лучший исход уже рухнули, меня утром вывели из катажки и отвели к тому же обер-лейтенанту.

На краю стола я увидел пухлый конверт с моими документами. Офицер заговорил со мной по-немецки. Он поинтересовался, почему я стал дезертиром. Я объяснил, что не имею никакого желания умирать. Достаточно того, что отца я потерял в первую империалистическую войну, старшего брата в гражданскую, а самого меня изрядно потрепали в финскую.

- И все?

- Все.

Обер-лейтенант мило улыбнулся и заметил, что я хорошо владею немецким. У меня прекрасное произношение.

На этот раз он показался мне довольно приятным. Я заметил, что у него нежная кожа, нежные руки и какое-то скромно-застенчивое выражение лица. Непорочный юноша.

- У вас есть желание работать на своих земляков-русских? - осведомился обер-лейтенант и как бы смутился от собственного вопроса.

Я попросил объяснить, что он имеет в виду под словом "работать".

Офицер охотно пояснил: созданы органы русского самоуправления, и человек с образованием, да еще владеющий немецким языком, будет очень полезен.

Это меня устраивало. Я так и сказал. Чтобы существовать и иметь честный кусок хлеба, надо работать. А на кого работать - это не так важно.

Обер-лейтенанту ответ мой понравился. Он подчеркнул, что мы быстро поняли друг друга. Это его радует. Он доложит обо мне коменданту. А сейчас я могу взять свои документы и идти к бургомистру. Обер-лейтенант ему позвонит.

Нет, удача еще не покинула меня. Но у выхода меня неожиданно задержал часовой и предложил вновь вернуться к обер-лейтенанту. Сердце дрогнуло. Рано я обрадовался.

Обер-лейтенант уже не сидел за столом, а стоял посреди комнаты.

- Пусть вас не смущает этот арест, - проговорил он.

Я пожал плечами. Ничего не попишешь: война! Но обер-лейтенант продолжил свою мысль: комендант посылал его за пределы города на целую неделю.

- А без меня никто не мог решить ваш вопрос, - закончил он и теперь уже окончательно отпустил меня.

"Бабушкины сказки, - подумал я, шагая по улице и глубоко вдыхая прохладный утренний воздух. - Никуда ты не ездил, а проверял меня".

Управа разместились в здании бывшего лесного техникума. У входа в нее стоял старый-престарый, с облупившейся краской, "вандерер".

Управа всасывала в себя разношерстный людской поток.

По заслеженным ступенькам я поднялся на второй этаж.

Щелкали костяшки счетов, потрескивали арифмометры, дробно стрекотали пишущие машинки.

Дверь а кабинет бургомистра то открывалась, то закрывалась, впуская и выпуская посетителей. По выражению лиц можно было заключить, что привело сюда этих людей не

личное желание представиться бургомистру - господину Купейкину, фамилия которого красовалась на жестяной дощечке с еще не подсохшей краской. Все они были вызваны. Настал и мой черед.

Бургомистром оказался замшелый, невзрачный, с постным лицом человечиска лет за пятьдесят. Нездоровый цвет лица, ввалившиеся щеки и безволосая голова свидетельствовали, что он страдает каким-то скрытым недугом. На нем был потертый, но хорошо отглаженный пиджак допотопного покроя, черный галстук и пенсне с толстыми стеклами.

Держался он просто, без гонора и позы. Возможно, еще не вошел в роль, а быть может, на него подействовал звонок обер-лейтенанта из комендатуры. В том, что звонок был, я не сомневался.

Я смотрел на господина бургомистра и пытался по его виду, речи и манерам определить, кто же он таков. С чем его едят? Кем был до прихода немцев? Архивариусом, делопроизводителем, кассиром?

Господин Купейкин даже не поинтересовался, что бросило меня, сравнительно молодого человека, в объятия оккупантов. Впрочем, меня это не удивило. С подобным вопросом мог обратиться к нему и я: он не обер-лейтенант и не немец!

Он сразу приступил к делу. Хотя нет, не совсем. Вначале счел необходимым сказать мне, что считает немцев нацией культурной и самой передовой в Европе. У них есть чему поучиться. К нам они пришли не на прогулку, а всерьез и надолго. Перед ними стоит огромная задача: все надо переделывать заново. Работы непочатый край. На первых порах будут, конечно, неполадки, шероховатости, недоверие со стороны отдельных слоев населения, возможно - даже саботаж, но это лишь на первых порах. У фюрера и его гвардии накопился значительный опыт государственной работы. Ну, а мы, русские, привыкли ко всякому. Нас эксперименты не пугают. Мы не скучали при Советской власти, не будем скучать и сейчас. Главная задача управы и его, бургомистра, - в короткое время привлечь к сотрудничеству с немецкой оккупационной администрацией тех горожан, которые симпатизируют немцам. Найдутся такие? Безусловно. Часть их уже нашлась.

Господин бургомистр был настроен оптимистически и, невзирая на жалкую форму, в которую он был облачен, полон энергии и решимости.

Мне он предложил должность заведующего одной из школ, которая должна вот-вот открыться.

Я сказал, что очень польщен доверием, но принять предложение не могу.

Почему? Да потому, что педагогическая работа мне, откровенно говоря, осточертела. Давно хотел бросить, да все как-то не удавалось.

Господин Купейкин укоризненно, явно неодобрительно покачал головой. И это неодобрение было весьма красноречивым. Все стало понятным. Я гадал, кто по профессии Купейкин: архивариус, делопроизводитель, кассир... Ни то, ни другое, ни третье. Он оказался моим "коллегой" - педагогом... Прожил всю жизнь в Энке, последние двенадцать лет преподавал историю в пединституте. Подумать только! И конечно, слово "осточертела" его шокировало. Надо было выкручиваться, и я поспешно сделал новый шаг:

- Если вы отважились избрать себе иное поприще для приложения знаний и опыта, то должны понять и меня.

Возможно, мои слова, как и отказ от заведования школой, прозвучали довольно смело. Но я отлично понимал, что рассчитывать на второй звонок обер-лейтенанта из комендатуры не приходится. Маловероятно также, что господин бургомистр еще раз удостоит меня такой теплой беседы. Надо пользоваться моментом. Конечно, если он заартачится и скажет, что иного выбора нет, я и не подумаю ломаться. А если улыбнется счастье?

Счастье улыбнулось. Купейкин помолчал, подумал, пошевелил бровями и сказал:

- Вы хорошо владеете немецким языком?

Я ответил, что удостоился комплимента со стороны обер-лейтенанта.

- Так... - пробурчал бургомистр. - Что ж, тогда решим иначе. - Он объяснил, что управе

нужны переводчики. Все делопроизводство: переписка, документы, распоряжения, объявления и прочее - должно вестись на двух языках. По штату предусмотрены три человека, но пока нет ни одного.

- Эта работа вас устроит? - спросил Купейкин.

- Вполне, - ответил я.

- Отлично! - Купейкин прихлопнул своей утлой рукой с пергаментной кожей по столу.

Через минуту секретарь бургомистра показал мне комнату, предназначенную для переводчиков. Она граничила с туалетной. Это имело свои удобства и неудобства. Завтра я обязан был приступить к работе. Секретарь вскользь намекнул, что рад видеть в моем лице нового сотрудника.

Я этому не особенно поверил. Никакой радости лицо его не выражало, просто, видимо, продолжал действовать звонок из комендатуры.

5. Меня хочет видеть Перебежчик

Случилось это в середине ноября сорок первого года. Меня вызвал на внеплановую встречу Аристократ - содержатель одной из наших нелегальных квартир. Встреча должна была произойти в единственной действующей в городе церквушке, где по случаю воскресного дня шла служба.

Стояло промозглое утро, и я шел к церкви, отягощенный невеселыми думами. Причиной этому была, понятно, не плохая погода. Подполье Энска переживало тяжелое время. Лишенные связи с Большой землей, патриоты-подпольщики, как и горожане, не знали, что происходит на фронте. А слухи доходили до нас в таком виде, что холодело сердце.

Гитлеровцы трезвонили на весь мир о несокрушимости своей мощи, предсказывали неминуемый и самый недалекий крах Советского Союза и его армии.

Из болтовни солдат, преимущественно раненых (а им приходилось больше верить, чем немецким официальным сообщениям), картина складывалась безотрадная: враг рвался вперед, и фронт проходил сейчас у заблокированного Ленинграда, Калинина, Звенигорода, Наро-Фоминска, Тулы, восточнее Орла, Харькова, Ростова-на-Дону и под Севастополем. Под угрозой была Москва...

В Энке происходили события, косвенно подтверждавшие эти слухи и сообщения. Оккупанты распоясались. Предатели и пособники активно помогали им в бесчинствах и преступлениях.

Еще до войны мы знали, что люди, населяющие нашу огромную страну, не одинаковы. Одни активно, не жалея сил, строили новую жизнь - таких было подавляющее большинство. Другие предпочитали стоять в сторонке. Они не мешали, но и не помогали нам, приглядывались, прислушивались, охали или хихикали. Во всяком случае, реальной угрозы не представляли. Их было немного. Третьи - оголтелые, ненавидящие звериной ненавистью все новое, подчас открыто, подчас рядясь в овечьи шкуры, вредили нам. Эти последние были представлены ничтожными единицами, если брать в расчет наш многомиллионный Союз.

Все эти три категории существовали и в оккупированном Энке. Вот только количественное соотношение изменилось. Большинство честных граждан эвакуировалось, а оставшиеся по разным, подчас не зависящим от них причинам люто ненавидели фашистов и готовы были биться с ними насмерть. Вторые колеблющиеся, сравнивающие и выбирающие. Третьи, как и прежде в меньшинстве, ждали оккупантов и стали активно служить им. Из них комплектовалось так называемое русское самоуправление, рекрутировались полицейские отряды, вербовались провокаторы, предатели, платные агенты гестапо, осведомители абвера, диверсанты.

И они, эти бывшие русские люди, знающие уклад нашей жизни, имеющие обширные связи среди горожан, знакомые с подлинной гражданской биографией многих людей, были страшнее и опаснее гитлеровцев. От них и получило первый удар наше подполье.

Охваченный тревогой, шел я на внеочередную встречу. В чем дело? Что стряслось? Не мог

Аристократ, человек пожилой, выдержанный, осторожный, без особой на то причины подать мне условный сигнал. Не мог. Да и не так уж давно я был у него - в пятницу.

Но вот и старая церквушка о пяти главах, с пузатыми облупившимися куполочками. Сейчас я получу ответ на свой вопрос. Почему ответ? Быть может, мне и не придется задавать вопросы. Во всяком случае, что-то станет известно. Что именно - гадать уже поздно.

Аристократа я увидел на паперти у самого входа. Заметив меня, он торопливо вошел в церковь.

Внутри стоял радужный сумрак. Горело немного свечей. Пахло ладаном. Маленький сухонький священник монотонно читал под аккомпанемент жиденского хора на клиросе.

Аристократ занял место в сторонке, у стены правого придела, и я встал рядом. Некоторое время он молчаливо осенял себя крестным знаменем, бил поклоны, потом улучил удобный момент и под пение хора прошептал:

- Вчера заходил неизвестный, назвал себя Перебежчиком и попросил свести с Цыганом.

Боже мой! Силы небесные! Ведь Перебежчик - это Андрей, а Цыган - я! Как скрыть радость? Как не обнять за драгоценную весть Аристократа? Так вот что сулила мне внеочередная встреча!

В порыве радости я осенял себя крестом и, притушив улыбку, спокойно и тихо спросил:

- Как договорились?

- Попросил его зайти завтра в двенадцать. Устроит?

- Да!

- Надежный человек?

- Да!

- Вы уходите, а я останусь.

Большого труда стоило мне спокойно, степенно, тихо выйти из церкви. Я рвался на свет, на улицу. Все внутри у меня пело, ликовало. Перебежчик! Андрей! Андрюха! Дорогой, бесценный друг... Значит, он жив. Тоска по нем так въелась в мою душу, так грызла, так сосала.

Все время я и мои ребята искали следы Андрея - и тщетно. Постепенно надежда найти его живым, согревавшая мое сердце, стала мерцать все слабее и наконец погасла. Я простился с другом... А он вот! Просит свести его с Цыганом!

До чего же медленно вертится наша земля! Сутки показались мне вечностью. Но наконец подошел назначенный час. В управе надо мной были только два начальника: бургомистр и его секретарь. Просьба отпустить меня на два часа не вызвала да и не могла вызвать подозрения у секретаря. Я был уже сотрудником с прочной положительной репутацией. При неотложной необходимости за мной на дом присылали дежурную машину. Случилось это, правда, один раз. Но все же случилось. Я имел пропуск на право хождения до городу в любое время суток.

И вот на глазах удивленного Аристократа я и Андрей - оба его "клиенты" - трясем и душим друг друга в объятиях.

- Рассказывай! - требую я. - У меня времени не так уж много.

Андрей странно улыбается.

Я повторяю еще дважды свое требование. Андрей продолжает улыбаться.

- Ты что, не слышишь?

- Что? Слышу... Прости, задумался, - он глубоко вздохнул. - Я уж не мечтал... Курить есть? Ведь я только вчера вышел из больницы.

Я достал пачку болгарских сигарет, длинных и тонких, с золотым мундштучком (их презентовал мне секретарь управы), и протянул другу.

Андрей закурил, делая жадные, глубокие затяжки, а потом пожаловался:

- Хотел бросить, с того дня не курил... и не могу.

Поначалу я не заметил, до чего изменился Андрей.

Волосы сплошь побиты сединой, пережитое углубило морщины на его лице, кожа стала бледной, какой-то сероватой.

- Пока хватит, - решительно сказал он, откладывая недокуренную сигарету и проводя рукой по лбу. - Голова закружилась.

- Рассказывай, Андрюша, рассказывай... Почему ты не отыскал связного?

- Забыл пароль, - признался друг. - И не решился. А к доктору - помнил.

- Вот оно что, - успокоился я.

- Ну, что тебе еще сказать? Считай, что я одной ногой побывал на том свете. Коротко дело было так...

Двое суток, двое мучительных суток пролежал он с открытыми ранами, без глотка воды, без крохи пищи, среди трупов. Сознание то приходило на короткие минуты, то вновь покидало его. На исходе второго дня он впал в глубокое забытие и очнулся уже в немецком солдатском госпитале.

Первый вопрос, который задал ему человек в белом халате, был: "Ваша фамилия?" - "Кузьмин, - ответил он, - Никанор Васильевич".

Потом его оперировали раз, другой, третий. Оказывается, Андрей был ранен еще и в бедро, о чем мы с Геннадием не знали. Когда дело пошло на поправку, в палату пришли двое и подсели к Андрею. Кто они - он и сейчас не знает. Предполагает, что немецкие офицеры. Один говорил довольно хорошо по-русски и выполнял роль переводчика. Их интересовало прошлое больного. Пришлось рассказать биографию Кузьмина со всеми подробностями. Немцы задавали много вопросов. Кого убил Кузьмин? Как ему удалось бежать из-под стражи? Чем может объяснить наличие, кроме трех последних ранений, следы еще трех, давно заживших? Какие города Советского Союза хорошо знает? Нет ли у него там приятелей?

На все вопросы надо было давать исчерпывающие ответы. И Андрей не поспешил на краски. Офицеры остались как будто довольны.

За день до выхода из госпиталя к Андрею явился переводчик, но уже в сопровождении другого немца. Этот другой спросил - без всяких предисловий, как посмотрит господин Кузьмин на то, чтобы совершить экскурсию в Советский Союз.

Этого только недоставало! Перенести столько мук - и все ради того, чтобы оказаться в своем тылу... Раздумывать было нечего. Андрей ответил, что лучше смерть от собственной руки, чем возвращение. Шутка сказать! Человек три раза стоял перед судом, восемь лет отсидел в лагерях, дважды бежал, приговорен к "вышке", его фото и оттиски пальцев, размноженные в тысячах экземпляров, гуляют по стране, а ему предлагают такую увеселительную прогулку! Нет, спасибо! Да и что он может сделать путного, когда его основной мыслью будет забота о собственной шкуре? Ничего. Пусть господа не обижаются, но на ту сторону он не ходок. Туда пути ему заказаны. Иной вопрос - здесь. Здесь - пожалуйста. Он сделает все, что в его силах.

Новых вопросов Кузьмину не задали. Немец, кажется, понял его. Да, конечно, понял. Но прежде чем ретироваться, поинтересовался, какой профессией владеет

Кузьмин. Андрей подумал и вспомнил; когда-то в молодости на "родине", в городе Киренске, в течение семи лет он работал маркером в бильярдной. Немец оставил ему адрес и попросил после выписки из госпиталя заглянуть к нему. Просьбу Андрей понял как приказ и выполнил ее.

- Вот и вся моя эпопея. С завтрашнего дня я маркер офицерского казино и доверенный человек абвера...

- Почему ты решил, что абвера? - удивился я.

- А чего тут решать? Немец оказался офицером абвера. Знаешь, на чем мы договорились?

- Понятия не имею.

- Он поставил передо мной задачу подбирать надежных, с его точки зрения, людей, вербовать, сколачивать в тройки и передавать ему.

- Для заброски в наш тыл? - прервал я друга.

- Ты, как всегда, догадлив. Именно в наш тыл. Я вербовщик абвера. Ясно?

- Уж куда яснее.

- Дело, однако, деликатное. Тут надо все учесть. Шеф меня пока не торопит. Понимает, что здесь я чужачок и выйти в "надежные" мне не так просто.

- Обдумаем, - потер я руки, - за этим дело не станет. Главное, есть чем думать. Одной головой прибавилось. И какой головой!

Я обнял Андрея, и мы оба весело засмеялись.

6. Энское подполье

Подпольная борьба в тылу фашистов - не такое простое и легкое дело, как об этом иногда пишут. Законы подпольной борьбы суровы и жестоки. Чтобы посвятить себя ей, мало одного желания, беззаветной преданности, ненависти к врагу, мужества, готовности к подвигу. Нужны еще: недюжинные организаторские способности, непрестанная осторожность, повседневная бдительность, знание непреложных основ конспирации, крепкие, тренированные нервы, здравый, холодный рассудок. И обладать всем этим должны люди не только всесторонне проверенные, но и опытные.

Но где было взять умудренных опытом людей?

До войны никто не подумал о том, чтобы хоть на всякий случай заранее подготовить сотню-другую организаторов нелегальной работы в тылу врага. Не подумал, видимо, потому, что начисто исключалась возможность глубокого фронтального вторжения врага в пределы нашей страны. Об элементе внезапности мы заговорили во весь голос лишь после неудач сорок первого года. Сердца и разум советских людей не принимали мысли о хотя бы временных успехах агрессора. Всей предвоенной жизнью они были подготовлены к решительному отпору врагу, если он рискнет на нас напасть.

И счастье наше состояло в том, что, помимо организованного подполья, война стихийно выдвинула на арену борьбы сотни и тысячи талантливых самородков-патриотов, в которых в годы мирной жизни трудно было предположить воинские таланты, геройство, готовность к подвигу.

Когда мы появились в Энске, костяк подполья, главным образом его руководство, был уже создан. Во главе подполья и подпольного горкома стоял один из бывших его секретарей, человек, проработавший в Энске около семи лет. Если бы ему надлежало жить в лесу и Оттуда руководить работой - дело иное, но его нелегальное положение в городе было равносильно провалу.

Руководителю подполья дали кличку Прокоп. Заместителем его назначили Демьяна, помощником - Прохора. Старшими трех самостоятельных, не связанных друг с другом групп стали: Челнок, Угрюмый и Урал. В четвертую группу вошли мы трое, и старшим ее стал Солдат, то есть Геннадий Безродный.

Перед нашей группой стояла предельно ясная задача: заниматься сбором разведывательных данных о противнике и информировать Большую землю. Задача слагалась из двух частей: собирать сведения и передавать их. А чтобы передавать, мы должны были иметь связь с Большой землей. Должны. Но мы ее не имели, как не имело ее и руководство подполья.

Что такое разведчик без связи? Ноль. Грош ему цена. Он бесполезен для своих, не страшен врагу. Он подобен копилке с деньгами, оброченной на дно моря.

Нас могут спросить: "А вы предпринимали что-либо для установления связи?" Да! "Достигли цели?" Нет! Мы потеряли четырех курьеров, направленных к передовой. Ни один из них не вернулся обратно, ни один не перебрался на ту сторону. Да и не так это просто - достигнуть передовой. Не так просто перейти вражеский рубеж. Кто мог в те дни, когда нас оставляли в тылу, думать, что враг подойдет к Москве? Кто мог предположить, что Энск останется в глубоком тылу?

А пройти чуть ли не четыреста километров, минуя основные магистрали и населенные пункты, подвергаясь на каждом шагу опасности быть схваченным, это чего-нибудь да стоит. Предпринимала ли Большая земля меры к налаживанию связи? Тоже предпринимала, но узнали мы об этом уже в сорок втором году, в июне, когда до нас добрался наконец курьер.

Он опустился с радиостанцией на парашюте в лес и с большим трудом проник в город. Но он не был радистом. Радистка сидела в Минске, и нам предстояло вызволять ее оттуда.

Лишь в конце июня сорок второго года мы подали о себе первую весточку.

Вплоть до июня мы работали вхолостую. Мы собирали ценнейшие сведения о враге, но что они могли значить? Мы не могли их реализовать.

В конце сорок первого года Андрей высказал мысль - переключить силы нашей разведывательной группы на помощь городскому подполью. Мы, конечно, все разведанные передавали руководству подполья. Но ему не все они были нужны, представляя ценность для командования фронта. И мы решили помочь подполью в подрывной, боевой работе. Я поддержал Андрея. Геннадий запротестовал. Это была первая серьезная стычка с ним в тылу врага. Андрей не ошибался в надеждах, что Геннадий изменится. И он, пожалуй, изменился, но не в лучшую сторону. С первых же шагов стал не в меру осторожен и осмотрителен, усложнял все, к чему прикасался. Любая опасность в его представлении несла в себе неизбежную гибель. А ведь без риска, конечно, рассчитанного, думать о победе было наивно. Предложение Андрея требовало участия, и притом активного участия, в борьбе, сопряженной с риском и опасностями. И Геннадий запротестовал: "Это еще что такое? Кто нам дал право нарушать приказ центра? Каждый занимается своим делом. Надо брать пример с армии. Там летчика не посадят на место танкиста, танкиста не заставят минировать дороги. Предложение Андрея равносильно желанию сделать из инженера-металлурга акушерку. Наша задача - разведка и контрразведка. Ясно?"

Нет, нам было не ясно. Я был твердо убежден, что Геннадия устраивает его нынешняя роль обработчика сводок. И на большее он не пойдет.

Формально он, возможно, был прав. Но ведь подполье - это не армия. И мы не на фронте. Сравнивать их нельзя. Я сказал ему, что ошибка в выборе средств борьбы менее преступна, чем бездействие, и что я требую доложить мое и Андрея мнение секретарю горкома.

Геннадий ухватился за это. Он обязательно доложит. Он был убежден - и не скрывал этого, - что секретарь примет его сторону. Но ошибся: Демьян поддержал нас. Мы придали своей группе боевой характер. Горячая, опасная борьба захлестнула нас. Мы быстро сжились с ней я быстро "обуглились".

7. Первые провалы

Как бы ты ни был удачно "устроен" в городе, захваченном врагом, какой бы хитроумной выдумкой ни прикрывался, быть абсолютно уверенным в своей безопасности нельзя.

Понимал это каждый из нас. Понимал, что от личного благополучия зависит благополучие подполья. Нужно быть постоянно начеку. Опасность ходит рядом, под руку, спит с тобой в кровати, заглядывает в глаза. Нужно ежечасно, ежеминутно помнить: один непродуманный, опрометчивый шаг погубит не только тебя, но и твоего товарища и само дело.

А дело требовало борьбы. Борьбы жестокой, смертельной. И она не могла обойтись без жертв.

Первый удар мы приняли сразу же после захвата города гитлеровцами. Исчез руководитель подполья - секретарь горкома Прокоп. Исчез загадочно и бесследно.

Всех охватила тревога. Высказывали смутные догадки, нелепые предположения. Геннадий допускал возможность бегства Прокопа с нашими частями. Демьян был уверен, хотя ничем не мог подкрепить свою уверенность, что Прокопа схватили оккупанты, когда проводили массовые аресты советских граждан. Прохор был настроен оптимистически и предлагал ждать: возможно, Прокоп, почувствовав угрозу, скрылся в лесу и скоро даст о себе знать. Но все это были только предположения и догадки. А жизнь требовала решений и действий.

Во главе горкома и подполья стал Демьян, и его заместителем назначили Прохора.

Связного Акима, знавшего всех трех руководителей, пришлось временно "законсервировать", чтобы оборвать нить возможной слежки. Ничего другого предпринять мы не могли, так как не знали, при каких обстоятельствах исчез Прокоп.

Работу не только не прекратили, но даже не ослабили. Подполье, подчиняясь непреложным законам борьбы, росло, мужало, крепло, приобретало организованность и превращалось в грозную силу. Группа Челнока распространяла листовки, разоблачала козни врагов и предателей, нащупывала среди горожан людей, способных отдать себя общему делу. Патриоты из группы Урала, как и разведчики нашей группы, проводили диверсионные акты, выкрадывали оружие, взрывчатку, собирали ценные для подполья сведения. Боевики Угрюмого беспощадно расправлялись с пособниками оккупантов, предателями, провокаторами.

Весной, накануне Первого мая, неожиданно пролился свет на тайну исчезновения Прокопа. Люди Угрюмого схватили предателя Хвостова. Тот перед смертью дал покаянные показания. Через связного Колючего они попали к Прохору, от него к Демьяну и стали известны нам. Оказывается, еще до падения Энска сосед Хвостова Панкратов выболтал, что остается в городе для подпольной работы и назвал известного ему Савельева. Когда пришли немцы, Хвостов донес на Панкратава и Савельева в комендатуру. Савельева арестовали, а Панкратава не тронули, хотя вызывали на допрос.

Все звучало веско, правдоподобно и страшно.

Угрюмый не мог знать, что Савельев - это и есть Прокоп, как не мог знать, что Панкратов - это связной Аким.

Но поскольку Панкратов выдал Савельева, значит, он предатель и разговор с ним следовало вести как с предателем.

Надо было обдумать сложившуюся ситуацию.

Демьян счел нужным выслушать мнение всех членов горкома. Он знал Акима и, невзирая на такую неопровержимую улику, как признание предателя

Хвостова, колебался. Геннадий требовал расправы над Акимом.

Я и Андрей колебались. Нас смущало, почему Аким выдал только Прокопа? Ведь он был связан еще с Демьяном и Прохором. Их-то не тронули!

- У гестаповцев есть мозги, - возразил Геннадий. - Они поторопились с Прокопом и ничего не добились. Теперь осторожно выслеживают Акима, хотят вытянуть улов побольше. Пока не поздно, надо уничтожить Акима.

Андрей возразил. Если немцы знают о существовании Демьяна и Прохора, то немедленная расправа с Акимом ничего не даст, ничего не изменит. Это запоздалая мера. К тому же показания Хвостова всего-навсего признание врага. Почему я должен им верить? Он мог оклеветать Акима... Прежде чем выносить приговор, надо проверить человека.

Геннадий взорвался. Что значит проверить? Где мы: в тылу врага или на своей территории? Тут дорога каждая минута. Что с ним цацкаться? Если он честный, этот Аким, почему не пришел и не рассказал о вызове на допрос?

- Это говорит опять-таки Хвостов, - заметил Андрей. - А мы должны сами во всем убедиться.

Поэтому одновременно с проверкой Акима следует уточнить, ведется ли слежка за Демьяном и Прохором. Ведь о них гестапо должно быть известно, по версии Безродного. С этим делом легко справятся ребята Дим-Димыча и Угрюмого.

На том и порешили.

Наблюдение, организованное за Демьяном и Прохором, успокоило всех. Слежки не обнаружили. Иначе получилось с Акимом. В середине мая два моих проворных хлопца доложили, что вечером тринадцатого Акима посетил на дому неизвестный человек. Он пробыл у Акима с полчаса, а потом напрямик отправился в полицию.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Что же теперь делать? Может быть, правы Угрюмый и Геннадий? Почему молчит Аким, почему не предупреждает Демьяна и Прохора об опасности? Значит, он предатель.

Следовало продолжить наблюдение за домом Акима, но мои ребята уже поработали, и их могли заметить. Поэтому Прохор дал команду дальнейшее наблюдение поручить Угрюмому.

Спустя дня четыре Угрюмый через связного доложил Прохору: дом Акима посетил "какой-

то" молодой человек. Просидел у него до комендантского часа, а затем вместе с ним вышел. Они прошли до здания почты, уселись в поджидавшую их машину. Домой Акима привезли на этой же машине около часу ночи.

Теперь уже предательство Акима сомнений не вызывало, Геннадий приказал мне выкрасть Акима, доставить в наше убежище и допросить.

Я стал готовить ребят к операции, но осуществить ее не удалось. В ночь на девятнадцатое мая на глазах моих разведчиков к дому Акима подкатили три эсэсовца, произвели обыск и увезли Акима. Домой он больше не возвратился. Наутро, на глазах опять-таки моего разведчика, гестаповцы схватили Прохора, когда он выходил из бани. Он пытался сопротивляться, но его избили и в бессознательном состоянии бросили в машину.

Геннадий оказался прав. Сбылись его худшие предположения. Надо было что-то предпринимать, и предпринимать немедленно.

Нависла угроза над Демьяном.

Всем, кто знал Демьяна, был известен его упрямо-настойчивый характер. Преданный до конца делу, отважный, Демьян едва ли согласится с каждым из нас в отдельности. Поэтому Геннадий, действуя от лица почти всех нас, коммунистов, предложил Демьяну немедленно покинуть город, перебраться в лес и оттуда руководить борьбой.

Демьян не решился идти против большинства. Мне он сказал при последнем свидании:

- Арест Акима меня не удивляет. Гестапо берет его под свою защиту. Это ясно. Меня удивляет другое: почему не арестованы связные Прохора - Колючий и Крайний? Почему гестаповцы не тронули Урала и Угрюмого? Задумайтесь над этим!

Да, над этим стоило задуматься!

Двадцатого мая ночью на квартиру Демьяна явились два "полицая", арестовали его, провели под конвоем чуть ли не через весь город и укрыли в надежном месте. Один из "полицаев" был мой разведчик - боевик Костя.

Это было на редкость дерзкое и рискованное предприятие. Око могло сойти с рук лишь такому парню, как Костя.

Спустя несколько дней этот же Костя вывел Демьяна ночью за городскую черту, и тот зашагал в сторону леса.

На некоторое время подполье было обезглавлено. Мы ничего не знали о Демьяне. Старшие групп - Челнок, Угрюмый и Урал, не связанные между собой, не знавшие друг друга, продолжали боевую работу на свой собственный риск и страх.

Так продолжалось около месяца, пока Демьян не появился нелегально в городе на квартире у связного нашей разведгруппы Сторожа.

Сторож и в самом деле работал сторожем лесного склада. Его однокомнатный рубленый домик стоял на самом берегу реки. Высокий, глубоко подмытый берег нависал над водой. Позади домика, вплотную к задней его стене, лежал огромной глыбой бог весть как попавший сюда камень-голяк. С этого камня хорошо просматривались не только территория склада, подходы к нему, но и весь противоположный берег.

Весь день от утренней до вечерней зари на складе рычали моторы лесовозов и тяжелых тупорылых грузовиков, грохотали тракторы-тягачи, скрипели подъемные лебедки, визжала циркулярная пила. Заключение из концлагеря под усиленным конвоем эсэсовцев разбирали приходящие водой связки кругляка, выкатывали их на высокий берег, грузили на машины и длинные конные роспуски. Всюду сновали чиновники сельхозкомендатуры, представители войсковых немецких частей и одетые в полувоенную форму агенты лесоторговых фирм.

С наступлением комендантского часа все стихало и склад вымирал. Широкие складские ворота с Набережной улицы запирались на замок. Возле них разгуливал полицай. Полицейская караулка помещалась в полусгоревшем доме на противоположной стороне улицы.

Демьян в сумерки переплыл реку и явился с паролем к Сторожу. Днем он прятался в сложном лабиринте крытых окопов и ходов сообщений, оставленных нашими частями. На ночь он перебирался в домик Сторожа.

Тут с ним успели повидаться подпольщики. В состав горкома ввели Андрея и меня, чему, кажется, был не особенно рад Геннадий. Из четырех старших групп только мы двое и беседовали с Демьяном, хотя он хотел повидать еще Угрюмого и Урала. Большинство членов горкома - Челнок, Геннадий, Андрей и я - считало, что нет смысла подвергать опасности руководителей двух самых боевых и основных групп подполья и тем более расшифровывать перед ними Демьяна. Решили ограничиться вызовом связных Угрюмого и Урала, то есть Колючего и Крайнего.

Доклады связных успокоили Демьяна. Обе группы выросли численно. Угрюмый привлек к подпольной работе четырех человек, а Урал - девять. Угрюмый по-прежнему беспощадно вылавливал предателей, провокаторов и расправлялся с ними. Уралу после ареста Прохора удалось поджечь шесть цистерн с горючим в станционном тупике, вывести из строя два паровоза, подорвать метеостанцию оккупантов, освободить из-под конвоя одиннадцать горожан и направить их в лес.

С согласия Демьяна решено было связных Колючего, Крайнего и Усатого передать под опеку Андрея, чтобы через них он мог осуществлять руководство тремя самостоятельными группами.

Пробыв в "гостях" у Сторожа трое суток, Демьян тем же способом перебрался на другой берег и ушел в лес. За него были спокойны: он обосновался в двадцати восьми километрах от города в труднодоступном, заболоченном уголке леса и уже наладил связь с партизанским отрядом.

Сейчас я даже не могу сказать, почему мы не торопились связывать Андрея с Колючим, Крайним и Усатым. Точнее, не мы, а я, так как эту часть работы предстояло выполнить ребятам из моей группы. Возможно, что какая-то инстинктивная осторожность замедлила мои действия. Если так, то эта осторожность сыграла свою благую роль: На пятый день после ухода Демьяна гестаповцы арестовали Сторожа. Вновь над нами нависла опасность.

Как мог провалиться Сторож? Кто предал его? Только мы - члены горкома и двое связных - Колючий и Крайний - входили в домик Сторожа. Неужели один из них?

Мы рассуждали логично и здраво: если бы на Сторожа немцев вывел по неосторожности Геннадий, Андрей, Челнок или я, то в первую очередь арестовали бы одного из нас. Но этого не случилось.

Различные мелочи стали приобретать в наших глазах особое значение. Мы единодушно согласились не сводить Андрея с тремя связными. Вместо этого разработали несколько способов связи через "тупики" и "почтовые ящики".

Потянулись тревожные дни, когда с часу на час можно было ожидать нового удара. В застенки гестапо попали Прокоп, Прохор, Аким, Сторож. Фашисты, конечно, попытаются выжать из них все, что возможно, сломить их дух, волю. Как поведут себя товарищи? Хватит ли у них нравственных и физических сил выдержать муки, предпочесть тяжкую смерть черному предательству?

Минула неделя, две, месяц...

Пришло лето. В город явился посланник с Большой земли. Мы стали обдумывать план водворения в Энск радистки, ожидавшей нас в Минске.

Геннадий женился. Женился теперь не формально (это произошло еще до прихода гитлеровцев), а по-настоящему, на своей хозяйке. Доказательством этого явилось появление на свет новорожденного. Никто не удивился, никто не осудил Геннадия. Жизнь брала свое. Я уже давно убедился, что тяжелая борьба и повседневная грозная опасность, как это ни странно, будили неодолимую жажду жизни.

8. Человек с пятнышком

Хозяин мне попался трудный. У него была редкая фамилия - Пароконный. Как я уже говорил, на него меня нацелили местные чекисты. Они предупредили, что человек он с пятнышком и, безусловно, не станет эвакуироваться. Задолго до прихода гитлеровцев он в

тесном кругу ругал советский строй и не мог дождаться его конца.

Даже только поэтому я уже не мог питать к нему братской любви.

До тридцать четвертого года он жил в деревне, работал в колхозе, а потом разбазарил личное хозяйство и перебрался в город. Здесь он поставил дом из двух комнат под черепичной крышей, обзавелся лошадью, коровой, свиньями, гусями, курами и устроился возчиком в похоронное бюро.

Ко мне он поначалу отнесся настороженно. Эта настороженность длилась до того момента, пока хозяин окончательно не убедился, что я и в самом деле уклоняюсь от призыва в армию и всерьез решил остаться под немцами. Тогда

он подобрел. А когда пришли оккупанты, мы и совсем сблизились.

Этому сближению, на мой взгляд, способствовала единственная дочь Пароконного Елена, великовозрастная девица, работавшая кассиршей в гастрономе. Она сразу воспылала ко мне горячей симпатией. Мать и отец считали ее девушкой скромной, но подобная "окраска" к ней совсем не подходила. Ей казалось, что все мужчины поголовно влюблены в нее.

По нетонким намекам хозяина я без труда догадывался, что он не прочь приобрести в моем лице зятя. Но меня это никак не соблазняло. Для роли зятя Пароконного я еще не созрел, а потому старался выдерживать между собой и Еленой гарантийную дистанцию.

Хозяин был мужик на редкость крепкий, выше среднего роста, с округлыми, покатыми плечами. Двигался он неуклюже и как-то мешковато. Лицо его симпатий не вызывало. Не стоит доказывать, что бельмо на глазу и надорванное ухо не особенно украшают человека. Это бельмо и избавило хозяина от военной службы. Небольшие круглые и зеленые, как у кошки, глаза его сидели так глубоко, что складывалось впечатление, будто их вдавили в орбиты. Во всем его облике проглядывала этакая звероватость. Разговаривая, он держал собеседника, как когтями, своим цепким взглядом.

Мозг Пароконного, человека чрезвычайно практичного и оборотистого, который уж ни при каких обстоятельствах не пронесет ложку мимо рта, был оплетен густой сетью предрассудков и суеверий. Жена чуть не ежедневно гадала ему на картах. Он считал святотатством братья за что-либо дельное в такой гибельный день, как понедельник. Тринадцатое число полагал роковым. Через порог никогда не здоровался. Оберегал как зеницу ока огромную подкову, прибитую у входа в дом.

Мои скромные попытки сбросить с него покров суеверий натыкались на упрямое упорство. Пароконный сморкался (он мастерски умел обходиться без платка) и неизменно отвечал:

- Побереги советы для собственного употребления!

Недели за две до падения Энска рано утром меня разбудил сильный шум. Я выбежал из дому. Хозяин резал свинью, а жена и дочь металась по двору, ловили кур, гусей и заталкивали их в огромный ящик. К вечеру со всей живностью было покончено. Засоленное мясо было уложено в кадки и спрятано под полом.

Еще дня два спустя я вновь оказался во дворе и не обнаружил привычного для глаз сарайчика - убежища лошади и коровы. На его месте высилась здоровенная копна прогнившей до черноты соломы.

Хозяин ходил вокруг с граблями.

- Уразумел? - спросил он меня с усмешкой.

Я признался, что не уразумел.

- Сарайчик под соломой, присыпал я его. А то как бы наши Аники-воины, драпая, не прихватили и мою животинку.

Весь вечер он сидел за столом, складывал столбиками серебряные монеты разного достоинства, обертывал их бумагой, заклеивал, а потом куда-то упрятал.

Почти еженощно Пароконный заходил ко мне, подсаживался на койку и осведомлялся:

- Кемаришь?

- Пока нет.

Он мастерил самокрутку толщиной в палец, дымил и, подыскав какой-нибудь повод, начинал выплескивать многолетнюю муть, скопившуюся в душе. Целый мир пакостных мыслей,

каких-то обид гнезился у него в голове. О многом пора было забыть, а он ворошил душевную грязь, вспоминал, оживлял ее. Подчас мне казалось, что и обиды его на Советскую власть уже выдохлись, но он как-то искусственно подогревал их. Сидел, дымил и дудел в ухо.

Наговорившись досыта и наполнив комнату дымом, он бросал: "Ну, бывай..." - и уходил.

Во мне стала нарастать глухая ненависть к хозяину. Она пока еще тлела, но могла и вспыхнуть. Часто от ярости у меня сжимало глотку. Я немел, но терпел. С волками жить - по-волчьи выть... За стенами дома бежали тревожные, беспокойные ночи, на подполье обрушивались удары, я остро нуждался в человеке, с которым можно было бы поделиться думами, сомнениями, а меня встречало озлобленное, ослепленное ненавистью существо.

Каждое слово Пароконного намертво застревало в моем мозгу. "Погоди, рассуждал я, - придет и мой черед. Я тебе все припомню".

Иногда я старался завести разговор о будущем, о том, что всех нас ожидает, как сложится жизнь после войны. Ведь конец ей когда-либо придет. Хозяина волновали вопросы более непосредственные: добыть бы поросенка и поставить его на откорм.

В течение долгих пяти месяцев чуть не каждодневно, с упорством и фанатизмом проповедника он внушал мне, что все, чем мы жили до войны, дурной сон. Теперь пойдет жизнь по-новому. А как по-новому - он не задумывался.

Все это время он был подвижен, энергичен, хорошо настроен, хвалил оккупантов, готов был расшибиться перед ними в лепешку, не жалея ни своих сил, ни сил своей лошади, трудился на благо сельхозкомендатуры.

Но горе не обошло и его дом, стоящий на самой окраинной улице города. Как-то немецкая воинская часть забрала его конягу, а взамен дала несколько сотен оккупационных марок. Оказавшись безлошадным хозяином, он не без труда получил работу на городской бойне, обслуживавшей гарнизон. Его корова всегда паслась на суходоле позади усадьбы, и вот однажды пьяные гитлеровские солдаты прирезали ее, унесли мясо, а хозяину оставили рога и копыта. Но и это не изменило настроения Пароконного. Чего не бывает: война!

Перед рождественскими праздниками город облетела страшная весть: полевая комендатура и зондеркоманда устроили облаву в городе, схватили много девушек и молодых женщин и отправили их в район передовой для ночных радостей гитлеровским офицерам. Исчезла Елена. На неделю пропал и Пароконный. Ходили слухи, что одним из пяти возчиков, отвозивших женщин, был он.

Жена Пароконного Никодимовна - полная, вечно заспанная, с растрепанными волосами - день и ночь редела, отжимая кулаками слезы.

- Хватит... хватит, - успокаивал ее Пароконный. - Пропала - и снова заявится.

Я старался наводящими вопросами выяснить судьбу, постигшую Елену, но хозяин отмахивался:

- Тебе-то какая печаль?

В первых числах января, оставшись один дома, я полез на чердак. Мне надо было спрятать немецкую карту. Разыскивая подходящее место, я под слоем шлака неожиданно обнаружил сверток. Естественно, я не мог не раскрыть его. В старой дерюге оказались завернутыми несколько тысяч настоящих, не оккупационных, немецких марок, фотоаппарат, около десятка пачек сигарет, самопишущая ручка, чистая - без единой помарки - записная книжка немецкого происхождения.

Находка заставила меня призадуматься. Тревожное воображение сразу вселило в мою голову подозрения. Подсознательно, помимо моей воли, возникли вопросы: случайно ли это, не ведет ли хозяин подкоп под меня, за что его немцы благодетельствовали?

Мне припомнилось, что часто ночью, возвращаясь домой, я не заставал хозяина. Был и такой случай. Однажды ночью мне не спалось. Драма подходила и уходила. Что-то мешало мне уснуть. Я услышал, как щелкнул ключ в замке, как скрипнула дверь. Мне показалось, что хозяин покинул дом, а он, наоборот, вошел. И еще такой случай: разведчик Костя ожидал меня в двух кварталах от дома Пароконного. Покидая комнату, я видел хозяина мирно

почивавшим рядом со своей супругой, а когда возвратился, хозяйка лежала одна. Тогда я не обратил на это внимания, а сейчас... Сейчас дело другое.

Поведение Пароконного могло не вызвать подозрения у человека нейтрального, ни к чему не причастного. Но я-то не был таким. Неоформленные догадки шевельнулись в моей голове: хозяин связан с гестапо, меня он раскусил и, конечно, ведет за мной слежку. Быть может, я дал повод для этого, допустил неосторожный шаг, проговорился во сне. Последнего я всегда особенно боялся. Надо что-то предпринимать. А вдруг провалы в подполье произошли по моей вине?

Моя группа получила задание уничтожить ротенфюрера СС Райнеке. Он служил в зондеркоманде. На его совести было столько крови невинных советских людей, что в ней с успехом можно было бы утопить не только ротенфюрера, но и его команду. Он снискал себе известность холодного убийцы и насильника.

Мои ребята охотились за ним не один день, но безуспешно. Он, как и все эсэсовцы, редко по ночам появлялся в городе в одиночку. Но вот Костя пронюхал, что в бывшем Кировском переулке есть дом, который дважды посетил Райнеке. Костя узнал также, что в доме живут муж и жена - старики, в прошлом актеры, и их приемная дочь девятнадцатилетняя Люба. Она-то и оказалась магнитом для эсэсовца.

Решено было понаблюдать за домом. Наблюдали мы долго. И вот в середине февраля удача улыбнулась нам. Это произошло в понедельник шестнадцатого числа, помню, как сейчас. Костя сообщил, что эсэсовец вновь пожаловал в гости к актеру. Стояла ночь. Мы заняли сторожевой пост во дворе, за мусорным ящиком. Тишина, безлюдье. Кругом глубокий снег. Жестокий мороз остро жалил лицо, железный ветерок проникал в каждую шелку одежды и добирался до тела. Прошел мучительно долгий час, другой. Мы промерзли до костей и готовы были бросить к черту засаду. Но вот наконец дверь открылась и показался эсэсовец. Мы замерли на месте, точно охотничьи собаки на стойке. Райнеке постоял несколько секунд, как бы любуясь дрожащим сине-серебристым светом луны, закурил, попробовал что-то запеть и зашагал по переулку. Он был под основательным хмельком. Его слегка покачивало. Можно было тут же и пристукнуть его, но мы понимали, что этим навлечем подозрение на семью актера.

Мы покинули засаду и, прижимаясь к стенам домов, к заборам, делая перебежки, начали преследовать эсэсовца. Неуверенной походкой, мурлыча себе что-то под нос, эсэсовец дрейфовал по переулку. Снег звонко поскрипывал под его ногами.

Он свернул в улицу, пересекающую переулочек. Докуренная сигарета описала в воздухе дугу и исчезла в снегу. Недалеко перекресток. Последний перекресток на пути эсэсовца. Тут удобнее всего с ним расправиться.

Но судьба иногда лишает человека возможности выполнить то, что он твердо наметил, и это делает за него другой.

Случилось так и в памятную ночь шестнадцатого февраля, в понедельник. В двух шагах от перекрестка из калитки перед самым носом Райнеке возник немецкий солдат. Он ударил эсэсовца по лицу, сильно, наотмашь. Ротенфюрер глухо ойкнул и рухнул под стену дома, как куль с плеч грузчика. Солдат всем телом навалился на него. Секунду-другую эсэсовец бился под ним, потом издал вздох и затих.

Мы стояли в каких-нибудь тридцати шагах, прилипшие к забору, и изумленно наблюдали.

Солдат поднялся, вынул из кобуры эсэсовца пистолет и сунул его в свой карман. Затем сильно пнул ногой неподвижное тело и стал удаляться.

- Однако здорово шурует, - шепнул восторженно Костя.

- Да, пожалуй...

Что ожидает человека, поднявшего руку на эсэсовца, знали на оккупированной территории все, от мала до велика. Знали не хуже нас об этом и простые смертные немцы. Знал, несомненно, и тот солдат, что шагал сейчас по спящему городу, удаляясь от нас.

Но мы, советские патриоты-разведчики, не могли упустить такой необычный случай. Кем бы он ни был, этот солдат, в данном случае он наш союзник. Он работает на нас. Такие люди

нужны нам позарез. Да и почему не попытаться? Почему не рискнуть? Я владею немецким, Костя в форме полицейя.

- Пошли! - сказал я другу.

Поворот улицы ненадолго скрыл от нас солдата, но потом он показался вновь. Стараясь, видимо, сократить путь, он пересекал проходные дворы, шмыгал в темные подъезды и наконец выбрался на улицу, где жил я.

Мы решили остановить солдата криком по-немецки. Но тут опять-таки произошло непостижимое, непонятное. Поравнявшись с домом Пароконного, солдат взбежал на крылечко, пошарил в карманах шинели, извлек ключ, отпер дверь и исчез за нею.

Я и Костя вновь опешили. Что это значит? Уж не померещилось ли нам? В моем доме - солдат!

- Диковина! - пожал плечами Костя.

- Ступай! Разберусь сам, - скомандовал я.

Мне уже не было холодно. Проводив Костю, я вернулся, отпер дверь и, волнуясь, перешагнул через порог.

Передняя. Первая комната. Она освещена ярко горящей керосиновой лампой. Хозяйка почивает на своем ложе. Хозяин сидит за столом, обнаженный до пояса, и крутит сигарку. И кроме него в комнате никого. Один.

И только сейчас меня озарила догадка...

- Как дела? - обычным тоном осведомился я, потирая руки.

- А ничего... Живем-покашливаем.

- Так... - Я прошел в свою комнатушку, сбросил шапку, пальто, вернулся и сел за стол против хозяина. Непослушные ноги мои подрагивали.

Хозяин закурил, положил голые волосатые руки на край стола, сбывчил голову и исподлобья смотрел на меня. Я - на него. Мы критически разглядывали один другого, будто только что познакомились.

- Ты, кажется, уверял меня, что понедельник гибельный день? - рискнул я для начала.

- Чевой-та? - прикинулся непонимающим хозяин.

- Что? Уши заложило? А ты расковыряй!

Он метнул в меня косой взгляд, но промолчал.

- Надеюсь, ты не каждый понедельник разрешаешь себе такое удовольствие?

Хозяин не ответил. Он сунул сигарку в рот горящим концом, сплюнул, вытер ладонью широкогубый рот и выругался.

- Плохо, брат, когда человек не может скрыть своей профессии, продолжал я.

- Ладно... Мели, - глухо и зло ответил наконец Пароконный. На лбу его появились крохотные росинки пота.

- Ты поступаешь менее осторожно, чем следует, - гнул я свое.

- Мудришь ты сегодня... Притчами изъясняешься, - произнес хозяин, едва не подавившись этой фразой. - Ложись спать, - он зевнул, потянулся. Затем убавил свет в лампе, встал.

- Садись! - потребовал я, и это прозвучало так убедительно, что хозяин тотчас же водворился на прежнее место. Его кошачьи, глубоко сидящие глаза уставились на меня настороженно, враждебно.

- Откуда у тебя немецкая шинель?

Он вздрогнул, будто на него брызнули кипятком, но мгновенно собрался и, не спуская с меня глаз, ответил:

- На храпок не бери. Не с дитем играешься.

- Куда девал пистолет? - поинтересовался я.

Глаза хозяина превратились в бусинки и в полумраке были едва видны. Он подобрал губы, помолчал и предупредил меня:

- Не шуткуй, парень! Говори, да не заговаривайся. Об меня ушибиться можно.

Мы отлично понимали друг друга, но объяснялись на разных языках!

- Вот ты какой! - усмехнулся я.

- Какой есть...

- За что же ты убил Райнеке?

Хозяин отвалился на спинку стула. Он молчал, но его правая рука как бы упала и медленно заскользила к карману. Я разгадал его маневр. Я всегда считал, что момент, когда на тебя смотрит дуло пистолета, редко бывает приятным. Поэтому, решив опередить хозяина, быстро вынул свой "вальтер", положил перед Пароконным и сказал:

- Он тебе нужен? Возьми! Спусти только с предохранителя!

Хозяин не притронулся к моему "вальтеру", а лишь растерянно и недоуменно, как озадаченный ребенок, смотрел на меня.

Хорошее горячее чувство мгновенно прилило к моему сердцу. Я встал, обошел стол, приблизился к хозяину и положил руки на его голые плечи. Он вздрогнул.

- За что убил человека? - спросил я.

- Он не человек, - опустив голову, ответил Пароконный.

- За что, за что?

- Надо, - твердо сказал хозяин и, чтобы дать выход ярости, грохнул кулаком по столу. - Не он первый, не он последний.

Я обнял Пароконного и крепко поцеловал в сжатые губы. Он жадно схватил мою руку, прижал к своей щеке и прошептал всего лишь два слова:

- Тимофеич... Родной.

Сердце мое гулко колотилось в груди. Пароконный сразу стал мягче, оттаял, изменился за какое-то мгновение. Взгляд его посветлел. Он продолжал держать у щеки мою руку и молчал. Но как значительно и весомо было его молчание!

Мой гнев к нему, скопившийся за прошедшее время, осел, затух. Хозяин, этот человек с пятном, не вызывал теперь во мне ни неприязни, ни антипатии. Я не видел физических недостатков, уродующих его лицо. За считанные секунды он стал мне близким, дорогим.

Я высвободил свою руку, взял со стула хозяйкино пальто и накинул на плечи Пароконного. Он по-прежнему сидел не шевелясь, глядя в одну точку, и после долгого молчания тихо произнес:

- Вот ты какой!

Это были мои слова, сказанные только что. Видимо, Трофим Герасимович не смог подобрать других. Да и какое это имело значение?

Я взял стул, сел рядом с Пароконным. Спросил:

- Как же ты так неосторожно? А если бы не я, а другой видел?

Трофим Герасимович встряхнулся, посмотрел на меня помолодевшими глазами, развел руки в стороны и ответил:

- Я не господь бог. Вообще, конечно, промашку допустил. Невтерпеж стало.

- А обеспечил ты его здорово, - усмехнулся я, чтобы подбодрить его.

- Как умею, - и хозяин тоже усмехнулся.

Мы просидели вдвоем, с глазу на глаз, всю ночь и даже не заметили, как подкралась поздняя, неяркая утренняя заря.

Я слушал Трофима Герасимовича и сначала задавал себе вопрос: неужто можно так мастерски прикидываться врагом, а оказаться патриотом? Нет, не то. Хозяин не прикидывался. Местные чекисты не без оснований считали его человеком с пятном. Были для этого основания, и довольно веские. Сам Трофим Герасимович сказал мне об этом. Он шел не той дорогой. Долго шел. И под немцами остался неспроста. Были планы. Пакостные, гадкие планы. И будь они богом прокляты, эти немцы! Зверье! Ну ничего. Они тоже слезой умоются. Ударит час. Погоди! Сырые дрова тоже разгораются. Заставим их горячую сковороду лизать. Насмотрелся, натерпелся предостаточно. Хватит по самые ноздри. Теперь бить будет. Райнеке? А что Райнеке? Ведь это он сопровождал до передовой обоз с девочками. Он и еще четверо. А что они делали? Об этом ведомо одному ему - Пароконному. Два возчика приказали долго жить. Сказали слово - и вмиг сглотнули по пуле. И он бы сглотнул, да сдержался. Не так надо. У них оружие.

Первая ночевка по пути была в бывшей совхозной бане. Вот там эти собаки и начали измываться над девками. Двоих насмерть замордовали. И Еленку тоже. Была дочка, и нет ее больше. Эсэсовец Курт замучил. Волосатая обезьяна, впору Райнеке. Но теперь его подлая душа разговаривает с богом. Проучил его Пароконный. На второй ночевке, в деревне Сутяжной, сошлись их тропки. Возле старого колодца перехватил Трофим Герасимович пьяного Курта. Стукнул поганца маленько по макушке, а у него и глаза под лоб закатились. И желудок не ко времени сработал. Жаль вот - воду в колодце загубил таким пакостником. И Райнеке мог прикончить: пьяный тот был в стельку. А потом Трофим Герасимович одумался. Подозрительно. Один пропал, а другой убит. Не убил тогда Райнеке еще и потому, что твердо верил: убьет его в другое время. И время пришло. Тяжелый, правда, день - понедельник, гибельный день, а видишь, как все обернулось.

- Теперь у меня одна дорога, - закончил хозяин.

- Смотри, - предупредил я, - эта дорога ведет не в рай.

- Ладно, Тимофеич. Я не из пужливых.

9. Наперсток и Аристократ

Проснулся я от крепкого толчка в бок. Как человек тренированный, моментально вскочил, не успев еще ничего сообразить. Хмурое предзимнее утро лило серый свет в мою половину. Передо мной стоял хозяин Трофим Герасимович. В руке его светлел листок из ученической тетради.

- Свежая, горяченькая, - улыбнулся он и протянул мне листок. - Вышел по нужде во двор, а она болтается на ветру.

По крупному шрифту первого слова "Товарищи!" я догадался, что это листовка, выпущенная группой Челнока. Под текстом стояло: "Подпольный горком ВКП(б)". Еще вчера ночью ребята приняли от меня копию радиограммы, а утром уже готова листовка. В ней сообщалось, что наступление наших войск под Сталинградом завершилось окружением трехсоттысячной группировки немцев, возглавляемой генерал-полковником Паулюсом. Тем самым Фридрихом фон Паулюсом, который в сентябре 1940 года стал оберквартирмейстером в штабе сухопутных сил Гитлера, правой рукой начальника генерального штаба и принимал участие в разработке пресловутого "плана Барбаросса" - плана разгрома Советского Союза.

Горком призывал советских людей подниматься на борьбу. В нижнем правом уголке листовки значилось: "Тираж 10000 экземпляров". Я улыбнулся. Это шутка Челнока. Для него приписка двух нулей ничего не значит, а для оккупантов... Ого! Они с ног сойдутся в поисках всего тиража.

- Это правда? - спросил Трофим Герасимович, еще не веря такой крупной победе.

- Правда, - подтвердил я.

- Эх, мать твою... - круто завернул хозяин, оборвал себя и возбужденно закончил: - Пробыл час.

Сколько раз Трофим Герасимович

давал слово не сквернословить и все срывался. Поймав мой укоризненный взгляд, он почесал затылок, виновато пробурчал:

- Не сердчай, Тимофеич! От радости. Меня перевоспитывать надо, дурак я.

Я вернул ему листовку и попросил:

- Оброни где-нибудь. Она еще не отработала свое.

Трофим Герасимович кивнул, свернул листовку вчетверо, еще раз и упрятал в кисет.

- Одевайся, - бросил он и вышел.

Я стал одеваться. Одевался и думал. Сто листовок! Сто лоскутков бумаги, заполненных убористым шрифтом портативной пишущей машинки. А какой страшной силы взрывной заряд таят они! Часть, конечно, попадет в руки врагов. Ну и что же? И из врагов не все знают, что случилось под Сталинградом. В печати оккупантов пока только намеки и

недомолвки. Ну, а те, что минуют вражеские руки, те сделают свое дело. Пойдут цепочкой, от одного к другому, из дома в дом, из квартала в квартал, обойдут весь город, попадут в деревню. Сколько раздумий, светлых надежд, слез радости, доверительных бесед, откровений вызовет эта короткая правда! Вести с фронта поднимут опущенные головы, выпрямят согнутые спины, изменят походку людей, вольют уверенность в их сердца, зажгут огонь надежды в глазах!

Великое дело творит Челнок со своими ребятами. Его группа не охотится за гитлеровцами, не закладывает мин, не совершает поджогов. У нее свое дело. Она несет людям правду, ту правду, ради которой надо жить, бороться, побеждать.

Не так легко сообщать людям правду. Бумага и копирка не продавались в писчебумажных магазинах. И то и другое надо было найти. И ребята Челнока находили. Глухими ночами, при свете коптилки, в холодном подвале стучали чьи-то замерзшие пальцы по клавишам старенькой, разболтанной машинки. На это нужно не только терпение, но и мужество. Однако напечатать листовки полдела. Надо их распространить. А за обнаруженную листовку, как и за оружие, - расстрел. За все расстрел.

Молодец Челнок! Его задача - духовное вооружение людей. Он с ней справляется. И ребята его молодцы! Хотя что значит "ребята"? Это же неправильно. В группе Челнока, кроме него самого, нет ни одного мужчины. Одни женщины. Именно женщины. Самой молодой из них сорок два года, а самой старшей - самой проворной и бесстрашной - шестьдесят четыре. Это она, старуха, изловчилась под носом эсэсовцев забросить несколько листовок за колючую проволоку пересыльного лагеря. А всего в группе Челнока четырнадцать женщин. И каждая из них с достоинством называет себя пропагандисткой...

Об этом я думал, пока одевался и умывался. Пароконный ждал меня, сидя за столом.

Хозяйка подала варево из трех воробьев, подбитых Трофимом Герасимовичем накануне.

Когда мы расправились с ним, хозяин сказал:

- Хорошо, да не сытно.

- В поле и жук мясо, - заметил я.

- Коровяткин бы откусать. Сегодня сопру печенку на бойне, - пообещал хозяин.

Мы вышли из дому вместе. Трофим Герасимович почти всегда провожал меня, хотя дороги наши расходились в следующем квартале.

Ноябрь был на исходе. Сравнялось четырнадцать месяцев со дня оккупации Энска.

Первые морозы грянули на днях, до снега, и сразу сковали лужи, разъезженные дороги. Распутица улеглась. По реке пошло "сало". Окоченевшие деревья жалко съезжились. На обочинах и под заборами белела высохшая и поседевшая от мороза трава. По небу вяло текли облака. Пахло зимой.

- Как жалко, что человек не может приручить погоду, - высказал сожаление Трофим Герасимович. - Сейчас бы снегу по пояс. Запели бы они, как в сорок первом.

Мы наступали на распластанные листья. Они лежали недвижимо, прихваченные морозом.

Без нескольких минут девять я вошел в управу, в половине пятого покинул ее, а за пятнадцать минут до пяти остановился возле одного из домов на тихой, обсаженной деревьями Минской улице. Дом имел вполне серьезный, немного скучноватый вид. Старой кладки из темно-красного кирпича, под расшивку, на высоком фундаменте, с четырьмя окнами и ставнями и скромным парадным входом посередине, он напоминал всем своим обликом далекие, дореволюционные годы. На бронзовой, до блеска начищенной дощечке, привинченной к тяжелым резным дверям, значилось:

Франкенберг Карл Фридрихович

Доктор.

А немного пониже следовало пояснение:

Прием

Понедельник с 10 до 13 ч.

Среда с 12 до 15 ч.

Пятница с 15 до 18 ч.

Разрешение управы No 379

Сегодня была пятница.

Я утопил пальцем черную кнопку звонка. Дверь открыла малюсенькая курносая девушка в идеально чистом белом халате.

- Почтительно прошу! - пригласила она заученной фразой.

В просторной приемной, обставленной десятком стульев, сидела единственная клиентка, довольно пожилая женщина с испытанным размалеванным лицом и большими нагловатыми глазами. Нетрудно было сообразить, что доктор занят и она ждет своей очереди.

Я разделся и подошел к зеркалу. Надо было привести в порядок волосы. Старое, местами проржавевшее зеркало, более пригодное для комнаты смеха, чем для приемной врача, не давало никакой возможности сделать правильный вывод о своей внешности. В светлых, самой разнообразной формы пятнах приходилось ловить то ухо, то глаз, то подбородок.

Причесываясь, я чувствовал затылком, что женщина разглядывает меня.

Потом я сел за круглый столик, заваленный газетами, и стал перелистывать немецкий иллюстрированный журнал. И теперь я ощущал на себе все тот же любопытно-изучающий взгляд.

Круглые стенные часы иноземной работы в замысловатом футляре мерно отбили пять ударов. Каждый удар звучал по-разному.

Из кабинета вышла девушка - та, что впустила меня, а за нею худой как смерть мужчина средних лет. Женщина с нагловатыми глазами шмыгнула в приоткрытую дверь.

Худой клиент тщательно обмотал шею шарфом. Девушка подала ему пальто и проводила на улицу. Потом она подошла ко мне и молча подала маленький темный флакончик с этикеткой. Точно такой же флакончик отдал ей я. Девушка кивнула и скрылась в боковой двери.

Это была наша радистка Женя, под кличкой Наперсток. Никто другой не оправдывал так своей клички, как она. Рост ее - сто сорок сантиметров. Ни больше ни меньше. Щупленькая, узкоплечая, с лицом, усыпанным веснушками, она не была ни интересной, ни привлекательной. Светлые, широко поставленные глаза чуть-чуть косили. Она обладала высшим для радистки достоинством даром молчания. Неулыбчивая, неразговорчивая, она без надобности никогда не вступала в разговор. Люди, умеющие молчать, обычно настораживают и отпугивают. К Жене это не относилось. Ее молчание вызывало любопытство, и с ней легко заговаривали.

Биография Наперстка тоже коротка, как и ее рост. Родилась в Минске в 1925 году в семье шофера. Отец и брат на фронте. Мать живет в эвакуации в Муроме. Женя в начале войны бросила школу и с трудом попала на курсы радистов. Уже была в тылу врага и имеет медаль "За отвагу". И все. А теперь живет у доктора Франкенберга. О том, как это произошло, стоит рассказать.

Карл Фридрихович Франкенберг, старый врач, немец, остался в Энске вместе с женой по нашей просьбе. Под кличкой Аристократ он стал участником разведгруппы.

Пять месяцев назад жена доктора, страдавшая циррозом печени, умерла. Почти месяц Карл Фридрихович прожил один. Он сам готовил себе, убирал три большие комнаты, мыл полы, ходил по воду. Ему было тяжело. Тогда-то и появился курьер Решетова и сообщил, что в Минске нас ожидает Женя.

В преданности Карла Фридриховича, его умении хранить тайны никто из нашей тройки не сомневался. Доктор прошел испытательный срок и блестяще оправдал наши надежды. Не сомневались мы и в том, что дом одинокого доктора является для радистки прекрасным укрытием. И тогда родилась идея водворить Женю к Аристократу, легализовать ее. Но для этого требовались документы.

Когда я высказал Карлу Фридриховичу свои соображения, он постарался заверить меня, что все обойдется как нельзя лучше. Разве он не соплеменник всех этих обер-лейтенантов, гауптманов, шарфюреров и прочих фюреров? Разве не течет в его жилах такая же, как и у них, арийская кровь? А это не тяп-ляп... А то, что он и его отец родились не в Германии, а в

России, ровным счетом ничего не значит. Немец, где бы он ни родился я жил, не перестает быть немцем. Так сказал сам фюрер. Он больше сказал: десятки тысяч немцев, разбросанных по всему свету, - это его опора и потенциальная сила. Были и другие положительные факторы. Кто, как не бургомистр города господин Купейкин, разрешил ему, доктору, частную практику? Кто, как не комендант города, уговорил его, Карла Фридриховича, работать в немецком офицерском госпитале? Кто, как не комендант, освободил его дом от постоев? Кто, наконец, как не тот же комендант, выразил письменное персональное соболезнование в связи с кончиной супруги доктора?

Я благословил Карла Фридриховича на подвиг ратный.

Минуя здравотдел управы, минуя бургомистра города, доктор явился пред грозные очи самого коменданта города майора Гильдмайстера и слезно излил перед ним свою душу. Излил - и нашел отклик в сердобольной душе майора. Карл Фридрихович получил пропуск для проезда по железной дороге в Минск и обратно. Он получил письмо в минскую комендатуру. Гильдмайстер просил своих минских коллег оказать помощь почтенному доктору Франкенбергу в поисках его дальней родственницы по жене и вывозе ее из Минска в Энк. Вот коротко и вся история.

Последняя клиентка покинула кабинет. Выждав, когда закроется за нею дверь, я вошел. Карл Фридрихович стоял у мраморного умывальника и тщательно намыливал руки. На нем был халат и докторская шапочка, эти неизменные атрибуты его профессии.

- Вы не догадываетесь, какой недуг снедает прелестное создание, только что покинувшее кабинет? - спросил он меня вместо приветствия, имея в виду клиентку с большими глазами.

Я усмехнулся:

- Откуда же мне знать?

- Си-фи-лис! Классический сифилис. Подхватила на сорок пятом году жизни и совершенно бесплатно. Экое свинство!

- Да, глупо, - заметил я. - Будто раньше не имела для этого времени.

- И поверьте мне, ее свалит тиф. На ней вши. А вошь - это бич человечества. Известно ли вам, что вши и комары унесли на тот свет людей больше, чем самые крупные сражения?

- Нет, - признался я.

- А это прискорбный факт, - он вытер руки, подошел ко мне, повернул меня к свету: - Так... Дайте-ка я погляжу на вас. Похудели. Есть хотите?

- Да нет...

- Уверены?

- Не особенно.

- Во всяком случае, так уж твердо настаивать на этом не будете?

- Пожалуй.

- Отлично. Женюрка! Ангел мой!

Ангел не заставил себя долго ждать.

Карл Фридрихович склонился над Наперстком, поцеловал ее в лоб и попросил:

- Сообрази-ка что-нибудь. У нас кровожадное настроение.

Наперсток кивнула и молча удалилась. Мы сели тут же в кабинете, обставленном различным медицинским оборудованием, белыми застекленными шкафами и даже операционным столом.

Карл Фридрихович, невысокого роста, тоненький, миниатюрный, удосужился к шестидесяти семи годам сохранить изящную фигуру юноши. Его отличали некоторый налет старомодности и лучшие манеры вымерших аристократов, хотя ничего аристократического в его роду не было. Он обладал врожденной деликатностью, держал себя учтиво и предупредительно. Исконно народные черты характера немцев: точность, аккуратность, трудолюбие - Карл Фридрихович возводил в величайший жизненный принцип.

Карл Фридрихович сидел со мной рядом, потирая сухие бледные руки, и молчал. На лице его проглядывала то ли усталость, то ли рассеянность.

- Что-нибудь случилось? - спросил я и положил свою руку на его колено.
- Всегда что-нибудь случается, - тихо произнес Карл Фридрихович. Такова жизнь... Ночью умер мой старый друг доктор Заплатин. Да... Константин Аристархович Заплатин. Вместе учились в гимназии. Кончали институт. Вместе работали на хуторе Михайловском. Он и перетянул меня сюда в сороковом году. Он здесь родился... Золотые руки. Ума палата. Отличный хирург и музыкант. А как людей любил! Он был проникнут к людям такой горячей любовью, что она мне казалась порой чрезмерной и не всегда оправданной. Позавчера был у меня... Пили чай... Как всегда, вспоминали прошлое. И ничего я не подметил. Ничего. А прошедшей ночью... Конец.

- Сердце? - спросил я.

- Яд!

- Покончил с собой?

Беседу прервала Наперсток. Она вошла и пригласила к столу.

Я спохватился:

- Дельце есть к вам, Карл Фридрихович.

Он шутливо отмахнулся:

- Простите. На голодный желудок я плохо соображаю.

В столовой было чисто и по-домашнему уютно. Чувствовалась рука Наперстка.

Втроем с завидным аппетитом мы уничтожили не так уж мало пожившую на свете говядину, изжаренную, как любил Карл Фридрихович, без всяких фокусов, прямо на сухой горячей сковородке. Съели вилок квашеной капусты. Попили чай. К чаю доктор достал из своего "стратегического" запаса по большому куску сахару. Это был деликатес, равноценный соли. Мы бросили сахар в чай, а Наперсток своими крепкими зубами покусывала его.

Когда Наперсток убрала со стола и вышла, доктор осведомился:

- У вас, кажется, есть ко мне дело?

- Да, Карл Фридрихович.

- Так выкладывайте.

- Если к вам обратится больной, страдающий закупоркой вен, вы сможете оказать ему помощь?

- Обязан. Ну, собственно, как понимать "оказать помощь"? Это же не фурункулу вскрыть. От закупорки вен надо лечить. Seriously лечить.

- Простите, я неверно сформулировал вопрос. Я и имел в виду лечение.

- То-то и оно. А от правильно поставленного вопроса зависит половина ответа. Но прежде я должен посмотреть больного.

- За этим дело не станет. Он немец.

- Даже? - Карл Фридрихович усмехнулся. - Вы хотите расширить круг моей клиентуры?

- Не только.

- А что еще?

- Больной представляет интерес. Мы попробуем нацелить его на вас. И надеемся, что вы сумеете снискать его доверие.

- Не много ли вы требуете от простого смертного?

- Ваши способности нам известны, милый доктор.

Карл Фридрихович комплименты никогда не принимал всерьез. Он сказал:

- Всякая слава имеет свои теневые стороны. Кто он, если не секрет?

- Уж какие тут секреты! Он занимает должность начальника метеослужбы на аэродроме.

- Ну что ж... Как вы сказали: "Попробуем нацелить"?

- Да, - улыбнулся я.

- Нацеливайте, а там будет видно.

Мы распрощались.

10. У Солдата новости

Обеда сегодня не было. Не было и того, что заменяло бы обед. Я и Трофим Герасимович сгрызли по небольшому черному сухарю и запили кипятком, настоящим на шиповнике. Потом я оделся и отправился к Геннадию. Я нес ему полученную от Наперстка радиограмму. Тысячеглазое звездное небо нависало над городом. Под ногами шелестела поземка. Хватка мороза за последние дни усилилась: наступил декабрь.

Я шел и думал о своем одиночестве. Андрей, например, нет-нет да и получал через Наперстка весточки от жены. Геннадий обзавелся новой семьей, а около меня никого. Иногда казалось, что так даже лучше: чувства и мысли не обременены заботами о близких, они посвящены целиком делу. Но это только казалось. Гораздо чаще, как и сейчас, меня угнетало одиночество. По-хорошему я завидовал Андрею и Геннадию, считал их счастливыми. Мне не хватало внимания жены, ее заботы, ласки. Я задавал себе вопрос: будет ли опять у меня семья? Встретится ли на моем пути женщина, ради которой я готов буду пожертвовать всем? И не знал, что ответить. Потом мысли мои вернулись к Трофиму Герасимовичу, которого я оставил расстроенным. Вчера ему удалось унести с бойни говяжью печеньку. Не сказав никому ни слова, он повесил ее на перекладине в сарае, чтобы приберечь до воскресенья и ошеломить нас сюрпризом. Сегодня утром, выйдя во двор, он увидел черного кота. Тот что-то аппетитно лопал на снегу у забора. Кошачья утроба показалась Трофиму Герасимовичу подозрительно вздутой. Сердце его похолодело. Он распахнул дверь сарая и обмер: печенька исчезла. Как угорелый, он бросился за котом, но того и след простыл. Боже мой, что было! Я давно уже не видел своего хозяина таким озлобленным. Благодаря моей "воспитательной работе" с его уст все реже и реже срывалось непечатное слово, а тут он взорвался и полностью раскрыл все свои возможности. Он обрушился на немцев, краем задел хозяйку, чуть-чуть меня, но, конечно, больше всего попало разбойнику коту. В заключение Трофим Герасимович клятвенно побожился слопать кота вместе с потрохами.

Обидно, конечно, что кот опередил нас. Печенка есть печенка. Не так часто злая судьба балует нас ею.

Я пересек тихую, заснеженную площадь. До войны она звалась Рыночной. По воскресным дням здесь все кипело от колхозного люда. Сейчас площадь была пуста.

Вот и рубленый обветшалый домик, где нашел себе приют Геннадий. Наглухо закрыты ставни. Изгородь почти разобрана. Перед домом мерзнет одинокая старая суковатая береза. На белой коре ее четко обозначены большие черные пятна. Под порывами ветра раскачивается прибитая на высоком шесте пустующая скворечня.

Из предосторожности я прошел до конца квартала, задержался на углу, посмотрел по сторонам и вернулся к дому.

Меня впустила жена Геннадия. Она уже привыкла к моим воскресным посещениям и не удивилась раннему появлению. Впрочем, я был не первым гостем. За неубранным столом уже сидел Андрей и беседовал с хозяином.

- Кейфуете? - спросил я, присоединясь к компании.

- А что остается? - усмехнулся Андрей.

Я не видел его с неделю, но мне казалось, что очень давно, и был рад встрече.

- Ты не опоздаешь, Груня? - обратился Геннадий к жене.

- Да нет... Я сейчас, - она убрала со стола посуду и утиным крылом стала сметать крошки, рассыпанные на скатерти. Уже в летах, но еще крепкая и довольно моложавая, она была расторопна и энергична.

Наконец хозяйка оделась. Прежде чем покинуть дом, она предупредила мужа:

- Если Петушок проснется, напои его молоком. Бутылочка в духовке.

Геннадий заверил, что все будет в порядке, и запер за нею дверь. Потом зевнул и потянулся. Он за это время подобрел, лицо расплзлось.

Я отдал ему радиограмму. Геннадий повертел ее в руке, подумал о чем-то и пошел во вторую комнату расшифровывать. Меня всегда это раздражало. Даже такой небольшой деталью он старался подчеркнуть, что старший над нами и располагает недоступной для других тайной.

Я заговорил с Андреем.

- Как у тебя?

- Нормально. Уже двенадцать хлопцев. Четыре тройки.

Это относилось к успехам Андрея в роли "вербовщика" абвера. Задание немцев он выполнял не торопясь, и поступал правильно. Высокие темпы могли вызвать недоверие гауптмана Штульдрейера, человека довольно умного и понимающего, что в чужом, незнакомом городе нельзя так быстро приобрести связи, войти в доверие к людям и тем более склонить их к работе на вражескую разведку. И Андрей первого кандидата привел на явочную квартиру гауптмана совсем недавно, месяца полтора назад. Затем гауптману был представлен второй и третий. Это были старшие троек. После капитальной беседы со Штульдрейером каждый из них подбирал себе еще двоих - конечно, из числа рекомендованных нами. На этом функции Андрея иссякали. Так полагал гауптман. Но он заблуждался. В действительности связь Андрея со старшими троек не прекращалась. Он встречался с ними, получал подробную информацию, ставил перед ними определенные задачи. Мы знали, что наши ребята живут тройками на конспиративных квартирах абвера, что их обучают разведчики гауптмана Штульдрейера.

- Когда же гауптман думает толкать их на нашу сторону? поинтересовался я.

- Первая тройка, по всем признакам, пойдет недельки через две-три, но, кажется, не через линию фронта, а в партизанскую зону.

- Вот как!

- Тоже неплохо, - заметил Андрей. - А как с Пейпером?

- Посылай его к Аристократу, если уверен, что он согласится.

Андрей был уверен. Тромбофлебит доставляет большие муки Пейперу, а врачи военного госпиталя отказываются лечить. Да и не до этого им. Других дел по горло: с фронта идут эшелоны раненых.

История с Пейпером заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов. Примерно месяц назад фельдкомендатура совместно с тайной полевой полицией направила в окрестный лес в целях разведки небольшую команду. Та наткнулась на партизанскую засаду и потеряла пятерых убитыми и двух попавшими в плен. Один из пленных - обер-фельдфебель, родом из Австрии, - на допросе объявил себя врагом Гитлера и даже антифашистом.

Причем предложил партизанам проверить его показания. В Энске, например, где стоит часть, в которой служит обер-фельдфебель, ему удалось встретить человека, которому он в буквальном смысле слова спас жизнь. Человек этот носит фамилию Пейпер и работает начальником метеослужбы аэродрома. А в действительности он не Пейпер и не австриец. Он немец, и его настоящая фамилия Шпрингер. Сменить фамилию и выехать из Германии в Австрию помог Шпрингеру он, обер-фельдфебель. И помощь эта пришла вовремя, так как Шпрингеру угрожал расстрел за убийство своего родственника - гестаповца.

Пейпер представлял для нас несомненный интерес. Мы задумались, как поудачнее подобрать ключ к начальнику метеослужбы аэродрома, и попросили Демьяна сохранить жизнь обер-фельдфебелю. Возможно, услуги его еще понадобятся.

Совершенно неожиданно Андрею удалось познакомиться с Пейпером. Как-то ночью в бильярдной один из игроков вышел из строя, проще говоря, почувствовал себя плохо. И уж кому-кому, как не маркеру, следовало проявить заботу о своем посетителе! Андрей водворил внезапно заболевшего в свою каморку, уложил на койку и попытался оказать первую помощь. Больной выразил благодарность, но сказал, что ему никто не сможет помочь. Ему нужен покой. У него закупорка вен на ноге. Тромбофлебит. И страдает им давненько. Предлагали операцию, но он уверен, что операция ничего не даст. В Германии, правда, он знает одного специалиста, тот лечил его вливаниями. И помогало. Но можно ли сейчас думать о лечении?

Больной назвал себя Пейпером. Назвал после того, как Андрей пообещал ему найти в городе специалиста, который сможет облегчить его страдания. Энск - небольшой город, когда-то уездный, но в нем жили хорошие врачи, бог даст, один из них уцелел. Пейпер был тронут

вниманием маркера. Заверил, что не останется в долгу. Теперь Андрей должен был направить Пейпера к Аристократу.

Нашу беседу прервал Геннадий. Он вошел злой, бросил на стол расшифрованную радиограмму и изрек:

- Попробуйте понять, что это значит?

Андрей взял листок бумаги и прочел вслух:

"Солдату. Ваших информациях много рассуждений. Нет фактов, а задача разведчиков добывание фактов, их проверка. Перестройте информацию и работу. Деятельность Перебежчика одобряем. Своевременно сообщайте о выброске троек. Запасный".

Солдатом, как известно, был Геннадий. Перебежчиком - Андрей, а под кличкой Запасный скрывался Решетов.

- А чего здесь непонятного? - осведомился я.

- Выходит, мы и рассуждать не имеем права? - вопросом ответил Геннадий.

- Почему? Имеем, - сказал Андрей. - Но только не надо эти рассуждения помещать в радиограммы.

- Никогда никому не угодишь, - буркнул недовольно Геннадий и стал сжигать листки с текстом.

- Чего ты в пузырь лезешь? - спросил Андрей. - Ведь Запасный давал нам ясные направляющие указания. Его требования четки и лаконичны: добывать факты, проверять степень их достоверности, находить взаимосвязь. А оценивать и систематизировать - дело не наше.

Геннадий махнул рукой:

- Ладно! Сейчас не до этого... Позавчера у меня был связной Демьяна, он понизил голос. - Провалилась группа Урала.

В комнате стало тихо, как в склепе. Казалось, дыхание смерти коснулось каждого из нас. Только ходики на стене своим мерным тиканьем нарушали тишину.

- Сначала схватили связного Крайнего, потом шестерых ребят, затем еще троих, наконец самого Урала. Двое оказали сопротивление и были убиты. Четверо уцелевших бежали из города и добрались до Демьяна.

Никто из нас не видел в лицо ни Урала, ни ребят из его группы. Но все, что следовало знать о них, мы знали, как знали все и о других подпольщиках. Группа Урала составляла ядро. На ней лежала вся тяжесть боевой работы, а теперь Урал и его ребята в тюрьме.

Вот она, новая беда. По нашим расчетам, самое страшное уже миновало, а выходит, только начинается. Теперь подполье уменьшилось на одну треть.

Когда долго идешь незнакомым лесом, начинает казаться, что вот-вот деревья расступятся и ты выйдешь на простор, а лес становится все гуще и гуще, и нет никакого просвета. Так было со мной в финских лесах. Об этом я подумал сейчас. Просвет обозначился, по нас настиг новый удар.

Мы долго молчали, подавленные случившимся. Удивление и соболезнования были неуместны. Молчание нарушил Геннадий. В итоге какого-то непостижимого для нас хода мысли изрек:

- Все мы смертны... Человек рождается независимо от его воли и желания и умирает - тоже. Родится он в крови и в крови умирает.

Я и Андрей недоуменно переглянулись. Что это значит? Как понимать?

- Надо уметь не только одерживать победы, но и переносить поражения, продолжал Геннадий. - Поражения одних ослабляют, а других ожесточают, делают сильнее. Если подполью будет всегда сопутствовать успех, оно в конце концов станет дряблым, небоеспособным и не сможет вести борьбу.

Он говорил, как полководец перед солдатами. Он, конечно, где-то вычитал эти чужие слова и решил, что они пришлись к месту и ко времени. Но это было горькое заблуждение. Выспренность, напыщенные фразы оскорбляли нас и тех, кто сейчас терпел муки в гестаповских застенках.

- И все? - зло спросил Андрей.

Геннадий набычился.

- То есть?

- Заткнись со своим красноречием.

Геннадий изменился в лице, хотел что-то сказать, но Андрей предупредил его:

- Вместо того чтобы подумать о завтрашнем дне, ты коптишь нам мозги какой-то идиотской философией.

Андрей вышел из себя, что с ним бывает редко. Почувствовал это и Геннадий.

- Я думал... - пробормотал он. - Я сообщил Демьяну, что на неопределенное время прекращаем связи друг с другом и с подпольщиками.

- Однако... - поразился я.

- Другого выхода нет, - гнул свое Геннадий. - Встречи наведут гестапо на наш след, и начнутся новые аресты.

- Значит, свернуть борьбу? Объявить зимние каникулы? - усмехнулся Андрей.

- Нам важнее сохранить остатки подполья.

Геннадий по-прежнему соглашался лишь в тех случаях, когда чужое мнение не противоречило его собственному. Он говорил "мы", в то время как ни Андрей, ни я не уполномочивали ею на это.

- Не согласен! В корне не согласен, - запротестовал Андрей, ж его увесистый кулак опустился со стуком на стол. - Прежде всего мы должны определить свое отношение к случившемуся. Позиция Иисуса Христа меня лично не устраивает.

- Пока я вас не понимаю, - перешел на "вы" Геннадий.

Андрей пояснил свою мысль. Если мы убеждены, что провалы закономерны и неизбежны, тогда остается одно: сложить оружие, бросить все к черту и сообщить на Большую землю об отказе от борьбы. За нас поведут ее другие. Но он, Андрей, на такую позицию встать не может. Он за то, чтобы выяснить причины провалов. Ведь есть же причины? Безусловно есть. Или это неосторожность, беспечность, халатность со стороны кого-либо, или предательство. Вероятнее всего, последнее. Мы много болтали на эту тему, но ничего против возможных предательств не предприняли.

- Что вы конкретно предлагаете? - прервал его Геннадий.

- Не перебивай! Брось эту свою дурацкую привычку. Научись слушать других. Враг наступает. Погибли Прокоп, Прохор, Аким, Сторож, Урал, Крайний. Погибло семнадцать человек, а ты требуешь прекращения борьбы на неопределенное время. Как это расценивать? От кого мы это слышим? От коммуниста, чекиста, члена горкома или от обывателя? Я считаю, что мы должны ответить врагу ударом на удар. Надо ввести в борьбу все резервы, мою группу, группу Брагина. Я за то, чтобы вместо группы Урала сколотить новую, с теми же задачами. Люди? Люди есть! Руководитель? Тоже найдется. Дим-Димыч Даст руководителя. Возьми хоть его хозяина. Думаешь, не справится с группой?

- Он беспартийный, - заметил Геннадий.

Андрей опять вскипел:

- Беспартийный! Да мы гордиться должны, что у нас есть беспартийные, которым можно доверять, как коммунистам. И последнее: я предлагаю всерьез и немедленно приняться за проверку всех уцелевших подпольщиков. Всех без исключения. И начать надо со связного Колючего.

- Почему с уцелевших? Почему с Колючего? Почему с конца? - спросил Геннадий.

- Трудно узнать что-то, не зная ничего, - отрезал Андрей. - Не станешь же ты проверять арестованных?

- Пословица гласит, что умные начинают с конца, а дураки кончают в начале, - добавил я. - Андрей прав. Демьяна еще летом насторожило, что гестаповцы, схватив Прохора, не тронули его связных Колючего и Крайнего. Он просил задуматься над этим.

- Крайний арестован, - уронил Геннадий.

- Так что же? Будем ждать, когда арестуют и Колючего?

- Мы не можем, не имеем права подозревать в каждом предателя, - сказал Андрей. - Но проверять каждого мы обязаны.

Геннадий молчал, усиленно потирая щеку. Он, видимо, решал трудную для себя задачу. И решал по-своему. Уйти от борьбы, ставшей невероятно опасной сейчас, было его желанием. Участие в ней до сего дня не требовало особого риска. Кроме меня, Андрея и связного от Демьяна, он ни с кем не встречался. Радиограммы ему доставлял я и относил от него к Наперстку. Возможность провала ничтожна. Геннадий мог спокойно ходить по городу, спокойно спать за своими плотными ставнями и даже спокойно целовать свою Груню. А теперь ему предлагали активную борьбу, и предлагали в такой момент, когда враг накинуд на подполье петлю и по одному душил патриотов.

- Ладно, - нехотя, каким-то упавшим голосом произнес Геннадий. - Твоим ребятам будет по плечу проверка?

- И его, и моим, и даже женщинам из группы Челнока, - ответил за меня Андрей. - Нужна взаимная, перекрестная проверка и перепроверка. Иначе мы не вырвемся из этого заколдованного круга.

- Хорошо, - опять согласился Геннадий. - Пусть будет так.

- И еще у меня такое предложение, - продолжал Андрей. - Связного Колючего надо сменить.

- Правильно! - одобрил я. - Он может быть на подозрении у немцев, как и Крайний, с того момента, когда арестован Прохор.

- Но ведь он поддерживает связь через "почтовый ящик", - возразил Геннадий.

- Крайний тоже имел дело с "почтовым ящиком", а все-таки его арестовали.

Геннадий кивнул:

- Что ж, заменим и Колючего.

Он говорил это таким тоном, будто выполнял чужую волю.

И в глазах его туманилась глубокая тоска. Я заметил ее, но не придавал значения. Мы были слишком взволнованы постигшим нас несчастьем и думали в ту минуту только о нем.

11. У Аристократа тоже новости

Тридцатиградусный мороз жег основательно. Я шел широким шагом, зябко поеживаясь. Ослепительно белым, кристаллическим блеском отсвечивал на солнце молодой, выпавший ночью снег. Стояла безветренная тишина. Флаги со свастикой у входа в комендатуру упали, будто налитые тяжестью. На главной улице горожане скребли тротуар. Горками возвышался плотный сколотый снег.

Наконец холод остался за стенами дома: я в приемной доктора. Поначалу тепло не ощущалось. Только немного погодя горячая кровь прилила к лицу, рукам, ногам.

Андрей сидел в компании знакомого мне очень худого клиента.

В том, что попаду на прием последним, я не сомневался. Но вот кто из них двоих - Андрей или худой клиент - первым пойдет к доктору, можно было только гадать. Мне хотелось, чтобы пальма первенства принадлежала худому. Я был кровно заинтересован в этом.

Из кабинета вышла дремучая старушка в сопровождении Наперстка. Андрей поднялся. Значит, его очередь. Я в душе выругал друга: как же он не рассчитал и пришел раньше худого клиента? И что теперь делать? Изобретать предлог для встречи?

Выручила Наперсток. Она обратилась к Андрею:

- Вам опять массаж?

- Да.

- Быть может, вы уступите очередь этому господину? - Она кивнула на худого клиента. - Ему вливание. Десять минут.

Андрей "великодушно" поступился очередью. Худой клиент хмуро и неловко поблагодарил его и скрылся в кабинете.

- Умница, - тихо проговорил Андрей, имея в виду Наперстка.

- Она-то да, - заметил я, еще не избавившись от досады.

- Я пришел рановато, - попытался оправдаться Андрей.

- Учти на будущее.

Спустя четверть часа мы слушали Карла Фридриховича.

- Был. Три раза был, - рассказывал он. - Все верно. Тромбофлебит. Хронический, поверхностный, нижних конечностей. Отеки. Боли, особенно при ходьбе. Обычная картина... Надо лечить. Хорошо бы покой, постельный режим, но все это роскошь, о которой сейчас можно лишь мечтать и больному, и врачу. Господин Пейпер был весьма удивлен, узнав, что я немец. Он, кажется, верил, будто русские в начале войны расстреляли всех немцев. Внимательно и как-то настороженно слушал меня, но о себе ничего не сказал... Я понимаю его.

- Так-так, - выражал я нетерпение. - Какое впечатление он произвел на вас?

Карл Фридрихович улыбнулся:

- Глупо, видите ли, пытаться определить характер человека по лицу. Тогда бы преступников узнавали на расстоянии. Я лично видел идиотов с высокими лбами мыслителей, встречал убийц с лицами вдохновенными, как у зодчих, попадались на моем пути подлецы и проходимцы с ангельским обликом, а мой учитель, профессор, умнейший человек, походил на обезьяну. Да! У него был узенький лобик с нависшими надбровьями, глубоко посаженные глаза и огромные уши. А ума - на десятерых. Так что тут и ошибиться нетрудно. А в общем, Пейпер выглядит человеком порядочным. И чем-то угнетен. Есть что-то у него на душе. Это я заметил по глазам. А так - обычный, средний немец. Да, зубы приметны! Они до того ровны и белы, что кажутся искусственными. Вот и все. А теперь, - доктор встал и отодвинул стул к стене, - прошу прощения. Кое-какие дела. И не уходите, у меня есть новость, и довольно занятная.

Мы остались одни с Андреем и продолжили разговор о Пейпере. Начальник метеослужбы заходил вчера к нему в бильярдную, благодарил, принес сигареты, консервы, приглашал к себе на квартиру.

- Мне трудновато, - пожаловался Андрей. - Он знает русский, как я эфиопский, а мне неохота показывать, что владею немецким.

- Понимаю.

- А разговор решительный нужен. Канитель разводить нечего.

- Но как организовать этот разговор?

- Любым способом, который окажется удобным. Тут я спокоен.

А я не был спокоен. Успех разговора зависел не только от нашего желания, но и от многих других причин и обстоятельств. Основа задуманного предприятия прочерчивалась ясно и четко: сыграть на нашей осведомленности, вынудить Пейпера пойти на откровенность, заставить работать на нас. Но как воспримет все это Пейпер? Не можем же мы, строя планы, надеяться только на удачу? А вдруг Пейпер покажет когти? Вдруг заартачится? Припугнет нас гестапо? Да и мало ли еще какие "вдруг" объявятся... Притом, кто должен пойти на решительный разговор с Пейпером? Кто подвергнет себя риску быть не только проваленным, разоблаченным, но и, возможно, арестованным? Если Пейпер не дурак (а почему он должен быть дураком?), то он, конечно, предпочтет избавиться от человека, овладевшего его тайной. Зачем ему нужен такой свидетель? Не лучше ли превратить его в молчаливого покойника? Так вот... Если все ясно, то кто же возьмет на себя деликатную миссию переговорить по душам с Пейпером? Быть может, Геннадий Безродный? Не годится. Плохо знает язык и вообще мелко плавает. Аристократ? Нельзя. Он не просто содержатель явочной квартиры, но еще и опекун Наперстка. Андрей? Остается он... Странно. Самое трудное и опасное приходится возлагать на того, кому ты больше веришь, кого любишь, кто тебе дороже, ближе, роднее. А почему, собственно, Андрей? Да, почему? Почему не я?

- Знаешь, Андрюха, - начал я. - Пейпера поручим мне. Я с ним найду общий язык.

Андрей покачал головой:

- Одному нельзя. Надо вдвоем. Я уже думал об этом, ставил себя на его место. Пойдем вместе. Так лучше. Сразу все решим при нем. Понимаешь?

Я кивнул.

- Согласен?

- Да. А где провести разговор?

- У него. Он живет на частной квартире. Надо только хозяина прощупать. Что за птица?

Условившись об очередной встрече, мы встали, готовые покинуть комнату, но тут появилась Наперсток.

- Карл Фридрихович просил не уходить, - объявила она. - Будем пить чай.

Пришлось подчиниться. Мы прошли во вторую комнату и сели за стол. Доктор был верен себе. Ни одного раза он не выпускал нас из дому, не накормив. Карл Фридрихович считал долгом делиться с товарищами своими запасами.

Когда на столе появился исходящий паром чайник, в комнату вошел, потирая руки, сам Карл Фридрихович.

- Не поверили, что у меня новость, и хотели уйти? - обратился он к нам.

- Почти не поверили, - признался Андрей.

- Подумали, что старик изобрел предлог попить чайку? - продолжал доктор.

- Что-то вроде этого, - сказал Андрей.

Карл Фридрихович укоризненно покачал головой.

Наперсток начала разливать чай. Я положил себе в тарелку несколько горячих картофелин.

- Хочу поведать вам одну историю, - начал доктор, не прикасаясь к еде. - История не из моей жизни, а из жизни друга - покойного доктора Заплата. Но я был ее свидетелем. А если говорить точно - участником. Как и всякая история, всплывающая на поверхность сквозь туман времени, она окутана таинственностью.

- Сразу заинтриговали, - заметил Андрей.

- И даже аппетит испортили, - добавил я, расправляясь с картошкой.

А Карл Фридрихович продолжал рассказывать. Случилось все осенью, до войны, в хуторе Михайловском, в субботний вечер. Он, Карл Фридрихович, был гостем доктора Заплата по случаю дня его рождения. Тот жил одиноко. Поздравить зашли еще несколько сотрудников больницы, где работал Заплатин. К полуночи все разошлись, а Карл Фридрихович остался ночевать. Погода стояла препакостная, плестись через весь город в такую мокрядь не хотелось. Улеглись спать, а перед рассветом обоих разбудил стук в дверь. Заплатин надел халат и вышел в переднюю, включив на ходу свет в двух комнатах. Карл Фридрихович лежал на диване. Через минуту Заплатин вернулся, но не один, а с незнакомым человеком. Незнакомец переступил порог, сделал шаг, другой, потом закачался и, попятившись, припал к стене. Он был без головного убора, волосы мокрые и всклокоченные. Пальто измято, испачкано грязью. "Мне плохо, прохрипел незнакомец, - помогите. Только не в больницу. Я отблагодарю". После этой короткой фразы он закатил глаза и стал скользить по стене. Карл Фридрихович вскочил с дивана и бросился на помощь Заплатину. Общими усилиями они подняли человека и положили на диван. Незнакомец был без сознания.

Карл Фридрихович прервал рассказ и попросил Наперстка налить ему чаю. Нам он лукаво подмигнул:

- Интересно для начала?

- Очень, - заверил я.

Андрей промолчал, но лицо его выражало крайнее изумление, словно рассказ касался не какого-то там незнакомца, а самого его, Андрея Трапезникова.

Карл Фридрихович отпил несколько глотков того, что я именую по привычке чаем, погрел пальцы о горячий стакан и продолжал рассказ.

Незнакомец имел сквозное пулевое ранение и перелом руки. Если бы все это произошло в доме Карла Фридриховича, можно заверить, что пострадавший, невзирая на его просьбу, через несколько минут оказался бы на больничной койке. Законы издаются для всех. Но у Заплата были странности. Он оставил раненого у себя и превратил квартиру в филиал больницы. Человек нуждался в срочной квалифицированной помощи, и эту помощь ему оказали два врача. На спине незнакомца оказалась аккуратная маленькая дырочка. Тут вошла

пуля. На поверхности грудной клетки зияла большая кровоточащая рана. Тут пуля вышла. Она прошла верхнюю долю легкого и этим осложнила дело. Плевральная полость была заполнена кровью. Пришлось наложить давящую повязку. Не лучше обстояло дело и с рукой: открытый, загрязненный перелом кости левого предплечья с повреждением крупных кровеносных сосудов. Потребовалась перевязка, накладка гипсовой повязки с открытым окном... Короче говоря, незнакомец пролежал в доме Заплатаина чуть ли не месяц. Карл Фридрихович видел его еще два раза. Он не назвал себя, но обещал по выздоровлении объяснить Заплатаину историю, в которую попал. Но объяснения не последовало. Он исчез. Исчез неожиданно и бесследно.

Карл Фридрихович вновь прервался и начал отхлебывать чай.

Андрей уже не сидел. Он шагал по комнате, глубоко засунув руки в карманы. Когда доктор прервал рассказ, он подошел к столу, ухватил руками спинку стула так, что побелели суставы, и спросил:

- Вы помните дату, когда явился ночной гость?

Я перевел взгляд с Андрея на Карла Фридриховича.

- И помнить нечего, - ответил доктор. - День рождения моего друга двадцать восьмого октября. Такие даты не забываются.

Взволнованный Андрей посмотрел на меня:

- Ты понимаешь?

- Ничего абсолютно.

- Двадцать восьмого октября в поезде мне нанесли ножевой удар.

Силы небесные! Кусок застрял у меня в горле. Неужели возможно такое совпадение?

Андрей вновь забежал по комнате, потом плюхнулся на стул, схватил Карла Фридриховича за руку:

- Ради бога! Вспомните, каков он из себя. Это очень важно.

- Понимаю, - кивнул доктор. - Теперь уже вы заинтриговали меня.

Незнакомец, по описанию доктора, был среднего роста, коренаст, крепко сложен, широкоплеч, лицо жестковатое, но с правильными чертами.

- Он, Дункель! - воскликнул Андрей.

- Да, пожалуй, - согласился я.

- Что вы сказали? - обратился доктор к Андрею.

Но Андрей был до того взбудоражен и взволнован, что вместо ответа сам задал вопрос:

- Карл Фридрихович! Почему вам на ум пришла мысль именно сегодня и именно нам рассказать эту старую историю?

- Простите, - как-то смущенно проговорил доктор. - Дело все в том, что этого человека сегодня утром я встретил в городе.

Я и Андрей некоторое время смотрели молча друг на друга, думая об одном и том же: "Дункель в Энске!"

Первым прервал молчание Андрей:

- Он вас тоже узнал?

- Не думаю. Нет-нет. А я его сразу. И вот еще что, - спохватился доктор. - У этого субъекта есть дурная привычка. Он любит пользоваться зубочисткой, когда надо и не надо. Я видел его не за едой, и было неприятно смотреть, когда он энергично ковырял в зубах.

- Дункель! Дункель! - снова воскликнул Андрей. - Неужели он тут обосновался?

Я развел руками Трудно сказать.

Мы просидели в этот раз у Карла Фридриховича очень долго. Пришлось поведать ему историю Дункеля, поскольку она уже не составляла никакой тайны. Потом Андрей пошел к себе в бильярдную, а я решил пойти к Геннадию для зашифровки очередной радиограммы. Надо было сообщить на Большую землю о появлении в Энске Дункеля.

12. Визит к Пейперу

- Тайну эту знали лишь двое, - тихо проговорил Пейпер.

- Теперь будут знать четверо, - заметил я.

- Выходит, так, - согласился Пейпер.

Мы сидели без света в комнате, которую он занимал. Быстро падала долгая декабрьская ночь. За окном темнела узкая улица, покрытая снегом Пейпер не зажигал лампу: в полумраке беседовать было значительно легче, все чувствовали себя как-то свободнее. Пейпер был подготовлен к моему визиту. Наш план несколько изменился. За несколько дней до этого Андрей, пользуясь приглашением Пейпера, побывал у него в гостях, а когда уходил, по секрету кое-что сказал. Он сказал, что имеет в Энске знакомого русского, которому известно, что Пейпер вовсе не Пейпер, а Шпрингер и не австриец, а немец.

Можно было предположить, что Пейпер рассмеется в лицо Андрею и вытолкает его вон, скажет, что это не его дело - интересоваться биографией представителя оккупационных войск, или наконец потянет Андрея в гестапо, чтобы он не распускал язык. Получилось иначе.

Пейпер был потрясен. Новость ошеломила его. В течение нескольких секунд он не смог произнести ни единого слова и только шевелил беззвучно губами.

Мы дали ему возможность в течение нескольких дней пораздумать над своим положением. Андрей твердо рассчитывал, что Пейпер не сможет отделаться от нас молчанием. Так оно и вышло. Спустя четыре дня он зашел в бильярдную, заглянул в каморку Андрея и спросил:

- Кто он, тот русский?

Андрей сказал, что не уполномочен отвечать на такой вопрос.

- Быть может, вам известно, как он намерен распорядиться моей тайной?

- Я знаю одно, - пояснил Андрей, - он не станет делиться тайной с вашими соотечественниками.

- Вы уверены в этом? - тревожно поинтересовался Пейпер.

- Да.

- А мне можно повидать его?

- Безусловно.

- И познакомите меня с ним вы?

- Да!

- Я буду благодарен. Чем скорее это произойдет, тем лучше.

Зверь сам бежал на охотника.

Андрей не опасался, что Пейпер выкинет какой-нибудь неожиданный номер. Он относился к числу людей, не обладающих искусством управлять своим лицом. Лицо выдавало его мысли. И тем не менее, обдумывая план встречи с Пейпером, мы ориентировались не только на благополучный исход.

Что мог предпринять Пейпер? Он мог, рассуждали мы, привлечь верных друзей, заманить Андрея и меня к себе и расправиться с нами. А с нашей смертью умерла бы и опасность разоблачения, нависшая над головой Пейпера. Рассуждая так, мы решили обезопасить себя: сорвали две назначенные встречи и вошли в дом Пейпера лишь тогда, когда были уверены, что он один. Конечно, он мог поступить иначе: принять нас, а уже после этого подать сигнал. Мы учли и это. Мой паренек и паренек из группы Андрея вели наблюдение за домом и должны были предупредить нас в случае опасности.

Но все идет нормально. Мы познакомились, сидим, беседуем, курим.

Понимает ли Пейпер, что повлечет за собой наша осведомленность? Догадывается ли он, кто скрывается под личиной переводчика управы и маркера бильярдной из казино?

Думаю, что да. Пейпер производит хорошее впечатление.

- Ваше счастье, что тайной овладели мы, а не гестаповцы, - сказал я.

Пейпер усмехнулся, задвигался на стуле.

- Когда лев вырывает из когтей тигра жертву, то ей от этого не легче, проговорил он.

- Вы хотите сказать, - заметил Андрей, - что вам безразлично, кому бы ни проболтался оберфельдфебель.

- Боже сохрани! - запротестовал Пейпер. - Я сказал это для того, чтобы образнее выразить свое положение. Только для этого.

- Хорошо, - сказал я. - Не будем придирааться к слову. Вы сказали в начале беседы, что версия о покушении на родственника гестаповца несостоятельна?

- Да. Эту версию придумал я. Я обманул обер-фельдфебеля. Правда, тогда он не думал еще стать обер-фельдфебелем. Я не мог сказать ему правду... И разве я похож на убийцу?

Я и Андрей переглянулись.

- А нам вы можете сказать правду? - спросил я.

Пейпер развел руками. Смешно говорить об этом. Нам известно, что Пейпер не тот, за кого себя выдает, так почему бы нам не знать и того, что побудило его начать вторую жизнь?

- В прошлую войну, - начал Пейпер, - тот, кто сейчас носит фамилию Гитлера, был награжден "железным крестом". И вот из-за этой истории с крестом я тоже попал в историю. Пейпер стал подробно рассказывать, и, если верить ему, дело обстояло так. В прошлую мировую войну Гитлер служил под командой офицера-еврея Гутмана. Часть их действовала на Западном фронте. Как-то ночью подразделение Гутмана, продвигаясь вперед, захватило небольшой лесок, который по непонятным причинам без всякого сопротивления оставили французы. Гутман сообразил: если он быстро не предупредит своих артиллеристов, то они, рассчитывая, что в леске французы, обработают участок и накроют своих. Телефонная связь с тылом отсутствовала. Надо было посылать курьера И курьера с довольно резвыми ногами. Оставались считанные минуты. Гутман остановил свой выбор на Гитлере. И предупредил его, что если он успеет добежать до открытия артогня, то ему обеспечен "железный крест". Гитлер знал цену креста и бросился выполнять приказание. Он успел вовремя. Артиллерийский налет был предупрежден. Гутман представил его к награде. Дивизионное же начальство запротестовало. Оно считало, и считало правильно, что бег, даже рекордно скоростной, по своей территории еще не может служить основанием для получения боевого ордена.

Гутман оказался человеком упорным. Он сам добрался до начальства и доказал, что слово, данное офицером, должно выполняться. Гитлер получил орден. Получил благодаря стараниям офицера-еврея. Получил за резвый бег по собственной территории.

Прошло время, и ефрейтор стал фюрером.

Живых свидетелей "подвига" будущего фюрера уцелело десятка полтора. С одним из них Пейпер изредка встречался, с другими переписывался, о жизни третьих знал по слухам. В тридцать пятом году один из сослуживцев Пейпера, бывший ротный писарь, как-то забрел к нему на кружку пива и поделился своими опасениями. Выходило так, что уцелевшие свидетели "подвига" фюрера начали постепенно кончать расчеты с жизнью при довольно странных обстоятельствах. Так, один из них бесследно исчез, не оставив ничего о себе. Он поехал к брату, но до него не добрался и домой не вернулся; второй попал под автомобиль, хотя шел по тротуару; третий, работавший арматурщиком, свалился с восьмизэтажной высоты и превратился в мешок с костями; четвертого обнаружили рядом с женой на койке, отравленного газом; пятого вытащили из канализационной сети. И все это после того, как бывшие фронтовики на одну из демонстраций вынесли плакат, на котором босоногий фюрер гнался за убегающим крестом.

Ротный писарь, человек более осведомленный, был уверен и уверял Пейпера, будто Гитлер отдал приказ отыскать во что бы то ни стало свидетелей его "подвига" и прикончить их.

Пейпер, тогда еще Шпрингер, долго смеялся над своим товарищем: "У страха глаза велики! Нельзя так преувеличивать. Нельзя делать из мухи слона". А ровно через неделю после этого разговора бывший ротный писарь, часто хваставшийся тем, что под диктовку Гутмана печатал представление к награде на нынешнего фюрера, был жестоко избит возле своего дома какими-то мордастыми молодчиками. Не приходя в сознание, он отдал богу душу.

Шпрингер задумался. Да и как не задуматься! Живет человек один раз. Зачем же рисковать? И вот тогда ему попался на глаза юркий человечиска, предложивший свои услуги. Шпрингер перестал существовать. Появился Пейпер. Он бежал в Австрию, где и застала его

вторая мировая война.

Пейпер умолк и после внушительной паузы продолжал:

- Впоследствии я понял, что поступил правильно. Гестаповцы искали меня, допрашивали моих родственников и знакомых. Я никогда не был спокоен. Жил с сознанием, что в любую минуту могу быть разоблачен, уничтожен. Вы же понимаете: если воробья нарядить в перья сокола, он после этого маскарада не станет храбрее и не перестанет бояться ястреба.

Комнату заливал мрак. Мы уже не могли разглядеть лица друг друга.

Я слышал, как часто и неровно дышит Пейпер.

- Мое благополучие теперь зависит от вас, - произнес он.

- А наше от вас, - усмехнулся Андрей.

Пейпер подумал немного.

- Пожалуй, да. А что вы, собственно, хотите от меня?

- Мы надеемся стать друзьями, - ответил я. - Мы рассчитываем на вашу помощь.

- Понимаю, понимаю, - отозвался Пейпер. - Я слышал, что у профессионалов-разведчиков это именуется вербовкой на компрометирующих материалах.

- Если вы не согласны, - заявил я, - сочтем разговор оконченным. Считайте, что все это вам приснилось.

Когда я и Андрей покинули дом Пейпера, Андрей сказал:

- Получилось недурно, хотя вполне свободно можно было гробануться.

- То есть?

- Ну представь, что у Пейпера оказался бы другой характер.

Мы сняли с наблюдательных постов своих ребят и разошлись в разных направлениях. Дома я застал что-то вроде скандала. Хозяйка плакала. Она называла своего супруга непутевым идиолом, призывала на его голову всяческие ужасы. Мне не хотелось быть свидетелем семейной ссоры, я прошел в свою комнату и лег. И тут услышал такое, отчего к горлу подступила тошнота. Дело в том, что позавчера в обед на столе появился нашпигованный и отлично зажаренный кролик. Где его зацапал Трофим Герасимович, одному богу известно. И жаркое, сготовленное Трофимом Герасимовичем, удалось на славу. Втроем мы сели за стол, и после наших совместных усилий от кролика остались одни косточки. Мы хвалили инициативу хозяина, хвалили кролика, а что я слышу сейчас? Оказывается, мы съели не кролика, а того самого черного кота, который вероломно расправился с украденной печенкой.

Да, это правда. Хозяйка нашла голову, концы лап с когтями, пушистый хвост. Все это Трофим Герасимович припрятал в сарае. И он молчит.

Я постарался поскорее заснуть. Я серьезно опасался, что мой желудок, хотя и с опозданием, выразит протест.

13. Ошибка доктора

За два дня до Нового года, в среду, мне и Андрею вновь предстояло встретиться на квартире Аристократа.

Когда я вошел в приемную, часы показывали без четверти три. Андрея еще не было. Наперсток объявила:

- У доктора клиент. - И шепотком добавила: - Карл Фридрихович очень вас ждал. Он так взволнован.

Что могло взволновать доктора? Уж не нагрянула ли какая-нибудь беда? В последнее время неудачи так и подстерегают нас.

За несколько минут до ухода последнего клиента пожаловал Андрей. Мы некоторое время пробыли вдвоем в приемной, и он успел сунуть мне в руку аккуратно сложенную бумажку.

- Молодчага Пейпер. Это его, об авиации. Здорово, я тебе скажу. Решетов пальчики оближет.

Я взял бумажку.

- Ты что, не хочешь сам идти к Геннадию?

Андрей признался, что не имеет особого желания.

- Ну что ж, выручу друга.

Я спрятал бумажку в карман и стал просматривать газеты.

Не успел последний клиент переступить порог парадной двери, как в приемную вбежал Карл Фридрихович Франкенберг.

- Здравствуйте, здравствуйте, - приветствовал он нас, пожимая руки. Заходите. Тут одно неотложное дело. Прощу за мной.

Наперсток была права. Карл Фридрихович выглядел взволнованным, взбудораженным.

Он подвел нас к книжному шкафу, протянул вперед руку и спросил:

- Видите?

Я и Андрей кивнули.

- Что это такое?

- По всем данным, - портативная пишущая машинка в твердом футляре, ответил я шутливо.

- А почему внутри у нее что-то тикает? - подала голос из-за спины Карла Фридриховича Наперсток.

- Как это тикает? - удивился Андрей.

- А так, послушайте сами! - посоветовала Наперсток.

- Это ваша? - спросил я доктора.

Тот отрицательно покачал головой и сказал, что машинку эту принес и оставил здесь человек, которого мы зовем Дункелем.

Я сделал шаг, подошел к шкафу, взял футляр за ручку и приподнял. Он весил по крайней мере килограммов восемь-девять. Ухо, приложенное к самой стенке футляра, уловило едва слышное тиканье.

- Поставь на место! - сказал Андрей.

Я опустил машинку на пол, хотел открыть застезжку, но она была заперта и не поддалась. Голубенькая кнопочка, ясно видимая ниже замочной щелки, привлекла мое внимание. Должно быть, с ее помощью освобождался затвор, но инстинкт самосохранения предостерег меня от эксперимента. А вдруг...

- Вы говорите, что это оставил Дункель? Как это произошло? - спросил я.

- Сейчас об этом говорить не время, - прервал меня Андрей. - Там внутри работает часовой механизм. У вас есть погреб? - спросил он доктора.

- Да, во дворе, под сараем.

- Проводи меня туда, - обратился Андрей к Наперстку, взял машинку и вышел за девушкой.

Я последовал за ними.

У входа в погреб Андрей скомандовал:

- Ступайте обратно в дом. Я сам.

Побледневшая Женя тихо произнесла:

- Как же так... один.

Я ничего не ответил. Мы прошли на застекленную веранду, где уже стоял в накинутом на плечи пальто Кард Фридрихович. Он не задал нам ни единого вопроса я лишь взглянул почему-то на часы.

В глубоком молчании, устремив напряженные взгляды в черный провал погреба, мы застыли на месте. Слова были не нужны. Да и какие слова способны занять в такую минуту человека! Трудно представить себе состояние, охватившее каждого из нас. Мы не были объаты страхом. О себе, по крайней мере, я не думал, как не думали и Карл Фридрихович, и Наперсток. Мы думали об Андрее и торопили время. Торопили мыслью, торопили учащенным биением сердца.

Миновала, кажется, вечность, прежде чем Андрей выбрался из погреба. В руке у него была все та же машинка. Не видя нас, он поставил ее на дорожку, вынул платок и старательно вытер лицо.

- Теперь не страшно, пусть стоит, пригодится еще, - сказал он нам уже в доме. - Эта кнопочка выключает механизм.

Все облегченно вздохнули. Теперь можно было спокойно сесть за стол и дать волю словам.

- Рассказывайте, - потребовал у доктора Андрей.

- Видит бог, - начал Карл Фридрихович, - я был уверен, что тот, кого вы зовете Дункелем, не узнал меня при встрече. Я ошибся. Он узнал. Более того, моя скромная персона заинтересовала его. Он возымел намерение повидаться и побеседовать со мной. И лучшим свидетельством этого может служить данный презент.

- Но как это произошло? Где были вы?

- Я? - переспросил Карл Фридрихович.

- Минутку! - вмешался Андрей. - А что, если нам начать все с того, с чего началось, чтобы не возвращаться.

Никто не возразил. Слово получила Наперсток. Она рассказала, что впустила Дункеля в приемную, и он занял очередь третьим, после одного русского и Пейпера. Согласно правилам, новых пациентов полагается регистрировать. Женя спросила у новичка его имя, отчество и фамилию, чтобы сделать запись в книге. Дункель отнесся к этой формальности без восторга и осведомился: "Это обязательно?" Наперсток ответила, что учет больных ведется не ради любопытства, а по приказу коменданта города. Тогда Дункель назвал себя Помазиным Кириллом Спиридоновичем. Пока она записывала в книгу сведения и ходила докладывать Карлу Фридриховичу, Дункель завел разговор с Пейпером и говорил с ним по-немецки.

- Вот и все, - подвела итог Наперсток. Она оперлась локтями о стол, положила подбородок на ладошки и уставилась любопытным взглядом на заговорившего доктора.

- Я, честно говоря, поначалу растерялся, - признался Карл Фридрихович. - Во-первых, я был уверен, что он не узнал меня, а во-вторых, никак не ожидал его визита. Явиться в дом, да еще вот с этой штучкой в футляре довольно смелое предприятие. И главное, с места в карьер заявил, "Мне очень знакомо ваше лицо. Не кажется ли вам, что мы где-то виделись?" Мобилизовав весь запас храбрости, я внимательно и довольно пристально всмотрелся в его лицо и ответил неопределенно: "Вполне возможно. Я старый врач, с большой практикой и приличным стажем работы в разных городах и больницах. Через мои руки прошли, слава богу, десятки тысяч больных. Разве всех запомнишь?" Помазин поинтересовался, в каких городах мне приходилось работать. Я перечислил. Назвал и хутор Михайловский. Он на это никак не реагировал, но подчеркнул еще раз, что мое лицо кажется ему очень и очень знакомым. "Вполне возможно, мы виделись где-либо", - заметил я и спросил, в свою очередь, какие недуги привели его ко мне. Оказалось, что его тревожат частые тупые боли в области сердца и левого легкого и острая ломота в левом предплечье. Без моей просьбы он разделся до пояса, и я увидел знакомые следы огнестрельного ранения и перелома. Безусловно, он делал это умышленно, с расчетом, надеялся услышать мое признание: "А... теперь я все вспомнил! Вы тот самый!" Но я твердо держался прежней линии и ничем не проявлял интереса к следам ранения. А после осмотра сказал ему, что необходимо сделать рентгеновский снимок. Надо проверить и легкое, и сердце. Рентгеноустановка имеется только в немецком госпитале. Я туда вхожу и могу получить разрешение на снимок. Но я должен быть твердо уверен, что господин Помазин не подведет меня и придет в назначенный день. Вместе мы отправимся в госпиталь. Я действовал так, чтобы выгадать запас времени и согласовать свои поступки с вашими интересами. Помазин согласился и обещал прийти в девять утра в понедельник. На этом мы распрощались. Он зашагал к выходу, затем остановился и сказал: "Знаете что, доктор... С вашего разрешения, я оставлю машинку у вас до понедельника. Не возражаете? Неохота тащить ее с собой. Да и вы будете уверены, что в понедельник я непременно явлюсь". Я пожал плечами и не возразил. "Это же не сундук, а машинка! Пусть себе стоит". А потом Женюрка услышала это тиканье. Протирала пол и услышала.

- Да. На этот раз элементарное чувство осторожности изменило Дункелю, заметил Андрей. - Он сделал необдуманый шаг и проиграл его. Значит, он назвал себя Помазиным?

Наперсток подтвердила: да, Помазиным Кириллом Спиридоновичем.

- Как вы находите, - поинтересовался Карл Фридрихович, - я вел себя правильно?
- Ничего другого в вашем положении и придумать нельзя, - ответил Андрей.
- И в отношении понедельника тоже? - вновь спросил доктор.
- Конечно, - сказал Андрей. - Но теперь о понедельнике не следует и думать. Если бы Наперсток не услышала тиканья, то сегодня ровно в десять ночи дом взлетел бы в воздух. Взрывчатка заложена сильная. Часовой механизм поставлен совершенный.
- Значит, в понедельник он не придет? - разочарованно констатировала Наперсток.
- Да, - заметил я. - В этом не стоит сомневаться. - И тут мне в голову пришла мысль: - Товарищи! Бредовая идея!

Взгляды всех скрестились на мне.

- А вы знаете, что Помазин может явиться в понедельник?

Некоторое время длилась пауза.

- Вы серьезно? - полюбопытствовал доктор.

- Вполне.

- Ну-ну... Выкладывай! - заторопил Андрей.

Я изложил свою мысль. Конечно, если бы дом взлетел на воздух, Помазин бы сюда не явился. Но дом не взлетит ни сегодня, ни завтра. Вообще не взлетит. Что подумает Помазин? Он подумает, что в часовом механизме оказался какой-то дефект и мина не сработала. Я бы на его месте именно так и подумал. А коль скоро так, мину надо выносить из дому и изобретать другой ход.

- Вы рассуждаете разумно, - сделал мне комплимент доктор.

- А ведь ты прав, чертушка, - сказал Андрей. - Будь я на месте Помазина, я бы тоже приперся за чемоданом.

Все заерзали на стульях. Моя мысль заинтересовала друзей. Начали высказывать разные соображения и в конце концов пришли к решению. В воскресенье я и Андрей явимся к доктору и останемся у него на ночь. Все, что мы знаем о Дункеле, обязывает нас быть осторожными и действовать безошибочно. Если мой расчет верен, если Дункель-Помазин пожалует в понедельник к девяти утра, мы его встретим во всеоружии.

Потом Карл Фридрихович и Наперсток общими усилиями попытались по нашей просьбе воспроизвести внешний облик Помазина. Получалось, что мужчина он пожилой, лет сорока пяти - сорока шести, среднего роста, широкоплечий, широкогрудый, кряжистый, физически натренированный, темный шатен с удлинённым, овальным лицом и тонкими губами. Портрет Помазина очень походил на портрет Дункеля.

Весь остаток дня я не мог освободиться от мысли: почему Дункель решил расправиться с доктором Франкенбергом? Я выдумывал и подыскивал различные варианты ответов на этот вопрос, но они звучали неубедительно. Для меня было непонятно, чем руководствовался в своих действиях Дункель. В самом деле: какие причины, какие основания толкали его на убийство Карла Фридриховича? Я рассуждал логично и здраво. До войны Дункель являлся немецким агентом. В тридцать девятом году попал в сложный переплет, едва не оказался в наших руках и спасся лишь чудом: доктор Заплатин укрыл его в своем доме и вылечил. Об этом знал друг Заплатина Франкенберг. Если сейчас Дункель живет в Энке, то уж, конечно, по желанию своих прежних хозяев. И, следовательно, действует по их указке.

Но почему он должен платить черной неблагодарностью своим благодетелям, и в частности доктору Франкенбергу? Какую опасность представляет для него Карл Фридрихович? Естественно было бы ждать от Дункеля благодарности. Тем более, что Карл Фридрихович должен выглядеть в глазах Дункеля, как и он сам, человеком, питающим симпатии к оккупантам. А вместо этого вопреки логике и здравому смыслу Дункель вносит в дом доктора адский заряд. Непонятно! Да и роль Франкенберга в его истории слишком незначительна. Иное дело Заплатин. Тот держал его у себя длительное время, лечил. Стоп! Если Дункель решил расправиться с Франкенбергом, который, собственно, и не врачевал его, то почему оставил в покое доктора Заплатина? Я вспомнил о самоубийстве. Вспомнил, что Карл Фридрихович был удивлен и находил поступок своего лучшего друга по меньшей мере

странным. Заплатин, большой жизнелюб, прибегнул вдруг к помощи яда. И тут я впервые подумал, что доктор Заплатин мог покончить расчеты с жизнью не по собственному желанию.

За этими невеселыми мыслями застал меня звонок бургомистра: "Зайдите ко мне!" Когда я вошел в кабинет, господин Купейкин приподнялся с кресла и немного церемонно вручил мне конверт.

- Можете идти, - сказал он.

За порогом я торопливо вскрыл конверт. Внутри оказался пригласительный билет, отпечатанный на плотной глянцевой бумаге. Господин Купейкин выражал желание встретить новый, тысяча девятьсот сорок третий год в моем обществе.

14. Заседание горкома

В четверг, накануне Нового года, когда я шел на занятия в управу, меня догнал на площади Костя. Мы поздоровались, закурили и зашагали рядом. Ему надо было сообщить мне последние новости. Из лесу пришел Демьян и вместе с ним комиссар партизанского отряда Русаков. В шесть вечера состоится заседание бюро, на котором я должен присутствовать.

Мы пересекли площадь, исполосованную крест-накрест гусеницами танков и самоходок, и расстались.

Утро стояло ясное, солнечное, морозное. Ртутный столбик большого, известного всем горожанам градусника, каким-то чудом уцелевшего на фасаде полуразрушенного здания аптеки, опустился до цифры двадцать четыре.

Оккупанты готовились к встрече Нового года. В местной газете какой-то развязный писака, укрывавшийся под псевдонимом Доброжелатель, заверял граждан города, что в самое ближайшее время в каждой семье на завтрак будут натуральные сосиски. У казино пестрела огромная, в рост человека, ярко размалеванная афиша. Она обещала господам офицерам рейха много интересных номеров в новогодней программе. У солдатского клуба болталась афиша поскромнее: она гарантировала немецким солдатам праздничный подарок фюрера. Кинотеатр был закрыт. Объявление гласило, что картины сегодня и завтра демонстрируются "нур фюр ди вермахт" - только для военнослужащих. Готовились к празднику офицеры гарнизона, чиновники оккупационной администрации, эсэсовцы, гестаповцы.

То, что в Сталинградском котле истекали кровью сто тысяч их земляков, оккупантов не волновало. Они старались в разговоре не касаться этой щекотливой темы.

Приподнятое настроение царило и в управе. Бургомистр по просьбе сотрудников разрешил встретить Новый год в помещении управы. Занятия сегодня кончались на два часа раньше - я едва управился со своими делами. А дела заключались в обработке на немецком языке пространственных новогодних поздравлений. Писал их лично Купейкин. Адресовались они начальнику гарнизона и трем комендантам: полевой, местной и хозяйственной комендатур. Бургомистр был настолько озабочен результатами своего творчества, что поминутно звонил мне и спрашивал: "Хорошо ли выражена мысль, не добавить ли эпитетов, весомых слов и красок?" Один раз он даже заглянул в мою комнату и одобрительно улыбнулся.

Внимание, которое уделял мне Купейкин, и особенно его приглашение на домашний новогодний вечер подняло меня в глазах работников управы.

Итак, новый, сорок третий год я буду встречать в компании "хозяев" города!

На первый взгляд в этом, кажется, не было ничего особенного, но только на первый взгляд. А если хорошенько вдуматься, то мое посещение дома бургомистра предстанет как серьезное событие. Конечно, я не выдам себя. Я не подниму бокал за Советскую власть и ее победоносную армию. Не в этом дело. Дело в том, что разведчика-нелегала смертельная опасность подстерегает всюду, и особенно в обществе врагов, облеченных властью.

После полудня погода внезапно изменилась. Хватка мороза значительно ослабела: подул юго-западный ветер и посыпал снег.

Когда я возвращался домой обедать, крутила уже исступленная вьюга. Улицы города тонули

в белесой мгле. Ветер злобно метался из стороны в сторону, грохотал в развалинах, рвал вывешенные флаги, наваливал сугробы и перекатывал их с места на место. Острые снежинки и колкая крупа докрасна нахлестали мне щеки.

Подкрепившись ячменной кашей и выкурив сигарку в компании Трофима Герасимовича, я отправился на заседание.

Я не помню случая, чтобы бюро заседало дважды в одном и том же помещении. Каждый раз - в новом месте. Демьян строго следил за соблюдением этого правила. Сегодня члены бюро собирались в доме Геннадия Безродного. Сам Геннадий к началу заседания должен был вернуться с работы, а жена заступала в вечернюю смену.

По дороге, примерно в квартале от дома Безродного, я встретил Костю. Он и еще двое ребят, выбрав удачные позиции для наблюдения, должны были нести охрану заседания.

Когда я пришел, заседание уже началось. В первой комнате сидели Демьян, Челнок, Солдат, Перебежчик, комиссар партизанского отряда Русаков, связной Демьяна Усатый. Я был седьмым.

Члены бюро слушали Безродного.

Демьян сидел в углу, немного ссутулившись, обхватив колено руками, и дымил самокруткой. Цепким взглядом своих острых глаз он держался за Геннадия. Этот взгляд подчинял себе.

Первого руководителя подполья и секретаря горкома Прокопа я видел лишь однажды, до прихода захватчиков. На боевой работе ему не довелось проявить себя. А вот Демьяна, хоть он и находился в лесу, мы ощущали повседневно.

Только члены бюро знали, что Демьян - это Корабельников Сергей Демьяныч, кадровый партийный работник, попавший в Энск за три месяца до начала войны, Ему было неполных сорок лет. Сдержанный, суховатый, малоразговорчивый и, я бы сказал, немного скрытный, он не сразу и не всех располагал к себе. Обладая упрямо-настойчивым характером и твердой волей, он умел пользоваться правами и секретаря, и руководителя подполья. Решительно и неумолимо он проводил свою линию. И если можно было упрекнуть в чем-либо Демьяна, так это в крутом его характере и суховатости. Челнок, любивший пошутить, как-то сказал мне, что Демьян не тот парень, которого можно развеселить анекдотами.

На заседаниях он никогда не делал записей и пометок. Все, что надо, запоминал, и запоминал крепко.

План новогодних боевых ударов подполья, составленный Андреем и мной, был принят без изменений. Докладывал Геннадий, докладывал спокойно, уверенно: чужую работу он умел преподнести как свою. Но когда подошел к работе подпольной разведки и контрразведки, я подметил иронию в тоне Безродного. Вербовку Пейпера он не относил к нашим успехам. Больше того, считал, что в борьбу против немецких войск привлекать самих немцев рискованно. Немцам нельзя верить. Немцы - оккупанты. Они считают себя хозяевами, и идти на вербовку представителей оккупантов опасно.

- Вы благоразумны. Очень благоразумны, - бросил реплику Демьян.

Геннадий

повел плечами и сказал:

- Да и в конце концов, если говорить честно, вербовка Пейпера - случай. Не попади в руки партизан этот обер-фельдфебель - мы сейчас не говорили бы об этом. А нам, разведчикам, не пристало ориентироваться на случай.

- Между прочим, - тихо заметил Демьян, - случай помогает только людям с подготовленным умом. К такому выводу пришел ученый Пастер.

Геннадий насторожился.

- Вы хотите сказать... - искательно начал он.

Демьян не дал ему закончить и внес ясность:

- То, что я хотел сказать, я уже сказал. В пределах, оправданных здравым смыслом, мы должны рассчитывать на случай и рисковать.

- Видите ли, - не особенно уверенно проговорил Геннадий, - я считаю необходимым сделать своевременный крен в нашей разведывательной работе.

Он объяснил, в чем заключается этот крен. По его мнению, нас в настоящее время должен интересовать экономический потенциал Германии и возможности ее к длительному сопротивлению. И еще нам крайне интересно знать, насколько сплочена сейчас немецкая нация, какие трещины образовались в отношениях между рабочими, крестьянами и правящей кликой. А чтобы все это знать, мы должны приобретать маршрутную агентуру и направлять ее в Германию.

- Ясно, но нереально, - констатировал Демьян. - Заниматься сейчас стратегической разведкой поздно, да и ни к чему. Наша задача - разведка тактическая. Командованию фронта нужны сведения о расположении баз противника, аэродромов, перегруппировках, перебросках и передвижениях войск, концентрации их.

Мысли свои Демьян выражал четко, и они звучали убедительно.

- Ты давай нам то, что нам надо, - произнес своим раскатисто-рыкающим басом комиссар Русаков. - А к чему мне сейчас данные о потенциале, единстве и прочем? Этим пусть занимается генштаб.

Геннадий ехидно улыбнулся. Он был невысокого мнения о Русакове.

- Вот ты тут болтал о Пейпере, - продолжал Русаков. - Ты против таких вербовок. Какой же ты разведчик? Кого же ты хочешь вербовать? Быть может, сельского старосту или полиция? Вы послушайте, товарищи, что нам дал этот Пейпер. А ну-ка, друже, прочти, умоляю, - обратился он к Андрею.

Демьян кивнул. Андрей прочел первое письменное сообщение Пейпера. Он давал подробную дислокацию авиасоединений и частей, авиационных парков, обслуживающих авиацию подразделений на большом участке противостоящего нам фронта. К сообщению прилагалась карта с нанесенными на ней ложными немецкими аэродромами.

- Кто бы из твоих хлопцев, - вновь заговорил Русаков, - сообщил нам такое? Да никто! А между прочим, мне интересно, сам ты, дорогой, кого-нибудь привлек к разведке?

Русаков нащупал ахиллесову пяту Безродного. Желваки задвигались на скулах Геннадия. Он готов был сожрать Русакова с потрохами, но не знал, как к нему подступиться.

- Чего же ты молчишь? - подтолкнул его комиссар. - Или это тайна? Так мы же на бюро!

- А ты многих привлек? - выпалил вдруг Геннадий.

Русаков, этакий скуластый, широкобровый, с черной кадыкастой шеей, раскатисто рассмеялся. Глядя на него, засмеялся Челнок, улыбнулся Усатый.

- Вовлекать в разведку не мое дело, - ответил Русаков. - У меня своих дел - под самую завязку.

- Я думаю, все ясно, - заключил Демьян. - А теперь расскажите коротенько, что вы проделали для проверки подпольщиков и обнаружения предателя.

Геннадий именно коротко и сказал:

- Проверкой пока не удалось выяснить ничего заслуживающего внимания.

- Это нечестно, - подал голос Андрей.

Геннадий повернул голову. Брови его приподнялись.

- Ты думаешь, что говоришь? - спросил он Андрея.

- Да, имею такую привычку. И повторяю: ты ведешь себя нечестно, не так, как следовало бы коммунисту и члену бюро.

- Я протестую! - воскликнул Геннадий, апеллируя ко всем. - Здесь не место разводить склоки.

Члены бюро молчали.

Но Андрей, если уж хватался за кого-либо, то хватался крепко, намертво. Отцепиться от него было нелегко.

- Я считаю, - продолжал он с невозмутимым спокойствием, - что на бюро надо говорить откровенно. Как может Солдат организовать поиски предателя, если он считает, что провалы не являются результатом предательства, что они не только закономерны, но и неизбежны. Как он может докладывать о плане диверсионных ударов, когда, по его мнению, диверсия только мешает нашей разведывательной работе! Да и представление о разведработе у него

путаное. Он мечтает о засылке агентуры в Германию, а от вербовок немцев отмахивается как черт от ладана. Нельзя же с такими настроениями руководить.

На несколько секунд воцарилось молчание.

- Вы хотите сказать? - спросил меня Демьян.

- Нет. Сказано все.

- А ваше мнение?

- Я согласен с Перебежчиком.

- После провала группы Урала, - заговорил Демьян, - товарищ Солдат предлагал мне прекратить связь друг с другом и свернуть боевую работу. Я сказал ему, что это паникерство. Почва под ногами Геннадия неожиданно заколебалась. Он не был подготовлен к этому.

- Я честно высказал свое мнение, - попытался оправдаться он. - Или, по-вашему, нельзя иметь свое мнение?

- Пожалуйста, имейте, - разрешил Демьян. - Но выполняйте мои указания. Вы обязаны искать предателя. Провал группы Урала не эпизод, а звено из длинной цепи.

- А почему вы уверены, что в нашей среде предатель? - обратился Геннадий к Демьяну.

- Вот это да! - воскликнул Русаков. - Я бы не сказал, что ты очень сообразителен для руководителя группы.

- Какой есть! - огрызнулся Геннадий.

- Плохо, - заметил Демьян. - А мы хотим вас переделать.

- Я не нуждаюсь в этом, - с раздражением бросил Геннадий. Он не мог совладать с собой и сорвался с нужного тона.

- Тогда я предлагаю вывести Солдата из состава бюро, - медленно произнес Демьян. - Кто за это - прошу поднять руки.

Все произошло в считанные секунды. Геннадий не успел даже оценить происшедшее.

- И еще, - продолжал Демьян, - есть предложение освободить товарища Солдата от руководства разведкой и возложить это на Перебежчика. А Солдату поручим сформировать боевую диверсионную группу. Люди найдутся. И хорошие люди.

Сгоряча Геннадий продолжал гнуть свое, хотя не мог не чувствовать отношения к нему членов бюро. Он напомнил, что в старшие группы назначен приказом управления и бюро не вправе отменять его.

- И шифр я никому не передам, - вызывающе закончил он.

- Попробуйте, - пригрозил Демьян. - Мы подождем три-четыре дня, а потом обсудим вопрос о вашем пребывании в партии.

Дальше идти было некуда. Геннадий сразу обмяк, как проколота шинка, сел на ящик и в состоянии крайней растерянности пробормотал:

- Хорошо. Я сам. Мне выйти?

- Ну зачем же, - возразил Демьян. - Давайте, товарищ Челнок, докладывайте.

Демьян требовал от всех, чтобы именовали друг друга только по кличкам, и это было правильно.

Челнок зачитал листовку, воззвание к гражданам города и "поздравительные" письма пособникам оккупантов, подготовленные к распространению и рассылке. Люди из группы Челнока продолжали свою опасную и трудную работу, несмотря на усилившуюся слежку полиции и гестапо. Теперь дело не ограничивалось распространением листовок и воззваний. Пропагандистки Челнока вели беседы по домам, действуя на собственный страх и риск.

После Челнока я доложил бюро о выдвижении Кости и Трофима Герасимовича - Клещи - на роль старших самостоятельных групп. Костя фактически уже является старшим, под его началом успешно работают три человека.

Кандидатуры утвердили без возражений.

На этом заседание окончилось. Члены бюро разошлись, а меня и Андрея Демьян задержал. Он хотел знать подробности истории с Дункелем-Помазиным. Андрей рассказал.

- Не выпускайте его из пределов видимости, - посоветовал Демьян. Держите на прицеле.

Он считал, что Дункеля надо взять живым и воспользоваться его безусловно обширными

сведениями о немецкой разведке.

- А если затащить Дункеля в ваше убежище? - высказал предположение Демьян.
- Что ж, это осуществимо, - согласился я. - Дункель, по-видимому, явится к доктору за пишущей машинкой, там мы его и захватим.
- А если не явится?
- Должен. Логика того требует.
- Это ваша логика требует, - заметил Демьян, - а он думает по-своему.
- Все равно отыщем, - твердо сказал Андрей. - Теперь его в лицо знают трое: Аристократ, Наперсток и Пейпер.
- Хорошо бы. - Демьян скупно, но как-то мечтательно улыбнулся. - Надо добыть его.

15. Новогодний вечер

Я не мог опаздывать к бургомистру. Я явился точно в указанное на пригласительном билете время - в одиннадцать часов вечера.

До этого мне не приходилось бывать у Купейкина, но его адрес я знал. Он занимал второй этаж небольшого каменного, хорошо сохранившегося особняка. До войны в нем размещалась эпидемиологическая станция.

Жил Купейкин как у Христа за пазухой. Первый этаж особняка занимала городская полиция. Чтобы пробраться к бургомистру, надо было миновать вахтера, который поглядывал на каждого посетителя и проверял глазом - не схватить ли, не упрятать ли в кутузку.

Купейкина я увидел через окошко дежурного, он ожидал гостей и подал мне знак рукой: дескать, поднимайтесь наверх!

Дверь открыло единственное чадо бургомистра - его дочь Валентина Серафимовна. На ее длинном бледном лице я уловил выражение разочарования: она ждала, видимо, кого-то другого.

С деланной улыбкой Валентина Серафимовна приветствовала меня и пригласила в квартиру.

- Вы первый, - добавила она.

- Подчиненным положено приходить вовремя, - заметил я, раздеваясь.

Валентине Серафимовне минуло двадцать девять лет. Высокая, сухопарая, с осиной талией, она наряжалась всегда в короткие платья, чтобы демонстрировать свои ноги, которые являлись ее единственным украшением. В семье дочь Купейкина занимала независимое положение и считала себя самостоятельной женщиной. Она работала переводчицей в гестапо и должность эту купила страшной ценой - предала своего мужа, который по заданию войсковой разведки пробрался в Энк для сбора интересующих фронт сведений.

Валентина Серафимовна была вероломным, самовлюбленным и мстительным существом. Даже сотрудники управы, люди с подмоченной совестью, и те не могли ее терпеть и за глаза называли гремучей змеей.

Дочь хозяина провела меня в гостиную, извинилась и оставила одного. Я уселся на диван, утяжеленный высокой спинкой, зеркалом, полочками и шкафчиками. Уселся и оглядел комнату. Просторная, с высоким потолком, она была заставлена громоздкой разномастной мебелью. Сюда перебрались из чужих домов доживать свой век ломберные столы, дубовые горки, шифоньеры, кресла, качалки, стулья, подставки для цветов.

В четырех разных по цвету, стилю и габаритам шкафах, занимавших глухую стену, покорно дремали бог весть когда плененные книги в хороших переплетах. Давно, видимо, к ним не прикасалась человеческая рука.

Я призадумался. Под Новый год принято вспоминать прошлое, заглядывать в будущее. Но я думал о настоящем. Сегодняшний день, как и многие другие, для одних начался радостью, для других слезами, для третьих смертью. В то время когда заседал подпольный горком, оккупанты провели в городе обыски. Делалось это в профилактических целях. Среди горожан уже ползли слухи, что больше сотни человек арестовано. Невзирая на пургу,

начальник гарнизона приказал для устрашения населения в течение двух часов гонять по городу тяжелые танки. Они безжалостно перемалывали мягкий снег и обнажали черную мерзлую землю. Мои раздумья прервал звук шагов. Еще не старая, но бесцветная, убогая, страшно высохшая жена бургомистра ввела в гостиную субъекта огромного роста, с красной физиономией и очень неприятными манерами. Это был начальник городской полиции Пухов.

- Надеюсь, вы знакомы? - обратилась хозяйка к нам обоим. "Ну еще бы! Как же не знать такого человека, как Пухов?" Я встал, пошел ему навстречу и пожал здоровенную потную лапу.

- Вот и чудесно, - обрадовалась хозяйка и ушла.

Пухов выругался площадной бранью, прикрыл поплотнее дверь и сказал тонким, сиплым голосом:

- На кой дьявол устраивать эти сборища? Время ли сейчас? По городу рыскают подпольщики. Вот, смотрите, - извлек он из кармана несколько смятых листовок и подал мне.

- Опять? - спросил я.

- Опять!

Молодчага Челнок. Он уже приступил к выполнению новогоднего плана.

- И разные, заметьте! - продолжал Пухов. - А знаете, какое поздравление прислали господину Купейкину?

Я отрицательно покачал головой.

- Ужас! Обнаглели, мерзавцы, донекуда. Они пишут...

Что "они пишут" - узнать не удалось: господин бургомистр, его жена и дочь торжественно ввели начальника энского гестапо, штурмбаннфюрера СС Земельбауэра.

Честно говоря, я представлял себе начальника гехайместатсполицай* более величественным по внешности, а он оказался маленьким невзрачным человечком с птичьей головой, крохотным острым подбородком и вогнутыми внутрь коленками. Левое плечо было ниже правого, кожа на лице дряблая, бледно-серого цвета. Из глубоких впадин мерцали, точно угли, маленькие крысиные глазки. И вообще в его облике чувствовалось что-то крысиное. То ли долготелая профессия, то ли сознание своей силы делали выражение его лица невозмутимым.

* Гехайместатсполицай - государственная тайная полиция (сокращенно гестапо).

Он заговорил со мной на жестком и тягучем диалекте баварца, задал несколько ничего не значащих вопросов, а потом оскалил в улыбке свои крупные желтые зубы, повернулся на каблучках и бросил в лицо бургомистру:

- Вы пройдоха. Шельмец. Да-да.

Штурмбаннфюреру СС разрешалось говорить все, что приходило на ум.

Купейкин вылупил глаза и покраснел как рак. Его супруга застыла с полуоткрытым ртом. Валентина Серафимовна недоуменно глядела на своего шефа, силясь понять, как принимать это - в шутку или всерьез. На лице начальника полиции я прочел что-то вроде удовлетворения.

Гестаповец сам разрядил обстановку:

- Что же получается? Господина Сухорукова, отлично знающего наш язык, вы держите при себе, а я мучаюсь без переводчика.

- А я, господин штурмбаннфюрер? - с обидой в голосе и капризной миной на лице спросила Валентина Серафимовна.

Гестаповец отмахнулся:

- Вы не в счет. Личный переводчик-женщина - это неплохо. Прием, банкет, интервью и прочее. А когда надо серьезно говорить с мужчиной - и не час, не два, а всю ночь, - тут я предпочитаю переводчика-мужчину. И выезды. А ваше мнение, господин Сухоруков?

Я ответил, что в работе полиции ничего не смыслю. Но мне кажется, что допрашивать

удобнее всего на родном языке преступника, а переводчик - лишняя инстанция.

- О! Чушь! - воскликнул Земельбауэр. - В таком случае мне надо знать французский, польский, венгерский, чешский, словацкий, русский и еще черт знает какие языки. Надо быть полиглотом. А где же вы откопали господина Сухорукова? - спросил он бургомистра.

Купейкин ответил, что меня прислали из комендатуры.

- А вы не желаете работать у меня? - предложил начальник гестапо.

В короткое мгновение я представил себя в роли переводчика гестапо. Колкие мурашки пробежали по спине: страшно.

- Нет! - твердо ответил я после короткого раздумья.

Наступила тишина. Все насторожились. Ответ сочли не столько смелым, сколько дерзким.

Земельбауэр по-новому всмотрелся в меня своими крысиными глазками, оскалил в улыбке свои желтые зубы и неторопливо проговорил:

- Вы мне нравитесь, господин Сухоруков. Я вас запомню. У меня хорошая память. Мне редко кто говорит "нет". А почему "нет", можно поинтересоваться?

Я пожал плечами, постарался сделать застенчивую улыбку и ответил:

- В таком ведомстве, как гестапо, работать могут не все. Для этого нужны люди с крепкими нервами, железной волей и, главное, с призванием. А я ни одним из этих достоинств не обладаю. У меня ничего не выйдет. Я думой, мыслями, стремлениями - педагог.

- Хорошо, - одобрил начальник гестапо. - Вы мне определенно нравитесь. Я люблю людей прямых. А это чья? - переключился он сразу на другую тему и указал мизинцем на зимний этюд, украшавший стену.

Валентина Серафимовна взяла своего шефа под руку и повела к картине. Бургомистр, довольный тем, что моя персона привлекла внимание штурмбаннфюрера, приблизился ко мне, молча пожал руку повыше локтя и вышел из гостиной.

Пожаловали еще трое гостей: комендант города майор Гильдмайстер, начальник военного госпиталя доктор Шуман и высланный им навстречу секретарь управы Воскобойников.

Бургомистр впал в агитацию. Он переламывался в поклонах, расстилался ковром, готов был вывернуться наизнанку. Его тонкие и прозрачные, точно из воска, уши просвечивали, голые, без единой ресницы, веки торопливо хлопали. Купейкин старался всем угодить, всем сделать приятное. В каждом госте он видел что-то таинственное и могущественное. И заранее трепетал. Наибольший ужас наводил на него комендант города.

Майор Гильдмайстер, широкоплечий, высокий, держался подчеркнуто холодно. Глаза его, полуприкрытые припухшими веками, презрительно смотрели на мир. Он чувствовал свое превосходство над всеми. У него был длинный квадратный подбородок, лобастое лицо и немного вдавленный нос (последствия увлечения боксом). Слыл он офицером властным, решительным и неустрашимым. Со своими земляками он держал себя надменно-торжественно, а с русскими оскорбительно-вежливо. Северогерманский диалект выдавал в нем берлинца.

Второй гость выглядел проще. Это был старик лет шестидесяти, тяжеловесный, как слон, с отталкивающей внешностью и вставной челюстью. Среди гостей он оказался потому, что по жене состоял в каком-то родстве с министром пропаганды Геббельсом. С этим нельзя было не считаться. Начальник госпиталя без умолку болтал своими слюнявыми губами, рассказывал анекдоты вековой давности и сам первый смеялся над ними.

Жена бургомистра сочла необходимым направить новогодний праздник по должному руслу.

- Господа! Можно к столу, - прозвучал ее глухой голос.

Все встrepенулись, как по команде, но майор Гильдмайстер поднял правую руку и спокойно сказал:

- Я взял на себя смелость пригласить в этот дом своего близкого друга полковника Килиана. Он здесь проездом. Подождем минутку. Он украсит нашу компанию.

Слова эти были обращены не к хозяину и не к хозяйке дома, а ко всем, будто мы, гости, правомочны были решать этот вопрос.

Валентина Серафимовна захлопала в ладоши и этим выразила свое одобрение. Раздались

возгласы: "Подождем!", "Пожалуйста", "Время есть". Жена бургомистра пробормотала что-то по-немецки. Она знала несколько немецких слов и с большой опаской пользовалась ими. Вначале хозяева и гости стояли кучкой посреди гостиной, окружая коменданта, а затем по инициативе начальника гестапо и Валентины Серафимовны стала прохаживаться парами, как в фойе театра.

Секретарь управы Воскобойников шагал рядом со мной. Он поведал мне на ухо, что в числе приглашенных были начальник гарнизона, командир авиачасти, комендант полевой комендатуры, командир полка и два офицера абвера. Но никто из них, видимо, не придет. Бургомистр волновался и то и дело, поднимая ткань, маскирующую окна, поглядывал на улицу.

И вот наконец пожаловал близкий друг коменданта, ничем не приметный, пожилой, седоголовый полковник Килиан. На нем были тщательно отглаженные мундир и брюки. Стоячий бархатный воротник с окантовкой говорил о том, что полковник штабной работник. Но не Килиан привлек к себе общее внимание. Не он произвел впечатление и эффект, а молодая дама, его спутница. Лет двадцати шести - двадцати семи, просто и со вкусом одетая, она была свежа, женственна и привлекательна. Над ее продолговатыми глазами, излучавшими зеленый свет, четко вырисовывались тонкие выгнутые брови...

Нетрудно было убедиться, что никто из присутствующих не знал спутницу полковника.

Когда подошла моя очередь знакомиться, она подала мне маленькую крепкую руку, посмотрела на меня спокойным взглядом ясных глаз, и я понял, что не оставлю никакого следа в ее памяти.

Почти всех интересовал вопрос: кто она? Гости начали шушукаться, высказывать догадки и предположения. Жена ли это полковника, или родственница, или, наконец, знакомая - никто сказать не мог. Одно было известно: она немка.

Звали ее Гизелой.

Мне стало ясно, что гвоздем сегодняшнего вечера окажется не комендант, не начальник гестапо, а она, молодая спутница Килиана. Да такая женщина и не могла не быть центром внимания. Это понял не только я, но и Валентина Серафимовна. Она не сводила с незваной гостьи своих любопытно-злых глаз.

Все медленно направились в столовую. До Нового года оставалось немногим более десяти минут.

Майор Гильдмайстер и штурмбаннфюрер захотели сидеть рядом с Гизелой, а потому и усадили ее рядом с собой.

Я смотрел на стол и не мог оторвать взгляда. Ой, как давно не видел я такого изобилия! Здесь красовались ветчина, буженина, разносортные колбасы и сыры, рыба копченая, вяленая, соленая, отварная, жареная, паштеты, консервы, грибы, кулебяка, заливная холодная свинина и многое другое. Откуда все это добыл Купейкин? В каких тайниках хранились такие сокровища? Чье око оберегало их?

В ожиданий торжественной минуты гости раскладывали еду по своим тарелкам. Купейкин разливал вино. Когда подошла очередь Гизелы, он достал из буфета отдельную бутылку и сказал тихо, но торжественно:

- Только для вас. Сухое. "Корво ди Саллапарута", из Сицилии.

Гизела мило улыбнулась, кивнула и, подняв наполненный золотистым напитком бокал до уровня глаз, посмотрела на свет.

Мы наблюдали за каждым ее движением.

Майор Гильдмайстер взглянул на свои часы и поднялся с бокалом в руке.

- Ауф! Встать! - крикнул штурмбаннфюрер Земельбауэр и, выбросив руку вперед, пролаял: - Хайль Гитлер!

Ответили все, не особенно дружно.

- Ч-ч... - прошипел бургомистр, и взгляды гостей скрестились на коменданте.

Майор поздравил присутствующих с Новым годом. Мы поднесли к губам бокалы, и в эту минуту задребезжал телефон, стоявший в углу на маленьком столике. Секретарь управы

вскочил с места, опрокинув стул, и схватил трубку. Просили коменданта.

Майор Гильдмайстер спокойно допил вино и не торопясь направился к телефону.

Все замерли. В столовой водворилась тишина. Но за этой обманчивой тишиной что-то скрывалось. Она таила какую-то угрозу.

- Так... Понимаю... Правильно... Поезжайте... Я буду здесь, - произнес комендант, положил трубку и задумался.

- Что-нибудь серьезное? - поинтересовался штурмбаннфюрер, сощутив свои крысиные глазки.

- Как сказать, - неопределенно заметил комендант. - От этого мы никогда не гарантированы. Горит состав с бензином на станции.

У меня сильно сжалось сердце. Горячая волна радости подступила к горлу. Трофим Герасимович выполнил новогоднее задание.

- Дверь на балкон открывается? - спросил комендант.

- Да, конечно, - ответил бургомистр.

- Выключите свет!

Начальник полиции, ближе всех сидевший к выключателю, быстро исполнил команду, и комната погрузилась во мрак.

Бургомистр завозился у двери. Загремела заслонка, щелкнул ключ в замке, затрещала бумага, которой были заклеены щели. Наконец дверь открылась, и вместе со струями холодного воздуха в комнату хлынули вопли сирены и всполошенные выкрики паровозных гудков. Комендант, гестаповец, начальник полиции, я и бургомистр вышли на балкон и закрыли за собой дверь.

Метель угомонилась. Втихомолку падая легонький снежок. Мороз крепчал и сразу охватил нас в свои объятия.

В западной части города полыхало пламя. Огонь отражался в низко плывущих облаках.

- С воздуха? - спросил начальник гестапо. - Но я не слышал зениток.

- Диверсия, - сказал комендант.

- Хм... - Штурмбаннфюрер пожег язык и обратился к начальнику полиции: Господин Пухов! Поезжайте, посмотрите сами.

- Там мои люди, - заметил комендант.

- Ничего, поезжайте, - повторил штурмбаннфюрер.

- Слушаюсь, - произнес Пухов и, странно втянув голову в плечи, быстро юркнул с балкона.

Я перегнулся через перила и стал смотреть вниз на цепочку автомобилей, выстроившихся у фасада. Спортивный "хорьх" с откидным верхом - майора Гильдмайстера; горбатый допотопный "штейр" - начальника госпиталя доктора Шумана; большой, приземистый, залепленный белыми пятнами "оппель-адмирал" начальника гестапо. А на "мерседесе", видно, приехали полковник Килиан и его спутница. Шоферы стояли кучкой, глядели на зарево и о чем-то болтали. В темноте, точно светлячки, мигали горящие сигареты.

Из ворот, расположенных под балконом, часто почихивая, выкатил полицейский "майбах". Чуть ли не на ходу в него вскочили двое.

- Пойдемте, - предложил комендант, и мы вернулись в дом.

Ужин возобновился. Тосты следовали за тостами. Полковник Килиан предложил выпить за доблестную германскую армию, бургомистр - за новый порядок на земле, вводимый железной рукой фюрера. Штурмбаннфюрер Земельбауэр поднял тост за тех русских, которые глубоко верят в Гитлера и помогают немецкой администрации на оккупированной территории.

Хмель, подобно огненному току, растекался по моим венам. Голова чуть кружилась, но мысль работала по-прежнему четко, я прекрасно понимал происходящее, пил, ел, разговаривал, слушал.

Шуман рассказывал анекдоты. Он знал их массу. В бестактной форме, не стесняясь женщин, он выкладывал самые пересоленные и переперченные. Бесстыдство этого пошляка со вставной челюстью превышало всякую меру. Килиан, Гильдмайстер и Земельбауэр косились

на него, но молчали. Гизела, казалось, не слышала доктора и оживленно переговаривалась то с одним, то с другим гостем.

Я изредка останавливал свой взгляд на ней. Происходило это бессознательно, независимо от меня, как биение сердца. Гизела обладала какой-то притягательной силой. Она держала себя в высшей степени скромно, без кокетства, без игры. У нее был низкий, глубокий, грудной, воркующий голос, и в этом я видел какое-то неотразимое очарование. До меня долетали обрывки фраз, брошенных Гизелой.

- Там угощали нас страшным напитком. Забыла, как называется. Он отдает цитварным семенем.

"Где там? - гадал я. - Кто же, в конце концов, она?"

- Где вы жили в Афинах?

- Сначала в отеле "Король Георг", потом в "Великобритании".

"Так, - ответил я, - значит, она была в Греции".

Гизела хотела добавить что-то, но ее перебил этот пошляк доктор Шуман. Он начал рассказывать анекдот о вскрытии трупа, причем с такими подробностями, от которых, скажем прямо, наш аппетит не мог улучшиться.

Хозяйка подала национальное баварское блюдо - ливерные клецки. Я понял, что это блюдо - дань штурмбаннфюреру. Он оценил внимание к своей особе, встал, подошел к Валентине Серафимовне и поцеловал ей руку. Та просияла.

Дружно принялись за клецки.

Все, кроме Гизелы и коменданта, были под хмельком. Осмелела даже застенчивая жена бургомистра. Муж упрекал ее в том, что она допустила ошибку и не пригласила какого-то актера с гитарой. Она громко возражала:

- Ни за что! Не терплю артистов! Это неполноценные люди. У них нет своего языка, своих мыслей.

Ей начал возражать секретарь управы Воскобойников, но в это время внимание всех привлек неожиданно вошедший в столовую лейтенант из городской комендатуры, тот самый, с помощью которого я сделал головокружительную "карьеру". Снег на его фуражке, воротнике и плечах шинели еще не успел растаять.

Майор Гильдмайстер извинился перед дамой, поднялся и твердой походкой направился к лейтенанту. Он обнял своего подчиненного за талию и вывел в коридор.

Через несколько минут они оба вернулись. На лейтенанте уже не было фуражки и шинели. Он занял место уехавшего начальника полиции, но, увидев меня, поменялся местом с Воскобойниковым и оказался со мной рядом.

Мы чокнулись, поздравили друг друга и выпили по бокалу.

Я спросил лейтенанта:

- Почему так поздно?

Он объяснил, что попал сюда совершенно случайно, и на ухо добавил:

- В машину начальника полиции кто-то бросил гранату. Возле казино. Убит он, шофер и референт.

"Так, все ясно, - с удовлетворением отметил я. - Костя задание выполнил. Только ни он, ни кто-либо другой гранату не бросал. Костя уложил в багажнике "майбаха" магнитную мину, и она сработала".

То, о чем лейтенант сообщил мне шепотом, комендант рассказал всем.

Начальника госпиталя передернуло.

- Черт знает что! Состав с горячим. Начальник полиции. Эти аттракционы мне не нравятся!

- Да, - протянул полковник Килиан. - Не совсем удачная прелюдия к Новому году. Я был на передовой, там, знаете, спокойнее.

Штурмбаннфюрер побагровел, стукнул своим детским кулачком по столу и сказал:

- Ничего! Я доберусь до них.

В голосе его я не почувствовал особой уверенности.

Бургомистр, основательно "окосевший", пытался заверить гостей, что и он со своей стороны

примет все возможные меры. Он начал было перечислять, какие именно, но поперхнулся. Слова у него вылетали с надрывным кашлем и крошками от кулебяки. Гизела сделала брезгливую мину и немного отодвинулась.

Мне в голову лезла сумасбродная мысль: "А что, если выпить за упокой души Пухова?" Мысль поистине сумасбродная.

Валентине Серафимовне очень хотелось завести патефон и потанцевать, но майор Гильдмайстер решительно запротестовал: пора разъезжаться.

Все встали из-за стола. Полковник Килиан загремел стулом и едва удержался на ногах.

Начали прощаться. Когда я второй раз за эту ночь ощутил в своей руке теплую руку Гизелы, меня охватило чувство какой-то неловкости. Природу этой неловкости я еще не понимал.

В передней штурмбаннфюрер сказал мне:

- Я довезу вас на своем "оппеле".

- Благодарю, - ответил я.

- Где вы живете?

Я рассказал.

Знаки внимания со стороны начальника гестапо начинали тревожить меня. Я предпочел бы добираться домой пешком.

Мы вышли на улицу. Машины коменданта и полковника Килиана уже отъехали. Шофер "оппеля" прогревал мотор, и плотный газ клубился у глушителя.

Когда Земельбауэр взялся за ручку дверцы, в центре города грохнул взрыв. Затем застрекотал короткой очередью автомат, и опять наступила тишина.

- Вы слышали? - как бы не веря себе, спросил гестаповец.

- Да, слышал, - подтвердил я.

Я мог сказать больше. Я мог сказать, что взлетело в воздух помещение радиоузла и радиостудии и что для этого понадобилось шестнадцать килограммов взрывчатки, а главное - смелость и отвага ребят из группы Андрея, которых гауптман Штульдреер считает верными людьми абвера.

- Где же это? - нюхая носом воздух, поинтересовался Земельбауэр.

- Трудно сказать. Где-то в центре.

- Поехали, - предложил он и сплюнул.

Мы уселись рядом,

и "оппель" неслышно тронулся с места.

16. Геннадий нервничает

Домой я попал в четыре часа утра. Хозяин не спал. Он сидел за столом, макал в воду черствый, проржавевший сухарь и грыз его.

- Ну как? - спросил я, раздеваясь.

Трофим Герасимович аккуратно смел на широкую шершавую ладонь крошки и ловко бросил их в рот. Потом подмигнул мне:

- Видать по всему, все в порядке. Полыхало, куда там! Сработали твои зажигалочки.

Трофим Герасимович намекал насчет моего участия в поджоге состава. Это я снабдил его зажигалками, последними из моего личного запаса.

Когда рассказывал Трофим Герасимович, казалось, будто сложную диверсию совершить было легко и просто. Он передал всю историю за две минуты, и при этом самыми обычными словами - "подожгли, заложили, ушли". На самом же деле это была труднейшая операция, потребовавшая недюжинной смелости и находчивости. Железнодорожные пути и составы охранялись усиленными нарядами солдат и полицаев. И хотя Трофим Герасимович улыбался и равнодушно махал рукой, я чувствовал еще не улегшееся в нем волнение. Новогодняя ночь заложила новые морщины на его лице. Он не спал, ждал меня: хотел поделиться своей радостью. И только когда я выслушал его, он забрался под теплый бок супруги и, сраженный усталостью, мгновенно уснул.

Я последовал его примеру Мне для отдыха едва-едва хватило времени в эту новогоднюю ночь: предстояла встреча с Геннадием и Наперстком.

Спал я немного, но крепко. Мне снилась молодая немка Гизела. Снилась в какой-то необычной обстановке, как это часто бывает во сне. Мы шли с ней на лыжах. Шли глухим хвойным лесом, а по нашим стопам следовал штурмбаннфюрер СС Земельбауэр. Потом мы очутились в зрительном зале неизвестного мне кинотеатра, смотрели фильм, и Гизела все время сжимала мою руку. А когда мы вышли из театра, на дворе стояло лето - солнцепек, духота. Мы пили лимонад и не могли напиться. Он был теплым, не утолял жажды. Проснувшись, я первым делом подошел к жбану и выпил целый ковш воды. Хозяин спал, и его мощный храп сотрясал стены дома. Часы показывали восемь с небольшим.

Я быстро оделся и вышел. Глазам моим открылось изумительно белое сияние снега. Он был всюду: на земле, на крышах, на заборах, на верхушках телеграфных столбов и на проводах. Стоял чудесный морозный день, первый день нового, сорок третьего года. В небо над вокзалом медленно тянулись столбы дыма, заволакивая чистые облака. Состав продолжал гореть, а виновник пожара в это время крепко спал.

По пустынным улицам дремавшего города вяло бродили патрули. Сегодня их было необычно много. Оно и понятно.

Прежде чем я добрался до дома Геннадия, мне пришлось трижды предъявлять документы. По количеству патрулей, по безлюдью на улицах нетрудно было догадаться, что в городе происходят облавы.

К Геннадию должен был заглянуть и Андрей. Так условились мы после заседания. Дневная встреча нас не пугала. Я являлся сотрудником управы, а Андрей вербовщиком абвера. На худой конец встречу у Солдата он мог оправдать намерением привлечь нас к сотрудничеству с абвером.

Геннадия я застал за бритьем. Он сидел у окна перед небольшим куском зеркала от разбитого прожектора, неторопливо мылил щеки и старательно выбривал. Лицо его, заметно припухшее, с мешками под глазами, убедительно свидетельствовало о том, что Новый год он встретил не без шнапса.

На мое приветствие он едва ответил. Я думал, что Геннадий поинтересуется вчерашним балом у бургомистра, но он не задал никаких вопросов и вообще не проявлял желания разговаривать. Молча добрился, подошел к раковине и стал полоскаться. В это время подал голос его наследник. Он спал на диване между подушками и начал орать так, будто с него снимали кожу. Геннадий прервал умывание, наскоро вытерся, взял своего питомца на руки и неловко пестуя, принялся успокаивать.

Я смотрел на Геннадия и думал. Дети есть дети. И этого пацана он должен любить. Но почему он ни разу не вспомнил и не заговорил о Наташе - своей единственной дочери? Неужели она не оставила никакого следа в его душе? Мне неудобно было начинать с ним разговор на эту тему, но очень хотелось. А я Наташу и мальчика Мишу часто видел во сне.

Ввалился с мороза Андрей, озябший, покрытый инеем.

- Привет. С Новым годом, - бросил он деловито. - Сегодня ночью две мои группы выбрасывают в партизанскую зону. Одну - в район Борисова, другую под Смоленск. Знаете, что кокнули Пухова?

Я кивнул. Геннадий промолчал.

- А что, радиоузел взлетел на воздух? - опять спросил Андрей.

Я снова кивнул. Геннадий расхаживал по комнате и, легонько постукивая ребенка по мягкому месту, что-то мурлыкал. Он никак не реагировал и на мое сообщение о том, что Трофим Герасимович с напарником подожгли состав с горючим.

Андрей внимательно поглядел на Безродного, вынул из кармана смятую сигарету, расправил ее и закурил.

- У меня только что был гауптман Штульдреер, - проговорил он и, достав из кармана клочок бумаги, протянул мне. - Это координаты моих хлопцев. С завтрашнего дня их можно слушать. Уведоми Решетова!

На моем лице застыл вопрос. Что значит "уведомить"? Это значит зашифровать телеграмму. А шифр-то у Солдата!

Андрей внес ясность и сказал Геннадию:

- Шифр передай Дим-Димычу.

- И не подумай, - усмехнулся тот и поддал сильного шлепка сыну.

Андрей нахмурился.

- Да-да, - подтвердил Геннадий. - И не подумай. Или тебе, или никому. Ни о каком Дим-Димыче не может быть и речи.

- А если Демьян... - начал было Андрей.

Вспыливший мгновенно Геннадий резко оборвал его:

- Плевать я хотел на твоего Демьяна! Я подчиняюсь горкому, а не ему. Тоже мне умник нашелся. Командовать мастер. Подумаешь, пуп земли русской. Пусть сидит в лесной норе и занимается своими делами. И нечего совать нос куда не следует.

Андрей улыбнулся и спокойно вставил в паузу:

- Быть может, ты сам скажешь об этом Демьяну?

Слова эти больно заделали Геннадия.

- Предоставляю эту возможность тебе. Лижи ему задницу!

Мне очень хотелось, чтобы Андрей встал, подошел к Геннадию и дал ему по физиономии. Ему это сделать было совсем не трудно при его росте и силе. Но он только побледнел. Побледнел и сказал:

- Демьян умеет командовать, ты прав. Тут он мастер, а ты и в подмастерья к нему не годишься.

Геннадий подошел к кровати, швырнул в нее своего сына и, энергично жестикулируя, вновь стал выплескивать свою злость:

- Ни черта он не умеет, твой Демьян. Только корчит из себя. В подполье провал за провалом. Сам виноват, а на других хочет свалить. Ищи ему предателя! Ха! Сам пусть ищет!

Андрей тяжело опустил руку на стол и встал.

- Хватит! Не будем ослами. Давай шифр!

Геннадий хотел что-то сказать, глотнул воздух и молча вышел в другую комнату. Вернулся оттуда со спичечным коробком в руке.

- Здесь все.

Андрей неторопливо проверил и передал коробок мне.

- У тебя будет, - проговорил он.

Геннадий посмотрел на нас и глухо, сдерживая злобу, произнес:

- Ладно. Проваливайте. Без вас тошно.

Андрей кивком указал мне на дверь. За порогом он сказал:

- Составь две телеграммы Решетову. В одной укажи, что по инициативе Демьяна горком развенчал Геннадия. Во второй сообщи о новогодних ударах. Добро?

- Ладно.

- Я виделся с Пейпером, - продолжал Андрей. - Да, он беседовал в приемной доктора с Помазиным.

- Это очень важно, - заметил я.

- Во всяком случае, этого типа сейчас знают в лицо трое наших. Посмотрим, что даст нам понедельник.

Мы расстались. Поскольку Новый год выпал на пятницу, а в пятницу у доктора был приемный день, я имел все основания заглянуть к нему. Там никаких новостей не было. Небольшая новость заключалась в радиограмме за подписью Решетова. Я расшифровал ее дома. Она гласила:

"Днями в Энске должен появиться оберштурмбаннфюрер СС Себастьян Андреас. Примите все меры, чтобы узнать, с кем из горожан он будет иметь встречи".

Я постарался запомнить имя эсэсовца и сжег бумажку.

17. Сюрпризы

- Ради бога, зайдите сегодня! - Эту фразу я услышал в десяти шагах от управы, когда заворачивал за угол. Оглядываться не следовало, слова были брошены мимоходом, чтобы не вызвать подозрения у посторонних. Но я оглянулся, встревоженный: от меня удалялась Наперсток. На ней был платок, старомодная, сильно поношенная плюшевая кацавейка и несуразные, с перекошенными задниками валенки. Как ни в чем не бывало твердыми маленькими шажками она переходила дорогу.

"Ради бога, зайдите сегодня", - повторил я мысленно. И тотчас почувствовал смутное беспокойство. Еще ни разу Наперсток не назначала внеочередную явку таким способом. Ни разу не звучал так тревожно и просительно ее голос.

Что случилось? Прошла ровно неделя, как я и Андрей были в доме Аристократа, видели его и Наперстка. Мы пришли в воскресенье вечером и ушли в понедельник: ждали Дункеля-Помазина. Но он не явился за своей машинкой. По-видимому, планы его менялись, и нам следовало это учесть, принять меры предосторожности, временно прекратить посещение Аристократа. И вдруг сигнал!

Смутное беспокойство рождало различные предположения, одно страшнее другого. Я досадовал на Наперстка: она могла сказать еще несколько слов и объяснить, что произошло. А теперь мне приходится ломать голову и мучиться.

Работа валилась из рук. Я писал какие-то бумажки, не вникая в них, не понимая сути. В голове билась одна мысль: "Надо идти! Надо идти к Аристократу. Скорее!"

Сегодня понедельник. Карл Фридрихович принимает с десяти до тринадцати. Пора! Но как вырваться из управы? Что придумать? Кажется, все испробовано, и нового ничего не изобрести. Беспокойство нарастало, вызывало физическую боль: у меня адски ломило виски. Что же предпринять?

Раздался звонок: вызывал к себе бургомистр. Сейчас отпрошусь. Скажу, что беспокоит печень, не могу работать.

Увы, бургомистр предупредил мое намерение.

- Только что звонил штурмбаннфюрер Земельбау-эр, - сказал он. Вызывает вас к себе. Сейчас. Моя машина стоит у подъезда. Поезжайте!

Сердце мое сжалось от неприятного предчувствия:

- А что такое?

Господин Купейкин беспомощно развел руками.

Я поклонился и вышел. Еще сюрприз! Зачем я понадобился начальнику гестапо? Не связано ли это с сигналом Наперстка?

По пути к зданию гестапо я передумал бог знает что. И конечно, в голову лезло самое худшее. А что, если Дункель уже знает, что доктор - наш человек? Что, если он следил за домом доктора? Быть может, доктора арестовали!

- Подождать? - осведомился шофер, когда машина остановилась у подъезда.

- Нет! - ответил я. И в голосе моем было столько отчаяния, что самому сделалось страшно.

Я переступал этот роковой порог в первый и, возможно, в последний раз. Все допустимо. Сколько патриотов нашло свой удел в этих страшных стенах, и уж, конечно, никто из них не предполагал найти здесь конец. Я тоже не предполагал. Но кто гарантирован?

Я поднимался по крутым ступенькам бывшего здания горкома партии, стараясь взять себя в руки и подготовиться к неведомому.

Штурмбаннфюрер СС не встал при моем появлении, а лишь откинулся на спинку стула. Спинка была выше его головы. Этот убогий человечик с птичьей головой, косоплечий, обрадовал меня: он любезно протянул через стол свою мягкую, детскую руку и, когда я пожал ее, предложил сесть. Потом пододвинул пачку сигарет, зажигалку. Я с удовольствием закурил.

Затянулся раз-другой, и биение сердца пришло в норму. Тревогу как рукой сняло.

Штурмбаннфюрера окружали кипы газет, сводок, папок, докладных записок, пачки

раскрытых сигарет, огромный сейф, начатая бутылка вина, раскладной диван с подушкой и одеялом, несколько охотничьих ружей.

- Не ожидали? - осведомился гестаповец.

Я признался, что не ожидал.

Он улыбнулся, показав свои желтые лошадиные зубы.

- Я же обещал запомнить вас.

"Провалился бы ты со своей памятью в преисподнюю", - едва не сорвалось с моих губ проклятье.

Штурмбаннфюрер поинтересовался, как я живу, как идут дела в управе, как отнесся к моему вызову господин бургомистр.

Я отвечал и думал: "Неужели за этим он вызвал меня? Нет-нет. Что-то другое. Но что?"

Тревога вновь начинала подтачивать сердце. Кажется, рано я успокоился.

Гестаповец слушал мои ответы, скалил зубы в улыбке, для которой не было никакого повода, и, откидывая голову с крохотным остреньким подбородком, пускал к потолку дым аккуратными маленькими колечками.

Продержав меня минут десять в томительной неизвестности и раздумье, он сказал на своем тягучем диалекте баварца:

- Сегодня вы мне нужны, господин Сухоруков.

- К вашим услугам, - выразил я готовность.

- Валентина Серафимовна заболела. Она часто болеет. Женщина. А мне сегодня надо допросить одного типа. Это займет полчаса. От силы час, - и он нажал кнопку звонка.

Вошедшему эсэсовцу начальник гестапо сказал одно слово:

- Коркина!

Эсэовец щелкнул каблуками и удалился.

Всех подпольщиков я знал по фамилиям. Коркина среди них не было. А быть может, кто-нибудь из ребят нарочно назвал себя так, чтобы сбить гестаповцев со следа?

Ввели совершенно незнакомого мне, полного, с одутловатым лицом мужчину лет тридцати пяти. По его физиономии гуляла какая-то идиотская улыбка. Он подобострастно поклонился штурмбаннфюреру, потом мне, и я сразу проникся к нему отвращением. Не ненавистью, а именно отвращением, граничащим с брезгливостью.

Земельбауэр указал пальцем на высокий табурет в углу, и Коркин без слов понял, что надо сесть. Он еще раз поклонился, сказал: "Благодарю" - и водрузился на табурет.

Штурмбаннфюрер подал мне несколько листков, схваченных скрепкой.

Это был акт, в котором сообщалось, что Коркина "сняли" с поезда недалеко от Энска прошедшей ночью. При нем нашли несколько килограммов сливочного масла, два куса свиного сала, махорку в пачках, спички, соль, сухари.

Он ничего не скрывал. Да, он коммунист. Точнее, кандидат в члены партии. Вступил в позапрошлом году. Втянули. Долго беседовали с ним, уговаривали и обрабатывали. Кроме того, он партизан. Как стал партизаном? Очень просто. В сорок первом году при эвакуации поезд, в котором он ехал, угодил под бомбежку. Спасались кто как мог. Коркин бежал, добрал до деревни Ушкино и поселился в доме вдовы Твердохлебовой. Что делал? Все! Копал картошку, молотил цепом рожь, рубил солому, собирал колосья и, кроме всего прочего, ездил по нарядам старосты в лес за дровами. Вот там-то, в лесу, в декабре прошлого года его и зацапали партизаны. Зацапали - и тут же допросили с пристрастием. Поверили, но к себе не повели. Приказали сидеть в деревне Ушкино и следить за движением немецких войск по большаку. А движения никакого не было. Двенадцатого декабря пришел человек от партизан и сказал: "Мотай-ка, брат Коркин, в Энск и попытайся там устроиться. Биография у тебя чистая. Сойдешь за спекулянта. Кое-что из продуктов мы тебе дадим". Вот и все.

Я прочел протокольную запись и вернул Земельбауэру.

- Узнайте, кем Коркин был до войны, - поинтересовался он.

Я задал вопрос. Оказалось, что до войны он проживал в Энске. Был вахтером на заводе, пожарным инспектором, нарядчиком, Десятником на строительстве железнодорожного

клуба, заведующим материальным складом и перед самой войной - кассиром горторговской базы.

Далее вопросы следовали один за другим, и Коркин отвечал на них без запинки. Есть ли у него знакомые в Энске? А как же! И не один, а куча. Конечно, часть из них удрала, попала в армию, но кое-кто и уцелел, В этом он уверен.

А где остановится Коркин, если его отпустят?

Коркин усмехнулся. Скажите пожалуйста, проблема! Об этом господин начальник гестапо пусть не беспокоится.

А можно ли надеяться, что Коркин будет честно служить Германии и ставить в известность гестапо обо всем, на что обратят его внимание?

Конечно. Если бы дело обстояло иначе, разве он согласился бы ехать в Энск? Это же все равно, что совать голову в пасть крокодила. Нет-нет. Все будет хорошо, и господин Штурмбаннфюрер останется доволен.

- Пусть назовет адреса своих лучших знакомых, - предложил начальник гестапо.

Коркин назвал двенадцать адресов. Запомнить все я не мог, но некоторые постарался.

Допрос закончился вербовкой. Земельбауэр назначил Коркину первое свидание на Старопочтовой улице, дом восемь, в среду, в пять вечера.

Когда Коркина вывели, Штурмбаннфюрер спросил меня:

- Ваше мнение: можно ему верить?

- Вполне, - заверил я.

- Но до поры до времени?

- Почему?

- Скользкий он какой-то... Слишком угодливый.

- Возможно, - неопределенно заметил я и спросил: - Мне можно идти?

- Вы торопитесь?

- Да. Ждет работа, и чувствую себя неважно. Голова болит.

- Не смею задерживать. Надеюсь, что разговор, который произошел здесь, умрет в вашей памяти.

- Вне сомнений.

Я выбрался на свет божий, облегченно вздохнул и торопливо зашагал к дому Аристократа. Было уже две минуты второго, время приема истекло, но ради такого случая приходилось нарушать правила.

Дверь, как всегда, открыла Наперсток И едва я переступил порог, как она точно обухом ударила меня по голове:

- Пропал Карл Фридрихович.

Я выдержал паузу и спросил:

- Что значит "пропал"?

- Пропал. Вчера в десять пришла машина. Легковая. Я пустила шофера в дом. Он сказал, что приехал от Пейпера за доктором. Пейперу плохо. Карл Фридрихович быстро собрался. Взял кое-что Я проводила его до машины. Он открыл дверцу, сел на заднее сиденье и сказал: "А, старые знакомые!" Ему ответил мужской голос: "Да-да, доктор. Это я и надоумил господина Пейпера поехать за вами". Машина тронулась, и больше Карла Фридриховича я не видела.

Новость была страшной, невероятной Я молчал. До меня, кажется, еще не дошел смысл услышанного.

- Знаете что? - продолжала Наперсток. - Голос человека, который разговаривал с доктором в машине, показался мне знакомым. Я уже слышала его. Это Помазин.

Помазин-Дункель.

У меня зашлось дыхание.

- Уверена?

- Да-да-да! Делайте со мной, что хотите, но это он.

- Шофер русский?

- Да!

- Марку машины не запомнила?
- По-моему, это наша машина. Русская. Кажется, "эмка". Но точно не скажу. Если бы я...
- Да, милая. К сожалению, мы все недостаточно дальновидны.
- Почему я говорю, что "эмка"? Ведь отец мой - шофер.
- Понимаю.

Я задумался. Неужели это Дункель-Помазин? Неужели он воспользовался Пейпером? А что же, вполне возможно! Надо немедленно проверить. Как? Только через Андрея. Повидать его и поставить в известность. И повидать немедленно. Но это не все. Необходимо решить вопрос с Наперстком. Пропал ли доктор, жив ли он или погиб, украден ли Дункелем или арестован гестапо - все равно оставлять Наперстка в доме нельзя. Каждую минуту может нагрянуть новая беда с Дункелем и гестапо шутки плохи. Но что предпринять? Где, куда, у кого спрятать девушку?

Озадаченный, я прошелся по комнатам, ища решения вопроса. Как-то странно выглядел дом без Карла Фридриховича. Неужели я больше не встречу эту благородную и возвышенную душу? Больно и горько стало на сердце от недоброго предчувствия.

- Что же делать? - спросила Наперсток.

Решение пришло невзначай: убежище - "Костин погреб". Другого выхода нет. И сегодня же, иначе можно потерять и Наперстка, и связь с Большой землей.

- Улицу Щорса знаешь?

Наперсток покачала головой: нет, она не знает.

Я взял со стола доктора листок бумаги и набросал схему.

- Смотри. Это ваша улица, дом доктора. Это - бывшая Щорса. Сейчас она Кладбищенская. В квартале один домик. Номер шестьдесят девять. Запомнить нетрудно: туда, сюда и обратно. Между четырьмя и пятью часами, но не позднее пяти, ты должна быть там. Скажешь, что прислал Цыган.

- А кому сказать?

- Кто встретит в доме.

- Это совсем?

- Да. Забери лишь то, без чего не обойтись.

- А рация?

- Неси сюда.

В этот день я сделал очень рискованный шаг. Вынужден был его сделать. Никто не знал, что готовит нам грядущий час. И чтобы не проклинать себя в будущем, я поступил так, как подсказывал в эту минуту разум.

Я вынул портативную рацию из футляра, завернул в тряпку, потом в газету и обвязал тоненьким шнурочком.

Наперстку приказал бросить футляр в печь. И еще сказал: если кто-либо до ее ухода попытается проникнуть в дом, пусть она выйдет черным ходом и через соседний двор выберется на параллельную улицу.

Я взял сверток и отправился. И куда бы вы думали?

В бильярдную при казино. Я никогда там не был, но знал все со слов Андрея.

На мое счастье, бильярдная была пуста: ни единой души. Я пересек гулкий зал, добрался до второй, внутренней двери и на всякий случай постучал.

- Можно. Входите, - послышался голос Андрея.

Я вошел. Андрей сидел у окошка, налаживал наклейку на конец кия. Увидев меня, он встал, глаза его безмолвно спрашивали: "Ты зачем сюда?"

Комнатушка была вся как на ладони, и мне не надо было спрашивать, один Андрей или нет. Я сказал:

- Исчез Аристократ.

- Что? - переспросил Андрей. Он был озадачен так же, как и я.

Я повторил, сел на жесткий топчан, покрытый грубошерстным одеялом, и рассказал все, что

случилось сегодня.

- Ерунда! - проговорил Андрей.

- Что ерунда?

- Пейпер здесь ни при чем. Вчера он пришел в девять вечера и ушел около двенадцати. Все время играл. И сообщение письменное мне передал. Это дело рук Дункеля. Вот же паразит! А как же с Наперстком?

Я рассказал.

- Молодец, правильно. Но почему так поздно, почему не сейчас?

- Я должен предупредить Костю или его сестру.

- Так. А тебе надо быть в управе?

- Совершенно верно.

- Я сам предупрежу. Иди. А это что? - спросил он, заметив сверток в моей руке.

- Рация.

- Сумасшедший, - тихо проговорил Андрей.

- Другого выхода нет. - Я протянул сверток другу: - Спрячь пока!

18. Доктора нет

- Ваши расчеты строились на песке, - заметил Демьян и прикурил свою самокрутку от самокрутки Андрея. - Дункель и не собирался снова идти к доктору за машинкой. У него свой план. Возможно, он заранее договорился с Пейпером, подстроил вызов Аристократа.

- Исключено! - твердо ответил Андрей и пояснил: - Тот вечер Пейпер провел в бильярдной. Кроме того, исчезновение доктора для Пейпера такая же загадка, как и для нас.

- Вы ему верите? - поинтересовался Демьян.

- Вполне. А что?

- Ничего. Очень хорошо, когда человек верит другому и не боится признаться в этом.

Последовало длительное молчание. Демьян способен был не только делать ОБ - очередное втирание, но и честно одобрять то, что считал правильным.

Андрей хмурился и без нужды дул на свою сигарку.

Наперсток стояла, опершись плечом о дверной косяк. Все это время она пребывала в состоянии какой-то тупой летаргии. Несчастье, постигшее нас, особенно остро коснулось ее отзывчивого сердца.

Да, Карла Фридриховича нам больше никогда не увидеть. Тяжко, но факт. И никто из нас - ни Демьян, ни Андрей, ни я, ни Наперсток - не ведает, какой срок жизни каждому определила судьба. Так всегда во время войны, особенно в подполье. Как хорошо начался новый год: сгорел состав с горючим, взлетел на воздух городской радиовещательный узел, разорвался на части со своими двумя приспешниками начальник местной полиции Пухов, укоротилась жизнь предателя Коркина, которого через меня допрашивал и вербовал штурмбаннфюрер Земельбауэр. Достигла Коркина рука Клеща - Трофима Герасимовича Пароконного. Это успех. Это удача. А вот Карла Фридриховича мы потеряли. По чьей же вине? Даже ответить трудно на этот вопрос.

- Может статься, с доктором уже расправились, - заметил Демьян.

Наперсток всхлипнула и с дрожью в голосе произнесла:

- У меня, как и у всех, одна жизнь. Но ради Карла Фридриховича я бы рассталась с ней без колебаний. Какой человек!

Девушку никто не поддержал.

- А что сейчас в его доме? - осведомился Демьян.

Я сказал. Лишь позавчера там начались работы по переоборудованию. Вся обстановка, медицинское оборудование и инструменты вывезены управой. В доме доктора разместится городской радиоузел, лишившийся в новогоднюю ночь своего помещения.

- Я смотрю так, - рассудил Демьян. - Если бы доктора забрало гестапо, то наверняка дом заняли бы на следующий же день. А ведь прошло столько времени.

- Тут ясно. Это дело рук Дункеля, - сказал Андрей.

- Так ищите же его, - повысил голос Демьян. - Пусть все ищут. Дайте задание Угрюмому, Челноку, Клещу, Косте. Всем старшим групп. С Солдатом я переговорю сам.

Я счел нужным сказать, что уже предпринял кое-какие шаги - просмотрел списки управы, но фамилию Помазина не обнаружил.

Демьян фыркнул:

- Зачем же быть наивным? Зачем ориентироваться на фамилию? Каждого человека характеризует множество мелочей, мельчайших черт. Эти черты могут его выдать. Походка, взгляд, голос, манера курить, смеяться. Ведь говорил же кто-то, что Дункель имеет привычку с поводом и без него ковырять в зубах? Да, говорил!

- Его знают в лицо Пейпер и Наперсток, - вставил я.

- Наперсток не в счет, - решительно отверг Демьян. - На нее и ориентироваться не следует.

Девушка опустила голову. Час назад она решительно высказывалась, что будет ежедневно бродить по городу, пока не натолкнется на Дункеля-Помазина. Она была твердо уверена, что обязательно натолкнется.

- И никакого самоуправства, - предупредил Демьян. - Умереть никогда не поздно. Это первое, чему мы научились. А Дункеля найти во что бы то ни стало. И взять живым. Мертвый он нам не нужен. И сюда его, сюда, к нам. Тут мы с ним поговорим.

Он сказал "к нам, сюда", имея в виду убежище, вернее, "Костин погреб", где укрывался сейчас, кроме Наперстка, и сам Демьян. Из лесу ему удалось перебраться в город еще до Нового года. Обстановка требовала сближения руководства с основными силами подполья.

История "Костиного погреба" довольно интересна. До войны на улице Щорса в глубине усадьбы, окруженной тополями и березами, стоял большой четырехкомнатный рубленый из медно-красных сосновых бревен дом, принадлежавший "династии" Гришиных. В нем когда-то жили прадеды и деды Кости, а в последнее время - отец с матерью, сам Костя, его сестра и старший брат Кости с женой.

Улица Щорса, теперь переименованная в Кладбищенскую, одним концом упиралась в кладбище, а другим - в тупик. Справа от усадьбы начиналась территория завода "Текстильмаш", а слева и позади размещались казармы, гараж, служебные помещения и двадцатиметровая вышка городской пожарной команды.

Дом Гришиных был единственным частным строением в большом квартале.

В июле сорок первого года позади усадьбы Гришиных, сразу же за их забором, пожарники оборудовали бомбоубежище. Оно имело не зависимые друг от друга вход и выход, две комнаты и полутораметровое железобетонное перекрытие вровень с землей. В убежище намечал обосноваться городской штаб ПВХО.

Наметки остались наметками. При первом налете вражеской авиации на энский узел и город от завода и строений пожарной команды остались лишь развалины. Начатое бомбами довершил огонь. На убежище рухнула стена трехэтажного дома и пожарная каланча. Убежище завалило, и настолько основательно, что о расчистке нечего было и думать. Да и надобность в нем миновала, началась эвакуация города.

Крепко пострадал и дом "династии" Гришиных. Его перекосило взрывной волной, двери и окна высадило. Жить в нем стало рискованно, того и гляди рухнет. Тогда дружная рабочая семья Гришиных сообща растаскала дом по бревнам, рассортировала их, отобрала уцелевшие и сложила из них однокомнатную избенку с небольшими сенями.

Избенка предназначалась Косте и его сестре Аленке. Родные знали, что они остаются в городе.

А потом отец Кости, мастер завода "Текстильмаш", подал интересную идею. Оказывается, новую избу и заваленное бомбоубежище разделяют каких-нибудь десять-двенадцать метров. Что если сделать подземный ход?

Идея увлекла всех. Быстро принялись за дело. Через восемь суток ход был прорыт и замаскирован. Под избой оборудовали погребок. От него прорыли лаз прямо в убежище.

Работали ночами. Землю ведрами выносили наружу, во двор пожарной команды, и высыпали

в свежие воронки, которых здесь была уйма.

Летом мы проникали в убежище через его "законные" выходы, которые, конечно, отыскивали изнутри, расчистили и укрыли от посторонних взглядов. Мы не опасались навести на свой след врагов. Территория завода и пожарной команды представляла собой оазис запустения. Завалы из груд бетона и кирпича, искореженных железных балок, скрюченного металла и битого стекла, густо поросшие сорняком и колючкой, не могли служить местом прогулок. А зимой - иное дело. Зимой лежал снег, и каждый шаг оставлял ясный, приметный издали след. Приходилось проникать в погреб через избу Кости.

Погреб имел две смежные, обшитые тесом комнаты, по восьми квадратных метров каждая. Их разделяла железобетонная стена с толстенной дверью. В одной из этих комнат мы и сидели сейчас.

- Еще раз говорю, - напомнил Демьян, - что Дункеля надо брать живым. Думаю, что вашего Запасного это порадует. Кстати, как насчет оберштурмбаннфюрера? Нашли?

Я развел руками: нам, русским, расспрашивать немцев об эсэсовце Андреасе было по меньшей мере глупо. Даже с Купейкиным или Воскобойниковым нельзя было заводить разговор на эту тему. Никто из нас не смог бы ответить в случае нужды, чем заинтересовала нас персона Андреаса. Да и вообще откуда мы узнали о его существовании? Все надежды возлагались на Пейпера и на случай.

Мои объяснения удовлетворили Демьяна.

Андрей встал и спросил:

- Я могу идти?

Демьян кивнул.

Вслед за Андреем вышла и Наперсток. Вышла, чтобы не мешать нам. Она понимала, что я и Демьян должны остаться вдвоем. У нас свои дела.

Собственно, дела еще не было. Но мы готовились к нему. Ждали Костю, он должен был появиться с минуты на минуту.

Демьян выложил на опрокинутый ящик, который служил столом, какие-то заметки и вооружился карандашом. Сразу сосредоточившись, он что-то подчеркивал, делал какие-то пометки. Его прямые сухие волосы свисали на лоб и глаза. Я наблюдал за ним. Ему, конечно, тяжелее, чем любому из нас. Ой как трудно жить на нелегалке, по документам собственного изготовления, именуемым "липой". Но ведь Демьян не только жил и укрывался. Он бродил по городу, заходил в дома, встречался с людьми, проводил заседания бюро. Нужно было быть не только осторожным, но и безумно смелым. Ведь на каждом шагу его ожидала опасность. На каждом!

Сейчас мне очень хотелось заговорить с Демьяном на эту тему и предостеречь его. Но я знал, наверняка знал, что не найду отклика в его душе. Демьян

был честен, смел, но очень сух. Он считал, что делает лишь то, что от него требуется, и никакого героизма в этом не видел. И подвиги других расценивал как обычное, само собой разумеющееся дело. Мы советские люди, рассуждал он, коммунисты. Иначе мы и не можем себя вести, иначе мы не имеем права поступать.

И вообще Демьян не любил откровенностей и сердечных излияний. Быть может, это его недостаток, быть может - достоинство. Судить не берусь. Но упрекнуть его в чем-либо другом я не мог.

Пришел Костя. Свежие снежинки таяли в его волосах, прозрачные капельки стекали на лоб. Он улыбался, улыбался радостно, торжествующе.

"Значит, все в порядке", - заключил я.

Демьян оторвался от бумажек:

- Ну как?

- Узнал.

Костя надул щеки, с шумом выпустил воздух, прошел к стене, сел на кирпичи, сложенные столбиком.

Я посмотрел на Демьяна. Мне хотелось спросить его: "Что вы на это скажете? Я же заверял,

что Костя перестанет быть Костей, если не сделает того, что ему поручили".

Демьян пошевелил подвижными ноздрями, собрал бумажки, отложил в сторону и попросил:

- Ну, рассказывайте.

- А что рассказывать? Узнал. Через Фролова. Потом сам сходил и посмотрел.

- Фролов служит в полиции? - поинтересовался Демьян.

- Да, у нас. Он ведаёт квартирными делами. До войны в коммунхозе промышлял. Сволочь порядочная.

- Ну и что же? - продолжал подбираться к главному Демьян.

- Восточная улица, восемьдесят два. Двухэтажный дом. Деревянный. С подвалом, вернее, полуподвал. Часовой. С улицы не подобраться. И со двора ничего не выйдет. Ворота и калитка исправные. Сейчас телефон подводят. А вот со двора по соседству - думаю, выйдет.

- Поджечь? - спросил Демьян.

- Ну да.

- Да, это самое лучшее. Как вы считаете? - обратился Демьян ко мне.

Я не возражал. Дело в том, что из информации Пейпера мы узнали, будто представитель СД вывез из разных городов, оккупированных немцами и лежащих восточнее Энска, какие-то архивы. Думали вначале, что эти архивы пойдут на запад, но они осели в Энке. Немцы занялись их изучением. Нашли укромное местечко и стали рыться в бумагах. Где они укрылись - никто не знал, в том числе и Пейпер. А вот Костя сегодня выяснил.

- Народу в доме целая орава, - сказал он. - В окна видно.

Большая земля уже знала об архивах и предложила уничтожить их. Как? Это уже наше дело.

- Кому поручим? - спросил Демьян.

- Я начал, я и кончу, - ответил Костя, нахмутив брови.

- А если вам поможет Цыган? - осведомился Демьян. - Вдвоем сподручнее.

- Не всегда. Ну что ж, вдвоем так вдвоем. Только по моему плану.

Я не возражал.

- Договорились. Приступайте к делу немедленно. Архивы есть архивы. В руках врага это находка. Жечь их, когда немцы разберутся во всем, не имеет смысла.

- Понятно, - заметил Костя.

Итак, мне предстоит выполнить операцию вместе с Костей. Это и удобно и в то же время сложно. Сложно потому, что Костя очень своеобразен по характеру. В свои девятнадцать лет он необычно самостоятелен. И неизвестно, откуда эта самостоятельность: воспитана ли в семье или приобретена работой в подполье. В войну он вошел прямо со школьной скамьи. Отец его говорил, что таких, как его сын, в городе хоть пруд пруди, а толку от них никакого. Отец ошибался. Теперь это можно сказать точно. Если бы в Энке отыскались еще три-четыре хлопча таких, как Костя, было бы чудесно, сила нашего подполья увеличилась бы много.

Город он знал как свои пять пальцев. В нем провел детство, юность. Разводил голубей, удил рыбу, играл в "белых" и "красных", лазил в чужие сады за яблоками и грушами, имел друзей и недругов. Своенравный, избалованный хорошей жизнью, достатком в доме, Костя привык спорить, дерзить, пререкаться. Он любил командовать над сверстниками, огрызался отцу и матери, ни во что ставил старшего брата.

Когда оккупанты приблизились к Энску, Костя пошел в военкомат и сказал, что останется в городе. Отговорить его было трудно. И военкому, и родителям. Все равно он поступит по-своему. Костя остался, а с ним, для присмотра, осталась его сестра Аленка. Ее мы нарочно не вовлекали ни в какую работу. Она сидела дома, шила, готовила еду, топила печь.

Немцы пришли, и Костя словно вырос. Будто возмужал лет на десять. Я диву давался такому огромному приливу энергии. Полная отдача большому, светлому и опасному делу захватила его целиком.

Его завербовали в полицаи. Толковый, способный, грамотный, он через месяц стал дежурным по караулам. Полиция охраняла управу, казначейство, магазины, редакцию газеты и типографию, радиоузел, лесной склад и дома наиболее видных ставленников оккупантов.

Костя мотался ночи напролет по городу, проверял посты и в то же время обдeldывал свои подпольные дела. Он работал под моим началом. Задания принимал охотно. Я не помню случая, чтобы он возразил: "Это не просто сделать" - или: "Это невозможно сделать". Но у него было всегда свое мнение, свой взгляд на вещи. Он прекрасно понимал, что к одной и той же цели можно идти разными путями, и шел своим, особым и часто неожиданным для нас путем. Если ему навязывали чужое мнение, ссылаясь на опыт или знания старших, он отвечал: "Вы лучше понимаете, так сами и выполняйте!" Так Костя однажды сказал и мне.

У него было отличное чутье, хладнокровие, колоссальная выдержка. Смелый, дерзко-отчаянный, он был жаден к опасностям, действовал рискованно.

Не кто иной, как Костя, в свое время посмел ночью явиться на квартиру Демьяна, "арестовать" его, провести чуть ли не через весь город, укрыть в своем погребe, а затем передать партизанам.

Именно он в первые дни оккупации среди бела дня на главной улице города ухитрился швырнуть гранату в проходившую штабную машину. Сам уцелел, а шестерых фашистов уложил наповал.

А ликвидация начальника полиции Пухова? Когда начальник полиции выехал на вокзал, на пожар, по пути в машину сел Костя. Ему надо было якобы добраться до типографии и проверить часовых. В машине он поставил мину на боевой взвод и опустил на заднее сиденье. Не доезжая казино, Костя вышел, а "майбах" помчался дальше. Через две-три сотни метров внутри машины грохнул взрыв - и все полетело к чертям. Но ни одна живая душа не могла сказать, что видела, как кто-то садился в машину и покидал ее. А мертвые не разговаривают.

Это лишь несколько эпизодов из боевой работы Кости. А сколько их на его счету?!

Своими делами Костя убедил меня, что подвиги совершаются не рассудком, а порывами сердца, чувствами. Да, такому парню, как Костя, сам черт не брат. И архивам, конечно, не уцелеть.

- Ну что ж, действуйте. Благословляю, - заключил Демьян.

Я встал и спросил Костю:

- Восточная, восемьдесят два?

- Точно. Бывшая Калининская.

- Хотите лично посмотреть? - спросил Демьян.

- Имею такую привычку.

- Это неплохо.

Я покинул "Костин погреб" и направился на Восточную улицу.

Через десять минут передо мной уже возвышался двухэтажный дом. Все, как описал Костя. С улицы часовой - подобраться нельзя, он не подпустит и на сотню шагов. А надо сделать все тихо и, главное, выбраться живыми. Демьян правильно заметил, что умирать мы сразу научились, будто всю жизнь только этим и занимались. Но умереть никогда не поздно. Заглянул я и в соседний двор. Кто в нем обитает? На этот вопрос у Кости, видимо, ответ готов.

Я шел по улице, думал, прикидывал и вдруг увидел впереди мужчину и женщину. Немцев. Оба в шинелях, он с погонями, она без них. Это были начальник гестапо штурмбаннфюрер Земельбауэр и Гизела. Та самая Гизела, которую я видел на встрече Нового года.

Я уступил им дорогу и приветствовал наклоном головы. Гестаповец, конечно, узнал меня, а что касается ее - не скажу. Мне пришлось напомнить, что мы уже знакомы.

- Ах да, верно, - заметила она спокойно, и глаза ее не выдали, приятно или неприятно было мое напоминание.

Больше она не произнесла ни слова.

Земельбауэр тоже, видимо, не склонен был вступать в беседу. Задав пару стандартных вопросов, он пожелал мне счастливого пути.

"Кто же она, эта зеленоглазая фея? - думал я, удаляясь от них. - Каким ветром занесло ее в Энкс? Где она обитает и что делает? Куда девался полковник Килиан? Почему она не с ним,

а с гестаповцем?"

И другая мысль пришла мне в голову:

"Если завтра или послезавтра тут запылает огонь, какие ассоциации вызовет он у Гизелы и Земельбауэра? Не вспомнят ли они господина переводчика из управы? Могут вспомнить. Значит, с операцией надо повременить. Немного повременить".

В сумерках я прошел мимо знакомого дома Карла Фридриховича. Из замаскированных окон сквозь тоненькие щелки просачивался свет. Явственно доносился стук молотков и визг пилы. Да, дом цел. Стоит он полвека и бог весть сколько еще простоит и сколько перепадет на его долю хозяев. А доктора нет. Нет Карла Фридриховича - и не будет. И никто его не заменит.

19. Наши будни

Немного волнуясь, я вторично переступил порог гестапо.

Опять меня пригласил к себе штурмбаннфюрер СС Земельбауэр. Но теперь дочь бургомистра ничем не болела. Я это знал точно, и мне это не нравилось. Не нравилось это и самой Валентине Серафимовне. Эта невыносимая дура всерьез, видимо, решила, что я хочу отбить у нее кусок хлеба и сам набиваюсь в переводчики гестапо. Не нравилось это и бургомистру господину Купейкину. Сегодня он уже не дал мне свой горбатый "штейр". Я пришел пешком.

По обе стороны длинного коридора шли нумерованные двери, обитые войлоком и дерматином. За дверями шла своя особая, страшная, недоступная постороннему взгляду жизнь.

Когда я вошел в кабинет начальника гестапо, он стоял у окна и, поддерживая одной рукой локоть другой, курил.

На нем не было мундира. Узкоплечий, в тонком шерстяном свитере, с подтяжками поверх него, он походил на карлика. Сейчас было особенно заметно, насколько одно плечо штурмбаннфюрера ниже другого.

- Ну вот мы и опять встретились, - провозгласил он вместо приветствия и направился к вешалке, где красовался его мундир с регалиями и шевронами эсэсовца. Он всунул свое костлявое кривоплечее тело в жесткий и твердый, как футляр, мундир и стал похож на манекен.

- Чем могу служить, господин штурмбаннфюрер? - осведомился я.

- Спокойно. Не сразу. Садитесь. Курите! - Он водворился на свое место за стол, заваленный газетами, бумагами, папками, посмотрел на меня, прищурился одним глазом, и продолжал: - А знаете, что я вам скажу? Она припомнила вас.

- Кто "она"?

- Та молодая дама, с которой вы меня встретили.

- Ах эта, как ее... - Я хотел, чтобы гестаповец назвал ее фамилию.

- Вот-вот, именно она. Вы угадали, - проговорил он. - Красивая особа, ничего не скажешь. Высший класс. Все на своем месте. Все буквально. Даже язык, что редко бывает у дам. Признаюсь, ее прелести действуют на меня неотразимо. Но всему мешает маленькое "но".

Неужто между ним и Гизелой может что-то быть? Неужели этот косоплечий ублюдок всерьез рассчитывает, что такая женщина откроет ему свои объятия? А собственно, почему я интересуюсь этим? Какое мне дело?

Я неопределенно пожал плечами и внезапно спросил:

- Выходит, Гизела припомнила меня? Я так вас понял?

- Ну конечно. Вы же встречались на вечере у бургомистра.

- Да, правильно. А что понимать под вашим "но"?

Интимное вдохновение покинуло гестаповца. Он поднял малюсенький, коротенький, как мой мизинец, указательный палец и сказал:

- Никаких вопросов. Со мной любопытным делать нечего. Нихт зихер. Небезопасно.

Гестаповец указал этим на дистанцию, разделяющую нас. Я ругнул себя в душе за любопытство. Язык надо постоянно держать на привязи.

Дверь открылась. Вошел голенастый гауптштурмфюрер и коротко доложил:

- В городе листовки.

Земельбауэр побагровел:

- Что? Опять непокорство? Опять смеют подавать голос?

- Так точно.

- Много?

- Тут сказано: десять тысяч.

- Постоянный тираж. С ума сойти. Перевод сделан?

- Никак нет, только что принесли. Но кажется, речь идет о Сталинградской крепости.

- Ну-ка, дайте сюда! - Он взял листок, который прошел через руки Челнока, его пропагандистов и Демьяна, протянул мне: - Ну-ка... о чем тут?

Я знал наизусть "о чем тут". Речь шла о разгроме трехсоттридцатитысячной немецкой армии под Сталинградом. Второго февраля она капитулировала во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Армия продолжает наступление. Бои идут под Воронежем, на Дону, на Северном Кавказе, под Ленинградом, в районе Демянска и в районе Ржева.

Я с удовольствием перевел это на немецкий язык.

- Блеф? Бахвальство! - воскликнул штурмбаннфюрер.

Прозвучало это неубедительно - и для меня и для гауптштурмфюрера. Хотя официальная печать и радио фашистов еще не уведомили мир и свой народ о катастрофе, эхо сталинградских событий докатилось уже до Энска. Узнали о них и немецкие солдаты. Узнали и о том, что, вопреки заверениям министра имперской авиации Геринга, будто ни одна бомба не упадет на Германию, с весны прошлого года бомбы падали, и падали густо.

- Облава! - грозно приказал негрозный по виду штурмбаннфюрер. Немедленно! Свяжитесь с майором Гильдмайстером от моего имени. Возьмите у него людей - взвод, роту, батальон! Прочистите район железнодорожного узла. И западную окраину. У всех подучетных - обыски. Все вверх дном. Действуйте!

- Яволь! - щелкнул каблуками гауптштурмфюрер и вышел.

Взбодораженный начальник гестапо вышел из-за стола и затопал своими дегенеративными ножками по кабинету. Он плюнул несколько раз на пол привычка не из тех, которыми можно гордиться.

Немного успокоившись, он взглянул на часы и сказал:

- Сейчас мы поговорим с одной дрянью. Ваш земляк. Актер. В прошлом, правда. В зависимости от того, как он поведет себя, решится вопрос, где ему умирать - здесь или дома, в постели.

Я поинтересовался:

- Смеею спросить, в чем он повинен?

Штурмбаннфюрер не делал из этого тайны. Тем более что я, как переводчик, должен был в какой-то мере войти в курс дела. Актер имеет дочь. Не родную, а приемную. Этакую молодую и, скажем прямо, роскошную девку. Имеется ее фото, когда ей минуло девятнадцать лет. Люба. Любовь. Она вскружила голову ротенфюреру СС Райнеке. И видимо, основательно вскружила, если такой служака, как Райнеке, прошедший огни и воды, стал волочиться за этой шлюхой. Он стал наведываться к ней на дом. Болван! Иначе нельзя его назвать. Забыл хорошее правило, рекомендованное покойным обергруппенфюрером Рейнгардом Гейдрихом. Правило гласило: "Немец! Покидая любой русский дом, не забудь поджечь его!" А Райнеке забыл. И поплатился. Его нашли мертвым. И где бы вы думали? В трех кварталах от дома актера.

"И ты болван, - отметил я. - Поздно хватился".

Памятная история с эсэсовцем Райнеке имела годичную давность. Никакого отношения к смерти Райнеке актер не имел. На эсэсовца точили зубы и я, и Костя, но Трофим Герасимович опередил нас.

- Давно это было? - на всякий случай любопытствовал я.

Штурмбаннфюрер сел за стол, покопался в ворохе бумаг и ответил, что в феврале минувшего года. Давненько. Но все дело в том, что у Райнеке, как у всякого порядочного немца, есть брат. Председатель военно-полевого суда. И его страшно интересует, кто мог поднять руку на его брата. Вот лежит его письмо. Надо же ответить.

- А этот актер замешан в убийстве? - спросил я.

Начальник гестапо засмеялся. Очень сомнительно. Как ему доложили, актер - дряхлый старик, развалина. Одной ногой стоит в могиле, а Райнеке... Его надо было видеть. У Райнеке размер шеи, бицепса и ступни - сорок четыре сантиметра. Это что-нибудь да значит. Юберменш! Он мог раздавить этого актеришку одним ногтем. Но старик, может, выболтает кое-что, если его припугнуть. Он может знать знакомых этой своей девки, а среди них, возможно, отыщется и тот, кто осмелился поднять руку на представителя германских вооруженных сил.

- Понимаете? - осведомился Штурмбаннфюрер.

Я кивнул.

Задребезжал телефон. Земельбауэр снял трубку и отрывисто бросил в нее:

- Да, пусть войдет. - Он отодвинул телефонный аппарат и сказал: Пожаловал.

Через минуту дверь открылась и впустила высокого, страшно худого старика лет шестидесяти. В одной руке он держал толстую бамбуковую палку, испещренную выжженными рисунками, а в другой - не по сезону холодную и очень поношенную фетровую шляпу. Одежда его была не в блестящем состоянии.

Согбенный страданиями, голодом и холодом, он имел жалкий вид. На костистом, породистом лице его тихо и печально тлели огромные, но уже помутневшие глаза. Радость давно не касалась их.

- Прозрачный старикан, - заметил гестаповец. - Как это у вас поется: были когда-то и мы рысаками? Что ж, приступим. Переводите и записывайте. Фамилия?

- Полонский, - глухо произнес старик и счел нужным продолжить: Полонский Всеволод Юрьевич. Шестьдесят девять лет. Русский. Из дворян. В прошлом актер.

- Спасибо, - осторожно, как бы про себя, проговорил я.

Тихий, усталый взгляд его глаз ненадолго задержался на мне.

Стоять на ногах ему было трудно. Указав пальцем на стул у печи, он спросил:

- Я имею право сесть?

- Есть стулья, сев на которые однажды, уже больше не встанешь. Это его не пугает? - сострил штурмбаннфюрер. И я подумал, что юмор у него довольно мрачный.

Нет, Полонского это не пугало.

- Сила привычки, - заметил он своим глухим голосом. - Смерть уже много времени открыто бродит вокруг. Хотя, разумеется, всему бывает предел.

- Болтун! - констатировал начальник гестапо и разрешил Полонскому сесть. А когда тот водворился на стул, предупредил: - У вас, как у любого смертного двуногого, двести сорок восемь костей. Я переломая каждую из них, если вы не будете правдиво отвечать на мои вопросы.

- Я никогда и никому не лгал. И я не боюсь. Пугать меня не надо.

Штурмбаннфюрер фыркнул от неожиданности:

- Но вы свободно можете умереть. Кости есть кости.

- Человек умирает раз и навсегда. Вы, не знаю вашего чина, тоже не бессмертны. Вы тоже можете однажды не проснуться.

Крысиные глазки гестаповца заискрились подленьким смешком.

- Вы юродивый? Что это за философия? Вы сектант? Или вы хотите получить по физиономии?

Старик Полонский, я уже понял, бесспорно, относился к числу тех русских людей, которые все могут выдержать и не опустить головы. И я знал их. Вот так, видно, держали себя перед врагом Прохор, Прокоп, Урал, Крайний, Аристократ.

На короткое мгновение в его старческих, помутневших глазах мелькнул суровый, неумолимый огонек. Мелькнул и исчез. Он лишь сдвинул свои седые клочкастые брови и спросил:

- Бить по лицу старика? Это что, рекомендовано уставом цивилизованной германской армии, несущей на своих знаменах так называемый новый порядок?

Этого и я не ожидал.

Начальник гестапо опешил. Кровь схлынула с его морщинистого лица. Он встал, сжал кулачки, разжал их, сел, откинулся на высокую спинку стула и дико захохотал.

- Однако вы смелы, черт вас подери!

- Когда пройдешь через многое, то угрозы воспринимаются не совсем так, как некоторые рассчитывают.

- Принципиальный старикан. Но ближе к делу! Ответьте мне: вам фамилия Райнеке о чем-нибудь говорит?

- К сожалению, да. Бандит с большой дороги.

- Что? - разинул рот штурмбаннфюрер.

- А вы считаете его красой германских вооруженных сил? Что ж... мы расходимся во взглядах.

- Довольно болтать! - ударил кулачком по столу Земельбауэр. - Зачем Райнеке приходил в ваш дом?

- Мне думается, что об этом лучше всего спросить его самого.

- Думается, думается... Я могу сделать так, что вам вообще нечем станет думать.

- Я его, этого Райнеке, не приглашал.

- Но на вашей шее сидит девка, которая...

- Моя шея, - шевельнул головой Полонский, - тонка для того, чтобы на ней кто-либо сидел.

- Для петли неважно, какая она у вас: тонкая или толстая. Тонкая даже лучше. Райнеке завлекла в дом ваша девка.

- Ложь! - сказал Полонский. - Она боялась его.

Штурмбаннфюрер решил выложить свой последний козырь и спросил:

- Вам известно, что убитый ротенфюрер Райнеке подобран вблизи вашего дома?

- Неужто! - выпрямился старик и осенил себя крестом. - Вот уж кому я не пожелаю царствия небесного.

Земельбауэр опять откинулся на спинку стула и застыл, покусывая нижнюю губу. Этот немощный, бессильный старик говорил все, что хотел.

- Он идиот, - пробормотал штурмбаннфюрер после долгой паузы. - Его можно жарить на углях,

а он будет в ладоши хлопать. Попадались мне такие. Или он не понимает, куда попал? Что с ним делать? Позвольте!.. Скажите ему, что я прикажу сейчас приволочь его шлюху. Эту Любу. С нее и надо было начинать. И скажите, что уж ей-то придется заговорить так, как нам хочется.

Я перевел.

Полонский горько усмехнулся, одарил меня укоризненным взглядом и произнес:

- Скажите своему шефу, что за моей дочерью ему надо будет съездить в Германию. Она там. Давно. Полгода. Если только еще жива.

Сострадание к старику сжало мое горло.

- Кончайте! - взвизгнул гестаповец. - Переведите ему протокол. Пусть подпишет.

- Не стоит, я сам прочту, - сказал вдруг на чистом немецком языке Полонский. - Я сам умею. Я бывал в Германии. Дрезден, Мюнхен, Кельн, Лейпциг, Франкфурт. Я пел. Мне аплодировали!

- А что же вы ломались? - взорвался Земельбауэр.

- Меня не спрашивали. И потом, я бы все равно отвечал только по-русски.

Когда затихли звуки его шагов, штурмбаннфюрер вскочил, прошелся по комнате, плюнул с остервенением.

- Ну, знаете ли! Если бы он не перекрестился...

Что было бы, он не договорил. Вспомнил о моем присутствии, подумал и произнес уже спокойно:

- Вы тоже свободны.

С облегченным сердцем я покинул гестапо.

На дворе стоял последний зимний месяц, но снег еще звонко поскрипывал под ногами.

Свернув за угол, я увидел бредущего Полонского. Он, как слепой, ощупывал палкой дорогу и медленно и осторожно ставил ноги. Около витрины, на которой обычно вывешивалась местная газета, он остановился. Но не затем, чтобы прочесть ее, а чтобы передохнуть.

Мне захотелось пожать руку этому смелому человеку. Я подошел к нему вплотную и тихо сказал:

- Я горжусь вами. Разрешите? - протянул я руку.

Старик взглянул на меня и сейчас же отвернулся. И в глазах его была не ненависть, даже не отвращение, а скорее всего брезгливость.

Рука моя упала. Что-то обожгло сердце, точно огнем. Вжав голову в плечи и стараясь не смотреть в лица прохожих, я быстро зашагал своей дорогой.

Вечером я встретился с Костей и передал ему для Наперстка радиogramму за подписью Перебежчика. В ней было сказано:

"В ночь с восьмого на девятое вывозятся для выброски на нашу территорию завербованные мною и обученные гауптманом Штульдреером "агенты" абвера: Чекунов Василий Тарасович, кличка Кипарис, Огарков Петр Данилович, кличка Реванш, и Криволапое Александр Федорович, кличка Проходящий. Общий пароль: (Дело идет к весне". Приземление намечено на отрезке желпути Плавск-Чернь между часом и двумя ночи. Желательно встретить".

А Костя передал радиogramму, адресованную Андрею:

"Первое: Освобождение Солдата от руководства группой и ваше назначение одобряем.

Второе: Поздравляем Перебежчика, Цыгана, Костю, Усатого и Наперстка с награждением орденом Отечественной войны второй степени. Аристократ награжден посмертно.

Третье: Розыск оберштурмбаннфюрера Себастьяна Андреаса прекратите. Он был Is Энке в декабре прошлого года пролетом и сейчас находится в Берлине. О выезде его в Энк уведоим".

20. Архив приказал долго жить

Неспроста я согласился идти с Костей на операцию. Это было необходимо мне как разведчику, как участнику боевого подполья. Демьян сказал мне однажды: "Чтобы эффективно командовать людьми, надо не только знать, что они делают, но и уметь это делать самому". Правильная мысль.

План налета на дом с архивами вызревал долго. Все это время объект находился в фокусе нашего внимания Мы тщательно готовились, стараясь не упустить ни одной детали, которая могла бы потом помешать нам. И вот подошел срок. Он пал на семнадцатое февраля. Эх, если бы у меня осталась хоть одна из тех замечательных "зажигалок"! Как бы это облегчило нашу работу... Но, увы, последние я отдал под Новый год Трофиму Герасимовичу. В нашем распоряжении был только бензин - три фляги бензина. Бензин, конечно, тоже горит, но это не то... Далеко не то.

Погода изменилась. Температура поднялась почти до нуля. Дороги развезло, точно весной.

Вечером, без нескольких минут одиннадцать, я выбрался на Административную улицу - параллельную Восточной. Засел в развалинах четырехэтажного жилого дома, разрушенного бомбой. Здесь мы договорились встретиться с Костей.

Город спал. С неба сыпались снег и дождь. Было сыро, слякотно и холодно.

В одиннадцать Костя не пришел - подобного с ним никогда не случалось. Я высунул голову, В провале улицы маячила беленькая точка. Иногда она становилась ярче, потом меркла и наконец исчезла. Кто-то курил. Возможно, Костя. Напрягая до боли зрение, я всматривался в

темноту. Послышалось шлепанье сапог. Звуки приближались. По тротуару, в каких-нибудь десяти шагах от меня, прошли люди. Я услышал немецкую речь. Патруль!

Не успели затихнуть шаги, как рядом со мной возник Костя. Будто из-под земли выскочил.

- Видели? - тихо спросил он. - Четыре эсэсовские морды сразу. Чуть не напоролся, пришлось дать задний ход. А погодка, а? Заляпаемся как черти.

В этом был весь Костя. Идя на трудное, опасное, связанное с риском для жизни дело, он мог говорить самое обыденное. Неужели важно: забрызгаемся мы или нет?

- Хлопцы где? - спросил я.

- На постах. Все в порядке.

Речь шла о двух ребятах из группы Кости. Они должны были дежурить неподалеку от дома и в случае опасности предупредить нас.

Костя присел на корточки у моих ног и полез за пазуху.

- Спички достал, - сказал он. - Непечатую коробку. На службе спер.

Спички составляли на оккупированной территории острый дефицит. Мы пользовались зажигалками.

- Пошли! - предложил я.

Мы выбрались на узенький тротуар. Осмотрелись. Ни души. С восточной окраины города доносились какие-то непонятные звуки. Будто бросали с машины на землю полосовое железо. Идти по улице было рискованно, да и не входило в наши планы. Маршрут пролегал дворами. Мы свернули в калитку, миновали один двор, второй, третий, попали в четвертый. Он был не огорожен: забор ушел на топку. Дом стоял на пустыре. Вслед за Костей я обогнул его и наткнулся на кирпичную стену. Ее не обойдешь: она срослась с соседним домом. Пришлось взобраться на нее и идти по гребню. Стена вывела нас на сарай, крытый черепицей. Тут мы поползли на четвереньках, хватаясь за черепицу руками. Вот и край. Отсюда виден тот самый двор, который позволял нам подойти к цели. Просматривался также кусок Восточной улицы и часть двора, где стоял дом с архивами. Нам надо было спуститься, и спуститься бесшумно. Но как это сделать? Ни лестницы, ни столба рядом. Пришлось прыгать.

Уже на земле я примерился к высоте сарая. До крыши рука моя не дотягивалась. А ведь на обратном пути придется снова взбираться вверх. И у меня мелькнула мысль, которой я поделился с Костей: он станет мне на плечи, влезет на крышу и подаст руку. Потом с его помощью поднимусь я.

Костя согласно кивнул, поправил поясной ремень, засунул за него полы шинели и снова зашагал впереди меня.

Спокойствию Кости я всегда завидовал. Он отправлялся на боевое дело, словно на службу. Каждое движение его было обдуманно, выверено, рассчитано. Он делал лишь то, что надо было делать. Вот и сейчас. На пути стояла старая, без двух колес, армейская телега. Я обошел бы ее с левой стороны: так было удобнее. Но Костя предпочел обойти справа. Для этого надо было продираться через колючие кусты, кажется, крыжовника. И только позже я понял его маневр: с левой стороны телега была хорошо видна с улицы и нас могли заметить. Вот и последнее препятствие - дом, стоящий вплотную к двухэтажному, где хранятся архивы. Как хорошо, что и он, подобно сараю, покрыт черепицей, а не железом.

Одним своим скатом крыша выходила на улицу, вторым - во двор, к нам. Нас интересовал именно этот край.

Со слов Кости я знал, что в доме живут две семьи. Люди смирные, опасаться их нечего. Но следует все же соблюдать осторожность. Шум могут услышать не только жильцы, но и часовой на улице.

Не шуметь... Легко сказать! Надо взобраться на крышу и пройти по ней из конца в конец. Костя взял стоящую у стены длинную доску и поставил ее вместо лестницы. Нажал - держится. Пополз по ней и кое-как достиг крыши. Настал мой черед. Первый метр удалось одолеть без шума. Но на втором меня постигло несчастье - под доской лопнула черепица. Я замер, обхватил доску руками и ногами: нужно же так! С минуту мы оба вслушивались.

Тихо. Звук никого не потревожил. Тогда Костя подал мне руку, и я взобрался на крышу. Мы доползли до стены желанного дома и залегли передохнуть. Над нашими головами, чуть-чуть наискось, виднелось узкое, с полметра, застекленное окно. Мы смотрели на него и обдумывали свой последний шаг.

Скажу прямо: в эти минуты мне не хватало душевного спокойствия. Того спокойствия, которое всегда сопутствует в делах. Почему? Непонятно. Все шло гладко. Мы благополучно добрались до цели. Сидим, отдыхаем. Я уверен в Косте, он - во мне. У нас одни и те же мысли. И все-таки... Все-таки мне было почему-то не по себе. Чего-то я опасался.

Отдышались. Пора приступать. Костя приподнялся, оглядел стену. Мы заранее решили выдрать из пазов между бревнами паклю, залить пазы бензином и поджечь. Я провел рукой по бревнам: темные, крепкие, как медь. Такие не сразу загорятся, да и загорятся ли?

Костя между тем спустился почти до края крыши, задрал голову и начал показывать мне что-то знаками. Я не понял. Он поманил меня к себе.

- Станьте вот здесь, - прошептал он. - Я на плечи вам... Попытаюсь достать до окна.

- Ты рехнулся!

До окна с самой удобной для меня точки минимум четыре метра. Кроме того, окно расположено не перпендикулярно к нам, а наискосок. Если я примощусь на краю крыши, черепица может не выдержать, и мы оба сорвемся вниз.

- Никуда мы не сорвемся, - проговорил Костя. Он уже сердился. - Что вы за человек? Неужели трудно? Я же дело предлагаю.

Крыша была неудобным местом для спора. Быть может, действительно не сорвемся?

Была не была. Я спустился до самого края крыши и занял место Кости. Выпрямился во весь рост и ухватился руками за стену.

- Давай!

Костя, как партерный гимнаст, стал на мое левое колено и взгромоздился мне на плечи. В ногах моих появилась дрожь. Я прижался лицом и грудью к холодным бревнам.

- Достоешь? - прошипел я.

Молчание.

- Слышишь, дурень?

Тишина.

- Ну, что ты там? - теряя терпение, спросил я.

- Минутку... Держитесь крепче.

Я не успел ни сообразить, ни как следует закрепиться, лишь ощутил страшный нажим на плечи и толчок, от которого повалился на крышу. Придя в себя, я быстро перевернулся на бок и обмер: Костя висел. Руками он держался за что-то невидимое под самым окном, а ногами сучил, стараясь найти опору. У меня засосало под ложечкой. Ненормальный... Он же свернет себе шею! И главное, ему ничем нельзя помочь. Нас разделяют добрые три метра, которые не преодолеешь, даже вытянув руки.

Я лежал безмолвный, скованный, таращил глаза, а он висел и изворачивался, как ящерица.

И вдруг Костя затих. За что-то зацепился. Да, нашел какую-то щель, или углубление, или выступ. У меня отлегло от сердца.

События, разумеется, протекали быстрее, нежели я их описываю. Все исчислялось секундами. Короче говоря, Костя вдруг подал мне... что бы вы думали? Стекло? Как бы не так. Он подал мне целиком раму. Поражало не то, что он сделал это мастерски очень ловко, а то, что ему вообще удалось это сделать... Произошло что-то непостижимое.

Сейчас он торчал боком в оконном проеме и шептал требовательно:

- Флягу!

Одна фляга с бензином была у меня, две - у него.

Я отцепил ее с карабинчика на поясе, встал, занял поудобнее позицию, примерился:

- Лови!

Фляга взметнулась вверх, упала вниз и едва угодила мне в руки. И так три раза подряд. На

лбу у меня вы ступил пот. Какое-то проклятие! Чертовское невезение!

- Из вас не получится жонглер, - пошутил Костя.

Нашел время шутить! А меня разрывала злоба: фляга никак не летела туда, куда я направлял ее. Наконец Костя изловчился и схватил жестянку.

- Спускайтесь на землю, - прошептал Костя.

- А ты?

- Не буду же я здесь ночевать!

Что правда - то правда. Значит, он полетит вниз. И хорошо, если не переломает ноги. Надо хоть как-нибудь амортизировать его падение. Ведь умеют же это делать цирковые акробаты!

Я спрыгнул. Даже не упал. В это время сверху чиркнула спичка, Костя поджигал паклю. Потом горящий комок исчез внутри дома, Костя опять повис на руках, раскачался и, вопреки закону земного притяжения, оказался не внизу возле меня, а на крыше.

Огонь внутри дома скакнул, как хищник, пламя взвилось и осветило пустое окно. Все понимают, и вряд ли надо объяснять, что если дерево облить чистосортным бензином, то уж оно, конечно, горит как следует.

Костя прыгнул в мои объятия. Я не рассчитал свои возможности и упал. Он упал на меня. Мы быстро вскочили, разгоряченные, взбудораженные.

- А теперь - ходу!

Мы направились уже изведанным маршрутом. Надо было бежать, бежать что есть духу. Неосторожность требовала спокойствия, и мы шли, правда быстрее, чем прежде. Все хорошо. Бричка... Кустарник... Сарай под черепицей... Кирпичный забор... Знакомый дом... Сейчас будет тротуар.

- Вер да? Кто идет? Хальт! - раздался хриплый окрик.

Он на секунду пригвоздил нас к месту. Только на секунду. Мы отпрянули назад, бросились в узкую щель между двумя домами и замерли не дыша. На улице, в том месте, где выкрикнул патруль, топали сапоги, звякали автоматы, раздавались ругательства. Нас искали.

Можно было, конечно, выйти и предъявить свои документы. В чем дело? Кто мы такие? Дежурный полиции по караулам и старший переводчик управы. Пожалуйста!

Но это - бредовая мысль. Трудно объяснить, каким образом наше присутствие здесь совпало с пожаром.

Уйти. Незаметно уйти - единственное спасение. Мы воспользовались запасным вариантом, стали пробираться дворами, пока не достигли развалин. Здесь постояли около минуты, вслушиваясь в ночь. Раздался разбойничий свист, но не близко, а так шагах в трехстах, на Административной.

- Это мои ребята, - шепнул Костя.

Я не отнес это к успокаивающим сообщениям. Надо было выбраться на улицу, пересекающую и Восточную и Административную. И побыстрее. Немцы, если что-то учуяли, не уйдут. Они вызовут подмогу и перевернут все вверх дном. А учуять не трудно: пожар скажет сам за себя.

Где-то (где - определить сразу было трудно) затарахтел мотоцикл, и автоматная очередь прошила тишину. Стреляли на Восточной. Возможно, часовой у горящего дома поднял тревогу.

- Держите, - тихо произнес Костя, и ребристая граната тяжестью легла на мою ладонь.

Правильно. Молодчина Костя! Граната - верное дело. Выручит в трудную минуту.

- Выскочим все же на Административную, - предложил я. - Добежим до переулка - и в гору... до соснового бора, а там попробуем вниз, к реке.

Костя не возражал.

Тихо ступая, мы покинули развалины, вышли на улицу, быстро зашагали к переулку и вдруг за спиной опять услышали:

- Хальт!

Теперь беги! Теперь скачи!

Сзади раздался дружный топот, затрещал автомат и хлопнула винтовка. Нас заметили. Немцы стреляли по видимым целям. Вся надежда на ноги и удачу. Попадаться живыми нельзя.

Мы выскочили в переулок. Еще квартал - и перекресток. А там - сосновый бор.

Вот уже середина квартала. И вдруг впереди, на перекрестке, в небо взвилась красная ракета. Совсем худо. Мы бросились на ступеньки какого-то дома, на крыльцо, под навес и прижались к стене.

- Нас здесь сцапают как цыплят, - задыхаясь, проговорил Костя.

- Понимаю. Но бежать при таком свете...

Ракета озарила все вокруг. Секунда, другая. Как медленно гаснут проклятые искры.

- Видишь? - показал я двор напротив. - Туда. Скорее!

Костя хотел что-то сказать, но вдруг дверь открылась, он покачнулся и едва не упал.

Из темноты прозвучал, как приказ, голос:

- Сюда! Быстро!

Это было предложение, над которым не пришлось раздумывать. Пренебрегая элементарным благоразумием, мы послушались приказа, хотя отдан он был на немецком языке. Но не мужчиной. Возможно, этим и объясняется наша решимость. Впрочем, выбора не было. Вернее, был, но плохой. Перебегать улицу под пулями - не ахти какое удовольствие.

Мы вскочили, и дверь захлопнулась. В темноте слышалось только наше шумное дыхание. Я нащупал рукой Костину руку и зажал в своей. Надо держаться вместе. Еще неизвестно, что ожидает нас. Быть может, западня. По тротуару кто-то пробежал. Потом еще и еще. До нас доносились крики, выстрелы, тревожные свистки.

Но вот скрипнула дверь, и коридор, где мы стояли, залил неяркий свет. Но его было вполне достаточно, чтобы разглядеть того, кто стоял у дверей. Это была Гизела.

- Ну проходите же, - услышал я ее глубокий голос. - Кажется, все в порядке.

Мы прошли в светлую комнату. Надо было считать за огромное счастье, что мы двигались, дышали, были еще живы.

- Это вы? - воскликнула вдруг Гизела, узнав меня. - Боже мой, какой вид!

Да, вид у нас был аховый, что и говорить.

Гизела смотрела на меня широко раскрытыми зелеными глазами. Вспомнив, что в правой руке у меня граната-лимонка, я быстро сунул ее в карман пальто.

Тогда она перевела взгляд на Костю, который выглядел похлестче меня, и весело спросила:

- Что вы тут делали?

- Что делали? - переспросил я, выигрывая время.

- Ну да... Вопрос, я полагаю, ясен.

- Мы прибежали на пожар. Там горит что-то.

- Где? - встревоженно спросила Гизела.

- Недалеко, на Восточной.

Гизела быстро закрыла дверь во вторую комнату, щелкнула выключателем и подняла оконную штору.

Через окно отлично был виден пылающий дом. Огонь держал его мертвой хваткой. Все полыхало, и смотреть было жутковато. Дьявольское зрелище! Какую стихию выпустили на свободу наши руки!

- Очень мило, - спокойно сказала Гизела, опустила штору и зажгла опять верхний свет. - Раздевайтесь. Я здесь живу, - она сделала рукой округлый жест.

Мы продолжали стоять и нерешительно осматривались.

Комната выходила двумя окнами на улицу. Обстановку составляли стол, диван с низкой спинкой, несколько стульев, тумбочка с радиоприемником "Филипс", что-то вроде буфета или посудного шкафа и широкая бамбуковая этажерка с книгами.

- Да садитесь же! Мне просто неудобно.

- Благодарю, - сказал я, и мы сели.

- Значит, вы бежали на пожар? - уточняла она.

- Да. А патруль без предупреждения начал палить.

- Это очень неприятно. Я лично терпеть не могу, когда в меня стреляют. Вообще я предпочитаю не служить мишенью.

Я не знал, как на это реагировать. В ее голосе чувствовалась тонкая ирония.

- Нет, так нельзя, - решительно сказала она. - Сейчас же раздевайтесь! Смотрите, на кого вы похожи.

Я встал. Костя - тоже.

- Спасибо. Мы не будем вас беспокоить. Нам надо идти.

Гизела сидела на диване, упираясь обеими руками в его край.

- Нихт гуд. Вы думаете только о себе?

- Не понял.

- Вы уверены, что вас никто не увидит?

Нет, такой уверенности у меня не было. Но мне трудно было отвечать. Я понимал, что сейчас выйти - значит накликать беду на свою голову. Но не могу же я сказать об этом.

- Вот что, - вновь заговорила Гизела. - Скажите вашему другу, что я тоже ваш друг. И раздевайтесь.

Я посмотрел на Костю. Он несколько не волновался, только был чуточку бледнее обычного.

- Раздевайся! - после секундного колебания сказал я. - Получилось очень удачно. Здесь нечего опасаться. Я знаю ее.

Костя хотел, видимо, задать какой-то вопрос, но раздумал.

Мы разделись, вышли в коридор, почистили обувь, повесили верхнюю одежду. Но голову сверлила мысль: "Вдруг ловушка?"

Гизела принесла пачку сигарет, угостила нас, закурила сама.

- Я вас напою кофе. Будете пить?

Мы переглянулись.

- Я тоже выпью, - поспешила добавить она.

- Удобно ли? - нерешительно проговорил я.

- Очень удобно. Я весь день сегодня варю кофе. Незадолго до вас у меня был господин Земельбауэр. Он мой сосед. Его дом напротив. Вот там, - она показала в угол. - А через дом от него живет господин Гильдмайстер. Тут целая колония.

Я слушал, кивал и чувствовал, как горят мои уши. Мы угодили в осиное гнездо. Чем все это кончится?

- Смотрите журналы. Я быстренько.

Мы остались одни, Костя оглянулся на дверь, за которой скрылась хозяйка, и спросил шепотом:

- Что это за цаца? Немка?

Я кивнул и коротко рассказал о знакомстве.

Костя почесал затылок.

- А что она делает?

- Понятия не имею.

- Тонкая штучка.

Я встал, прошел к этажерке. На верхней полке лежала стопка иллюстрированных журналов. Руки машинально стали перелистывать их.

- Нам нельзя сейчас высовывать нос, - объяснил я создавшееся положение Косте.

- Угу... А я думаю: почему у нее свет? Теперь ясно: начальник гестапо, комендант. Весь этот квартал надо сжечь.

- Чш-ш, - предупредил я.

- Да, - Костя понизил голос, - прелестная ночка выдалась. А не пошла ли она предупредить кого-либо?

- Ну, а если? Что предлагаешь?

- Да я так. Если уж драться, то лучше здесь.

Я отобрал два журнала - себе и Косте, хотел отойти, но взгляд сам по себе непроизвольно остановился на телеграфном бланке, лежавшем на второй полке. Он был заполнен готическим шрифтом. Деталь сама по себе привлекала внимание. Я всмотрелся, и кровь ударила мне в голову. Телеграмма адресовалась Гизеле Андреас. Из Берлина ее отправили тринадцатого. Текст был краток: "Задерживаюсь. Вылечу семнадцатого. Обнимаю. Себастьян Андреас".

Так вот кто она! Вот с кем мы имеем дело! Жена оберштурмбаннфюрера, о котором ведется переписка. Сегодня шестнадцатое. Он вылетит завтра.

Я подошел к Косте и, взволнованный, поведал ему об открытии.

- Сгорим мы, как шведы под Полтавой, - проговорил он спокойно. - Есть предложение - стукнуть ее и потихоньку сматывать удочки.

Стукнуть. Потихоньку.

- А если она действительно друг?

- Вы, значит, еще не уверены?

Послышались шаги. Мы поспешно занялись журналами. Вошла Гизела с подносом в руках. На нем стояли кофейник, чашки и блюдечко с кусочком масла. Она поставила все это на стол, вынула из шкафа пачку галет, сахар, разлила кофе.

Отпивая маленькими глоточками горячий кофе, я сказал:

- Очень рад знакомству с вами.

- Да? - спросила она. - Охотно верю. Хотя здесь многие говорили мне то же самое.

Она поинтересовалась моим образованием, профессией. Я удовлетворил ее любопытство.

Мне почему-то вспомнилась недавняя беседа с Земельбауэром. Он сказал, что какое-то "но" мешает ему. А говорил он о Гизеле. Не является ли этим "но" оберштурмбаннфюрер? Вполне возможно.

Потом хозяйка занялась Костей. Стала выяснять, здешний он или приезжий, служил ли в армии, сколько ему лет. Узнав, что Костя родился в Энке, она спросила, известен ли ему хозяин дома, в котором мы сейчас сидим.

Костя сказал, что нет. Вообще он держал себя настороженно, отвечал лаконично.

- А вы хотите знать, кто здесь жил?

Она кивнула.

- Пустяки. Я узнаю в управе.

- Да нет, не стоит. Просто так, интересно. Я вам сейчас покажу кое-что. Пройдемте в ту комнату.

Она встала, пошла, а вслед за нею поплелись и мы.

Во второй комнате стояли полуторная кровать, платяной шкаф и тумбочка. Возле нее - коричневый кожаный чемодан.

Гизела сдвинула с места тумбочку, подняла половицу, и мы увидели под ней цинковую коробку из-под винтовочных патронов. Она до краев была наполнена серебряными рублями и полтинниками царской чеканки.

Гизела рассмеялась.

- Быть может, они нужны хозяину?

Я сказал, что едва ли кто-нибудь признает их своей собственностью.

Мы просидели у нее до рассвета. Почистили и привели в порядок свою одежду. Когда уходили, Гизела энергично пожала нам руки и сказала:

- Вы ни о чем не думайте. Хорошо, что все случилось сегодня.

- Почему? - не удержался я.

- Завтра прилетает муж. Из Берлина. А он не такой, как я.

Углублять разговор я считал нетактичным.

- Мы еще когда-нибудь увидимся? - лишь спросил я, набравшись смелости.

- Да! Конечно! Это будет зависеть от вас. - И она улыбнулась. Это была улыбка для друзей. Да, только для друзей. В этом я был почему-то убежден. Убежден я был и в том, что в мою жизнь вошло что-то новое, тревожное. Кажется, я понял то, чего долгое время не мог понять.

Когда мы добрались до центральной площади, где пути наши расходились, я сказал Косте:

- А архив приказал все-таки долго жить.

- Что верно - то верно!

21. Гизела

Меня вызвал бургомистр.

- Сходите в Викомандо. К господину Литтенмайеру. Комната тридцать седьмая. Он даст вам циркуляр о весеннем посеве. Надо срочно перевести его на русский и разослать. Ступайте!

Я вышел.

Оккупантам очень хотелось, чтобы крестьяне посеяли в этом году как можно больше зерновых. Но они не верили, что их стремление совпадает с нашим. Большая земля побеспокоилась об этом значительно раньше Викомандо. Месяц назад, еще зимой, она дала указание развернуть работу среди крестьян о возможно большем освоении земель. Указание это касалось главным образом партизанских отрядов, но не остались в стороне и мы. Успехи на фронтах создавали твердую уверенность, что урожай в этом году будут собирать не оккупанты.

Я оделся и отправился выполнять распоряжение.

Формально зима уже кончилась. Стоял первый месяц весны, но холод явно не торопился покидать наши края. Всюду лежал снег, обильный, плотный. Вот ветерок, правда, дул весенний. Он нес радостные надежды.

Викомандо помещалась в здании одной из средних школ. Я вошел в тридцать седьмую комнату. В ней сидело трое: двое чиновников в военной одежде и один в гражданской. Я сказал по-немецки, что прислан бургомистром.

- Сюда, ко мне, - отозвался кричающим голосом пожилой мужчина. У него было добродушное лицо с каким-то домашним выражением.

Он раскрыл папку, вынул несколько листов, скрепленных булавкой, и подал мне.

- Сделать перевод и разослать. Срок - два дня. Зайдите в комнату четырнадцать, к инженер-агроному Андреас, она зарегистрирует.

Я не поверил своим ушам и переспросил.

Чиновник повторил. Да, я не ошибся - к Андреас. После той злополучной февральской ночи я видел ее лишь мельком на улице около кинотеатра вместе с начальником госпиталя доктором Шуманом. Это было вскоре после поджога дома с архивами. Она как-то растерянно ответила на мое приветствие, а Шуман даже не обратил на меня внимания. Между прочим, муж Гизелы не появлялся. Или же мы прохлопали его? Задание Решетова висело в воздухе.

Первую неделю после поджога я и Костя не знали покоя. Да только ли мы?.. А тот же Решетов, а Демьян, а Андрей? Все они склонны были видеть в поступке Гизелы подвох. Все ожидали с часу на час удара. Но его не последовало. Прошла неделя, минул февраль, настал март. Гизела не выдала нас.

Никто не мог понять, чем она руководствовалась, какие причины побудили ее пойти на такой рискованный шаг. Об этом думал я по пути в четырнадцатую комнату.

Здесь было людно. Сразу даже не удалось заметить Гизелу среди дюжины столов и затылков.

- Вы к кому? - спросил меня на ломаном русском языке плотный интендант с прямым пробором на голове.

Я ответил по-немецки: мне нужен инженер-агроном Андреас - и показал циркуляр.

- Стол у окна, - показал интендант.

Да, там сидела она, Гизела. И как я сразу не обратил на нее внимания! Она занимает самое видное место.

Я счел правильным держать себя как лицо, ей незнакомое. Узким проходом пробрался от двери до окна, подошел к Гизеле и приветствовал ее. Так поступил бы на моем месте любой. Она ответила с едва заметной улыбкой, скользнувшей по губам.

Я подал ей циркуляр и хотел добавить, что его необходимо зарегистрировать. Но Гизела опередила меня:

- Да-да, я знаю.

Она не пригласила меня сесть, хотя свободный стул стоял рядом. Неторопливо подколола к циркуляру маленький клочок бумаги, написала на нем несколько строк, сделала отметку в журнале и возвратила все это мне.

- Можете идти, - сказала она и опять едва улыбнулась.

Мне ничего не оставалось, как проститься.

В упреке я чуть было не отдал циркуляр вместе с клочком младшему переводчику. Кто мог предполагать, что надпись на листочке имеет прямое отношение ко мне! Не без удивления я прочел:

"Теперь вы придете сами. Правда? Сегодня же. Не забудьте, что между шестью и семью часами солдат растапливает у меня печь. Жду".

Не скажу о других. Не знаю, как ведут себя другие мужчины, когда им оказывают знаки расположения. Я говорю о себе. Меня обуял телячий восторг. Я готов был смеяться, плясать, петь. Добрый десяток раз была перечитана записка, прежде чем рука моя решилась ее уничтожить. И только потом, позже, начал предъявлять свои права рассудок: что же это такое? Так можно запросто натворить глупостей, уважаемый Дим-Димыч. Или вы забываете, что имеете дело не просто с молодой женщиной, носящей имя Гизела, а с немкой, с женой оберштурмбаннфюрера СС? Это вам ясно?

Да, ясно. Но позвольте: разве не эта женщина, жена эсэсовца, спасла жизнь мне и моему другу? Разве не она, рискуя жизнью, укрыла нас в своем доме и не выдала на растерзание своре разъяренных гестаповцев? Что вы на это скажете? Все правильно.

Однако я прежде всего разведчик, сидящий в оккупированном фашистами городе. И дело, святое дело, которому я служу, для меня превыше всего. Отсюда надо и танцевать. Нравится мне Гизела? Нравится. Очень. Быть может, потому и нравится, что совершила благородный поступок. А каждый такой поступок, кем бы он ни был совершен, находит отзвук в душе человека. Нашел он отзвук и во мне.

Но если за этим поступком скрывается расчет, если это тонкая и хитрая игра, если Гизела обдуманно старается вовлечь меня в ловушку, если она окажется не той, за кого хочет себя выдать, я безжалостно вытравлю из своего сердца чувство, как бы глубоко оно ни захватило меня.

Остаток дня я пребывал в том приподнятом настроении, когда любая работа спорится. По заданию Андрея я ходил к Геннадия. Андрей беспокоился за Геннадия, а я нисколько. Его пугало, что, вопреки ясному указанию Демьяна, Геннадий и не думал создавать самостоятельную группу.

- В какой роли мне выступать? - с досадой спросил я. - Ревизора или главного уговаривающего?

- Не будь идиотом, - произнес Андрей. - И не тебя мне учить. Посмотри хотя бы, как он живет. А то как отрезанный ломоть.

По-своему Андрей прав. И вообще он молодчина. Им доволен Решетов, с ним считается Демьян. Качество разведывательной информации, после того как группу возглавил Андрей, сразу же повысилось. По линии абвера он развил такую кипучую

деятельность, что я не успеваю подбирать ему людей. Помогают Клещ, Костя, Челнок. Подумать только: уже девять троек выбросил абвер! И все девять ведут с абвером игру.

Геннадия я навестил. Он встретил меня холодно. Поговорили вообще и ни о чем конкретно. Говорил больше я. Геннадий слушал меня, сонливо шурясь и позевывая. Глаза его откровенно просили: "Скорей кончай и проваливай. Без тебя тошно". Видимо, наши подпольные события окончательно расшатали его волю. Как не похож он стал на прежнего Геннадия! Где его обычная энергия, настойчивость, решимость? Ведь было, было все это... С какой-то тоской, даже страхом я представлял теперь рядом с ним Оксану. Даже худшее, что знала она о Геннадии, теперь рисовалось в привлекательном виде. Быть может, ревновал,

быть может, любил, наконец, тщеславие могло заставить его совершить подлость по отношению к Оксане. В собственной душе я искал основание, причины, объясняющие прошлое. Но настоящее! Как объяснить настоящее? Во имя чего отходит от нас Геннадий? А он отходит. Значит, не было дружбы. Значит, мы всегда были вдвоем: я и Андрей, а он только считался третьим. Больно подумать. Третьим в нашей дружбе был чужой человек. Иначе как понять это холодное равнодушие ко всему, что касается меня и Андрея? Ну, меня он мог бы ненавидеть. Ненавидеть из-за стычек в прошлом, из-за Оксаны. А кто защищал, кто отстаивал его передо мной? Андрей. И сейчас - кто послал меня сюда, чтобы узнать, поговорить, посоветовать? А ему, Геннадию, все равно. Мне кажется, в его душе нет уже места чувству привязанности. Прошло столько времени, а Геннадий ни словом, ни намеком не коснулся своей прежней семьи. Ведь, кроме Оксаны, была у него и дочь... Я ждал, что он спросит о ней. Как-нибудь наедине со мной спросит: жива ли, растет ли, думает ли о нем? Он не знает, что она погибла. Маленькая дочурка Геннадия погибла. И я молчу. Если о живой не спрашивал, зачем ему знать о мертвой! Да, одинок Геннадий. Совсем одинок. Даже мы с Андреем теперь для него чужие.

Уже перед уходом я вскользь спросил, давно ли он видел Демьяна. Геннадий ответил с раздражением:

- Я не рвусь к нему. Не в моем характере быть разменной монетой.

Визит к нему испортил мне настроение. Улучшилось оно дома после беседы с Трофимом Герасимовичем. Он медленно, но прочно вращался в подпольную работу. И делал успехи. У него в группе было уже три человека. На Трофима Герасимовича можно было положиться. Он оправдывал себя не хуже Кости. Хотя сходства между ними было мало, а различий много. Трофим Герасимович не отличался кипучей энергией, не был отчаянно смел. Любил поговорить о своих делах, любил, когда его хвалили. Ко мне он выказывал робкую преданность, о чем я не мог и мечтать в первые дни совместной жизни. Думал он медленно, туговато, не сразу схватывал мысль, но, поняв, цеплялся за дело крепко, мертвой хваткой. Костя шел на задание весело, чуть не с песней, а Трофим Герасимович спокойно, поделовому серьезно. Азарт был чужд ему.

Во время допроса предателя Коркина мне стало известно, что на Старопочтовой, восемь находится конспиративная квартира гестапо. Я поручил Трофиму Герасимовичу заняться Коркиным. Слово "заниматься" Трофим Герасимович понял по-своему. Спустя некоторое время он доложил:

- Да будет земля пухом твоему Коркину.

- То есть?

- Дуба дал.

- Как так?

- Да ему, сукину сыну, ничего другого не оставалось делать. Подох. Выследил его Никушкин и подсмолил копыта.

- Не Никушкин, а Свой. Ты фамилии забывай.

- Это верно. Опасались мы, что птичка расправит крылышки - и тю-тю!

Относительно Коркина наши мнения сходились: туда ему и дорога.

А сегодня Трофим Герасимович сообщил другую новость. Наблюдая за квартирой на Старопочтовой, наши ребята выследили предателя. Два раза он приходил по этому адресу, а сегодня Трофим Герасимович случайно встретил его в другом конце города, у другой квартиры.

- А ну, расскажи поподробней, - попросил я.

Трофим Герасимович сделал это с удовольствием.

- Я заглянул к Скурыдину...

- Не к Скурыдину, а к Инвалиду.

- Тьфу, пропасть... Не привыкну к этим кличкам никак. Так вот, значит. А когда обратно топал, гляжу - он выскочил. Оглянулся и пошел себе. Справный, сытый, рожа приличная.

- Может, он живет там.

- Говори мне! Уж я-то знаю, чей дом. Жил там Горев. Юркий такой мужичонка. Был комендантом колхозного рынка до войны. Потом профукал колхозные продукты, его и укатали. А в доме жена осталась.

- Ночью опять бродишь? Без пропуска?

- Подумаешь, страсти господни.

- Страсти не страсти, а на пулю нарвешься.

- Ничего. Лучшие, чем я, и те смерть приняли. Все одно лежать нам в сырой земле. Кому раньше, кому позднее.

- А тебе как лучше?

- Позднее - оно вроде лучше, - рассмеялся Трофим Герасимович и спросил: - А что мне делать с этим немчурой?

- С каким? - удивился я.

- Я не говорил? Вот балда не нашего бога! А мне и невдомек: память дырявая стала.

Он рассказал. В доме Инвалида живет немец, младший офицер лет сорока пяти. Давно живет. С год. Тихий такой, воды не замутит. Придет со службы, сядет в углу и молчит. Или письма пишет. А служит он надсмотрщиком на городской мельнице. И однажды случилось такое: Сосед, наш человек, дал Инвалиду листовку, выпущенную подпольщиками. Тот сунул ее в карман и забыл. А вечером полез зачем-то в карман и обронил листовку. Немец, сидевший тут же, поднял ее и начал разбирать по складам. Инвалид обмер. Ведь за хранение листовок ни больше ни меньше - расстрел! Немец долго читал листовку вслух, потом подошел к печи и бросил ее в огонь. А Инвалиду сказал: "Такой вещь надо палить огонь. Дома держать нихт можно".

- Ты маракуюешь? - спросил Трофим Герасимович. - Я разматюкал Скуры... тьфу, Инвалида, в пух и прах. Спасибочко, говорю. Раздолжил. Так с тобой и в тюрьму угодишь. А немец? Каков? Может, он нам пособлять захочет? Как ты рассудишь? Или пощупать его хорошенько...

Я спросил:

- Как это "захочет"? Значит, он должен узнать, что мы подпольщики?

- Так получается, - смутился Трофим Герасимович.

Пришлось объяснить старику, что надсмотрщик на мельнице не делает погоды и расшифровываться перед ним не следует.

Трофим Герасимович согласился:

- Тогда садись, есть будем.

Он подал жаркое собственного приготовления. Жена не села. Жаркое походило на гуляш. Трофим Герасимович сказал, что приготовлено оно из коровьих хвостов. Я насторожился. Хвосты есть мне еще не приходилось. Попробовав маленький кусочек, я пришел к выводу, что моему желудку будет трудно освоить это блюдо, и великодушно отказался.

А хозяин ел с завидным аппетитом и хвалился, что хвосты можно запросто выносить с бойни. Обмотаешься, как поясом, а сверху пальто. А мясо ничуть не хуже говядины.

Хозяйка не утерпела:

- Провалился бы ты вместе со своими хвостами!

- Гляди мне! - погрозился Трофим Герасимович. - Довольно щелкать. Видали вы барыню? Кошек не ест, от хвостов нос воротит.

- Эх ты, Трофим, Трофим. Растерял ты совесть. Еще человека угощаешь.

- Ничего, - бодро ответил хозяин. - Совесть отрастет.

- Да что ж это... волосы, что ли? - негодовала хозяйка.

Это была обычная дружеская перебранка. Я привык уже.

Потом мы скрутили по сигарке. Закурили. Я посмотрел на часы: без двадцати семь. Пора.

- Дела? - осведомился хозяин.

Я кивнул.

- Ну, а как того, сытого, держать на прицеле? - спросил он.

- Непременно. Но только держать, не трогать.

- Понятно. - Он помолчал, попыхивая дымом, а потом сказал: - Вот скажи по совести, как мы будем отчитываться, когда придут наши?

- Ах, вот ты о чем... Ничего. Отчитаемся. Не сидим сложа руки.

- Что верно - то верно, - произнес Трофим Герасимович и умолк.

Я воспользовался паузой и встал. Надо было бежать. Мне предстояло выполнить просьбу Гизелы, высказанную в той маленькой записке, что была приколоты к циркуляру.

К ее дому я подошел в начале восьмого. Плотная маскировка на двух окнах совершенно не пропускала свет. Я постучал. Дверь открылась тотчас же.

- Добрый вечер. Можно?

- О да. Я ждала вас.

Я вошел.

На Гизеле было гладкое темно-серое платье с высоким воротником и длинными рукавами. Волосы, как и обычно, спадали на правый висок, волнились. В руке она держала книгу.

Положив ее на спинку дивана, Гизела спросила:

- Теперь вас не надо уговаривать раздеться?

- Пожалуй.

Она улыбнулась. Я тоже.

Обстановка в комнате не изменилась. Здесь не было никаких мелочей, украшающих быт молодой женщины. В спальне, как и в прошлый раз, горела печь. Огненные блики играли на противоположной стене. Странно, эта скромно обставленная комната создавала какое-то необычное настроение.

- Вот сюда, - усадила меня хозяйка на диван и села рядом. - Вы, кажется, не ожидали встретить меня в комендатуре?

Я признался, что да, не ожидал.

- Там я уже два месяца. Муж тоже должен был приехать сюда... работать.

Я зацепился за слово и, опасаясь, что Гизела, быть может, не коснется больше этой темы, прервал ее:

- И что же помешало ему?

Гизела пристально посмотрела на меня. В ее взгляде мне чудился вопрос: "Вас что, в самом деле интересует это?" Потом она встала, прошла в спальню и вернулась с конвертом в руке. Усевшись на прежнее место, вынула из конверта лист почтовой бумаги и подала мне.

- Читайте.

Мужская рука крупным изломанным почерком без всяких обиняков писала, что тринадцатого февраля оберштурмбаннфюрер СС Себастьян Альфред Андреас трагически погиб на подземной станции "С-Бангоф Фридрих-штрассе" в Берлине от сильного взрыва. Автор письма, коллега Себастьяна, был с ним, но отделался тяжелым ранением. Вообще пострадало шестьдесят человек. Станция была закрыта до утра. Нет никаких сомнений в том, что катастрофа явилась следствием диверсии. Подобные взрывы на подземке уже имели место. Начальник гестапо бригаденфюрер СС господин Мюллер выражает соболезнование супруге Андреаса. Он, Мюллер, лично руководит розыском преступников.

Я не знал, что сказать, повертел письмо в руках и молча отдал Гизеле. В таких случаях обычно трудно так сразу подыскать нужные слова. А я вообще на эти вещи не мастер.

Гизела пришла мне на помощь:

- Вот и все... Теперь я вдова. Остался от него один чемодан, - и она кивнула в угол, где стоял отличный длинный и узкий чемодан из гладкой коричневой кожи.

- Вам тяжело? - осторожно спросил я.

Она медленно покачала головой:

- Представьте, нет. Вы удивлены?

Я пожал плечами. Конечно, немного удивлен, но, скорее, обрадован. Но так можно было только подумать, а не сказать.

Она обхватила руками колени, откинулась на спинку дивана и, как бы вглядываясь в самое себя, продолжала:

- Я понимаю... На вашем месте я бы тоже удивилась. Но это правда.

Я машинально кивнул. Я молчал. Ни одним словом, даже намеком я не дал ей понять, что хочу услышать объяснение, но она сама решила дать его. Гизела поведала мне свою трагедию.

Родилась в Хемнице, в семье механика. Отец не чаял в ней души, она отвечала ему тем же. У Гизелы был хороший голос, способности к музыке, она хотела стать актрисой. Это были мечты.

В тридцать четвертом году отца арестовали за принадлежность к социал-демократической партии, и семья лишилась средств к существованию. Мать пошла работать горничной, а Гизела - кондуктором на автобус. И в это время за нею стал ухаживать оберштурмфюрер СС Себастьян Альфред Андреас. Он был старше ее на семь лет и очень красив. Ему предсказывали хорошее будущее: Гизела видеть его не могла, избегала встреч с ним. Но Андреас был нагл, самоуверен и непреклонен. Весной тридцать пятого года он сказал матери, что, если Гизела не выйдет за него замуж, ее отец сгниет в Плетцензее. Он дал на раздумье пять суток. Это были самые тяжелые, после ареста отца, дни. Они решили судьбу Гизелы. Во имя спасения отца, матери, сестер она готова была на любую жертву. Восемнадцатилетняя Гизела стала женой Андреаса. Месяц спустя отец ее был освобожден. Узнав, какой ценой была куплена ему свобода, он плакал навзрыд, как ребенок. Этих слез Гизела никогда не забудет! Андреас разрешил жене закончить образование, и они уехали в Берлин. Андреас стал гауптштурмфюрером. У Гизелы родился сын. В тридцать девятом году отца арестовали вторично, и, как подозревала Гизела, не без содействия Андреаса. Она хотела уйти от мужа, но он пригрозил, что сына не отдаст. В конце сорокового года отца казнили. Администрация лагеря прислала семье счет за гроб и расходы, связанные с похоронами отца. В мае сорок первого года, в тот день, когда муж стал штурмбаннфюрером и руководителем реферата в гестапо, скоропостижно от воспаления легких скончался их сын.

- Теперь мне как будто легче немного, - призналась в заключение Гизела. - А тогда я готова была умереть. Но не смогла. Не хватило сил. И довольно об этом... - Она выпрямилась, встряхнула волосы и неожиданно спросила: - Ваш товарищ успокоился?

- А он не волновался, - схитрил я. - Почему вы вспомнили об этом?

Гизела замялась на мгновение и ответила:

- Ваш друг очень похож на одного молодого человека.

- Быть может, он и есть этот самый молодой человек?

- Нет! С того света не возвращаются. С тем человеком связана целая история. Хотите, я расскажу? Вам не скучно будет?

Я заверил хозяйку, что готов слушать ее сколько угодно. Это была правда. Мне нечего было поведать ей, хотя узнать от нее хотелось многое. Например, почему она пригласила меня? Почему тогда, в ту трудную ночь, укрыла нас с Костей в своем доме? За кого принимает меня? Да мало ли вопросов вертелось на языке! Но я не имел права задавать их. Пока не имел права. Я мог только слушать.

- Но я хочу есть.

Приготовление ужина заняло немного времени. На столе появились разогретые отбивные котлеты и гарнир из горошка. Котлеты настоящие, из говядины, и солидные по объему. Потом Гизела подала наше русское масло, очень безвкусный, хотя и очень белый хлеб, галеты и кофе.

- Настоящий пир, - пошутил я.

- Я предпочитаю печеную картошку в мирное время разным деликатесам в войну. Я помню, когда мне было лет десять, отец возил меня в деревню к бабушке. Мы провели весь день в горах у реки. Горел костер, и мы пекли в нем картофель. И он был невероятно вкусный. Я разламывала картофелины, обжигала руки, губы и ела прямо с черной корочкой. Да... Как давно это было...

Когда Гизела отправилась на кухню мыть посуду, я сел на диван и закурил. Закурил с удовольствием, попыхивая дымом и оглядывая комнату. Мое внимание привлекла книга,

лежавшая на спинке дивана. Это был Ремарк - "На Западном фронте без перемен", в прекрасном издании. Едва я тронул обложку, как книга раскрылась в том месте, где страницы теснила закладка. Письмо! Чье-то письмо. Рука сама перевернула листок. В углу стояла подпись полковника Килиана. По профессиональной привычке мои глаза забежали по тексту. Килиан просил помочь подателю письма в свидании с Гильдмайстером, а далее... далее он сообщал такое, от чего у меня, кажется, помутилось в глазах. Он умолял Гизелу ответить на тот вопрос, который решит его дальнейшую судьбу, и сообщал, что в ночь на семнадцатое марта вновь совершит перелет через линию фронта. Ему придется лично руководить выброской десантной группы на отрезке шоссе Ливны-Елец. И бог знает, удастся ли ему вернуться и вновь увидеть Гизелу. Всякое бывает. Он просит запомнить эту ночь. Надеется получить желаемый ответ с подателем письма. Этот ответ будет очень нужен ему, полковнику Килиану.

Я захлопнул книгу и положил на место. Руки у меня вздрагивали, сердце взволнованно билось. Ливны-Елец... В ночь на семнадцатое марта... Сегодня четырнадцатое... Времени хватит. Дурак Килиан! Какой дурак! А еще полковник, штабист. Вот что делает любовь. Вернулась Гизела. Она прошла в спальню и стала подкладывать в печь дрова. Оттуда раздался ее мелодичный голос:

- Берите стулья и идите сюда. Я люблю сидеть у огня. А вам нравится?

- Мне нравится все, что нравится вам, - в шутливом тоне сказал я, втаскивая стулья.

Она протянула к огню руки, посмотрела на меня и рассмеялась.

- Вы чему? - полюбопытствовал я.

- Увидел бы нас господин Земельбауэр, или доктор Шуман, или полковник Килиан. Русский и немка...

Я невольно усмехнулся:

- Они бы, конечно, не одобрили вашего гостеприимства.

- Я думаю! Особенно полковник. Он друг покойного мужа и такой же, как и он, страшный человек. Впрочем, бог с ними со всеми. Не хочу о них думать, устала. Все эти годы меня мучили кошмары, а тут война. Но лучше здесь, чем там. - Она села поудобнее, вытянула ноги к огню. - Я ведь прилетела сюда из Греции.

- Слышал, - заметил я.

- От кого?

Я объяснил, что слышал из ее же уст на новогоднем вечере у бургомистра.

- Да? А я не помню. Хотя, возможно. Я прилетела с мужем. Он пробыл здесь ночь и улетел. Встречали нас Гильдмайстер и Килиан. Муж собирался сюда надолго. Ждал назначения, а в Греции мы прожили почти четыре месяца. Андреас был в специальной группе. Она вела розыск активного британского диверсанта Юрия Шайновича. Вот о нем-то я и хочу рассказать.

- Поляк? - прервал я Гизелу.

- Наполовину. А наполовину русский. У него двойная фамилия: Иванов-Шайнович. Отец его был полковником русской армии в Варшаве, а мать поляка. Отец - Иванов, мать - Шайнович.

- Вы его знали лично? - опять прервал я рассказчицу.

- Нет, я его видела... Так вот, когда Иванов умер, мать Юрия, Леонарда... Правда, красивое имя?

Я кивнул.

- ...вышла замуж за грека Яниса Ламбрионидиса и уехала в Грецию. Юрий получил образование в Варшаве и Париже. У нас с ним одна специальность. Он тоже был инженер-агроном. В сорок втором году, когда я его увидела, ему исполнилось тридцать лет.

- И мой друг напомнил вам этого Юрия?

- Да! Можно подумать, что они братья-близнецы. И черты лица, и рост.

Гизела прервала рассказ, попросила у меня сигарету и закурила. Можно было без ошибки определить, что курить она начала очень недавно, ибо делала это неумело. Сигарета не хотела гореть, в рот Гизеле попадал табак. Она морщилась, вытирала губы. Раскурив наконец

сигарету, она продолжала. История Юрия Иванова-Шайновича выглядела так.

В начале войны в Европе он покинул Польшу, попал в Палестину, а затем в Египет. Окончив школу польских прапорщиков, Юрий добровольно вступил в британскую диверсионную группу и выразил желание вести боевую работу в оккупированной немцами Греции. Осенней сентябрьской ночью сорок первого года англичане высадили его с борта подводной лодки "Сэтис" недалеко от Афин. Перед Юрием была поставлена задача создать диверсионную сеть и развернуть подрывную работу. Шайнович блестяще справился с этой задачей. С группой смельчаков он совершал поистине геройские подвиги, наносил немцам удар за ударом и был неуловим. Вокруг его имени складывались легенды. При жизни народ назвал Юрия своим национальным героем. Он пользовался поддержкой населения, появлялся в разных местах, действовал дерзко, бесстрашно.

Его видели в одежде рыбака, горожанина, итальянского или немецкого офицера. В сорок втором году, в феврале, он подорвал в Афинах пятиэтажное здание НСДАП. Он потопил корабль "Василевск-Георгиос", который вез немцев на остров Крит. Корабль от взрыва разломился пополам. Затем пустил ко дну испанский военный транспорт "Сан-Исидоро". На острове Парос, в порту, он потопил еще один транспорт с горючим. В Саламине подорвал и пустил ко дну три немецкие подводные лодки, а несколько повредил. Это был блестящий спортсмен. Ночью он выплывал в море, к стоянке лодок, держа при себе магнитную мину. Вблизи лодки нырял, прикреплял мину к корпусу и возвращался на берег. В Ларисе он подорвал немецкий воинский эшелон. В Патрасе уничтожил взрывом береговые артиллерийские укрепления и колонну автомашин с бензином. В Макрополо подорвал арсенал. Но это не все. Самый большой урон нанес Юрий немецкой авиации. Он устроился работать переносчиком грузов на авиационное предприятие "Мальзиниоти" вблизи Афин. Точнее, в предместье Афин. Там собирали, испытывали на стендах и отправляли на остров Крит авиационные моторы. На Крите моторы ставили на самолеты, которые перегонялись в Африку в распоряжение Роммеля. За небольшой отрезок времени четыреста самолетов, вылетевших с острова Крит,

потерпели катастрофу в воздухе. Не десять, не сто, а четыреста самолетов! Немецкие специалисты потеряли голову. Абвер и гестапо сбились с ног. Никто не предполагал, что причину катастрофы надо искать не на Крите, а на месте сборки моторов. Юрий изобрел смесь. Она состояла из металлической пыли и каучука. Эту смесь он и его люди при переноске моторов через трубки насыпали в подшипники. Когда моторы запускались, смесь от высокой температуры плавилась и лишала смазку ее качеств. И все. Розыск виновников аварий зашел в тупик. Вот тогда в Грецию приехало несколько гестаповцев, и в их числе Себастьян Андреас. Нужно отдать ему должное, он обладал каким-то особым, собачьим нюхом. Ознакомившись с обстановкой, Андреас сказал: "А что, если моторы не везти на остров Крит, а поставить их в самолеты здесь, на месте сборки?" Инженеры так и поступили. Три мотора поставили на предприятии "Мальзиниоти". Самолеты поднялись в воздух и недалеко от афинского берега среди бела дня на глазах у всех упали в море. Стало ясно, что виновник диверсии находится в Афинах. Тогда-то и вспомнили об Иванове-Шайновиче. Если вначале за его голову назначали премию в полмиллиона драхм, то теперь увеличили до миллиона, а вскоре до двух, затем до пяти миллионов. Наконец усилия гестаповцев увенчались успехом. Нашелся предатель, позарившийся на такой громадный денежный куш. В октябре сорок второго года грек Ламбринопоулос выдал Юрия. Его схватили и заключили в тюрьму "Аверофф". Началось следствие.

Я слушал Гизелу затаив дыхание. Какие люди живут на свете! Юрий не просто герой. Он герой дважды, трижды, четырежды. Подумать только четыреста самолетов, корабль, два транспорта, эшелоны, укрепления, подводные лодки! Это под силу не одному, не двум людям, а целому воинскому подразделению. И не всякому! Таким боевым счетом может гордиться, допустим, авиационный полк.

- Открытый процесс в Афинах начался при мне, - продолжала Гизела. Юрия обвинял наш военный прокурор Стумм. Я сама слышала, как Стумм, обращаясь к Юрию, сказал: "Очень

жаль, что вы были не с нами, а против нас". А уже здесь я узнала, что на рассвете четвертого января Юрия расстреляли. Это произошло на стрельбище в Кесариани. И вы знаете... в последнюю минуту Юрий сделал попытку к бегству. Его ранили в ногу. Стоять он уже не мог. Тогда его привязали к доске и расстреляли.

Мы долго молчали, глядя в печь, где догорали поленья. Я думал: "Почему Гизела поведала эту историю именно мне? Что это значит?" И я спросил ее. Она ответила, правда, не сразу:

- Потому, что ваш друг напомнил мне Юрия.

Я не поверил. Гизела, по-моему, тоже понимала, что ответ ее прозвучал неубедительно.

Часы показывали десять. Как быстро пролетело время! Я встал и сказал, что мне пора идти.

Уже в передней, провожая меня, она любезно произнесла:

- Приходите, когда вам захочется. Вечерами я всегда дома. Знаете что? Нам завтра или послезавтра будут выдавать пасхальные посылки. Там будет, видимо, кое-что хорошее. Закуска разная...

Я заверил Гизелу, что приду непременно, даже если не будет закуски.

Она улыбнулась и подала мне руку.

22. События и новости

По сути дела, это был первый по-настоящему весенний день. Дул теплый восточный ветер, солнце палило, таял снег.

Утром недалеко от управы я столкнулся нос к носу с Костей. Под глазом у него сиял огромный багрово-фиолетовый фонарь.

- Где это тебя угораздило?

- После расскажу, долгая история, - деловито ответил он. - Сегодня в семь приходите. Демьян зовет.

Так, не переговорив, мы расстались.

На службе я узнал, что Воскобойников от нас уходит. Ему поручают формирование карательного батальона из бывших советских граждан, ставших изменниками Родины.

О том, что такой батальон уже начал формироваться, мы знали давно. Знали мы и о том, что вербовка добровольцев в него продвигается очень туго, со скрипом. Пока удалось укомплектовать взвод. Он располагается во дворе полиции и проходит обучение. Бойцы взвода оружия не имеют. Немцы не без оснований раздумывают, вооружать их или нет. Они знают, что винтовки и автоматы можно повернуть куда угодно, даже против хозяев. Не при чем здесь Воскобойников - для меня не совсем ясно. До войны он трудился в системе "Заготскот", в армии не служил, а тут вдруг... военачальник!

Перемещение Воскобойникова отразилось на моей служебной "карьере". Бургомистр приказал мне принять дела секретаря управы. Я попробовал было заартачиться, но господин Купейкин дал понять, что делается это не без благословений коменданта - майора Гильдмайстера. Я покорился. В конце концов секретарь управы - это не нарком и я не глупее Воскобойникова.

Воскобойников явился сегодня в полдень в полной немецкой форме, при оружии, но без погон. Форма шла ему как седло корове. Был он экспедитором, экспедитором и останется. И толку из него не выйдет. Так думал я. Воскобойников думал иначе. Вводя меня в курс секретарских дел, он, между прочим, сказал:

- К первому мая я им сделаю такой батальончик, что они пальчики оближут.

Так именно он и сказал - "сделаю".

Когда он передал мне дела, печать и ключ от несгораемого шкафа, я сказал ему, что не совсем уверен, справлюсь ли с новыми обязанностями.

- Не боги горшки лепят, - сказал Воскобойников и покровительственно похлопал меня по плечу. А прощаясь, попросил: - Если вам будут попадаться желающие послужить под моим началом, направляйте их в батальон.

Весь день я входил в обязанности секретаря, мыкался из одной комнаты в другую,

копошился в бумагах, измучился окончательно и был крайне рад концу рабочего дня. С удовольствием покинул сырые стены управы и вдохнул теплый весенний воздух.

Прежде чем отправиться к Демьяну, мне надо было заглянуть домой. Я пошел мимо сельхозкомендатуры. С недавних пор этот путь стал моим постоянным маршрутом. Я рассчитывал встретить Гизелу, но еще ни разу мне это не удалось. Нужно же так! И сегодня я шел без всякой надежды, но вдруг увидел ее возле почты. Гизела прохаживалась вдоль фасада. Сердце мое зачастило. Конечно, она ждала меня. Но я ошибся. Она ждала машину с тем самым немцем, к которому я ходил за циркуляром. Их вызывал начальник гарнизона. Все это выяснилось, когда я подошел к Гизеле и поздоровался.

- Вас можно поздравить? - спросила она.

- С чем?

- С повышением.

- А как вы узнали? Это решилось лишь сегодня.

- Это решилось два дня назад в моем присутствии у господина Гильдмайстера. Вы счастливчик, вам везет. И Гильдмайстер, и Земельбауэр... Почему вам так верят?

Я развел руками.

- Здравствуйте! - прозвучало вдруг рядом по-русски, и я увидел прошедшего мимо полного пожилого субъекта... Лицо его показалось мне очень знакомым.

Гизела холодно кивнула. По лицу ее пробежала гримаса брезгливости.

- Идиот, - тихо проговорила она.

- А что такое? - недоумевал я.

- Я видела этого типа однажды, его принимал на дому Земельбауэр. С тех пор он считает своим долгом здороваться со мной. Или это достоинство - быть платным агентом гестапо?

- Дело вкуса, - неопределенно ответил я.

- Идите. Вон машина. Пока! Мы не станем бравировать нашей дружбой, правда?

Эта короткая встреча оставила что-то теплое в моей душе.

Я был у Гизелы уже трижды, не считая той злополучной ночи. Наша дружба крепла. Но только ли дружба? Что-то большое, радостное входило в мое сердце и заставляло думать, постоянно думать о Гизеле. И вот сейчас. Не успел проститься с ней, а в голове мысль: "Когда снова увижу? Когда?"

Весна ли, чувства ли теплили меня? Я шел и улыбался ветру, солнцу. Мечтал. О чем? Сам не знаю. Наверное, о будущем. А быть может - о близком. Мне казалось, что скоро, очень скоро произойдет необыкновенное. Стоит только напрячься, захотеть - и оно приблизится!

И вот в это радостное ощущение почему-то вошел досадным пятном толстяк, которого я только что видел, разговаривая с Гизелой. Откуда он? Почему мне запомнилось его лицо, добродушное, осмысленное, даже доброе? Где-то мы уже встречались. Я ломал голову и никак не мог ответить на вопрос. И лишь войдя в свой дом и увидев Трофима Герасимовича, я вспомнил: это же портной! Частный портной, к которому чуть не год назад водил меня Трофим Герасимович. Он шил, вернее, перелицовывал мой пиджак. У меня еще тогда возник план сделать этого толстяка содержанием явочной квартиры. Оказывается, как можно ошибаться в людях! Я спросил у Трофима Герасимовича фамилию портного.

- А на что он тебе?

Я рассказал.

- Ух ты, какая гадюка! А на морду - попик. Тихий, сладенький... Видались мы недавно возле бани. Все выпрашивал меня: что слыхать о наших, как живется, где обитает дочь? А я будто чувствовал и отвечал ни да ни нет. Что ж, выходит, надо препоручить его моим ребятам?

- Препоручи! Непременно. К нему народ ходит, а он выдает.

Я выпил кружку кипятку, расспросил Трофима Герасимовича о делах в его группе и отправился в "Костин погреб".

Наперсток сидела у приемника с наушниками на голове, а в другой половине о чем-то беседовали Андрей и Челнок.

Челноку больше, чем мне, попало в финскую. Лицо его, сильно изуродованное, выглядело

асимметричным, правая нога не сгибалась, приходилось пользоваться костылем. Сейчас он работал истопником в гарнизонной пекарне. А до финской войны служил в армии командиром батареи.

Я разделся, подсел к ним.

- Ты не скачи, а говори по порядку, - обратился Андрей к Челноку. - Раз уж начал, так выкладывай!

- А я и так, как на чистке партии, - рассмеялся Челнок, показав свои ослепительно белые, но, к сожалению, вставные зубы. - Чего ты придираешься?

Андрей недовольно дернул головой:

- Ты сказал, что работал токарем, а при чем тут директор магазина?

- Все правильно, так оно и было. Я работал токарем на таганрогском заводе, а потом стал директором магазина.

- С чего это вдруг?

- Тебя это интересует? Пожалуйста. Дай-ка докурю. - Он взял у Андрея половину сигарки, затянулся и продолжал: - На заводе я имел седьмой разряд Маракуешь?

Андрей кивнул.

- Почти инженер. А тут как раз кинули лозунг: "Коммунисты и комсомольцы - за прилавок! Надо вы учиться торговать". Меня

того... в комитет комсомола Так и так, товарищ Пономарев Поскольку ты есть чистокровный пролетарий и тебе нечего терять, кроме цепей, есть мнение выдвинуть тебя. В торговой сети дело пахнет нафталином. Завелись жучки разные, бывшие нэпманы. Вскрываются гнойники. А торговля - это барометр. Она определяет настроение наших граждан. Нужно подкрепить торговую сеть. Тебя решено сделать директором магазина "Фрукты и овощи". Ну что ж, надо - значит надо. Записали в протокол. Распрощался я с заводом - и в горторг. Приводят меня на рынок и показывают на фанерную палатку. Ей-богу, поменьше этой комнаты! Вот твой магазин. Ну, думаю, разыграли меня. А ставка, спрашиваю, какая директору этакой махины? Как сказали, у меня аж под ложечкой засосало. В аккурат наполовину меньше, чем я выработывал на заводе. Вот это выдвинули!

- Охмурили, выходит? - рассмеялся Андрей.

- Ну сам пойми: с завода я приносил восемьдесят, а когда и все сто целковых, а тут сорок. Начал я ерепениться, а мне говорят: раз ты комсомолец, то должен думать не о деньгах, а о деле. И крыть нечем. Тем более ты, мол, один на свете, без семьи и родных. Я сказал, что в принципе это, конечно, верно, и включился в торговую деятельность... Насчет фруктов ничего не скажу. Это слово можно было вычеркнуть на вывеске. А что касается капусты, помидоров, огурцов, арбузов и дынь - этого хватало под самую завязку: я их и получаю, и вожу, и продаю. Сам над собой директор. Помидоры помаленьку гниют, огурцы вянут, капуста хиреет, арбузы попадаются зеленые покупатель нос воротит. Ну, прошел, бог дал, месяц. Подвел я баланс, гляжу не хватает двадцати целковых. Эге, думаю, учиться торговать - дело не простое. На другой месяц уже тридцать целковых выложил, а на оставшуюся десятку стал перебиваться. Ничего себе, думаю, директор! Скоро без штанов останусь. А потом и зарплаты не хватило. Я в комитет. Спасайте, говорю, братцы! Невмоготу! Бросайте на любой другой трудовой фронт, выдвигайте еще раз куда угодно, только не директором. Секретарь бойкий такой парень был. За словом в карман не лез. Нет, говорит, дружок, коль взялся - тащи! Выправишь дело в магазине, будем двигать дальше. Я чуть не заревел. Куда же это дальше? Ну ладно, думаю: ты с характером, я тоже. Пошел на толчок, загнал последнее барахлишко, вложил недостающие деньги в кассу, магазин на замок, а ключик секретарю комитета с записочкой: прощай, спасибо за выдвижение, а меня не ищи.

И прощай, Таганрог! Подался я в Киев, поступил в артучилище, тогда еще оно школой называлось. Вот тебе и вся история.

- А при чем же тут Ворошилов? - не унимался Андрей. - Ты же сказал, будто он тебя спас!

- Не будто, а в самом деле спас. Когда я кончал школу, таганрогцы разыскали меня. Напали на след-таки. И закатали начальнику школы ноту. Они, оказывается, вышибли меня из

комсомола, объявили дезертиром трудового фронта да еще присобачили социально чуждое происхождение. Спутали меня с другим Пономаревым, сыном какого-то беляка, и началась катавасия! Понял я одно: вылечу из школы в трубу. Пока докажу, что я не верблюд, обязательно вылечу. И вот тогда я нацарапал письмо Клименту Ефремовичу. Слезное такое. Все описал, до точки. Он и заступился. Спас меня от погрома.

- Здорово у тебя получилось, - заметил Андрей.

- Боевой ты мужик, - добавил я.

- Станешь боевым, когда за горло возьмут, - сказал Челнок.

Из своей половины вышла Наперсток. Она расцветилась тихой улыбкой и дала мне еще горяченькую радиogramму. Я встал и прошел в ее комнату, а следом за мной - Андрей.

- Не знаешь, зачем вызвал Демьян? - спросил он.

Я не знал.

- А как твои сердечные дела?

- Ты что, осуждаешь меня?

Андрей обнял меня за плечи, подумал и ответил:

- Нет, дорогой, все мы люди. Уж лучше крутить с Гизелой, чем с такой русской, как дочь твоего Купейкина. А Гизела, по всему виду, врзалась в тебя. Я что хочу сказать. Я же люблю тебя, черта... Хочу сказать: гляди, не замочись!

- А я штаны закатаю повыше.

- Ты понимаешь, о чем я. Гизела, возможно, человек чистый, мужнина грязь не пристала к ней. Но вокруг нее грязь. Все эти килианы, шуманы, земельбауэры - старые развратники, переживающие вторую молодость. С ними надо ухо держать ой как! Вот об этом не забывай!

- Постараюсь, - заверил я. - Тебе буду все выкладывать.

- А теперь расшифровывай! Что там сообщает Решетов?

Я сел за расшифровку радиogramмы. Андрей стоял за спиной и следил, как из-под моей руки выбегали буквы, слова, строчки.

Решетов сообщал, что десантная группа, выброшенная не семнадцатого, а двадцатого, частью попала в наши руки, частью уничтожена. Один транспортный "юнкере" подбит и еле-еле перевалил на свою сторону. Далее шла речь о том, что мой вопрос вновь рассматривался в наркомате, я восстановлен в органах и утвержден в должности начальника отделения.

Карандаш едва не выпал у меня. Я еще не успел осознать происшедшего, как Андрей сгреб меня в свои медвежьи объятия и начал тискать.

- Наконец-то, - расцеловал он меня и, смутившись, произнес: - Фу-ты... Это же здорово!

Да, это было радостное известие, о котором я долго мечтал. Приходит же к человеку счастье! Пришло и ко мне.

В конце телеграммы сообщалось самое неожиданное. Находящийся в эвакуации некий Загорулько заявил органам, что Геннадий Безродный развелся с женой, покойной ныне Оксаной, лишь после того, как узнал об аресте ее отца. Предупредил его - Геннадия - этот же Загорулько.

- Ну что? Что я тебе говорил? - вскочил я. - Помнишь?

Андрей взял из моих рук бумажку, прочел.

- Все помню, Дима, - медленно произнес он. - Все. Кто же мог думать, что Геннадий такой подлец!

Во второй комнате прозвучал чей-то новый голос. Мы вышли и увидели связного Усатого. Высокий, седой, почти белый, с длинными обвислыми украинскими усами, он едва не упирался головой в потолок. И как только входил, сразу же торопился сесть. Вот и сейчас поставил кирпич на попа, пристроился на нем и достал кисет.

Я взглянул на часы. Ровно семь. В это время вошел Демьян.

Окинув нас быстрым взглядом, он снял стеганный ватник, повесил его на гвоздь.

Андрей подал ему радиogramму. Демьян прочел, подошел ко мне и подал руку:

- Рад за вас, от души. Так оно и должно быть. И с десантом неплохо. Обжегся господин полковничек. Такой и должна быть разведывательная информация. А вот с Солдатом плохо.

- Он повернулся всем корпусом к Усатому: - Были у него?

- Да. Он сказал, что не может прийти. Занят.

- Не может прийти. Занят, - повторил про себя Демьян.

На несколько минут воцарилось молчание. Демьян сидел поодаль от стола, опершись локтями в колени, похрустывал пальцами и смотрел в пол.

- Плохо, - заметил он после долгой паузы. - Хотелось поговорить с ним. Сейчас тем более. С Солдатом надо что-то делать.

В убежище вошел Костя с роскошным синяком под глазом.

Демьян прервал себя, задержал взгляд на Косте и спросил:

- Что это у вас?

- Приключение, товарищ Демьян.

Я понял, что Демьян еще не видел сегодня Костю, а значит, и не ночевал здесь.

- Быть может, расскажете нам?

Костя стоял посередине комнаты и стягивал с себя шинель.

- Могу доложить. Терр-акт! Покушение на мою персону. Ничего удивительного. Намозолил я глаза народу в этой волчьей шкуре, - и он бросил немецкую шинель на ящик. - Иду ночью по Крутому переулку. После проверки караула. Темень страшная. И грязь по колено. Я крадусь под кирпичным забором, выбираю места посуше - и вдруг кто-то гоп на меня сверху, точно с неба. С забора, конечно. Сбил меня с ног, но и сам не удержался, угодил в лужу и нож выронил. Я навалился на него, поддал ему в скулу, ну а он меня сюда. Карманным фонарем... Можно было, разумеется, из пистолета его, но я не стал. Думаю: не бросится же на полиция подлец, зачем поднимать шум? Ну, потолкались мы с ним в грязи, потом я уложил его на брюхо и вот эту штучку приспособил, - Костя вынул из кармана и подбросил металлические наручники. Лежит, сопит. "Кончай, - говорит, - продажная шкура. Но и тебе недолго осталось. Пока я буду пробираться на тот свет, ты меня догонишь". Вот это, думаю, разговор. Мужской. Приказываю ему встать, а он лежит. Я поднял его, повернул лицом, а он взял да и плюнул мне в самую рожу. И тут я вижу, что это Хасан Шерафутдинов. Ах ты, сукин сын! А он опять свое: "Кончай, предательская морда. Твой верх. Я бы над тобой не измывался, а сразу кончил". И глаза его горят, как уголья. Надо было объясниться. "Вот что, Хасан, - говорю. - Ты ошибаешься, друг. Я не предатель. И могу доказать это". Он молчит, скрипит зубами. "Давай-ка сюда лапы". Он подумал и подал. Я снял наручники и сказал: "Хочешь беги, а хочешь выслушай меня". Он решил выслушать. В общем, мы договорились сегодня проверить друг друга на деле. Вот так.

- Значит, вы его знаете? - спросил Демьян.

- Ну да, годок мой, учились вместе. Его отец пограничник, погиб в первых боях, а он мировой парень. Мы его звали потомком Чингисхана, не обижался. Политически крепко подкован. До Карла Маркса ему, понятно, далеко, но в общем головастый.

- Это знаменательно, - сказал Демьян. - Люди поднимаются на борьбу сами.

- А как вы проверить решили друг друга? - спросил Андрей.

- Возьму его на дело сегодня.

- Эге! Вот тут ты поторопился, - покачал головой Челнок. - Сразу и на дело.

- Может, и поторопился, - вскипел Костя. - Только слово уже дано и отказываться нельзя.

- Я тоже считаю, что нельзя, - поддержал его Андрей.

Демьян сидел, слушал, прятал улыбку.

Челнок спросил:

- А какое дело?

Костя посмотрел на меня и молча, одними глазами, спросил разрешения. Я незаметно кивнул.

- Обычное дело, - сказал он. - Сегодня я и двое моих дружков попробуем взять гранаты из вагона на путях. Гранат-то нет! Вот я и подключу Хасана. Пусть себя покажет и на других поглядит.

- Ну что ж, это интересно, - заметил Демьян.

- У меня тоже новости, - сообщил я. - Назначен секретарем управы.
- Вот как!
Я рассказал все подробно.
- Отлично, - произнес Демьян.
- А не кажется ли вам, - обратился к нему Андрей, - что Воскобойникову следует помочь в формировании батальона?
- Как вы помогаете абверу? - усмехнулся Демьян.
- Ну да.
- А почему бы и нет. - Демьян помолчал, подумал и вдруг заговорил совсем о другом: - Старший группы Угрюмый нашел вашего Дункеля-Помазина и убил его.
- Как убил? - воскликнул я.
- Это же безобразие! - вскочил с места Андрей.
- Вот его записка, изъятая из "почтового ящика", - продолжал Демьян. Он пишет: "С Помазиным кончено. Он мертв уже трое суток. Живым в руки не дался". Я согласен, что это безобразие. Если командиры, старшие групп, не могут выполнять приказы, что же требовать от остальных?
- За это по головке гладить нельзя, - вставил Усатый.
- А почему нам не вызвать Угрюмого на бюро, хотя бы раз, и заслушать? предложил Челнок.
- Ведь никто из нас в глаза его не видел.
- Ну, это другой вопрос, - сказал Демьян, - мы в подполье. Я не знал Урала, Колючего, Крайнего, Аристократа. Не видел в глаза и старшего Клеща. Не обязательно встречаться со всеми. Но вот на Угрюмого надо посмотреть, познакомиться с ним.
- Правильно! - одобрил Усатый. - Упустишь человека, он и от рук отобьется.
- А как ваш Старик? - спросил Демьян, имея в виду Пейпера.
- Я им доволен, - ответил Андрей. - Обещал дать мне сведения о месте хранения авиабомб. Их привезли четыре вагона и две платформы. Старик подозревает, что бомбы уложили на территории кирпичного завода.
Все стали расходиться.
Я задержался немного в избушке. Выходить скопом не полагалось.
- Хоть все и ругаются, - шепнул мне Костя, - а я верю Хасану. Как себе, верю. Вот такого бы в батальон к Воскобойникову! - Потом он неожиданно погрузился и добавил: - Ох, и полетят на мою голову шишки, когда вернутся наши. Вам хорошо - вы не здешний. А мне туговато придется.
Какое совпадение! Недавно Трофим Герасимович спрашивал меня, как будем мы отчитываться перед нашими.
Косте я сказал:
- Об этом не думай. Мы поместим твою копию в первом номере газеты, во весь лист, и все будет в порядке.
Костя только усмехнулся.

23. Воздушные гости

Утро сегодня встало сверкающее, солнечное, умытое. До света с шумом, грохотом и дождем пронеслась первая гроза. Сейчас земля, тихая, разомлевшая и пахучая, нежилая в лучах солнца. Оно палило яростно и необыкновенно жарко для этого времени.
Весна в нашем краю ликовала буйно, неудержимо. Деревья в скверах, садах, городском и железнодорожном парках оделись в густую листву. Всюду, где только мыслимо, высыпала ярко-зеленая трава. Она покрыла густым ровным ковром незамощенную площадь, расцветила обочины дорог, пробивалась между булыжниками мостовой.
С утра я попал в гестапо. Земельбауэр на этот раз прислал за мной к управе свой "оппель". Штурмбаннфюрер СС расхаживал по кабинету, а я переводил ему вслух попавшую в руки

оккупантов нашу брошюру о зверствах немецко-фашистских захватчиков.

В открытое окно дул теплый ветер. У дома напротив стояли немецкие танки с высокими башнями и крестами на бортах, грузовик, покрытый брезентом, и штабной вездеход. Длинные тени пересекали улицу. Они были гуще и четче самих предметов.

Штурмбаннфюрер расхаживал, засунув руки глубоко в карманы брюк. Изредка он останавливался возле узкой металлической дверцы сейфа, вделанного в стену, притрагивался к круглой ручке или проводил по накладкам ладонью. Звук его шагов скрадывал большой, покрывающий весь пол, ворсистый ковер. Сапоги Земельбауэра были на высоких, чуть не на вершок, каблуках, они чуть приподымали рвущегося к высоте начальника гестапо.

Он ни разу не прервал меня, не задал ни одного вопроса и вообще не сказал по поводу фактов, изложенных в брошюре, ни слова.

Затем он взял брошюру, полистал ее, швырнул на стол и сказал:

- Я благодарен вам. Сегодня вы мне больше не понадобятся.

Когда я был уже у порога, Земельбауэр окликнул меня.

- Одну минуту, - сказал он, подошел к тумбочке, на которой стоял приемник, открыл дверцу, достал оттуда бутылку вина. - Небольшой презент. Из посылки фюрера.

Я поблагодарил и попросил бумаги, чтобы обернуть подарок.

Земельбауэр нехотя протянул газету:

- То, что дает начальник гестапо, можно не скрывать.

Я сделал вид, что принял эту глупую фразу всерьез, раскланялся и вышел.

Поскольку вызвали меня через бургомистра и Купейкин знал, где я нахожусь, мне представилась возможность урвать полчаса - час времени, чтобы заглянуть к Андрею. У него, возможно, была уже очередная радиограмма, которую мы ждали с нетерпением.

В бильярдную с некоторых пор я заходил запросто. По ходатайству бургомистра администрация казино разрешила руководящим работникам русского самоуправления посещать бильярдную и пользоваться столами, когда они не заняты. Сюда частенько заглядывал бывший секретарь управы Воскобойников, новый начальник полиции Лоскутов, раз или два заходил Купейкин.

Я играл неважно, особой тяги к этому виду спорта не имел, но считал, что для встреч с Андреем это самый удобный повод.

Почему нас так беспокоила радиограмма? Дело в том, что пять дней назад Пейперу удалось выяснить, что большой запас авиабомб уложен под навесами бывшего кирпичного завода.

Получив эти данные, мы в тот же день информировали Решетова и поставили вопрос о необходимости обработки кирпичного завода с воздуха.

Мы забыли уже, когда видели в небе наши самолеты. Последний, хорошо памятный нам, а еще более оккупантам, налет нашей авиации состоялся поздней осенью сорок первого года.

На другой день Решетов потребовал точные координаты завода и попросил сообщить дислокацию противовоздушных средств немцев.

К выполнению этого задания Демьян привлек всех старших групп, в том числе и Челнока. Кстати сказать, пропагандистки Челнока лучше и быстрее других справились с заданием.

Мы засеки две батареи в городе, три в районе железнодорожного узла. Помимо этих сведений, сообщили Решетову, что за истекшую неделю заметно увеличилась пропускная способность железнодорожного узла. Состав за составом с техникой, живой силой идут в сторону центрального участка фронта, в район Брянска, Карачаева, Орла, Ливен. Каждую ночь на станционных путях стоят воинские эшелоны. К фронту подтягиваются новые контингенты - фольксштурм: подростки и старики, призванные в армию.

В бильярдной я застал начальника русской почты и заведующего режимным отделом управы. Они катали шары на крайнем столе.

Я бы не сказал, что мое появление обрадовало их. В служебное время играть не полагалось, но я весело приветствовал игроков и сам высказал желание погонять шары.

Партию составил мне маркер - Андрей.

Пришлось почти час орудовать киями, прежде чем начальник почты и заведующий отделом

закончили игру. Потом они несколько минут курили и наблюдали за нами. Я бы, конечно, давно ушел, если бы Андрей не подал мне знака остаться.

Когда начальник почты и заведомо скрылись за дверью, Андрей сказал:

- Черт их принес не вовремя. Тут, брат, такая петрушка... Демьян нужен вот так, - и он провел ребром ладони по горлу.

- Телеграмма есть? - спросил я, считая, что в данный момент это наиболее важное.

- Это само собой. Тут другое. - Андрей взглянул на дверь: не покажется ли новый гость. - Заходил Пейпер. Утром он видел Дункеля.

- Ты что?

- Да-да, Дункеля-Помазина, которого "уничтожил" Угрюмый. И видел не когда-либо, а сегодня, час назад. Стоял с ним, болтал. Они выкурили по сигарете.

Я слушал ошеломленный. Я отказывался понимать.

- Что же получается?

- Не знаю. Надо срочно повидать Демьяна и доложить. Я вырваться не могу. Сейчас наваяются летчики и будут торчать до самого вечера. Придется тебе.

- Попробую.

- Валяй.

- А телеграмма? - спохватился я.

- На! - И Андрей дал мне спичечную коробку. - А это твое? - указал он на бутылку, стоявшую на скамье.

- Мое.

В этот раз я не придумал никакого предлога для отлучки и до конца занятий проторчал в управе. Собственно, я и не придумывал. Бургомистр проводил совещание, на котором присутствовали все руководящие работники управы. Только после занятий я заспешил в "Костин погреб".

Теперь мы проникали в него через заросшие травой руины завода и пожарной команды. Сначала надо было пройти мимо двора Кости и убедиться, есть ли условный знак, свидетельствующий о том, что в убежище входить можно. Я так и поступил.

На улице у своей усадьбы стоял Костя с незнакомым мне парнем. Я почему-то счел этого парня Хасаном Шерафутдиновым и не ошибся. Костя держал его за ворот сорочки и что-то говорил. Хасан внимательно слушал и смотрел на Костю, как смотрит пеший на конного. Он был на голову ниже Кости, но шире в плечах и значительно плотнее.

Мы уже знали, что теперь Хасана, названного Вьюном, и Костю не разольешь водой. Они в тот раз удачно провели операцию, бесшумно сняли часового и выбрали из трех ящиков гранаты. После этого выяснилось, что за Хасаном стоят еще два не менее отчаянных парня. Группа Кости сразу увеличилась чуть не вдвое.

Я обошел то место, где был угол дома, заметил условный знак - подпорку под яблоней, прошелся по параллельной улице, а потом скрылся в руинах.

В погребе я застал одного Наперстка. Демьян ушел рано утром и ничего не сказал. Надо было дожидаться его. Я расшифровал коротенькую радиogramму. Решетов сообщал, что гостей следует ожидать в ночь с шестого на седьмое мая. Наконец-то!

Демьян появился в начале восьмого. Во рту его торчала погасшая самокрутка. Вид у него был усталый, измученный.

Увидев меня, он сразу оживился:

- Что случилось?

- Дункель-Помазин не убит. Сегодня утром Старик беседовал с ним.

Демьян резко вскинул голову и задержал на мне долгий взгляд.

- Вы видели Старика?

- Его видел Перебежчик. Он и прислал меня.

Демьян подошел к столу, пододвинул к себе разбитую фарфоровую пепельницу, положил туда самокрутку и с силой раздавил ее.

- Видно, Угрюмый шельмует, - сказал я.

Демьян сделал неопределенный жест:

- Это очень снисходительный взгляд на вещи, товарищ Цыган. Новость имеет нехороший привкус. Боюсь, что Угрюмый окажется человеком, поворачиваться спиной к которому небезопасно. А я хотел вызвать его завтра на бюро. Н-да... Придется повременить. Вы давно видели Солдата?

Я ответил,

что давно - в тот раз, когда меня посылал к нему Андрей.

- Как вы смотрите, справится Солдат с проверкой Угрюмого?

Я сказал, что Солдат - человек не без опыта и, если захочет, безусловно справится.

- Я его заставлю, - твердо произнес Демьян и нажал ладонью на стол. Это будет последнее для него испытание. Кстати, он всегда был на стороне Угрюмого. Помните?

Я кивнул. Я хорошо помнил.

- А своим людям сейчас же дайте указание искать Дункеля. Надо привлечь Старика. И еще раз предупредите, что Дункель нужен нам только живой. У вас ко мне все?

- Да... хотя нет. Радиограмма, - я достал ее и прочел вслух.

- Сегодня, значит?

- Точно так.

- Тоже надо предупредить ребят. Очень хорошо, - он потер руки. - Эта бомбежка поднимет дух у людей.

Когда я выбрался из-под земли, уже вечерело. Клонящееся к закату солнце вызолотило горизонт и удлинило тени. Облитые его лучами стекла в окнах пылали. Всю дорогу к дому я любовался игрой красок. И после захода солнца червонные отблески заката еще долго догорали на небе. День теперь был велик, солнце гасло в восемь с минутами.

Вечер у меня был свободный. Я ввел Трофима Герасимовича в курс дел и прилег на койку с местной газетой в руках. А около девяти отбросил ее и вскочил с койки. Щемящий страх коснулся сердца. Я вспомнил, что кирпичный завод расположен в каких-нибудь трех кварталах от дома Гизелы, сразу за сосновым бором. А что значат три квартала при бомбежке, да еще ночью?

Как поступить? Не могу же я прийти к ней и сказать, что сегодня прилетят наши и что ей лучше покинуть свой дом? Не могу. Но если я даже умолчу о налете и просто посоветую ей уйти из дому, она может насторожиться. Безусловно: с чего вдруг я даю такой совет? Остается единственный выход: я сам должен увести ее из дому. Но опять-таки: куда, под каким предлогом? Это не просто. Мы встречались с Гизелой на улице, здоровались, иногда останавливались и перебрасывались несколькими фразами. Мы никогда и нигде не появлялись вместе. Куда же ее увести?

Я подумал, и в голову неожиданно пришла мысль. Через задние двери я прошел во двор. Сумерки уже плотно сгустились. Хозяин и хозяйка допалывали грядку. Я обратился к ним с необычным вопросом:

- Что, если я сегодня приведу домой гостью?

- А ничего, - отозвался Трофим Герасимович, сидевший на корточках.

- Удобно?

- Кому?

- Вам, конечно.

Трофим Герасимович поднялся, уперся в бока руками, выпрямился и сказал:

- Было бы тебе удобно. Кто она?

Я сказал. Он знал уже о моей дружбе с Гизелой Андреас.

- Давай, веди! Тут она цела будет.

Я набросил на плечи пиджак и вышел. Шел быстро, почти бежал. Мне казалось, что каждая минута решает судьбу Гизелы.

Странно, как неожиданно и прочно вошла она в мою жизнь. И кажется, вошла глубоко, надолго. Часто мною овладевали сомнения. Идет война. Нас и немцев разделяет фронт, огонь, кровь. Гизела - немка. Быть может, мы оба допускаем ошибку? Я прислушивался к

голосу своего сердца. Оно молчало. Я отгонял сомнения и думал о том, что близость к Гизеле устраивает не только меня, но и Демьяна, и Решетова. Решетов почти в каждой радиограмме интересуется Гизелой.

Когда я достиг ее дома, уже пала ночь. Теплая, мягкая, чарующая майская ночь. Облитый светом неполной луны город спал. Этот бледно-серебряный свет накладывал на пустые улицы, наглухо закрытые окна, запертые дома и дремлющие деревья печать грусти.

Окно в комнате Гизелы было полураскрыто. Свет не горел. Ясно слышались звуки какой-то мелодии. Гизела, видимо, сидела у "Филипса".

Когда я вошел, она призналась, что не ждала меня.

На полу стоял раскрытый коричневый чемодан, рядом с ним - тоненький дорожный матрасик, свернутый трубкой, на спинке стула разместился эсэсовский мундир, а на сиденье - хорошо отглаженные брюки.

- Мужнино наследство, - усмехнулась Гизела. - Ума не приложу, куда сбить эту шкуру. Вы голодны?

Я сказал, что не голоден, и приступил к тому, зачем пришел. Нельзя было терять ни минуты.

- У меня к вам просьба, - начал я. - Мне хочется, чтобы вы посмотрели, как я живу.

Трудно было разглядеть без света лицо Гизелы. Наверное, брови ее поднялись.

- Это что, интересно? - спросила она, укладывая обратно в чемодан вещи.

- Нет, но все-таки...

- Я бы с удовольствием, но не уверена, что комендант не пришлет за мной машину. - Она сунула в чемодан металлический несессер и закрыла крышку.

- Когда? - поинтересовался я, сдерживая нарастающее волнение.

- Вот этого не скажу. В десять у него начнется совещание. Он разрешил мне не приходиться, но предупредил, чтобы я на всякий случай не отлучалась из дома.

"Этого только не хватало", - подумал я.

- А вы не решитесь наплевать на коменданта и совещание?

- Если и решусь, то вы этого не одобрите. Не правда ли?

Возразить было нечего. Почва уходила из-под ног. Я понимал, что настаивать неразумно. Мое упорство может навлечь подозрение.

Гизела будто глядела в мою душу.

- И почему такая срочность? Почему именно сегодня?

- Да нет, не обязательно, - вынужден был ответить я.

- Ну и прекрасно. У нас еще будет время.

Я не видел другого выхода, как остаться здесь и подвергнуть себя той же опасности, которая угрожала Гизеле. Я сел, вынул сигарету, закурил. Волноваться незачем. Не поможет.

Гизела закрыла окно, опустила маскировочные шторы и включила свет. На ней была та одежда, в которой она обычно ходила на службу. И прическа была та же - и все шло ей и нравилось мне.

Я пододвинул к себе лежавший на столе иллюстрированный прошлогодний журнал и, пытаясь успокоить себя, сказал:

- Вы правы, времени впереди много. Успеем. Лучше расскажите что-нибудь.

Гизела выключила "Филипс" и села напротив.

- Что же рассказать?

- Все равно, - ответил я, листая журнал. - О себе расскажите. Или о ком-нибудь близком.

Как-то вы сказали, что с вашим отцом расправились. За что?

В глазах Гизелы мелькнула грусть.

- За чересчур разговорчивый характер.

- То есть?

- Он считал, что в свободе слова нуждается не тот, кто стоит у власти и кто поддерживает ее, а тот, кто не согласен с нею. Этого было достаточно, это его погубило.

Мы помолчали. Я перевернул страницу журнала, и на меня глянул со снимка бывший командующий 6-й армией в группе "Юг" генерал-полковник Рейхенау.

- Он убит на фронте? - умышленно спросил я, зная, что смерть этого видного немецкого генерала окутана тайной.

Гизела покачала головой:

- Он тоже жертва.

- Почему тоже?

- Я не так выразилась. Ведь мы говорили об отце. С Рейхенау расправились как с неудобным.

- Вот как... я не слышал.

- Мне рассказал муж. Фюрер предлагал Рейхенау пост главнокомандующего. Рейхенау отказался. Потом Гиммлер потребовал от Рейхенау, чтобы тот допустил во все свои штабы эсэсовцев и слил армейские разведорганы со службой безопасности. Рейхенау ответил, что, пока он командующий, этого не случится. В январе минувшего года в штаб-квартиру в Полтаве явились три эсэсовца с личным поручением рейхсфюрера СС Гиммлера. О чем они говорили с Рейхенау, я не знаю, но через полчаса после их ухода его нашли мертвым.

- А вы не боитесь рассказывать мне такие вещи? - спросил я.

Гизела закинула голову и звонко рассмеялась:

- У вас, мне думается, больше оснований опасаться меня.

- Вот уж нет, - возразил я.

- А почему вы заговорили об этом?

Я пожал плечами.

- Вы странный сегодня, - заметила Гизела.

Да, я был странный. Я сам это чувствовал, но ничего поделать с собой не мог.

- А вас не тянет в Германию? - спросил я, Вновь принимаясь за журнал.

- Нет, - твердо ответила Гизела. - Там нехорошо, а вдове особенно. Я не хочу иметь кинд фюр фюрер. Оставьте вы журнал! Поднимите глаза. Почему вы такой сегодня? Знаете что, подарите мне свое фото.

- У меня нет.

- Закажите!

- Хорошо. А зачем вам?

- Я хочу видеть вас ежедневно.

- Надоем.

- А я попробую...

Я решительно отодвинул журнал и спросил:

- У вас не осталось ни капельки вина от прошлого раза?

- Хочется выпить?

- Да. Сегодня такой суматошный день. Глоточек бы...

- Надеетесь, что поможет? Глоток, я думаю, найдется.

Она встала, пошла к шкафу, и в это время за стенами дома раздались завывающие крики сирены. Произошло то, чего и следовало ожидать.

Гизела остановилась, обернулась, вслушалась. Лицо ее сразу побледнело.

- Неужели?

Я пожал плечами, взглянул на часы.

Завываниям сирены вторили тоненькие, писклявые, всхлипывающие гудки паровозов.

Волна страха окатила меня. Но я боялся не за себя. Рядом была Гизела. Я встал, подошел к ней:

- Вы боитесь?

Она сказала, что да. Она уже понюхала бомбежки там, в Германии.

- Но с вами я не буду бояться, - добавила она.

- А быть может, это так... ложная тревога, - сказал я.

Ответом был глухой, все время нараставший рокот. В природе его ошибиться было очень трудно...

- Нет, не ложная, - поправился я, и в эту секунду дружно и яростно залаляли зенитки.

Рокот мотора перестал быть слышен, но через короткие мгновения грохнули один за другим

такие сильные взрывы, что дом вздрогнул и закачался. Свет погас. Гизела крикнула:

- Сюда! Ко мне! В угол! Тут глухая стена.

Я в темноте добрался до нее.

Бомбы сыпались одна за другой. Вибрировали оконные стекла, звенела посуда в шкафу, потрескивали стены и пол, коробились двери и окна. Внутри у меня что-то вздрагивало. Дико было смириться с мыслью, что в любую минуту Гизела и я можем погибнуть.

Я взял себя в руки. Стал вслушиваться в раскаты взрывов. Они раздавались в разных концах города. Наши самолеты подавляли огонь зениток.

- Идемте на воздух, - предложил я Гизеле и взял ее за руку. - Я, честно скажу, не люблю, когда в такое время у меня что-то над головой.

Когда мы вышли на крыльцо, над нашими головами со страшным свистом прогремел самолет. Кругом сыпались и стучали по крышам осколки зенитных снарядов, но нас защищал от них небольшой навес. Город был освещен, как днем. Над ним висело с полдюжины пылающих подвесных "люстр". В их зловеще ярком и мертвом свете поразительно четко вырисовывались самые мельчайшие детали: вырезанный узором молодой листок клена; перекосившаяся труба на соседнем доме;

окно в подвале напротив, заложенное каким-то тряпьем; дыры от сучков в воротах; густая трава по обочине; трещины в плитах, покрывающих тротуар. В другое время эти мелочи вели себя тихо, мирно, а сейчас били в глаза, кричали, требовали, чтобы их запомнили.

Зенитный огонь заметно спадал, а бомбовые удары сотрясали землю все чаще и чаще. И вот, кажется, земля встала на дыбы. Мои барабанные перепонки выгнулись. Ухнул какой-то сложный, комбинированный взрыв вулканической силы. Стекла вылетели из окон. Вслед за этим последовало еще шесть взрывов, но уже не таких сильных. Я понял, что кирпичный завод накрыт.

Я и Гизела прижались к дверям, теснее придвинулись друг к другу. Раздался последний взрыв, и стало так тихо, что я услышал биение собственного сердца. Я приблизил к глазам часы: налет длился всего двадцать две минуты. Над вокзалом полыхали огромное зарево. Последняя "люстра" роняла на землю огненные слезы. Она догорала, и свет ее был уже не так ярк. В бескрайнем небе, под самыми звездами, глухо рокотали моторы.

- Идите домой, - мягко, но настойчиво сказала Гизела.

- Вы не боитесь одна?

- У меня есть свечи, а окна закрою наглухо.

Я осторожно, очень осторожно привлек ее к себе. От нее веяло прохладой и свежестью. Я нашел своими губами ее открытые упругие губы и нежно, очень нежно поцеловал.

Гизела легонько отстранилась, вздохнула и сказала:

- Теперь иди... Обо мне могут вспомнить, могут приехать.

Я почувствовал себя необыкновенно легким. Лишь перед самым домом я сообразил, что ведь Гизела впервые за наше знакомство назвала меня на "ты".

24. Беда

Заседание подпольного горкома закончилось в девять вечера с минутами. На дворе было еще светло: стоял июнь. Я не торопясь держал путь домой, чувствуя удовлетворение собой и товарищами по борьбе. Мы только что подвели боевые итоги за пять месяцев - с января по май включительно. Пусть мы сделали не так много, но мы сделали, что могли. Нет, мы не сидели сложа руки. Подпольщики подожгли состав с бензином на станции. Он сгорел дотла. Пожар уничтожил депо, мост и стоявший рядом состав с круглым лесом. Подпольщики подорвали машину с начальником полиции и его прихлебателями; уничтожили городской радиоузел; сожгли дом с архивными документами; подорвали восемь автомашин с различным военным грузом; забросали гранатами типографию; расправились с пятью предателями; выпустили одиннадцать листовок общим тиражом более тысячи экземпляров. По нашим наводкам был разгромлен десант, выброшенный между Ельцом и Ливнами;

разбомблен склад с авиационными бомбами; дважды обработан с воздуха аэродром и трижды железнодорожный узел. Разведывательный пункт абвера, возглавляемый гауптманом Штульдреером, перебросил на Большую землю и в партизанские районы двадцать семь человек, считая их верными людьми, но шестнадцать среди них были советские патриоты. Мы регулярно обеспечивали Большую землю разведывательной информацией, сообщали о работе железнодорожного узла, восстановлении аэродрома, интенсивном и очень подозрительном движении частей и техники в направлении Орла и Курска. Несмотря на потери, подполье росло. За минувшее время в него влилось еще девять патриотов.

В решении горкома по докладу Демьяна записали пункт: бросить все силы на выявление среди горожан предателей, агентов карательных органов, а также всех гласных пособников оккупантов. Этого требовала Большая земля приближался час расплаты.

Демьян на заседании дал основательную взбучку мне, Косте и Андрею за то, что тянем с розыском Дункеля. Его видел еще раз Пейпер, но в такой обстановке, когда не мог за ним проследить.

Геннадий Безродный опять не явился на бюро. Через связного Усатого он велел передать Демьяну, что занят проверкой Угрюмого и что в ближайшие дни доложит результаты. Демьян сомневался в этом. Он считал, что Геннадий саботирует его указание.

Свернув на свою улицу, я заметил "оппель", стоявший у дома Трофима Герасимовича. Значит, мои услуги опять понадобились начальнику гестапо. И хотя не было никаких оснований бить тревогу, сердце дрогнуло: а если не то?

Кроме шофера, в машине никого не оказалось; факт успокаивающий: шоферов одних не посылают на аресты. Впрочем, могут вежливо пригласить и не выпустить. Но это уже другое дело.

Шофер сказал, что ждет меня с полчаса.

Не заглянув домой, я сел в машину и кивнул следившему за мной из окна Трофиму Герасимовичу.

Через несколько минут я входил в кабинет начальника гестапо.

Земельбауэр, подбоченившись, расхаживал по кабинету с сигарой во рту, а Купейкина, сидя у маленького столика, поспешно вытирала платком заплаканные глаза. Что произошло между ними, догадаться было трудно.

Штурмбаннфюрер кивнул мне сухо, а Валентина Серафимовна даже не подняла головы.

- Мне можно выйти? - спросила она.

- Да, на несколько минут. Вы будете вести протокол.

Она порывисто встала и, вихляя бедрами, исчезла за дверью.

Начальник гестапо проводил свою переводчицу взглядом и изрек:

- Не женщина, а афиша. К сожалению, она не понимает, что уже не обладает художественной ценностью. Когда-то, лет десять назад, - возможно.

"Старый петух", - отметил я про себя, но сказал, что полностью согласен. Тем более что это была правда.

- А мои парни сегодня, - начал Земельбауэр, потирая руки, - схватили такого жирного гуся, что пальчики оближешь.

Я внутренне насторожился: кого же им удалось схватить?

- Гусь с перспективой, - продолжал Штурмбаннфюрер. - Через него я непременно выскочу на всю эту шайку. Но он что-то темнит, подлец. А быть может, переводчица пугает.

Я слушал Земельбауэра со смутной тревогой. В гестапо попал кто-то из наших подпольщиков. Причем совсем недавно, три-четыре часа назад. Земельбауэр уже беседовал с арестованным, а сейчас сделал перерыв и послал за мной.

- Но я все-таки успел проковырять дырку в трухлявой душе этого типа, хвастался Земельбауэр. - Сейчас его приведут. После бодрящего укольчика. Выгребите из него все, что возможно.

- Попытаюсь, - сказал я.

Ощущение тревоги нарастало. Рассудок предупреждал об опасности. Кого схватили? Чей пришел черед? Демьян? Не мог. Три-четыре часа назад он вел заседание бюро. Челнок, Усатый, Андрей, Костя также присутствовали на заседании от начала до конца. Трофима Герасимовича я только что видел. Быть может, один из ребят моей группы или группы Кости, Трофима Герасимовича, Челнока, Угрюмого? А что, если сам Угрюмый? Земельбауэр сказал, что гусь жирный, с перспективой. Неужели Угрюмый? Неужели судьба решила познакомить нас именно так?

Штурмбаннфюрер снял со своего чернильного прибора высокую, похожую на бокал - с такой же тонкой, как у бокала, ножкой - чернильницу и водрузил ее на пристолок. Сюда же он положил стопку чистой бумаги и ручку. Это для Валентины Серафимовны.

Я стоял спиной к окну, опираясь на подоконник, курил и напряженно думал: кто же, кто? Тысячи мыслей терзали голову, от них становилось тесно.

Вошла Купейкина. Она привела в порядок лицо, и только припухшие веки не поддались искусству косметики. Она молча села на свое место, придвинула стул, переложила бумагу.

- Записывайте только то, что будет говорить арестованный, - предупредил ее Земельбауэр.

Валентина Серафимовна нервно передернула плечами.

- Не дергайтесь, а слушайте, что я говорю, - продолжал начальник гестапо. - Мои слова можно не писать, это не так важно, а вот его обязательно.

Купейкина выпрямилась и подняла глаза на своего шефа.

- И, пожалуйста, не редактируйте его речь. Это после. Да и в редакторы вы не годитесь, - закончил свою мысль гестаповец.

Валентина Серафимовна закусила нижнюю губу. Она готова была расцарапать лицо штурмбаннфюреру.

В дверь постучали.

- Можно! - выкрикнул Земельбауэр.

Громы небесные! Пол пошатнулся подо мной. Машинально я ухватился руками за край подоконника и на несколько мгновений потерял дыхание. Конвоир протолкнул в комнату Геннадия, оставил его и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

Я чувствовал, как холодеют виски. Как он попал сюда? Как мог Геннадий, самоустранившийся от всех дел, провалиться? Кто повинен в его аресте?

Геннадий стоял с металлическими браслетами на руках, сторбленный, осунувшийся, втянув голову в плечи. Это был жалкий призрак того Геннадия, которого знали мы прежде. Я посмотрел в его глаза, и сердце мое сразу налилось тяжестью. Оно упало, провалилось куда-то в пропасть: мне почудилось, будто я заглянул в разверстую могилу. Глаза его были пусты, равнодушны, бессмысленны. Это был мой прежний друг. Мой и Андрея. Друг, переставший им быть, человек, причинивший мне много горя, незабываемых обид, потерявший уважение товарищей. Но скажу правду: боль сжала мне сердце. Нет, такой судьбы я не пожелал бы никому. Во имя прежней дружбы, во имя того, что когда-то нас связывало, во имя дела, ради которого все мы боролись, я готов был пожертвовать жизнью за Геннадия. Но что стоила теперь эта моя готовность! Что я мог предпринять? Ни разум, ни моя жертва уже не могли спасти Геннадия. Будь со мной пистолет, я бы еще рискнул попытаться. Но я безоружен, он скован, от земли нас отделяют три этажа, а внизу ходит автоматчик.

В мою душу проник мертвящий страх. Я растерялся перед неотвратимостью беды. Страх давил мне на желудок и вызывал тошноту. Трудно, неизмеримо трудно было сохранить присутствие духа. Такое испытание обдало бы холодом и более мужественное, чем мое, сердце. Но я понимал, что теперь самое главное - не потерять самообладания.

- Надеюсь, не знакомы? - осведомился штурмбаннфюрер и, растянув губы в улыбке, показал свои желтые зубы.

Дело оборачивалось серьезно. Я, конечно, должен был улыбнуться. Я попытался. Я сделал судорожную попытку и утвердительно кивнул. Только кивнул. Голос мог выдать меня.

Начальник гестапо указал Геннадию на стул.

Геннадий сделал шаг, потом вскинул вдруг вверх обе руки и выкрикнул:

- Хайль Гитлер!

Я обмер. Хорошо, что в это мгновение гестаповец и переводчица смотрели не на меня. Страшным усилием воли я поборол в себе желание подойти к Геннадию и плюнуть ему в физиономию. Желание это было

сильнее инстинкта самосохранения. Ничтожнейшее существо! Выродок. У него не хватило сил и мужества даже покончить с собой. Трус презренный.

Штурмбаннфюрер тоже крикнул:

- Не изображайте из себя идиота! Переведите ему.

Геннадий вздрогнул, обвел всех бессмысленным, блуждающим взглядом и сел. Он был уже сломан. Морально, а возможно, и физически. Заячья душа. Прав гестаповец: он в самом деле успел проковырять дырку в трухлявой душе Геннадия.

- Спросите его: быть может, я не вполне ясно выразился? - обратился ко мне Земельбауэр.

Геннадий встряхнул головой, как собака, отгоняющая муху, и с удивительной готовностью сказал, что все понял и будет вести себя как следует.

Так именно и сказал он, не способный когда-то слушать других и привыкший, чтобы слушали его.

Я смотрел на Геннадия новыми глазами и не мог найти оценки его падению.

Земельбауэр предложил мне сесть за пристолок, а сам продолжал стоять.

Начался допрос.

Штурмбаннфюрер потребовал, чтобы арестованный рассказал подробно свою биографию. И не лгал.

Геннадий поерзал на стуле и, гальванизированный страхом, ответил:

- Постараюсь говорить только правду.

Я как будто преодолел внутреннюю слабость и напряг разум, чтобы он был в состоянии управлять до последней минуты моими чувствами, лицом, голосом, глазами.

"До последней минуты". Я не ошибся. Это точная фраза. Именно - до последней. Что эта минута подойдет, я уже не сомневался. Если Геннадий провозгласил "Хайль Гитлер", от него можно ожидать всего. Но я еще не знал, как поведу себя в эту последнюю минуту. Скорее всего выпрыгну в окно, а что дальше - видно будет.

Геннадий говорил вялым, потухшим, каким-то надломленным голосом, очень сумбурно, бессвязно, глотая окончания слов и причиняя мне острую, почти физическую боль. Он рассказывал свою жизнь со дня рождения, не утаивая ничего. Все это можно было прочесть в автобиографии, хранящейся в его личном деле. Временами он спотыкался, как бы наткнувшись на какое-то препятствие, терял нить мыслей и виновато моргал глазами. Потом поправлялся. Поначалу мне казалось, что говорит он, не вдумываясь в смысл, но так лишь казалось. Геннадий придерживался хронологии, вытаскивал из закоулков памяти такие детали и подробности, о которых я бы ни за что не вспомнил.

Меня захлестывало чувство омерзения.

Пока он говорил только о прошлом и закончил сорок первым годом - своим появлением в Энске.

Земельбауэр подмигнул мне, безусловно довольный ходом дела, а потом потребовал:

- Назовите своих сообщников.

Я остановил на Геннадии долгий, пристальный взгляд. Он ощутил его. Мы встретились глазами. Он смотрел на меня как замороженный.

"Молчи. Умри, но молчи, - предупреждали мои глаза. - Ты же мужчина, в конце концов".

Геннадий молчал. Он, кажется, потерял дар речи и не мог обрести его вновь.

Земельбауэр прошелся в ожидании до стенного сейфа, погладил рукой его дверцу, вернулся и произнес:

- Знаете, господин хороший, меня страшно одолевает желание пощекотать вас. Мне кажется, вы очень боитесь щекотки.

Глаза Геннадия сделались вдруг подвижными, суматошными, они забегали, запрыгали, в них появился подленький, угодливый блеск.

- Ну? - подтолкнул его штурмбаннфюрер. Он повернулся к Геннадию и замер, точно сеттер, учуявший запах дичи. Разность плеч его сейчас особенно бросалась в глаза.

Наступила тишина.

Она походила на туго сжатую пружину, которая ежесекундно могла расправиться.

Геннадий отвел глаза в сторону и назвал сразу три фамилии: Прокопа, Прохора и Акима.

Но у штурмбаннфюрера была поистине дьявольская память. Ведь Прохор, Прокоп и Аким - это сорок первый год. А сейчас сорок третий.

- Хотите отделаться покойниками?! - крикнул он. - Не выйдет. Мне подавайте живых.

Меня знобило. Я смотрел на Геннадия, прищурив глаза. Его бледное, осунувшееся и безвольное лицо с дрожащими губами, его скатавшиеся жирные волосы, побитые сединой, его запуганные глаза - проступали как сквозь туман.

Что делать? Как закрыть рот этому трусу? Мозг мой напрягался, изворачивался, пытался найти какой-то выход. Я понимал одно: я должен предупредить Геннадия. Не глазами. Это до него не доходит. Я должен сказать ему. Но как? Если штурмбаннфюрер по-русски ни бумбум, то ведь дочь Купейкина русская. Значит, надо под каким-либо предлогом удалить ее на две-три минуты, на минуту наконец. Но откуда взять этот предлог? Попросить принести воды? Вода стоит в графине. Папирос? Пачка лежит на столе, достаточно протянуть руку. Я чувствовал свое бессилие. Сердце протестовало, восставало против этого трагического бессилия. Это всегда бывает в тех случаях, когда рассудок перестает повелевать и дает "сбой".

Начальник гестапо, как и всякий начальник, не любил долго ждать и не терпел арестованных с непослушной памятью. Он крикнул на Геннадия:

- Вы что, язык проглотили?

Геннадий сидел под обстрелом трех пар глаз. Он опять открыл рот и назвал Крайнего, Урала.

- Опять мертвецы! - воскликнул Земельбауэр. - Вы долго будете мне морочить голову?

Теперь с мертвецами было покончено. Я затаил дыхание.

Геннадий покрутил нелепо головой, посмотрел куда-то вбок и почти шепотом произнес:

- Лизунов, кличка Угрюмый... Биржа труда... Кузьмин, кличка Перебежчик... Бильярдная... Казино... Маркер.

Шепот показался мне громом. В ушах звенело. И мысль пришла самовольно, неожиданно и поздно: я протянул руку за сигаретами, нарочно, не глядя на них, задел бокалообразную чернильницу и опрокинул ее. Купейкина вскрикнула и вскочила, как обваренная кипятком. Чернила залили бумаги и стол.

- Вы с ума сошли! - воскликнула Валентина Серафимовна.

- Тряпку! Быстрее! - сказал я ей.

Она выбежала.

- Надо быть осторожнее, - заметил Земельбауэр.

"К черту осторожность", - подумал я и процедил сквозь зубы Геннадию:

- Слушай, ты. В кармане у меня граната. Ты меня знаешь. Еще одно имя и я уложу всех. И тебя.

Геннадий закрыл глаза. Его губы дрожали.

Земельбауэр подошел к столу, нажал кнопку звонка и поинтересовался:

- Что вы ему?

- Сказал, что все это из-за него, дурака. Пусть говорит все, иначе потеряет язык.

- Потеряет! - усмехнулся гестаповец. - Вполне возможно. Все впереди.

В комнату вошли одновременно Купейкина с тряпкой в руке и дежурный по отделению гестапо.

- Быстро наряд в казино! - приказал Земельбауэр дежурному. - Там маркер в бильярдной. Кузьмин. Взять. Живым.

Допрос прервался. Купейкина вытерла чернила, привела в порядок бумаги.

Я опоздал. Это подтачивало мой дух. Я готов был кричать, биться головой о стол, заведомо зная, что это не поможет. Трудно было измерить глубину моего страдания.

- Быть может, сделаем перерыв? - предложил я. - Я чертовски голоден.

Рассчитывая на положительный ответ, я думал опередить гестаповский наряд и предупредить Андрея.

- Ну что вы, - возразил Земельбауэр. - Между прочим, я тоже хочу есть. Сейчас мы это организуем. - И он обратился к Купейкиной: - Устройте несколько бутербродов и кофе. Только черный.

Переводчица вышла.

- Скажите ему, пусть думает, пока есть время.

Из всех зол надо выбирать наименьшее - гласит поговорка. Я сказал Геннадию не то, о чем просил начальник гестапо:

- Предупреждаю. Если назовешь еще хоть одного, считай себя покойником. Они-то тебя уж не убьют, ты купил себе жизнь, а я тебя угроблю.

- Я не могу, - простонал Геннадий.

Я топнул ногой:

- Молчи, сволочь.

- Что он там болтает? - спросил Земельбауэр.

- Говорит, что ему нечего думать. Он всех назвал.

- Врет?

- Не думаю. Для этого он недостаточно смел.

- Оригинально! Выходит, для вранья тоже нужна смелость?

- По-моему, да.

- Ну-ка, прочтите, что записала Купейкина.

За окном послышался шум отошедшей машины и треск мотоциклов. Все, поздно. Андрей погиб.

Гестаповец расхаживал по кабинету. Он ничуть не волновался, проклятый гунн. Он знал, что его опричники не ударят лицом в грязь. А у меня дрожали ноги. Я сгреб листы протокола и начал читать вслух. В глазах двоилось. Я читал, а думал об Андрее. Что еще я могу сделать, чтобы спасти его? Это была пытка.

Вошедшая Купейкина застала меня за чтением. Губы ее зло сжались. Поставив на пристолик термос и тарелку с бутербродами, она опять вышла. Вышла и сейчас же вернулась с двумя стаканами.

Буквы прыгали передо мной, становились на дыбы. Я напрягал зрение.

Валентина Серафимовна наливала кофе в стаканы.

- Все очень хорошо, - произнес я по-русски. - Вы ничего не упустили.

- Скажите об этом ему, а не мне, - дерзко ответила она. Пришлось угодить Купейкиной и похвалить ее перед начальником гестапо.

- Мне думается, что лучше и нельзя записать, - одобрил я протокол. Очень толково.

- Вы делаете успехи, фрейлейн, - высказал комплимент гестаповец.

Купейкина опустила глаза.

Земельбауэр взял бутерброд в одну руку, стакан - в другую и пригласил меня следовать его примеру.

Кусок не шел мне в горло. Он застревал, становился поперек, и приходилось судорожными движениями проталкивать его. Я не имел права не есть. Ведь ради меня, собственно, принесен ужин. Значит, надо жевать, глотать, делать вид, что голоден. Перед глазами стоял Андрей, мой верный друг, самый дорогой мне человек, которому я ничем не мог помочь. Только чудо, какое-нибудь чудо могло спасти его. Но в чудеса я в нашем подлунном мире верил очень мало.

Прошло уже минут двадцать, как отъехал наряд. Казино - подать рукой. Что там сейчас?

Купейкина села на свое место, поправила бумаги.

Я и начальник гестапо доедали проклятые бутерброды.

Геннадий, нравственно омертвевший, смотрел на нас и глотал воздух.

- Разрешите дать ему бутерброд? - сказал я Земельбауэру.

Он усмехнулся:

- Вы в самом деле гуманист.
- Это пойдет на пользу, - добавил я.
- Для психологического контакта?
- Что-то вроде...
- Попробуйте!

Я протянул Геннадию самый большой бутерброд. Он взял его обеими скованными руками и так странно стал его рассматривать, будто впервые видел сыр и хлеб. Глаза Геннадия выражали искреннее удивление, он не понимал, для чего ему дали еду. Он смотрел на нее как на что-то нереальное.

Это продолжалось несколько секунд. Потом

он как бы опомнился и стал рвать бутерброд большими кусками, словно опасался, что его отнимут.

- Что ж, - сказал Земельбауэр, вытираясь носовым платком, - продолжим?

Продолжать не удалось. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался дежурный. Не вошел, а именно ворвался. Дернув головой, он выпалил:

- Маркер живым не дался. Убиты Зикель, Хаслер, тяжело ранен Вебер. Последнюю пулю маркер пустил в себя.

Я плотно сомкнул веки и сглотнул ком, подкатившийся к горлу. Прощай, мой друг! Прощай, Андрей!

Земельбауэр выслушал доклад, разинув рот, потом схватился за голову и взвизгнул:

- Идиоты! Какие же идиоты!

В это время меня оглушил хохот. Дикий хохот, от которого кровь застыла в жилах. Хохотал Геннадий.

Взоры всех скрестились на нем.

Сомнений быть не могло: он рехнулся. В глазах зажегся огонь безумия. Он хохотал, выкрикивал непонятные слова, весь трясясь, сгибался пополам, колотил скованными руками по коленям, стучал ногами и наконец свалился на пол. На губах его выступила пена.

Это было страшное зрелище.

- Заберите его! - скомандовал Земельбауэр, скорчив брезгливую гримасу. - Быстро!

Геннадий перевернулся со спины на бок, поджал под себя ноги, резко выпрямил их, дернулся всем телом и стих. Он, видимо, потерял сознание.

Дежурный схватил его под мышки и с трудом выволок из комнаты.

Купейкина смотрела широко раскрытыми глазами. Руки ее дрожали.

- Я поехал! - крикнул штурмбаннфюрер, схватил фуражку и исчез, забыв о моем существовании.

Когда я вышел из гестапо, еще не рассеялся дымок от "опеля".

Я расстегнул ворот рубахи. Меня мучило удушье.

Над городом плыла ночь. Тихая, звездная летняя ночь. Мир стоит, как стоял, а Андрея нет и не будет. Я не мог представить его мертвым. Не мог. Помимо моей воли ноги понесли меня к бильярдной.

Около казино стояли "опель", санитарная машина и несколько легковых. Тут же толпились немцы.

В последнюю минуту меня остановил инстинкт.

Нет, в бильярдную я не спущусь. Во-первых, это бесполезно, во-вторых, выше моих сил. Андрею теперь безразлично, а я боюсь за себя. При виде мертвого друга могу не сдержаться. Нет-нет... Все кончено. Надо думать о тех, кто остался жив и кому грозит опасность. Прежде всего о ребятах Андрея. Как только абверовцу Штульдрееру сообщат, кем был в самом деле маркер Кузьмин, им всем крышка. Двоих знает Костя, одного Трофим Герасимович. Я должен повидать и Костю, и Трофима Герасимовича. И еще Демьяна. Ему необходимо скрыться. А как спасти Угрюмого? Как предупредить его об опасности?

В сотне шагов от домика Кости я остановился. Меня поразила неожиданная мысль, почему

Земельбауэр не отдал никакого распоряжения насчет Лизунова-Угрюмого? В самом деле, почему?

Страшная догадка обожгла мозг. Я вспомнил, что Угрюмый соврал, доложив, что убил Дункеля. Вспомнил, что только сегодня услышал из уст Усатого, что Геннадий заканчивает проверку Угрюмого и обещает доложить результаты. Мне стало страшно. Неужели?..

Я почти побежал. Скорее, скорее в "погреб", к друзьям, к Демьяну, к Косте. Я больше не мог оставаться один.

25. Угрюмый и Дункель

Минуло девять суток. Я еще не оправился от той страшной ночи, не свыкся с мыслью, что Андрея нет и никогда не будет...

Сначала я как-то пассивно воспринимал окружающее, испытывая ощущение страшной пустоты. Постоянно мучила тупая боль в сердце. Но потом стала подкрадываться мысль: все ли я сделал, чтобы спасти Андрея? Не ложится ли на меня часть вины за его гибель? От этой страшной навязчивой мысли невозможно было избавиться. Никакие доводы не помогали, никакие слова не убеждали. Друг обязан спасти. Совершить нечеловеческое - и спасти! А я не совершил этого нечеловеческого. И прощения мне нет.

Подполье, его руководство жило в напряжении. Пять суток ждали новых арестов. Ведь Безродный знал наперечет весь командный состав подполья и, если он назвал Угрюмого и Перебежчика, что мешает ему назвать других? Никто не верил, будто Геннадий Безродный действительно потерял рассудок. Большинство склонно было рассматривать его припадок как эпизод, вызванный острой ситуацией. Конечно, он еще заговорит, а если не захочет говорить, его заставят. Земельбауэра не надо учить, как это делать.

Мы приняли меры предосторожности. Предупредили ребят, рекомендованных Андреем абверу, снабдили их паролями, явками и выпроводили в лес. Демьян до выяснения обстановки не выходил из убежища. Большой земле было сообщено, что расписание сеансов меняется и сокращается до одного в десять дней, дабы избежать опасности быть запеленгованными. По указанию бюро обкома встречи на улицах временно запрещались.

Центром нашего внимания оставался Угрюмый. Демьян приказал вызвать его для объяснения. Встретиться с ним должны были Челнок, Костя и я. Местом для встречи избрали площадку у лесного склада. Мы решили завести Угрюмого в полицейскую караулку и поговорить по душам. Костя обещал создать все условия для безопасной беседы.

Записку с вызовом положили в "почтовый ящик", именуемый овражным. Был и еще один ящик для связи с Угрюмым, под названием биржевой. И тот и другой оправдывали свои названия. Первый таился в пешеходном мостике через глубокий овраг, на Набережной улице. Мостик имел деревянные перила, пропущенные через толстые деревянные же стояки.

В одном из них, с внешней стороны, ребята отыскивали отверстие, куда и укладывали "почту". А биржевой мы сделали сами в кирпичном заборе биржи труда. В предпоследнем от верхнего края забора ряду вынимался кирпич, и за ним в углублении хранились записки. Оба "ящика" организовали после ареста Урала и отстранения от роли связного Колючего. К "ящикам" имели доступ Костя, Угрюмый и я. Пользовались "ящиками" крайне осторожно. Когда к "ящику" шел я, меня охранял Костя, и наоборот.

Записку опустили на второй день после гибели Андрея.

Угрюмый на свидание не пришел и никаких объяснений в "ящике" не оставил.

На третий день Никодимовна - жена Трофима Герасимовича - дала мне баночку из-под крема "Снежинка". В баночке оказалась записка. Никодимовна рассказала: когда она утром мыла полы, баночка, брошенная кем-то через окно, угодила ей в бок. Никодимовна выглянула в окно и увидела удалявшуюся женщину.

Записка была от жены Геннадия. Она оказалась женщиной неглупой: сумела найти способ связаться с нами в такой сложной обстановке. Она сообщала сведения, проливающие свет на тайну, которая окутывала провал Геннадия. Оказывается, накануне ареста Геннадий принял

у себя в доме Лизунова-Угрюмого. Они уединились и с четверть часа о чем-то беседовали. В день ареста Геннадий ушел из больницы немного раньше обычного. Жене он сказал, что около пяти дня его будет ждать Лизунов. Домой он больше не приходил. Вечером нагрянули гестаповцы и перевернули все вверх дном.

Значит, Геннадий встречался с Угрюмым и после встречи последовал арест. Это совпадение наводило на грустные размышления. Угрюмый начинал серьезно беспокоить нас. Он оказался связанным с провалом Геннадия, обманул подполье в отношении Дункеля. Последнее было особенно подозрительным. Что толкнуло Угрюмого на такой шаг? Почему он взял под защиту Дункеля? Мы вспомнили и старое. Челнок высказал предположение, что Угрюмый не мог не знать Прокопа или Прохора. Никак не мог. Вопрос об оставлении кого-либо в подполье решал городской военком. Людей вызывали и обстоятельно с ними беседовали. Но, как правило, на каждой беседе присутствовали или Прокоп, или Прохор. Конечно, никто тогда не знал, что Прокоп и Прохор возглавят горком в подполье. Но после прихода гитлеровцев нетрудно было догадаться, зачем остались в Энске Прокоп и Прохор.

Ну, и самое главное, что избличало Угрюмого, - это свобода, которой он пользовался. Геннадий назвал двух: Андрея и Угрюмого. А гестапо попыталось арестовать только Андрея. Что знало руководство подполья о Лизунове-Угрюмом?

Все, что полагалось знать по документам. Звали его Прокофий Силантьевич, родился в 1896 году в городе Бодайбо, в семье кочегара. Потеряв вначале мать, а затем и отца, он покинул Бодайбо и пошел добровольцем на первую мировую войну. Ему тогда только что сравнялось восемнадцать лет. На войне ему не повезло: попал в плен, из которого вернулся в девятнадцатом году. Его сразу призвали в Красную Армию. После демобилизации Лизунов пошел учиться и получил специальность экономиста. Однако экономистом проработал недолго, переквалифицировался на адвоката, а затем юрисконсульта. Жил в Гомеле, Шостке, Кременчуге, Воронеже, а в конце сорокового года перебрался в Энск. Здесь по совместительству обслуживал сразу три предприятия в качестве юриста. Когда его вызвали в военкомат и предложили остаться в городе, он не колеблясь дал согласие. То, что Лизунов был беспартийным и недавно потерял жену, вполне устраивало военкома. А у немцев он получил работу на бирже труда в держался на своей должности довольно крепко.

Как старший группы, Угрюмый показал себя только с лучшей стороны. Решать по одним еще не полностью подтвердившимся уликам судьбу старшего группы мы не могли и не имели права. Демьян распорядился понаблюдать за ним.

К слежке мы привлекли нескольких патриотов из разных групп. Первым начал наблюдение Трофим Герасимович. Вечером этого же дня Трофим Герасимович принес сногсшибательную новость: Угрюмый, оказывается, и есть тот самый "сытый" тип, которого Трофим Герасимович в свое время засек у двух конспиративных квартир гестапо.

Новость поразила всех. Решили продолжать слежку и пока не трогать Угрюмого.

Шестые сутки после гибели Андрея принесли нам успокоение. Гизеле, которую я очень просил, удалось узнать, что арестованный Булочкин-Безродный действительно потерял рассудок и в состоянии буйного помешательства водворен в городскую психиатрическую больницу. Случилось это наутро после допроса.

Демьян поручил Косте попытаться проверить это через полицию. Сведения подтвердились. Это несколько развязало наши руки. Значит, Геннадий не успел никого больше выдать.

А слежка за Угрюмым ничего не давала. Он имел отдельный кабинет на бирже труда и мог там встречаться с нужными

ему людьми. Не появлялся он и на конспиративных квартирах гестапо. А позавчера патриотка из группы Челнока, пожилая женщина под кличкой Тихая, принесла новость, заслуживающую внимания. Наблюдая за Угрюмым, она заметила, как возле кино он подошел к какому-то мужчине и заговорил с ним. Тихой удалось уловить несколько слов из их беседы. Угрюмый приглашал своего знакомого в десять вечера в среду на кладбище. Когда они расстались, Тихая решила проследить, куда пойдет собеседник Угрюмого, и выяснить, кто он такой. Это входило в ее задачи. Оказалось, что живет он на Базарной

площади, в доме под номером семьдесят девять.

Во вторник Костя проверил адрес: в доме семьдесят девять проживал парикмахер бани Дмитрий Коренцов.

Для Кости это был Коренцов, а для Демьяна и меня - связной Колючий, с которым мы в свое время прервали связь.

Таким образом открылись новые обстоятельства. Встал вопрос: есть ли необходимость встретиться с Колючим? Я высказался против, Демьян - за.

- Зачем он тянет Колючего на кладбище? - спросил Демьян.

Я пожал плечами. Черт его знает зачем.

- Мне это кажется подозрительным.

- То есть? - поинтересовался я.

- Учтите, что Колючий - единственный подпольщик, знающий Угрюмого в лицо. Других не осталось. Быть может, мы предотвратим угрозу расправы.

Я до этого никогда не додумался бы, хотя такая мысль напрашивалась сама собой.

- Пароль для связи с Колючим у нас есть? - спросил Демьян.

- Да, есть.

- Надо подослать кого-нибудь к Колючему, - предложил Демьян.

Я изъявил готовность пойти сам.

- Не годится, - возразил Демьян. - Он вас может знать как работника управы и, естественно, насторожится. Костя тоже не подходит. Полицай Тут надо такого...

- А если Клеща? - сказал я.

Демьян подумал и согласился.

- Тщательно проинструктируйте его, - предупредил Демьян. - Пусть скажет Колючему, что вновь решено включить его в работу по связи с Угрюмым. И ничего больше. Если Колючий остался таким же, каким мы его знали, он сам все расскажет.

Вечером я дал задание Трофиму Герасимовичу. Рано утром он отправился к Колючему по пути на бойню, а в обеденный перерыв сообщил результаты.

Демьян был прав. Колючий обрадовался возобновлению с ним связи и сам рассказал, что накануне виделся с Угрюмым. Тот назначил на завтра встречу, которая что-то не по душе Колючему. Почему не по душе? А вот почему. При чем здесь кладбище? Раньше они встречались в кабинете Угрюмого, два раза у него на дому. Это было до получения записки. А тут вдруг кладбище. Но пойти придется. Встретиться условились в левом крайнем углу кладбища, у могилы купца Шехворостова. Вчера Колючий проверил: могила такая есть.

Все это я передал Демьяну. Тот покачал головой:

- Круг сужается. Надо брать Угрюмого сегодня же. Такого удобного случая мы едва ли дождемся.

К операции решили привлечь, кроме меня, Костю, Клеща и Вьюна с двумя его хлопцами. Колючего же предупредили через Трофима Герасимовича, чтобы на свидание не ходил. Таков приказ подполья.

Солнце сегодня должно было зайти в двадцать один час девятнадцать минут, а луна - в час тринадцать. Когда я шел по улице Щорса, солнце скрылось за горизонтом, догорала заря, а бледный лунный диск уже плавал в небе.

Вся передняя сторона кладбища была открыта. Раньше здесь стояла красивая, высокая, литая из чугуна решетка с узорами, осыпанная крестами и головами ангелов. Немцы еще в прошлом году сняли решетку целиком и увезли. Теперь оградой служили густые кусты колючей акации. Остальные же три стороны кладбища ограждала прочная, сложенная навеки кирпичная стена.

У воров, вернее, там, где раньше были ворота, меня подждал Костя, одетый, как обычно, в полицейскую форму.

- Ну как? - спросил я.

- В ажуре. Тишь, гладь и божья благодать. Пошли.

- Нет, подождем еще одного.

По моим следам топал Трофим Герасимович. Увидев полиция, он остановился и, кажется, хотел быстренько улепетнуть, но я опередил его:

- Давай сюда, свои. Знакомься!

Трофим Герасимович и Костя молча пожали друг другу руки, и лишь после этого мой хозяин покрутил головой и сказал всего одно слово: "Здорово!"

Мы тронулись.

Окутанные сумраком и испещренные лунным светом кладбищенские дорожки разбегались во все стороны Костя выбрал самую узенькую и повел нас по ней.

Все здесь одичало и заросло зеленью сумасшедшей силы. Было тихо, прохладно, пахло гнилью Нигде не бывает так печально и жутко, как на кладбище ночью.

Через пять-шесть минут мы оказались у цели - на небольшой полянке, окруженной вековыми кленами и кустами жасмина. Он цвел, и его одуряющий запах кружил голову.

Полянка имела шагов двадцать в диаметре. Точно по середине ее, придавленный трехметровым слоем земли, а поверх нее грубо отесанной глыбой гранита, покоился прах купца второй гильдии Аверьяна Арсеньевича Шехворостова. На гладкой стороне гранита легко можно было разобрать три слова: "Вот и все".

Костя предупредил меня, что Вьюн, то есть Хасан Шерафутдинов, и его хлопцы будут наблюдать за Угрюмым от начала и до конца и появятся лишь в том случае, если Костя подаст команду.

В нашем распоряжении еще имелось время. Мы облюбовали места для засады - в кустах жасмина, за стволами кленов, закурили и стали болтать о всякой всячине. Разговор сам по себе перескочил на Угрюмого.

- И такой гад, - сказал Трофим Герасимович, - был младенцем и сосал грудь матери. Скажи пожалуйста! Но здоровяк. Видать, на хороших харчах сидит. Справный мужик. С таким гляди в оба, спуску не даст.

- Посмотрим, что он скажет, - проговорил Костя.

- А куда ему деваться? Уж больно сильно наследил, - заметил Трофим Герасимович.

На меня нашло какое-то возбужденно-веселое, игривое настроение. Я верил в успех затеянного предприятия. Мне всегда нравились такие столкновения лоб в лоб. Я рассказал несколько анекдотов, рассмешил своих друзей. Хотел рассказать давнюю историю о том, как однажды, сидя в засаде, заснул. Но тут закуковала кукушка: "ку-ку, ку-ку". Четыре раза. Перерыв. Опять четыре раза, опять перерыв и еще четыре. Вьюн подавал условный сигнал.

- Гаси сигарки! - предупредил Костя.

Мы затоптали окурки и разошлись по своим местам.

Угрюмый появился минуты через три после сигнала. Он шел неторопливой походкой. Выйдя на поляну, поднес к глазам часы и, замурлыкав себе под нос какую-то песенку, стал прохаживаться вокруг могилы.

Я раздвинул кусты и почти без шума вышел на поляну. Но Угрюмый обладал отличным слухом. Он мгновенно обернулся, скрестил руки на груди, но не произнес ни слова.

- Добрый вечер, - сказал я.

- Кому добрый, а кому и нет, - не особенно дружелюбно ответил Угрюмый, всматриваясь в Мое лицо.

- Вы Лизунов?

- Вполне возможно. Разубеждать не собираюсь. - В его голосе мне почудился сдерживаемый смех.

- Что вы здесь собираетесь делать?

- А вам зачем знать?

- Простое любопытство.

- Удивительно, я тоже любопытен: как, например, вы сюда попали?

- Заглянул на вас посмотреть.

- Вот оно что, - протянул Угрюмый с уже нескрываемой усмешкой. - А я пришел проведать могилу бабушки.

Он, подлец, балагурил. Балагурил с жестким спокойствием, не ведая того, что его ожидает.

У меня тоже не было оснований нервничать, и я отвечал ему в тон:

- Серьезно? Вы так любили свою бабушку?

- Представьте! У меня это в крови. Я воспитан на любви к покойникам. Как ночь - меня тянет к ним.

- Приятно встретить человека, так дорожающего родственниками.

Я стоял, глубоко засунув руки в карманы. Это было мое преимущество. Руки Угрюмого лежали на груди. Когда он сделал движение, я быстро предупредил его:

- Руки держите так! В карманы не надо. Мне кажется, что вы хотели что-то вынуть?

- Вполне согласен, что вам так кажется. Я могу вас послушаться, могу и нет. Но вы меня заинтриговали.

Он говорил спокойно, с легкой усмешечкой. И это была не бравада, я сразу понял. Это было нажитое годами, вытравленное и хладнокровное бесстрашие.

- Ну ладно, хватит, - сказал я. - Приступим к делу. Почему вы не пришли на явку?

- Вы что мелете? Какую явку?

- Не валяйте дурака, Угрюмый, - ответил я и назвал пароль.

- А память вам не изменяет? - продолжал он в том же духе.

- Нет, не изменяет.

- Ну ладно, - согласился он. - Вы, что ли, хотели меня видеть?

- Нет. Мы пойдем сейчас к тому, кто хочет вас видеть.

Нас разделяли два шага. Не больше. Эта гарантийная дистанция, как я предполагал, давала мне возможность в любую секунду выхватить из кармана пистолет. Его рукоятку я держал в руке. Но одно дело предполагать...

- Я к вашим услугам, - ответил он вполне серьезно.

Я хотел было позвать Трофима Герасимовича и Костю, но не успел. Все это заняло мгновение. Угрюмый сделал выпад, и я едва успел отскочить в сторону. Его приличный кулак, нацеленный мне в подбородок, пришелся в плечо. Удар был вполне достаточен для того, чтобы я обернулся вокруг собственной оси и оказался на земле возле кустов жасмина. Угрюмый крикнул, видимо, от удовольствия и, игнорируя человеческую заповедь, гласящую, что лежачего не бьют, ринулся на меня. Но тут выскочил Трофим Герасимович, который тоже никогда не жаловался на слабое здоровье, и через секунду Угрюмый оказался возле меня. Я быстро навалился на него всем телом и вцепился ему в горло. Трофим Герасимович поймал руки Угрюмого, а подоспевший Костя прижал к земле его ноги. Мы все страшно сопели, пыхтели. Угрюмый напрягал силы, дергался, рычал, точно цепной пес, его бешеные глаза готовы были выскочить из орбит.

- Цыц! Замри! - прикрикнул на него Трофим Герасимович. - Или хочешь изобразить из себя покойника? У нас недолго. Живо схлопочем тебе командировку на тот свет.

Я почувствовал, как мускулы Угрюмого ослабли, и отпустил его глотку. Трофим Герасимович и Костя скрутили ему руки и связали их куском прихваченной веревки. Мы подняли Угрюмого и поставили на ноги.

- А теперь разрешите ваши карманчики, - весело проговорил Костя и извлек из каждого кармана по пистолету - "маузер" и "вальтер". - Ого, вы, оказывается, вооружены не так уж плохо, товарищ подпольщик.

Угрюмый только сейчас, видно, разобрался, что один из нас полицейский.

Мозг его сделал скорый, но неправильный вывод:

- Я... думаю, - начал он, пытаясь преодолеть одышку, - вы... немного поторопились. Уверен, завтра вы почувствуете себя не в своей... тарелке и пожалеете.

- Мы наблюдаем, как вы себя будете чувствовать завтра, - заметил Костя.

Мы отряхнули с себя пыль, Трофим Герасимович проделал это над Угрюмым. Я отдал команду:

- А теперь потихоньку-полегоньку - вперед.

Первым зашагал Костя, за ним Угрюмый, а потом я и Трофим Герасимович.

При выходе с кладбища я остановил движение, чтобы посмотреть улицу, и предупредил Угрюмого:

- Только без фокусов. Тут совсем близко. И молчок! Если издадите звук, он будет вашим последним звуком.

- Ерунда, - ответил пришедший в себя Угрюмый. - Я еще много издам звуков. Я еще поживу. Мы буквально ошалели от такой наглой самоуверенности.

- Ладно, хватит болтать, пошли.

- Минутку, - возразил Угрюмый. - Ослабьте немного веревку.

Я отрицательно покачал головой. Костя усмехнулся:

- Идущий на виселицу не должен обижаться, что веревка колется.

Угрюмый подумал немного и ответил:

- До виселицы далеко еще, молодой человек.

Я пришел к выводу, что, кроме бесстрашия, этот загадочный человек обладает еще и железными нервами. Его трудно было смутить и вывести из себя.

Мы вновь тронулись, изменив строй. Теперь впереди шли я и Трофим Герасимович, за нами Угрюмый, а Костя замыкал шествие. Мы заранее условились, что в случае появления патруля я и Трофим Герасимович постараемся незаметно ретироваться, а Костя, известный большинству ээсовцев, попробует отбрехаться.

Но пока все протекало гладко Комендантский час наступил давно, и улица Щорса была начисто выметена от всего живого. Да и расстояние от кладбища до убежища исчислялось минутами ходьбы.

Когда мы проходили двор Кости, по улице промчалась легковая машина с опущенным верхом. Я опасался, что она затормозит. Но тем, кто в ней ехал, было, видимо, не до нас. Машина даже не убавила скорости.

В сотне шагов от цели мы отпустили Трофима Герасимовича.

Я нарочито долго плутал и петлял между развалинами, пробирался через заросли бурьяна, обходил вороха скрюченного железа, прежде чем достиг замаскированного кустом бузины и грудями битого кирпича лаза в убежище.

- Тут немудрено и ноги поломать, - заметил невозмутимый Угрюмый, протискиваясь в узкую щель.

- А вы аккуратненько, - посоветовал Костя. - Ноги еще пригодятся.

Наконец мы достигли убежища. Нас встретил Демьян. Он стоял у задней стены комнаты, широко расставив ноги и заложив руки за спину.

- Так, - проговорил он, - все в порядке?

Я кивнул.

Угрюмый оглядывал помещение. Его глаза, с надвинутым на них тяжелым лбом, смотрели без страха, скорее, с любопытством. Нет, он и в эту минуту не потерял самообладания. Сообразив, видимо, что Демьян - старший из нас, он сразу обратился к нему:

- Быть может, вы скажете, какое я совершил преступление?

Демьян подошел к нему вплотную, держа руки по-прежнему за спиной и глядя прямо в глаза Угрюмому, резко и твердо, отчеканивая каждое слово, произнес:

- Одно то, что вы ходите по Земле, уже преступление.

Угрюмый спокойно выдержал взгляд и, легонько усмехнувшись, сказал:

- Опять общие, хотя и красивые, слова. Я не придаю им значения. Вы в чем-то подозреваете меня. Так в чем же дело? Говорите!

Из своей половины вышла Наперсток. Она остановилась, вскрикнула и, зажав рот рукой, глухо произнесла:

- Помазин... он... - и отступила на шаг в испуге.

Крик едва не вырвался из моей груди. И будь я проклят, если лицо Угрюмого в это мгновение не дрогнуло. Дрогнуло и вытянулось, будто он узнал день своей смерти. Скособочив голову, он смерил радистку уничтожающим взглядом. Он был поражен и не мог скрыть этого. Но еще более поражены были мы. Никому из нас не приходило в голову, что

Угрюмый и Дункель - одно и то же лицо. Что угодно, только не это.

Демьян смотрел на Угрюмого как-то по-новому. Казалось, он хотел сказать: "Вот уж этого мы не ожидали".

У меня мелькнула мысль, что сейчас Угрюмый назовет Наперстка или дурой, или сумасшедшей, но он не обмолвился ни единым словом.

Придя в себя от изумления, я произнес:

- Итак, господин Дункель, мы подошли к финишу.

От слова "Дункель" Угрюмый сразу обмяк, но быстро взял себя в руки. Лицо его мгновенно отвердело. Посмотрев на меня злыми, посветлевшими глазами, он сказал:

- Выходит, что ни возраст, ни опыт не могут служить защитной броней. Печально, но факт... Можно присесть? У меня что-то устали ноги.

26. Угрюмый исповедуется

Из предварительного короткого допроса Угрюмого Демьян и я заключили, что он намерен быть с нами полностью откровенным. Меня это не удивило. Так вел себя и его боевик Филин, в аресте которого участвовал Андрей, так вели себя многие вражеские агенты, пойманные с поличным. В большинстве своем это были люди, наделенные трезвым, практическим складом ума.

В наши расчеты не входило долго возиться с Угрюмым. Нам просто негде было его держать. К тому же обстановка в связи с арестом Геннадия продолжала оставаться напряженной. Но телеграмма Решетова изменила первоначальные планы. Он предложил отобрать у Дункеля собственноручные показания.

Демьян прочел телеграмму и сказал:

- Ваш полковник прав. Но он упустил из виду одно обстоятельство: мы-то не на Лубянке!

Однако приказ есть приказ, и его надо выполнять. Прежде всего как это технически осуществить? Простое дело - вручить человеку перо и бумагу и заставить его писать. Иначе говоря, необходимо развязать ему руки и усадить за стол. Это нас не устраивало. Мы прекрасно понимали, с кем имеем дело: упустить такого врага легче, чем поймать. Стали прикидывать, как выйти из положения. На помощь пришел Костя. Он заверил, что принесет со службы немецкие металлические наручники.

- И что из этого? - спросил Демьян. - Какая разница между веревкой и наручниками?

- А вот увидите, - обнадежил нас Костя. - Надо перенимать хороший опыт. Я видел, как покойный Пухов устраивался в подобных случаях.

Костя принес наручники из полиции, а из дому - складную железную койку и кусок тонкой, но довольно прочной цепи. Он заковал одну ногу Угрюмого в наручники, пропустил через них цепь, а последнюю примкнул на замок к койке. Это было поистине гениально. Угрюмый лишился главного - возможности двигаться по убежищу. Он мог лежать на койке, сидеть, но для того, чтобы сделать два шага, должен был тащить за собой койку. Мы освободились от неприятной необходимости вставлять ему в рот сигареты, поить и кормить из рук.

Оказавшись прикованным, Угрюмый сказал, посмеиваясь:

- Как Прометей! Что ж... правильно. Никогда не считай зверя мертвым до той поры, пока не снимешь с него шкуру.

Он не падал духом и не выказывал никаких признаков отчаяния.

Я пододвинул к его койке наш примитивный стол, положил на него бумагу, ручку и предупредил:

- Пишите только правду!

- Иного пути у меня нет, - ответил он.

Костя внес дополнение:

- И не стройте никаких планов побега. Отсюда вы выйдете не иначе как ногами вперед.

- Вы хотите сказать, что меня вынесут ногами вперед? - поправил его Угрюмый. - Нет-нет. Время для этого упущено. Я еще не собираюсь в длительную командировку. Я не так

безнадежен, как вы думаете.

Я дивился его хладнокровию. Неужели откровенным признанием он рассчитывает искупить свои преступления? Неужели он считает нас настолько наивными, что лелеет надежду на какое-то снисхождение?

А он писал. Писал не спеша, не напрягаясь, не копаясь в шевелюре и в затылке, как делал это я, составляя сложный документ. Казалось, он даже не задумывается над тем, что выходит из-под его руки.

На третьи сутки, в мое дежурство. Угрюмый отложил перо и сказал:

- Все! Мосты сожжены. Отступать некуда. Читайте.

Демьян взял со стола добрую дюжину листов, заполненных идеально ровными строчками, и начал читать вслух. Это была подробная исповедь.

Родился Угрюмый действительно в 1896 году, но не в Бодайбо, а в Царицыне, не в семье кочегара Лизунова, а в семье немца-колонииста Линднера Эмиля, и звали его, конечно, не Прокофием, а Максом. В девятисотом году отец Макса, поднакопивши денег, открыл сразу две колбасные фабрики: одну в Царицыне, другую в Новочеркасске. В Новочеркасске же Макс окончил частную гимназию и поступил в политехнический институт. Окончанию его помешала революция. Эмиль Линднер собрал свое потомство, жену и спешно ретировался в Германию, откуда выехал еще мальчуганом. Для Макса родина его предков оказалась злой чужбиной. Все капиталы отца лежали в предприятиях. Того, что он прихватил с собой, едва хватило для расплаты с услужливыми людишками, обеспечившими побег. Семья впала в нужду. Обосновались у брата отца в деревне под Мюнхеном. Какими бы родственными чувствами ни пылал брат к брату, но, когда на него свалилась орава из двух мужчин и четырех женщин, он стал кряхтеть.

Отец же Макса ничего не предпринимал. Он был убежден, что Россия скоро уgomонится и он вернется к колбасному делу. Надо надеяться, надо ждать. Но Макс ждать не хотел. Он считал, что следует ускорить ход событий, вернуться в Россию и отстаивать отцовские права. Максуд подвернулась блестящая возможность это сделать. У дяди умирал от туберкулеза батрак - русский военнопленный Лизунов, одноклассник Макса.

Дело, правда, оказалось не таким простым, как считал Макс. Мало было узнать всю подноготную Лизунова, надо было выбраться из Германии. И здесь помог другой дядя, по матери, вернее, близкие друзья дяди. Они "сделали" Макса Прокофием Лизуновым, снабдили деньгами, но предупредили, что засучивать рукава для драки рано. В России сейчас такое, что легко оказаться не только побитым, но и лишиться головы. Надо вести себя так, как повел бы себя подлинный Лизунов, сын кочегара. А в остальном положиться на время и ждать сигнала.

Макс вновь появился в России уже как Лизунов и начал новую жизнь. Далее его биография не отличается от известной нам. Лишь в конце тридцать пятого года, когда Макс находился в Гомеле, его разыскал человек с письмом от дяди. С того дня Макс превратился в Дункеля. Человек, принесший

письмо, имел полномочия иностранного отделения СД. К этому времени СД из партийной разведки нацистской партии превратилась в оружие борьбы за гитлеровское государство и выполняла разведывательные и контрразведывательные функции не только в стране, но и за ее рубежами. Создателем и шефом СД был в то время Рейнгард Гейдрих.

В числе своей агентуры Угрюмый назвал уже известных нам Брусенцову, Витковского, Суздальского, а также боевика Филина.

Угрюмый раскрыл тайну провалов в энском подполье. Во время беседы у горвоенкома он увидел Савельева (Прокопа) и Тулякова (Прохора). Они не только присутствовали, но и участвовали в разговоре. Позже, встретив их в городе, Угрюмый понял, что это руководители подполья, и не ошибся.

Никакого предателя Хвостова, с которым якобы расправились подпольщики, в природе не существовало. Изобрел Хвостова сам Угрюмый для того, чтобы скомпрометировать Акима-Панкратова - и свалить на него подозрения. Панкратов, будучи арестованным, никого не

выдал и умер в застенках гестапо.

Свиридова (Крайнего) Угрюмый предавать не торопился. Он понимал, что подполье чувствует удары и ищет причины провалов, поэтому соблюдал меры предосторожности.

Летом сорок второго года Угрюмому удалось узнать, правда, с опозданием, что Свиридов (Крайний) посетил ночью сторожа лесного склада. Сторожа арестовали. Старик не выдержал пыток и признался, что его домик посетили несколько подпольщиков, один из которых пришел из леса. Но ни одной фамилии назвать не смог.

Уже в этом году, ведя слежку за Свиридовым, Угрюмый нащупал инвалида Полякова. Это был старший самой боевой группы - Урал. Тут гестапо удалось арестовать сразу несколько человек.

И последней своей удачей Угрюмый считал арест Булочкина (Безродного). Этот, по его мнению, "погорел" из-за собственной дурости. В первую же встречу он обвинил Угрюмого в обмане и стал угрожать расправой. По тону, злобе, с которой говорил Безродный, легко можно было понять, что вера в Угрюмого у подпольщиков потеряна и надо как-то выкарабкаться. Прежде всего следовало убрать со своего пути Булочкина и Коренцова (Колючего). Теперь только эти двое знали его в лицо. С Булочкиным прошло все гладко. Угрюмый пообещал ему произвести расследование истории с Дункелем, так как, мол, сам введен в заблуждение ребятами, которые проводили операцию, и дал слово завтра же доложить лично Безродному. На другой день на свидание вместо него явились гестаповцы. А вот с Коренцовым дело сорвалось.

Слушая признания Угрюмого, я все больше осознавал, какой страшный человек попал в наши руки, и попал с большим опозданием. Сколько крови пролито! Как легко удавалось ему выхватывать из наших рядов жертвы! Как близоруки и доверчивы были мы!

Далее он писал, что количественный состав своей группы он преувеличил. Под его началом с первых и до последних дней было всего лишь два человека, на которых он мог вполне положиться. А его доклады об уничтожении так называемых предателей - сплошная "липа". Закончив чтение, Демьян свернул в трубку листы и, постучав ими по столу, спросил Угрюмого:

- Почему вы ничего не написали о докторе Франкенберге? Куда вы его девали?

- Вас и он интересует? - искренне удивился Угрюмый. - Значит, и он ваш? Не думал. Собственно, некоторое смутное предположение появилось у меня уже здесь, когда я увидел эту милую, портативную девушку, - кивнул он в сторону второй комнаты, где была Наперсток. - Но потом рассудил, что доктор и она вещи разные. Но я скрывать не буду. С доктором у нас старые счеты.

- Хутор Михайловский? - напомнил я.

- Совершенно верно. Ну, уж если вспомнили Франкенберга, то надо говорить и о Заплатине. Дело в том, что Дункель не хотел ставить в известность свое начальство о довоенном дорожном приключении. Как ни говорите, а там он сплеховал. А начальство не любит промахов. И вот обоих докторов он неожиданно встретил здесь. Нельзя было жить спокойно, когда два человека, знавшие его тайну, ходили по городу. И Угрюмый решил избавиться от них. Заплатин умер от сигареты, отравленной сильнодействующим ядом. Сигареты подарил ему Дункель. А с Франкенбергом пришлось повозиться. Хотелось, чтобы он взлетел на воздух, но машинка не сработала. Тогда он вызвал его к одному больному...

О расправах с людьми Угрюмый говорил легко, как о чем-то необходимом, само собой разумеющемся. Угрызения совести его не мучили. Он даже не делал вида, что тяготится совершенными преступлениями и раскаивается в них. Эх, если бы мы начали проверку подпольщиков именно с него! Сколько жертв было бы предотвращено, сколько бойцов осталось бы в строю!

А он продолжал играть со смертью и вел себя как наш собеседник. Ни больше ни меньше. Он даже шутил.

Когда вопросы иссякли, Угрюмый сказал:

- Я припас вам одну преинтересную историю, не имеющую к подпольным делам никакого

отношения. Желаете послушать?

Демьян согласился.

История выглядела так. В сорок первом году, глубокой осенью, наша авиация подвергла бомбежке Энк. Утром после налета Угрюмый заглянул в один двор, где бомба особенно хорошо поработала, и заметил среди остатков машин, оружия, каких-то ящиков труп майор-танкиста. Угрюмого заинтересовал не столько сам майор, сколько сумка, пристегнутая к его поясу. Новая офицерская сумка из чистой кожи. Угрюмый был равнодушен к хорошим вещам, тем более что сумка уже потеряла своего хозяина. Он взял ее, а дома поинтересовался содержимым. В сумке оказались предметы личного туалета, несколько авторучек, перочинный складной нож, карманный фонарь, коллекция зажигалок, стопка писем, стянутая резинкой, и личные документы покойного. Из документов явствовало, что владельцем их был начальник штаба танковой дивизии майор фон Путкамер. Эрхард Путкамер... Но суть-то не в документах, а в письмах. Точнее, в трех письмах из целой стопки. Автором писем являлся родной брат майора оберстлейтенант Конрад Путкамер, и тоже с приставкой фон. Письма не имели почтовых штампов и печатей: видно, они попали к майору с какой-то надежной оказией, минуя цензуру. И это естественно. Посторонний глаз раскрыл бы тайну, имеющую прямое отношение к персоне Гитлера. Первым коснулся чужой тайны он, Угрюмый. Из писем стало ясно, что оба брата Путкамеры причастны к заговору против фюрера. Более того, в текстах фигурировали такие оппозиционно настроенные к Гитлеру лица, как генералы Клейст, Клюге, Бек, адмирал Канарис, полковник Остер, профессор фон Попиц, барон фон Гольдорф, доктор Дизель, Мольтке, Вицлебен, Гизениус и другие. Речь шла о каких-то встречах за границей, телефонных переговорах... Угрюмый понял, что в его руки попал мешок с золотом. За такие документы Кальтенбруннер не пожалеет ничего. Но Угрюмый допустил тактическую ошибку: он показал письма штурмбаннфюреру Земельбауэру. Тот их немедленно упрятал в свой сейф. Не в тот, конечно, огромный сейф, что стоит в углу в его служебном кабинете, а в маленький, личный, который стоит дома. И мешок с золотом выпал из его рук. По дурости.

На этом месте Угрюмый прервал рассказ и попросил сигарету. Прервался он с очевидной целью проверить, какое впечатление произвела на нас эта история.

Демьян и я молчали.

- Вы, конечно, можете счесть это мое откровение запоздалым, похожим на холостой выстрел, - заговорил опять Угрюмый. - Это как вам угодно. Но оно таит в себе огромный, я бы сказал, значительный, смысл.

- Быть может, мы смотрим на вещи разными глазами? - заметил Демьян.

- Не думаю. Я еще не закончил, - заметил Угрюмый и продолжал: - Дело в том, что штурмбаннфюрер Земельбауэр не дал хода этим письмам. Они и поныне лежат в его сейфе. И уж, конечно, ни Кальтенбруннер, ни Гитлер не посвящены в тайну братьев Путкамер. В противном случае Земельбауэр не сидел бы в этой дыре, а скакнул бы вверх, а оберстлейтенант Конрад Путкамер не возглавил бы школу абвера, что в шестнадцати километрах отсюда, в бывшем санатории "Сосновый". Это я так думаю. Да и мне бы перепало кое-что - во всяком случае, Земельбауэр обещал.

Я и Демьян переглянулись. Чтобы не дать понять Угрюмому, как мы восприняли преподнесенную им историю, я задал отвлеченный вопрос:

- Вы пишете, что в 1935 году в Гомеле к вам явился человек?

- С полномочиями СД. И я не назвал его? - спросил в свою очередь Угрюмый. - Вы это хотели спросить?

- Да.

- Я не знаю его имени. Это мой бывший шеф - Аккуратный. Он появился неожиданно и меня учил поступать точно так же. Живет он где-то под Москвой.

- Живет? - переспросил я.

- Да, я хотел сказать именно это, - подтвердил Угрюмый. - И я найду его вам. Из-под земли вытащу.

Я еле сдержался, чтобы не выругаться. Так вот откуда эта самоуверенность!

- Хорошо, - произнес я, - к этому мы еще вернемся. А теперь вот что... Дайте характеристику начальнику гестапо Земельбауэру.

- Что он за человек? - подхватил Демьян.

- С удовольствием, - усмехнулся Угрюмый. - Земельбауэр человек жадный, тщеславный, завистливый и, ко всему прочему, мой дальний родственник по матери. Что-то вроде троюродного дяди. Его брат как раз и устраивал мне отъезд из Германии под видом военнопленного Лизунова.

Мы прервали допрос и вышли из убежища. С Угрюмым остался Костя.

- Вот это фрукт, - шумно вздохнул Демьян, когда мы оказались в Костиной избушке.

- Редчайший, - согласился я.

- Вы понимаете, если он сказал правду насчет этих писем, можно взять за жабры подполковника Путкамера.

- Почему только его?

- А кого еще?

- А Земельбауэра? Уж не думаете ли вы, что Гитлер погладит по головке гестаповца, который прячет в своем сейфе нити заговора?

- Вы правы... Вы правы... - проговорил Демьян. - Но письма-то не у нас.

- Да, они в сейфе Земельбауэра.

- Знаете что? - Демьян начал крутить пуговицу моего пиджака. - Этот мерзавец еще поживет... Сейчас же садитесь и пишите донесение своему полковнику.

- Есть! - ответил я.

27. У Гизелы

Гизела выпила свое вино залпом, поставила стакан на стол и сказала:

- Ты сделаешь меня пьяницей. Мне уже начинает нравиться. Вчера я даже подумала: хорошо бы выпить глоток-два. Честное слово.

- Но я-то ведь не пьяница!

- возразил я.

- Слава богу. Сейчас мы будем пить кофе. Я быстренько.

Девять дней я не видел Гизелу. Только девять, но они показались мне годом. Дважды за это время я подходил к ее дому, но постучать не мог. Маскировочные шторы плотно закрывали окна, и в одном из них торчала открытая створка форточки. Это наш условный знак: в доме кто-то посторонний. Подленькое чувство ревности сосало где-то под сердцем. Кто? Шуман? Земельбауэр?

Сегодня суббота. Горячка последних дней несколько приглушила душевную боль. И вот снова покойная тишина, снова рядом Гизела.

Когда мы распили кофе, я спросил ее:

- А что тебе мешало выпить вчера?

Она сощурила свои зеленые продолговатые глаза и, помешивая ложкой кофе, сказала:

- Клади больше сахара!

- Не люблю сладкое.

- Тебе это нужно.

- Мне? Зачем?

Она ответила на мой первый вопрос:

- Вчера мешал Килиан, а до этого Шуман. Доктор редкий пакостник. Он говорит, что бросит из-за меня жену. Ты видел мой снимок? В спальне... Он бесцеремонно забрал его, чтобы увеличить и оставить себе на память.

- А откуда взялся полковник?

- Из Берлина. Он хуже Шумана. И опаснее. Этот может мстить. Он пытался убедить меня, что теперь я нуждаюсь в защите и что этой защитой может быть только он. Я ему просто

сказала: "Разводитеcь с женой, я выйду за вас".

У меня захватило дух:

- Ты так сказала?
- Ну да. Я же знаю, что он никогда не разойдетcя.
- А почему он оказался в Берлине?
- Тебе интересно?
- Хм... Как тебе сказать... Я спокоен, когда он дальше от тебя.

Гизела понимающе кивнула и рассказала, что полковника Килиана вызывали в ставку Гитлера. Килиан получил повышение и убыл в распоряжение генерала Моделя. Полковник очень быстро продвигается по служебной лестнице.

- Он сказал мне, - продолжала Гизела, - что в самом скором времени станет генералом. Сейчас же после начала наступления.
- Какого наступления? - неожиданно вырвалось у меня.
- Ты любопытен, как женщина. Это же военная тайна. Ты хочешь, чтобы я попала под суд?
- Боже упаси!

Гизела рассмеялась:

- Тебе интересно все: и то, о чем я рассказываю, и то, о чем умалчиваю. Но я скажу... Уверена, что ты не подведешь меня. Если верить Килиану, то в ближайшее время наступление начнут две армейские группы - "Центр" и "Юг".

"Значит, мы не ошиблись, - заметил я про себя. - Бесспорно, концентрация сил происходит в районе Орла и Белгорода. Так мы и сообщаем Большой земле".

Закончив ужин, мы сели на диван. Гизела подобрала под себя ноги. Я спросил ее:

- Тебе хорошо со мной?
- Очень. Ты согрел мою душу.
- Ей было холодно?
- Ты не веришь?
- Верю. Но были же у тебя когда-нибудь радости?

Гизела не сразу ответила. Она долго смотрела в одну точку задумчивым взором. Мне почему-то показалось, что она не хочет говорить на затронутую тему. Но я ошибался. Она заговорила:

- Детские радости я не беру в счет. Их было много. Я росла счастливой... А когда стала взрослой, самой большой радостью было возвращение отца. А смерть его и вслед за ним - моего сына выбили меня из колеи. Мне было трудно. Трудно и очень тяжело. Хотелось умереть, но я делала все, чтобы жить. Я нужна была матери, сестрам... А теперь стала опять сильной... И здесь я ради них. Отсюда можно помогать, да и почета больше. Все-таки фронт.
- Ты ответишь на мой вопрос откровенно? - спросил я.

Она утвердительно кивнула головой.

- Когда я тебе понравился?
- На новогоднем вечере. Впрочем, не скажу, чтобы ты понравился. Просто произвел впечатление. Назвать тебя красавцем нельзя, да ты в это и не поверишь. Ты обычный. Я имею в виду, конечно, лицо. Но настоящий разведчик и не должен иметь ярко выраженной внешности, как, допустим, борец, или гиревик, или актер.

Меня обдало холодом. Быть может, мне показалось? Что она сказала?

Гизела не дала мне опомниться и с милой, по-детски невинной улыбкой спросила:

- Ты молчишь! Ты потрясен!

Я и в самом деле был потрясен. Я не знал, что ответить. Если бы это сказал кто-то другой, но не Гизела! Потребовалась долгая пауза, прежде чем я ответил:

- Настоящий разведчик? Почему ты пришла к такому странному выводу?
- А ты предпочел бы имя предателя своей Родины, пособника Гильдмайстера или платного агента Земельбауэра? - смело ответила Гизела.

Я едва не смешался.

- Но я ни то, ни другое. Почему тебе...

Гизела решительно покачала головой:

- Или то, или другое. Иначе быть не может.

Я хотел возразить, но она закрыла мне рот своей теплой рукой и потребовала:

- Замолчи! Ты можешь помолчать?

Я кивнул с очень глупым, вероятно, видом. Но возможно, и лучше помолчать и выслушать. Она, кажется, хочет сказать еще что-то. Пусть говорит. Не надо волноваться и выдавать себя. Это же Гизела! Близкий, почти родной мне человек.

Она сняла руку с моих губ и, глядя мне прямо в глаза, заговорила. Заговорила взволнованно, горячо:

- Если бы ты оказался не тем, за кого я тебя принимаю, мы никогда - ты понимаешь? - никогда не сидели бы вот так. Я презираю всех твоих земляков, которые хотя бы молчанием своим поддерживают фашистов. Да, ты произвел на меня впечатление. Это правда. Но окажись ты тем, за кого себя выдаешь, - та новогодняя встреча была бы нашей первой и последней встречей. Но я убедилась в другом... У тебя есть сигарета?

Я вынул сигарету, мы закурили. Я хотел воспользоваться паузой и спросить, в чем другом она убедилась, но Гизела с упреком в голосе произнесла:

- Ты же сказал, что помолчишь.

Она неумело раскурила сигарету, смела крошки табака с губ и заговорила вновь:

- Да, я убедилась в другом. Не сразу, конечно. Ты совсем недавно поведал мне историю своей жизни. Отличная история. Но в ней есть существенный дефект: в нее нельзя поверить. Сейчас нельзя поверить. Началось все с пожара. Когда раздалась выстрелы, я вышла на крыльцо и услышала крики, топот. Было очень темно, но потом вспыхнула ракета, и я увидела двух бегущих. Я вошла в коридор и прижала дверь спиной. Я поняла, что те двое в смертельной опасности и им надо помочь. Мне хотелось позвать их, но они сами вскочили на крыльцо. Я слышала их дыхание, слышала, как они говорили, хотя и не понимала ни слова. Затем узнала тебя. Ты держал в руке гранату. В чем дело, думаю, почему граната у переводчика управы? И еще спросила себя: "Что заставило переводчика управы, человека, пользующегося расположением гестапо, и его приятеля полицейского убежать от тех, кому они преданно служат? В самом деле: что? Стоило им показать документы, и недоразумение устранилось бы". А на другой день я узнала, что двоих заметили в то время, когда пожар только начался. Они убегали в сторону нашего квартала. Это один факт. Я была несказанно рада, что пришла к такому выводу. Но этого мне показалось мало. Я решила проверить себя и тебя. Ты не обижайся... Я позвала тебя и в книгу Ремарка положила письмо полковника Килиана. Конечно, запомнила, как положила. Когда ты ушел, я убедилась, что письмо разворачивали, а значит, и читали. Потом ты знаешь, что случилось. Десант встретили, хотя он опустился в очень глухом месте. Дальше... Зажги мне сигарету. Спасибо. Слушай дальше... Однажды ты подошел ко мне, когда я прохаживалась у почты. Со мной поздоровался один неприятный субъект. Я сказала тебе, что это платный агент Земельбауэра. Этого было довольно. Вскоре его уничтожили. Я проверила это без труда. Ведь он портной. И когда недели две спустя после встречи с тобой я выразила желание переделать шинель, Земельбауэр ответил, что поздно. Портной найден мертвым около своего же дома. Я ликовала. Я была рада, что рассказала тебе историю Иванова-Шайновича. Я гордилась тобой. А тут налет вашей авиации. Если бы ты мог знать, какой ты был в тот вечер! Ты звал меня к себе... Хорошо! Но почему позже ни разу не повторил приглашения? Плохо! Нельзя быть таким непоследовательным. Я поняла одно: ты знал о предстоящем налете и опасался за мою жизнь. Ты страшно волновался. А я... я готова была тебя расцеловать. В ту ночь ты впервые поцеловал меня. Если бы ты не сделал этого, то сделала бы я. Ну, а затем эта твоя просьба узнать о судьбе Булочкина. Ты пришел на другой день после его допроса, и я увидела то, что не успел заметить еще ты сам: вот эту прядь седых волос. Седые волосы без причины за одни сутки не появляются. Я сообразила, что ты не безразличен к Булочкину. Это главное. А сколько мелочей... Все, что для любого другого не имело абсолютного никакого значения, для тебя было важно. Редко встречаются люди, настолько безразличные к своим

делам, службе, своему прошлому, как ты. Твои мысли заняты. Я знаю, что тебе трудно отвечать мне. Не надо! Я ничего не хочу. Я требую одного: чтобы ты оставался таким, какой ты есть. И если станешь отрицать все, я не поверю, но и не стану осуждать. И еще я требую: береги себя! Хорошего человека смерть всегда ищет. Так говорил отец. Ну, а если тебе или мне когда-нибудь будет очень плохо, трудно... У меня есть средство.

- Какое? - спросил я, готовый к новому сюрпризу.

- После... завтра.

- Но я могу не дожить до завтрашнего дня.

- Тогда сейчас. - Положив потухшую сигарету в пепельницу, Гизела прошла в другую комнату. Вернулась она с маленькой квадратной коробочкой, где когда-то, видимо, хранилось кольцо. Раскрыла - и я увидел небольшой комочек темно-коричневого цвета, напоминающий опий. Мне захотелось пощупать его, как всякому русскому, но Гизела быстро закрыла коробочку.

- Нельзя! Это яд. Кураре. Самый сильный. Действует быстро и безболезненно. Достаточно укола булавкой. Одного укола - и конец. Чудесно, правда?

- Не нахожу ничего чудесного. Откуда он у тебя?

- Яд привез мужу его дядя с берегов Амазонки. - Она вскинула руки мне на плечи, пылко расцеловала меня и сказала: - А теперь иди! Скоро двенадцать.

Я смотрел на Гизелу, и, наверное, в глазах моих была такая молчаливая мольба, что она, встряхнув волосами, просто сказала:

- Оставайся.

28. Угрюмому везет!

На рассвете, когда я вернулся домой, Трофим Герасимович сказал мне, что вчера вечером за мной приходил Костя. Его присылал Демьян.

- Что ты сказал ему? - спросил я.

- Как ты наказывал, так и сказал.

- Значит, они знают, где я был?

- Ну да.

- Правильно!

Никодимовна разогрела и подала мне что-то отдаленно напоминающее гуляш. Поскольку Трофим Герасимович продолжал смело разнообразить домашнюю кухню бычьими хвостами, конскими копытами и всякое летающей дрянью, я так и не разобрал, что съел.

День был воскресный и, следовательно, свободный от работы в управе. Я отправился в убежище.

На улице, несмотря на ранний час, стояла жара. Уже давно не было дождей, и земля иссохлась, пылила, наполняла воздух горячей духотой. А над городом висело идеально чистое, без единого облачка, небо. Держась в тени, я прошел до пустыря, что окружал дом Кости, и торопливо шмыгнул в прохладное подземелье.

Меня поразила картина, которую я застал в убежище. Челнок и Угрюмый играли в шахматы, Странная пара: арестованный предатель и его охранник-патриот.

Я кивнул им и прошел на половину Наперстка. Свернувшись калачиком, похожая на подростка, она лежала на своем твердом ложе с какой-то потрепанной книжонкой в руках. Увидев меня, она вскочила с топчана и поправила платье.

- Где Демьян? - спросил я.

- Наверху. Он ждет вас. Вот телеграмма, - вынула она из-под матраца и подала мне листок бумаги, усыпанный ровненькими кругленькими цифрами.

Уж сколько времени Демьян вынужден был деловые встречи и разговоры проводить в избе Кости. Угрюмый явно мешал нам. Другого места для его содержания мы не имели, а Решетов молчал.

Подземным ходом я добрался до избы. Она была пуста. Тогда я прошел в сенцы, выходящие

дверьми к забору, ограждающему двор, и увидел Демьяна, Русакова и Костю. Они напряженно глядели в чистое небо, откуда доносилось разноголосое завывание моторов. На мое приветствие никто не ответил. Пришлось молча присоединиться к ним и тоже задрать вверх голову. Одного взгляда было достаточно, чтобы разобраться в происходившем: шел воздушный бой. Наш разведчик, решивший нарушить воскресный покой оккупантов, попал в переделку: он отбивался от трех "мессеров". Глухо доносились до земли короткие пулеметные очереди и пушечные выстрелы. Моторы работали на пределе. И вот наш самолет свалился на левое крыло, перевернулся и ринулся к земле.

- Правильно! Молодчага! - проговорил Русаков, вытирая тыльной стороной ладони покрывшийся испариной лоб. - Хитрый... Конечно, надо уходить!

Демьян и Костя молчали, не отрывая глаз от неба.

Немецкие истребители крутыми спиралями кружили вокруг падающего разведчика. Вначале и я подумал, что наш самолет предпринял маневр. Не было видно ни огня, ни дыма. Но он падал по наклонной крутой, и его мотор захлебывался на критических оборотах.

Страшно было глядеть, как целый, неповрежденный самолет с мертвым уже, наверное, летчиком за штурвалом приближался к земле с катастрофической быстротой.

Истребители, сделав свое дело, взмыли вверх и выстроились клином. Разведчик подобно комете пронесся над северной окраиной города и исчез. Через секунду до нас долетел звук взрыва.

- Вот она, пилотская судьба, - тихо проговорил Русаков. - А я, дурень, подумал...

Все вошли в избу и под впечатлением трагедии, разыгравшейся в воздухе, некоторое время молчали.

Я увидел на скамье около домика сестру Кости. Она сидела спиной ко мне. На коленях ее лежали недоштопанные чулки. Сейчас она вытирала слезы. Плечи ее вздрагивали. Женское сердце не слушало разума.

- Надо будет первым же сеансом сообщить о гибели самолета, - сказал Демьян. - Его будут ждать, искать. Да, не повезло парню... А у вас есть что-нибудь новое? - обратился он ко мне.

Я отрицательно покачал головой и спросил:

- Вы меня искали?

- Да... Есть радиограмма.

- Она уже у меня, - ответил я.

- Ну, расшифровывайте, а мы закончим небольшой разговор.

Демьян, Русаков и Костя остались в избе, а я вышел на воздух, сел на ступеньки и вынул радиограмму.

Решетов писал:

"Угрюмого в течение этой недели выведите в шестой квадрат вашей карты и передайте людям отряда Коровина. Пароль для связи: "Когда же будет дождь?" Отзыв. "Будет дождь, будет гроза".

Запасный".

"Так, - подумал я, - повезло Угрюмому. Счастливцев! Понадобился полковнику Решетову. Ну что ж... Баба с возу, кобыле легче. Чище воздух будет в вашем убежище".

Демьян прочел радиограмму вслух и сказал:

- Удачно совпало.

- Действительно, - пробасил Русаков. - Ну-ка давайте сюда вашу карту.

Я полез под пол к Наперстку и через минуту вернулся со свертком. Подал его Русакову. Он развернул карту, разложил на столе и задумался.

- Так, место знакомое... Но мне не с руки.

Шестой квадрат находился в пятнадцати - семнадцати километрах северо-восточнее отряда, в котором был комиссаром Русаков. В центре квадрата виднелась большая, длинная - километра в полтора - поляна.

- Этот крюк вам не страшен, - заметил Демьян. - Тут Глухомань.

- И болота кругом, - согласился Русаков. - Это зона Коровина. Здесь на поляне он уже

принимал самолет "дуглас", и мы подвозили туда своих раненых. Хорошее место. Что ж, придется рискнуть еще раз.

Мы стали обсуждать план ночной операции. Сегодня вооруженные бойцы батальона, организованного при комендатуре, должны были покинуть город. Собственно, батальона как такового, несмотря на заверения Воскобойникова, еще не было. Его заменяла набранная с бору по сосенке усиленная рота. Комендант города, потерявший терпение, месяц назад приказал вооружить бойцов и заставить нести караульную службу. Уже несколько раз по его требованию наряды вывозились на прочесывание близлежащего леса, на облавы в городе, на разные происшествия. Именно это последнее обстоятельство и легло в основу плана, который мы обдумывали сейчас. План выглядел так.

В двенадцать ночи Костя позвонит из полицейской караулки на квартиру Воскобойникову и скажет буквально следующее: "Говорит дежурный по комендатуре. Прикажете немедленно выслать усиленный наряд на тот берег. Там произведено нападение на загон со скотом. Я выезжаю туда". И положит трубку.

И уж конечно, Воскобойников не посмеет послушаться. И проверить не посмеет. Он сейчас же отдаст распоряжение дежурному, а на дежурство с восьми вечера заступает Вьюн - потомок Чингисхана. Сам Воскобойников выехать и не подумает. Это уже проверено. Вьюн посадит наряд автоматчиков с ручным пулеметом на машину и помчится на тот берег, чтобы обратно уже не вернуться. Из двадцати бойцов в наряде четырнадцать человек - наши люди. Как они поступят с шофером и с теми шестью которые не пожелают последовать их примеру, - подскажет само дело.

На шестом километре от города машина свернет на проселок, ведущий к бывшему совхозу "Десять лет Октября", и пройдет по нему до спуска в овраг. Здесь командование примет Русаков.

Сейчас он сидел, вытирая платком потное лицо, и ждал, когда мы скажем свое мнение относительно деталей плана. Главное, что смущало всех, - это способ переброски самого Русакова к оврагу, точнее, не самого, а с Угрюмым. Один Русаков обходился и без нашей помощи. Карманы его были забиты разными "липами", годными на короткое время. А вот с Угрюмым - дело другое. Кто может предсказать, что взбрдет ему в голову? Кто может гарантировать успех задуманного предприятия?

- Поступим иначе, - сказал Демьян после долгого раздумья и объяснил, как он представляет себе осуществление плана.

- А Угрюмого предупредим? - спросил Костя.

- Придется, - ответил Демьян. - Тут в прятки играть нечего. И сделаем это сейчас, не откладывая в долгий ящик.

Вчетвером мы спустились в убежище.

Челнок и Угрюмый продолжали играть. Увидев нас, Челнок смешал фигуры и встал. Демьян сел на его место, отодвинул шахматную доску и обратился к Угрюмому:

- У меня к вам несколько слов.

Угрюмый спокойно смотрел, и нагловатая усмешечка бродила по его тонким губам. Он ждал вопроса.

- Вы стремитесь попасть на Большую землю?

- Это устраивает больше вас, нежели меня.

- Меня больше устраивает повесить вас, - отчеканил Демьян. - Сегодня. Сейчас. Сию минуту. Такое право дала мне Советская власть. Если вы надеетесь на меня, то жестоко ошибаетесь.

Угрюмый, кажется, только сейчас понял, что Демьян - тот человек, в руках которого его жизнь.

- Простите, - в некотором замешательстве произнес он. - Быть может, я не прав. Я ведь учитываю и то, и другое. Если скажу, что стремлюсь быть повешенным, то вы же не поверите мне?

- Можно короче! - потребовал Демьян. - Без этих выкрутасов.

- Что же мне сказать? Стремлюсь ли я на ту сторону? Да, конечно. Я дам вам человека,

который стоит дороже меня. Пора покончить со всем, что было. Хватит! Я решил выйти из игры.

- Это другой разговор, - заметил Демьян. - Вам только так и можно было решить, а теперь слушайте. Сегодня, как только стемнеет, вы в компании вот этого молодого человека, - он показал на Костю, - отправитесь на противоположный берег. На том берегу вас встретит другой человек, - Демьян кивнул в сторону Русакова, - и поведет дальше. Предупреждаю на всякий случай: при первой попытке бежать или обратить на себя чье-либо внимание вы получите пулю. А полицейский найдет что сказать.

- Я понимаю, - проговорил Угрюмый и спросил: - Обязательно сегодня?

- Вас это не устраивает?

- Не в этом дело. Не в этом... Очень жаль!

Он умолк с явным расчетом, что его станут расспрашивать. Но мы молчали. Убедившись, что фраза "Очень жаль!" не произвела того впечатления, на которое он рассчитывал, Угрюмый продолжал свою мысль:

- Я бы очень хотел притащить вам письма оберстлейтенанта Путкамера.

- Письма! - усмехнулся я. - А мы поняли, что они хранятся в сейфе штурмбаннфюрера Земельбауэра.

- Вы правильно поняли. Но мне хочется вынуть их оттуда.

Демьян переглянулся со мной.

- Интересно! Это каким же путем?

- Я же не Булочкин, - фыркнул Угрюмый. - Если говорю, что хочу принести, значит, могу принести. Для этого нужны два часа без этих вот штучек, - и он дрыгнул ногой, закованной в браслет. - Земельбауэр, конечно, не ведает, что стряслось со мной.

- А вы уверены, что письма лежат в сейфе и ждут вас? - поинтересовался я.

Угрюмый досадливо поморщился:

- Все ясно. Вы тоже не

из тех, кто любит рисковать. Что ж, есть выход: пусть моим последним днем на этом шарике будет день, когда вы откроете дверцу сейфа и возьмете в свои руки письма. А до этого дня я буду жить.

- Вот это я могу вам обещать.

Демьян встал и, мигнув мне, пошел к выходу. Я последовал за ним.

В избе Кости мы сели у стола. Демьян убрал со лба длинные пряди прямых волос и сказал:

- Чертовски соблазнительное предложение, скрывать нечего.

- Можно было бы рискнуть, хотя риск и очень велик, - заметил я. - Но взять письма просто так неинтересно.

- Да, конечно, - согласился Демьян.

- Разрешите мне обдумать хорошенько этот вопрос? - сказал я. - У меня есть кое-какие соображения.

- Только недолго думайте. Мало ли что может случиться... Сегодня Земельбауэр здесь, а завтра уедет.

- Я понимаю.

- И вот еще что. Не считаете ли вы нужным, хотя бы издали, последить за Костей и Угрюмым, когда они пойдут? Так, на всякий пожарный.

- Хорошо. Сейчас поговорю с ним.

И я в третий раз спустился под землю.

29. Гизела и Пейпер

Отдохнуть после бессонной ночи мне не удалось. Вернее, я сам пренебрег отдыхом и возможностью уснуть. Надо было продумать соображения, о которых я говорил Демьяну. Дерзкая, неожиданно возникшая мысль постепенно превращалась в план, тоже не менее дерзкий, захватывающий дух. Пока операция складывалась в мыслях, я внутренне переживал

ее, волновался, радовался и огорчался. Все вместе... Сотни раз приходилось собирать и разъединять детали, примерять, отбрасывать уже найденное, заменять его новым, более удачным. А это труд. Труд, требующий умственной энергии и времени. Только к вечеру я наконец уяснил и утвердил мною же созданный план.

Успех задуманного предприятия зависел от двух людей, от двух немцев: Гизелы и Пейпера. Да, именно от них. И прежде чем я не переговорю с ними, не имеет смысла докладывать о плане Демьяну. А увидеть Гизелу и Пейпера можно только ночью, по крайней мере не раньше наступления темноты. Кроме того, мне предстоит вместе с Костей сопровождать Угрюмого до оврага. Значит, все переносится на одиннадцать-двенадцать часов ночи. А пока - терпение.

В десять с минутами я оказался возле магазина, где отпускали хлеб гражданам, и увидел идущих рядом Костю и Угрюмого. Слава тебе, создатель: пока все шло гладко. Через самое короткое время мы шагали уже втроем. Не было ничего необычного в том, что по городу прогуливаются секретарь управы, старший полицай и сотрудник биржи труда.

- Вы для подкрепления? - спросил меня Угрюмый - Напрасно. Отдыхали бы себе. Поверьте, я сейчас предпочту оказаться у чертей на куличках, нежели с глазу на глаз с Земельбауэром.

- Можно без фамилий? - строго спросил я.

- Пожалуй, да, - ответил он, прошел некоторое время в молчании, а потом сказал: - В конечном итоге вы останетесь довольны мною. Я никогда не делаю того, чего не надо делать.

- Время покажет, - заметил Костя.

- И вот еще что, - заговорил вновь Угрюмый после длительного молчания. - В его сейфе два отделения. Между ними горизонтальная полочка. Письма лежат в нижнем, среди порнографических открыток.

Мы вступили на пешеходный мостик, перекинутый через реку, я пошел гуськом. Здесь, ниже плотины, река была узкой и немногОВОдной.

На заречной стороне, едва мы вошли в поселок, из темноты нас повстречали два солдата с автоматами да груди. Мы без команды остановились. Я внутренне напрягся, готовый ко всему. Костя лихо взял под козырек. Солдаты ощупали нас лучиками карманных фонарей и проверили документы у меня и Угрюмого. Костю не тронули. Один солдат сказал:

- Ин орднунг! Все в порядке!

Другой добавил:

- Кеннен геен! Можете идти!

Я, кажется, не дышал эти несколько секунд.

Когда мы отошли на приличное расстояние, Угрюмый покосился на меня и спросил:

- Что вы подумали в эту минуту?

Мерзавец! Он нутром чуял, что было у нас на душе. Я солгал:

- Не успел ничего подумать.

Угрюмый насмешливо фыркнул.

Костя вел нас по безлюдному поселку. Ни огонька, ни человеческого голоса, ни лая собаки!

Обойдя разоренный лесопильный заводик, мы спрыгнули в противотанковый ров, тянувшийся на несколько километров. Сколько труда, пота, бесценного времени стоил этот ров жителям города! Все верили, что он ляжет неодолимой преградой между городом и врагом. Но ни одна гитлеровская машина не попала в западню. Немцы прорвались к Энску со стороны железной дороги.

Пройдя сотню шагов, мы увидели Русакова. Он встал с земли, отряхнулся.

- Так, полдела позади. Прощевайте, хлопцы. Шагай, господин хороший!

Мы постояли, пока Русакова и Угрюмого не скрыла тьма, и прежней дорогой отправились обратно.

Минут сорок спустя я подходил к дому Гизелы. Еще издали глаза мои приметили, что форточка закрыта: значит, Гизела у себя. Я осмотрелся, взбежал на крыльцо и постучал. Тишина. Видимо, спит. Постучал еще.

- Кто там? - послышался милый сердцу голос.

- Я, открой.

- Ах!

Я обнял ее в темноте и поцеловал.

- Что случилось? - испуганно спросила Гизела.

- Ровным счетом ничего. Прости, я на пять минут.

В комнате уже горел свет. Гизела запахнула легкий халатик, забралась с ногами на диван и недоверчиво посмотрела на меня. В ее глазах таился молчаливый вопрос. Я сел рядом с ней. Она спросила:

- На пять минут?

- Да, дорогая. Не больше.

- Ты знаешь, - промолвила она, - эта седая прядь придает твоему лицу трагическое выражение.

Я встал и подошел к зеркалу, стоявшему на этажерке. Прядь над самым лбом выглядела очень неестественно на фоне моей темной, без единой сединки, шевелюры. Но ничего трагического в этом не было.

- Выдумщица, - сказал я и снова водворился на диван.

Час назад меня одолевали сомнения. Казалось, что затея моя неосуществима. Но сейчас все опасения улетучились. Гизела смотрела на меня доверчиво, ободряюще.

Я кивнул на коричневый чемодан, стоявший у стены между окнами.

- Так и не удалось сбыть парадный костюм мужа?

- Могу презентовать его тебе, - сказала она и рассмеялась.

Гизела не ведала, что я задал вопрос неспроста.

- Представь себе, не откажусь, - заметил я. - Но прежде хочу подвергнуть тебя короткому допросу.

- А это страшно? - ответила Гизела с веселым лукавством. - Меня никогда не допрашивали.

- Только условие - говорить правду!

- Как под присягой! - и она подняла вверх руку со сложенными крестом пальцами.

Я поймал опускающуюся руку и приложил к губам.

- Смешной ты, - проговорила Гизела. - Вламываешься ночью к одинокой, беззащитной женщине и пугаешь ее... Ну, допрашивай же! Прошло две минуты.

- Хорошо. Скажи: в каком отделе работал твой муж?

Гизела задумалась на минуту и сказала, что Себастьян Андреас служил в реферате четыре-а-два, в отделе четыре-а. Рефератом руководит и сейчас штурмбаннфюрер СС Фогт, а отделом - оберштурмбаннфюрер СС Панцигер.

- Земельбауэр знал твоего мужа?

Гизела сделала отрицательный жест.

- Но слышал о нем?

- О да!

- А Панцигера Земельбауэр знает?

- Только по фамилии. Дело в том, что Земельбауэр попал сюда из Кенигсберга. В Берлине он не служил.

Пока все шло лучше, чем я предполагал.

- Еще вопрос. Ты была в квартире Земельбауэра?

- Да. И не раз.

- У него есть сейф?

Гизела вздрогнула.

- Сейф? Да, конечно. - Гизела так посмотрела на меня, будто хотела заглянуть в самую душу, и с тревогой спросила: - Что ты задумал? Он же начальник гестапо! У него во дворе караул. Часовой в прихожей. Еще денщик. Еще повар. Все вооружены.

Пришла моя очередь рассмеяться:

- Ты подумала, что я собираюсь совершить налет на дом начальника гестапо?

Гизела кивнула и закусила нижнюю губу.

- Нет, дорогая, у меня и в мыслях этого нет. Просто надо проверить кое-какие сведения.

- Это правда?

- Клянусь прахом дорогих моему сердцу предков, - сказал я и встал. Вот и весь допрос. Ты не сердись, что я побеспокоил тебя. Мы, возможно, вернемся еще к этому. А теперь просьба: побереги костюм мужа. Он понадобится, но не мне лично.

На лицо Гизелы вновь легла тень.

- Я подумаю, - сказала она, но сказала это так, что я уже не сомневался в положительном решении. - Ты уже уходишь?

- Да, бегу. Ведь я не отдыхал со вчерашнего дня.

Гизела проводила меня, немного озадаченная и взволнованная. Спать спокойно она уже не будет.

Я вышел и быстро зашагал в противоположный конец города. Мне надо было еще повидать Пейпера.

Беседа с Гизелой вселила в меня уверенность в успехе задуманного плана. Все начиналось хорошо. Правда, вторым, но необходимым условием успеха было участие в деле Пейпера. Но я не сомневался, что он согласится.

Я торопился. Время - двенадцать ночи. Как бы не застать Пейпера спящим! Тогда придется вызывать хозяина дома, объясняться. Но избежать услуг хозяина все же не удалось. И не потому, что его квартирант спал. Пейпера вообще не было дома.

- Он раньше часа редко возвращается, - пояснил хозяин. - Если уж очень нужен, подождите.

Да, он был нужен, очень нужен. Я сел за стол в его комнате и при свете восьмилинейной керосиновой лампы стал просматривать аккуратно сложенные немецкие газеты.

Пейпер явился ровно в час. Меня он встретил без удивления, решив, видимо, что нужна информация. Так думал я. А он сказал:

- Как хорошо, что вы пожаловали. Ведь я уезжаю.

Сердце мое екнуло. Этого не хватало! Значит, все летит к шутам! С моих губ сорвался сразу десяток вопросов: куда, зачем, почему?

Пейпер объяснил. Болезнь прогрессирует. Надо серьезно лечиться. Начальство предложило отпуск. Он едет в Австрию. Наверное, послезавтра.

- Но вы можете задержаться? - взмолился я. - Дня на три-четыре.

Пейпер успокоил меня. На такой срок - конечно, и говорить не стоит.

Он вынул из чемодана большую консервную банку, ловко вскрыл ее и выложил содержимое в глубокую тарелку. Это были засахаренные белые сливы. Крупные, одна в одну. Появились ложки. Пейпер предложил угощаться. Отказаться от такого деликатеса было невозможно, и я подсел к столу.

- Я из бильярдной, - признался Пейпер. - Это моя страсть. Сейчас вот шел и думал о вашем приятеле. Все произошло на моих глазах. Когда вбежали гестаповцы, он, видно, сразу понял, что это за ним, и быстро

направился к заднему выходу. Но они крикнули: "Стой!" - и бросились следом. Потом началась стрельба. Трудно сказать, сколько сделал выстрелов ваш друг, но последнюю пулю он приберег для себя. Мне жаль его. По-человечески жаль. Да да, фортуна разведчика очень капризна. Это хождение по тонкому льду. Неверный шаг, лед треснул - и гибель без возврата.

Вспомнив Андрея, мы оба загрустили. Слова как-то сами по себе иссякли. Пейпер вторично полез в чемодан, и на стеле появилась бутылка арманьяка.

- Давайте выпьем по глоточку, - предложил он.

Я кивнул. Мы выпили по стопке этой жидкости, неведомо как попавшей в Энк. Она напоминала одновременно и водку, и коньяк.

- У вас есть своя служебная комната на аэродроме? - спросил я.

Пейпер ответил утвердительно.

- И есть шкаф, в котором вы храните документы?

- Ну конечно! И даже обитый железом.

- Давайте рассуждать отвлеченно, - продолжал я. - Допустим на минуту, что к вам является из Берлина или из штаба фронта офицер, и первое, с чего начинается, - предлагает вам открыть сейф и показать его содержимое.

- Ну и что же? - усмехнулся Пейпер. - Не вижу в этом ничего необычного.

- Значит, бывают такие случаи?

- Сколько угодно.

- Так, - я препроводил в рот сочную сливу, прожевал ее, проглотил и заговорил вновь: - Еще вопрос. Вы знакомы с начальником местного гестапо?

Пейпер ответил, что, к его величайшему удовольствию, не удостоился пока такой чести.

- А видели его когда-нибудь?

- Нет, и не стремлюсь. Болтают, что он похож на Геббельса и считает себя полноценным представителем чистой расы, болтают также, что он вероломный и опасный человек.

Я покивал и спросил:

- А что, если вы однажды явитесь к начальнику гестапо, представитесь каким-нибудь чином и предложите ему открыть личный сейф?

Пейпер от души рассмеялся и стал вторично наполнять стопки.

- Блестящий ангажемент! - воскликнул он. - Трудно представить себе что-либо безрассуднее подобной затеи. Особый вид самоубийства. Это все равно что сунуть голову в пасть тигра. При одном виде гестаповцев у меня слабеет живот. Давайте лучше выпьем еще по одной.

- Не возражаю. Но я не шучу, а говорю серьезно.

Пейпер часто-часто заморгал, поставил на стол поднятую рюмку и, еще не веря мне или не доверяя собственным ушам, произнес:

- Ну это черт знает что! Неужели так можно? Нет-нет, такой кусок явно не по моим зубам.

- Наша задача: сделать из невозможного возможное. Вся операция отнимет у вас максимум десять-пятнадцать минут.

- До этого надо додуматься!

- Вот я и додумался. На вас будет форма оберштурмбаннфюрера. Вы явитесь не в гестапо, а на квартиру Земельбауэра. Вы представитесь лицом, одна фамилия которого заставит гестаповца вытянуть руки по швам.

- Вы это серьезно? - проговорил Пейпер. - Чистейшее безумие! Для вас, конечно, риск не составляет ничего нового, вы человек тренированный, а я... Грандиозность вашего плана коробит меня. Трудно заранее предвидеть, как обернется такой визит и какие будут последствия. А вдруг он наставит на меня пистолет?

- Ну уж сразу и пистолет. А у вас, если надо, будет и пистолет, и граната. Но до этого дело не дойдет. Уж поверьте мне. Я объясню вам кое-что.

Пейпер заерзал на стуле, сел поудобнее, вытер платком лоб и уставился внимательно на меня. Только сейчас я подметил в его взгляде живой интерес.

Я рассказал ему. В наши руки попал доверенный человек гестапо. От него мы узнали, что Земельбауэр скрывает от своего начальства очень серьезные документы. Если об этом разнюхает Гиммлер или Кальтенбруннер, начальнику энского гестапо не сносить головы. Достаточно сказать Земельбауэру, что этот человек арестован и сидит в подвале в Берлине, как он из грозного тигра превратится в жалкого котенка.

- Что вы скажете теперь, господин Пейпер? - закончил я свой рассказ вопросом.

Он еще раз вытер платком влажный лоб, взъерошил негустую шевелюру и решительно опрокинул в рот вторую рюмку.

- Ваше предложение неприятно поколебало у меня веру в самого себя, мужественно признался он. - Я, видимо, неполноценный немец. С брачком. Я не особенно храбр. Печально, конечно. Но это уж ошибка господ-бога. Отец мой был отчаянным человеком, а вот у меня слабинка.

Я рассмеялся:

- Вы просто не знаете, что у вас есть затаенные резервы мужества. Постарайтесь

мобилизовать их. Слов нет, поручение острое, я бы сказал очень острое! Но мы постараемся учесть всякие неожиданности. Поверьте, что эта, как вы сказали, затея принесет вам, помимо всего прочего, огромное удовлетворение. Насколько мне известно, вы не питаете теплых чувств к гестаповцам, так почему же не утереть нос одному из них?

Пейпер вертел в руках пустую хрустальную стопку и молчал. Брови его сошлись на переносице, лоб собрался в морщины. Его одолевали жестокие сомнения.

После долгого и томительного раздумья он полубокопытствовал:

- Выходит, что, если эти документы попадут к вам, гестаповцу капут?

- Это будет зависеть от нас, - сказал я неопределенно.

- Выражаясь языком спортсменов, вы хотите нанести ему удар ниже пояса? - спросил Пейпер.

- Что-то вроде. Во всяком случае, в моем сердце теплится надежда, что вы дадите свое согласие.

- Не знаю... Не знаю, - отшатнулся Пейпер. - Я очень нерешителен, хотя и дисциплинирован. Если бы вы приказали мне... А в общем, я должен подумать. Наедине с собой. Завтра я скажу.

Удовольствовавшись этим обещанием, я одобрительно кивнул, поблагодарил Пейпера за угощение и расстался с ним, уверенный, что в эту ночь он будет спать мало. Не больше Гизелы.

30. На первом этапе

В чистом утреннем небе кудрявились идеально белые, пышные облака, а над ними высоко плыла армада пикирующих бомбардировщиков Ю-87.

Это первое, что я увидел, выйдя на улицу.

Бомбовозы летели на северо-восток. Пока я дошел до управы, над городом прошло шесть таких армад, одна за другой, волнами. Такого количества вражеских самолетов энское небо не видело и в памятном сорок первом году.

Не успел я расположиться за своим столом, как меня пригласили к бургомистру. Там уже были начальники некоторых отделов, начальник полиции и командир карательного батальона Воскобойников.

Купейкин поднялся с кресла, откашлялся и каким-то отсыревшим голосом, с очевидной претензией на торжественность, заговорил:

- Господа! Все мы видели сегодня, какая воздушная мощь пошла в сторону фронта. Германские вооруженные силы прорвали оборону русских и перешли в решительное наступление на орловско-белгородском плацдарме. Бог и мы станем свидетелями грандиозных побед фюрера. Июль сорок третьего года явится поворотным месяцем в этой войне и войдет в мировую историю.

"Так, - подумал я, - Гизела говорила правду. Да и мы поставили верный диагноз. Можно твердо надеяться, что для командования нашей армии наступление немцев не было неожиданным".

- Введите своих служащих в курс событий, - продолжал бургомистр. Разъясните всем, что сейчас, как никогда, от нас, органов местного самоуправления, требуется напряжение всех сил. Мы обязаны...

Он объяснил, что именно "мы обязаны", потом предложил командиру батальона, начальнику полиции и мне остаться, а остальным приступить к работе.

Когда закрылась дверь за последним из ушедших, Купейкин раздраженным тоном потребовал от Воскобойникова:

- Рассказывайте все, как было.

Воскобойников, этот сытый, самоуверенный детина, встал, неловко одернул немецкий мундир и, не зная, куда пристроить руки, начал докладывать. В двенадцать ночи его разбудил звонок дежурного по комендатуре. Дежурный распорядился выслать усиленный

наряд на заречную сторону, где партизаны пытаются угнать скот. Воскобойников сейчас же отдал команду в батальон, а сам стал одеваться. Через десять минут ему доложили, что наряд в количестве двадцати бойцов, при двух ручных пулеметах, посажен в машину и отправлен по назначению. А еще через двадцать минут, когда Воскобойников прибежал в распоряжение батальона, его перехватил дежурный по полиции и сказал: "Вас ищет комендант. Срочно звоните ему". Воскобойников позвонил. Майор Гильдмайстер спросил: "Куда вы послали своих болванов? Зачем? Они там перестрелялись. Срочно выясните, в чем дело". Воскобойников взял пятерых автоматчиков и выехал. На мосту им попался боец из наряда. Он доложил, что машина повезла их почему-то не к загону со скотом, а по дороге к совхозу. Бойцы начали шуметь. Машина остановилась. Командир отделения Шерафутдинов приказал всем сойти. Когда наряд выстроился, он сказал: "Приступайте к делу!" Бойцы бросились друг на друга. Кто-то крикнул: "Измена! Бей их!" - и началась стрельба. А дальше он плохо помнит. Пуля угодила ему пониже правого плеча, он упал, отполз в темноту, потом поднялся и побежал. На месте происшествия Воскобойников обнаружил трех обезоруженных бойцов. По их словам, взбунтовавшийся наряд скрылся в лесу. Вот, собственно, и все.

Купейкин переложил с места на место лежавшие перед ним бумаги и, не глядя на командира батальона, спросил:

- А известно ли вам, что никакой дежурный по комендатуре не звонил на вашу квартиру?

Воскобойников виновато и часто закивал. Он узнал об этом слишком поздно.

- Почему вы сами не возглавили наряд?

- Не хотел терять времени. Собирался выехать следом.

- Не морочьте мне голову! - запищал Купейкин. - Машина с нарядом не могла миновать вашего дома.

Лицо Воскобойникова напоминало помятую подушку. И сам он весь обмяк, ссутулился, глядел испуганно из-под нависших бровей.

- Наконец, почему вы, - доклевывал его Купейкин, - не бросились на поиски грузовика с бежавшими?

- Растерялся, - пробормотал Воскобойников.

- Хорош командир батальона! - злорадно усмехнулся бургомистр. Растерялся! Посмотрим, как вы будете себя чувствовать перед комендантом. Собирайтесь! Он вызывает нас для объяснения.

Когда Купейкин и Воскобойников уехали, начальник полиции сказал мне:

- Из него такой же комбат, как из меня врач-гинеколог.

Я согласился.

В обеденный перерыв по дороге домой, недалеко от того места, где когда-то окончил свой жизненный путь эсэсовец Райнеке, я увидел дочь бургомистра - Валентину Серафимовну.

Она тащила в обеих руках по здоровенной связке книг.

За последнее время у нас несколько улучшились отношения. Сыграл свою роль мой лестный отзыв относительно ее перевода на допросе Геннадия. Помогло и то обстоятельство, что Земельбауэр больше не прибегал к моим услугам. Теперь Валентина Серафимовна здоровалась со мной и даже как-то звонила по телефону.

Отвечив на мое приветствие сейчас, она пожаловалась:

- Устала как собака. А тут еще жара.

Я поинтересовался, что за книги она несет.

- Арестовали бывшего актера Полонского, - ответила Валентина Серафимовна, - а меня заставили разобраться в его библиотеке. Так, всякая дребедень. Скажите, у отца неприятности? - и она потыкала в свои щеки свернутым в комочек платком.

- Каждый отвечает за себя. Не он же назначал Воскобойникова, а комендант.

На противоположной стороне улицы я увидел Трофима Герасимовича, он тоже направлялся домой. Я поманил его пальцем.

- А ну-ка, впрягайся! Поможем госпоже Купейкиной.

Валентина Серафимовна улыбнулась.

Мы донесли книги до здания гестапо.

Купейкина рассыпалась в благодарностях.

- Мой привет штурмбаннфюреру, - сказал я на прощание.

- Обязательно передам.

Когда мы отошли, Трофим Герасимович сплюнул:

- Глиста глистой. Наша Еленка была малость пошлее, - он вздохнул и тихо добавил: - Эх, Ленка, Ленка... Горькая судьба тебе выпала! А правду болтают, что эта сука бесхвостая продала своего мужа?

- Точно.

- Значит, плачет по ней веревочка.

Дома Трофим Герасимович дал мне бумажку, свернутую трубочкой наподобие мундштука от папиросы.

- Это от Кости.

У себя в комнате я расшифровал телеграмму. Решетов писал, что мне присвоено общевоинское звание капитана, и просил срочно ответить, согласен ли я возглавить специальную группу, перебрасываемую в Прибалтику.

Вот это здорово! Во-первых, я капитан. Это что-нибудь да значит! Во-вторых, мне предлагают интересное дело. Уверен - дело важное. В Москве ждут моего ответа.

Как я отвечу? Конечно, согласен. Трудно сразу объяснить это решение. Но оно возникло мгновенно, когда передо мной вырисовались слова телеграммы. Ничего я не взвешивал, не уточнял, не оценивал. Да и как, собственно, можно было оценивать дело, сформулированное в одной, довольно короткой фразе, раскрывающей только смысл, вернее, идею? А для меня идея эта была понятна и близка - бороться! Бороться, продолжать начатое. Какое же имело значение место борьбы? В сущности, не все ли равно: в Энске или в другом каком городе? Мы солдаты. Больше чем солдаты - добровольцы.

И еще одно. Мы увлечены борьбой. Она захватила нас целиком, наши чувства, мысли, желания - все связано с нею, все подчинено ей. Оторвать себя от борьбы, выйти из нее не в наших силах. Я говорю и о себе, и о своих товарищах. Прежде всего, конечно, о себе.

Я торопливо съел кашу из ячменя, запил кружкой кипятку, вынул из своего тайничка пистолет и отправился к Пейперу.

Он уже ждал меня. На мое "Здравствуйте" Пейпер ответил странным образом: поднял руку и воскликнул по-латыни:

- Моритурус те салютат! Идущий на смерть приветствует тебя!

Вначале я не сообразил, что это значит, а потом понял. Лицо Пейпера помогло: оно было печально-торжественным. Он все-таки решился. Я тепло пожал ему руку и признался, что верил в него.

- Я не знаю, как это получилось, - проговорил он. - Я же слабый человек, а вот решился. Кое-как преодолел свою уродливую слабость. Понимаю, что иду на смерть. Но иду. Иду с роковым упорством. Должен же человек когда-нибудь сделать в своей жизни необычное?!

- О смерти не будем говорить, - возразил я. - Ею здесь и не пахнет.

- Вы думаете?

- Я твердо уверен.

- Возможно, весьма возможно. Тем лучше. Знаете что, давайте допьем бутылку! - И он полез в чемодан.

- Быть может, перенесем банкет на окончание нашего предприятия?

- Нет-нет, я хочу именно сейчас. А пить в одиночку - это страшно, сказал Пейпер, наполняя вчерашние хрустальные стопки. - У вас, я чувствую, легкая рука. Вы знаете, что такое риск.

- Немножко, - согласился я.

- Ну, пожелайте мне успеха!

- От всей души, - сказал я, и мы дружно выпили.

- Боюсь вот только, выдержат ли мои нервы.

- Выдержат. На вашей стороне инициатива, внезапность. Вы должны сразу определить свое превосходство. Как бы я поступил на вашем месте?

- Слушаю, это очень интересно.

- Я бы вошел, назвал себя Панцигером.

- Панцигером?

- Ну да. Это не вымышленная фамилия: она знакома Земельбауэру. Так вот, назвал бы себя и объявил: "Дорогой штурмбаннфюрер! Ваш любезный родственничек Линднер Макс, он же Дункель, гостит сейчас в Берлине, на Принц-Альбрехтштрассе. Он поручил мне взять у вас письма, оберстлейтенанта фон Путкамера к своему покойному братцу. Эти письма (три штуки) Линднер отдал вам на хранение в сорок первом году. Потрудитесь открыть вот этот сейфик".

- Вы можете повторить это еще раз? - прервал меня Пейпер.

Я сделал это не без удовольствия и продолжал:

- Когда письма будут у вас в руках, вы предложите Земельбауэру написать объяснение на ваше имя. Пусть штурмбаннфюрер изложит причины, заставившие его более полутора лет хранить чужие письма. Дайте ему понять, что от него же самого зависит его дальнейшая судьба. Смело спекулируйте такими именами, как Шелленберг, Мюллер, Кальтенбруннер, Гиммлер... Закоптите ему мозги! Не мне вас учить. Вы человек образованный, разбирающийся в политике.

Пейпер улыбнулся: если бы образование могло заменить опыт!

- Опыт приобретается практикой, - заметил я. - У вас есть оружие?

- Нет, не положено. Я же не офицер.

Я вынул "вальтер" и положил на стол. По тому, как Пейпер взял пистолет и проверил его, я понял, что учить его обращению с ним не следует.

- Каким вы располагаете временем? - спросил я.

- Хорошо было бы покончить с этой затеей в два-три дня, - сказал он.

- Покончим, - заверил я и распрощался с Пейпером.

Теперь мне предстояло повидать Гизелу. Еще днем в управе я позвонил в Викомандо и вызвал к телефону Гизелу Андреас Я спросил, может ли она сообщить, когда зайти за новой инструкцией. Это был условный пароль. Она бесстрастно ответила: "Инструкция еще не готова. Точнее, будет известно позже. Позвонят и предупредят". Это тоже был условный ответ: надо ждать у телефона.

Примерно через четверть часа, раздался ее звонок:

- Что случилось? Говори, я одна.

- Мне необходимо быть у тебя сегодня.

- Нельзя. Дезертировали бойцы карательного батальона. В нашем квартале выставлены круглосуточные посты. Скажи свой адрес. Приду сама.

- Правда?

- Говори.

Я назвал адрес и объяснил, как найти меня.

- Когда удобнее?

- Приходи, когда стемнеет, и жди меня. Очень прошу, захвати то, что ты хотела мне презентовать.

- Хорошо. Клади трубку.

Вечером я предупредил хозяев, что у меня будет гостя, попросил принять ее и усадить в моей комнате.

У Трофима Герасимовича возникла ошибочная мысль.

- Опять прилетят наши? - спросил он.

- Нет. На этот раз, кажется, не прилетят.

Мне еще надо было переговорить с Демьяном, и я заторопился в убежище. Беседа была недолгая, но обстоятельная. План мой ему понравился. Но Демьян с полным пониманием дела внес в него существенные поправки. Он заметил, что самое слабое место задуманного

предприятия - это отсутствие у Пейпера необходимых документов. Тут надо что-то придумать. И это "что-то" Демьян придумал сам. Он сказал.

- Сделаем так: Когда убедимся, что Земельбауэр дома, Пейпер подойдет к вахтеру гестапо и спросит, где сейчас начальник. Вахтер, конечно, не посмеет солгать оберштурмбаннфюреру СС. Тогда Пейпер прикажет: "Позвоните ему сейчас же и доложите, что оберштурмбаннфюрер Панцигер едет к нему на дом". Как, по-вашему? Это должно несколько амортизировать внезапный визит Пейпера?

- Бесспорно, - согласился я.

- В этом случае, - продолжал Демьян, - Пейперу не надо представляться. Земельбауэр будет знать, с кем имеет дело. Неплохо бы, разумеется, предупредить начальника гестапо еще и из другого источника. А что, если вы?

- Что я?

- Если вы... после звонка вахтера тоже позвоните. Ну да. Из управы. И скажете, что говорят с аэродрома. Так и так, господин штурмбаннфюрер, из Берлина прилетел гость. Отправился к вам, встречайте. Тут уже Земельбауэру будет не до проверки документов.

- Великолепно! - обрадовался я. - Но не лучше ли первому позвонить мне?

Демьян подумал и согласился. Конечно, лучше! И лучше потому, что мы рискуем опоздать. У нас в резерве небольшой запас времени.

Когда детали плана были утрясены, я протянул Демьяну расшифрованную радиограмму. Он прочел, постучал костяшками пальцев по столу и спросил:

- Что же вы решили?

Я ответил, что не в моих правилах отказываться от таких предложений.

- Пожалуй, правильно, - коротко заметил Демьян.

Тут же я написал Решетову о своем согласии, дал текст Наперстку и побежал домой.

31. Панцигер

В то утро Гизела покинула наш дом за час до моего ухода на службу.

Когда я сел с хозяевами завтракать, Трофим Герасимович сказал:

- Умная и красивая. - Он имел в виду мою гостью. - Вот ведь беда. Весь город обегаешь, а такой не сыщешь, - он покрутил головой, взглянул на жену и спросил: - Ну, чего рожу вытянула?

- А ничего. Паскудник ты, и вся недолга! - огрызнулась Никодимовна. Все чужие тебе хороши.

- Так испокон веков, - проговорил невозмутимо Трофим Герасимович. - В чужую бабу черт меду кладет.

Гизеле я не мог сказать, что скоро покину Энк. Но спросил, будет ли она рада выехать со мной куда-либо. Мне хотелось взять Гизелу с собой. Я много думал об этом. Мне казалось, что Демьян, если я обращусь к нему, поддержит меня и полковник Решетов пойдет навстречу. И знаете, что мне ответила Гизела? Она сказала, что нам хорошо будет в Германии, и спросила, поеду ли я с ней туда. Я никак не ожидал такого вопроса.

Потом она еще сказала, что у каждого есть своя родина, которую человек любит, которой дорожит и гордится. Для нее родина не просто земля, где родилась она, ее отец, мать, а нечто большее, с чем она связана невидимыми нитями и без чего не представляет себе жизни.

Германия не всегда была такой, какой

сделал ее Гитлер. И она будет другой. Гизела уверена, что я так же не смогу расстаться с Россией, как она с Германией Любит ли она меня? Да, любит. Она еще никого не любила. Я первый. Она верит, что и я ее люблю. Но трудно, невозможно предсказать, что готовит будущее. А быть может, оно само придет нам на помощь.

Я не мог видеть глаз Гизелы, в комнате было темно, но, когда я провел рукой по ее лицу, оно было мокро от слез.

Уходя, Гизела дала мне второй ключ от дверей ее дома и предупредила, чтобы я не

злоупотребляя возможностью им пользоваться. Оставила мне и костюм покойного мужа. Это было пять суток назад. И лишь сегодня, часа через полтора или два, этот костюм начнет играть свою роль.

Я ошибся, заверив Пейпера, что с нашей затеей мы покончим в два-три дня. Осуществлению моего плана помешал мундир Андреаса. Он оказался велик для Пейпера. Потребовалось вмешательство портного. На розыски его ушло трое суток. В группе Челнока нашлась женщина, муж которой в давние времена работал театральным портным. Ему мы и доверили мундир. Переделка прошла удачно, сегодня Пейпер получил мундир и остался им доволен. Сейчас без четверти одиннадцать ночи. Мы ждем сигналами - в управе, в своем служебном кабинете, Пейпер - в моей комнате, в доме Трофима Герасимовича. Сигнал должен подать Костя.

Я выжидательно поглядываю на телефон, но он упорно молчит. Томительно долго тянется время. Минуту одиннадцать, половина двенадцатого, двенадцать. Начались новые сутки.

Когда наконец раздался звонок, я испуганно вздрогнул. Костя сказал коротко:

- Господин Сухоруков? Беспокоит старшей полицией Гришин. Посты в порядке. Иду отдыхать.

Сигнал расшифровывается иначе: Земельбауэр поехал домой. Костя отправился к Трофиму Герасимовичу. Операция началась. Теперь только выждать, когда Костя предупредит Пейпера. Пятнадцать минут, пожалуй, достаточно для этого. Слежу за стрелкой часов. Пора! Прохожу в пустую приемную бургомистра. Дежурный по управе сидит в первом этаже и, как всегда, видимо, спит. Набираю номер квартиры начальника гестапо по прямому телефону. Секунда, вторая. Наконец в трубке раздается высокий, писклявый голос маленького штурмбаннфюрера.

- Кто? - спросил он, не называя себя.

- Дежурный по аэродрому. Мне нужен штурмбаннфюрер СС.

- Я штурмбаннфюрер. Дальше?

- Докладывает обер-лейтенант Бартельс, - понизил я голос до возможного предела. - В ноль-ноль пятнадцать четырнадцатым рейсом прилетел оберштурмбаннфюрер СС Панцигер. Он спросил меня, как найти гестапо, и автобусом вместе с летчиками выехал в город.

- Когда выехал? - спросил Земельбауэр.

- Минуты три-четыре назад. Я счел нужным предупредить вас.

- Благодарю. Бартельс, вы сказали?

- Да.

Я запер свою комнату и задним ходом, через двор, вышел на улицу.

Ночь стояла душная, тихая, темная. Откуда-то издалека доносились глухие раскаты артиллерийской канонады. Я прошел мимо гестапо. У подъезда плотной массой вырисовывался силуэт машины. Постукивал коваными каблуками наружный часовой. Тишина, безлюдье, никаких признаков Пейпера. Где же он сейчас?

Обогнув здание гестапо, я заторопился домой.

Костя и Трофим Герасимович сидели на корточках под открытым окном, курили и закрывали огонь самокруток ладонями.

Я отпустил Костю, а с Трофимом Герасимовичем прошел в комнату. Теперь еще томительнее потянулось время. Хозяин прилег на лавку, врезанную в стену дома, а я стал бродить из угла в угол.

Прошло полчаса... сорок минут... час... Храп Трофима Герасимовича сотрясал стены дома, а я все ходил и ходил, ощущая неприятное стеснение в груди. Нет ничего хуже ожидания и неведения. Меня тянуло на улицу, будто там можно было что-нибудь узнать. Подталкиваемый тревогой, я прошел в переднюю и уже приоткрыл наружную дверь, как услышал шум приближающегося автомобиля. Это еще что такое? На небольшой скорости машина прошла мимо и затихла вдали.

Я стоял у двери, скованный неясным чувством. Настроение портилось. Эта ночь лишний раз подтверждала извечную житейскую мудрость: одно дело планы, даже отличные, и совсем

другое - их выполнение. Пейпера нет, хотя ему уже давно пора появиться. Сколько можно разговаривать с начальником гестапо! Впрочем, разговаривают ли они? Возможно, и слова не было произнесено. Все кончилось в коридоре гестапо или на пороге особняка Земельбауэра. Кончилось без звука. Я услышал шаги. Может быть, Пейпер?

Несколько секунд прошли в напряженном ожидании. Ну конечно же, это Пейпер! Едва он вступил на крыльцо, я схватил его за руку и потянул в дом.

- Почему вы с этой стороны?

- А я на "оппеле", - довольно спокойно ответил Пейпер. - Не хотел останавливаться здесь и проехал дальше.

- Ну и как? Рассказывайте скорее, иначе у меня лопнет сердце.

- Вот уж ваше сердце не лопнет, - усмехнулся он.

Мы пробрались в мою комнату и прикрыли за собой дверь.

Пейпер пустил фуражку, как циркач тарелку, в угол комнаты, плюхнулся на стул, вытянул длинные ноги и признался:

- Такого страха, как сегодня, мне не доводилось испытывать никогда. Он положил на стол три письма, лист бумаги, сложенный вчетверо, и спросил: Это вам было нужно?

Трясущимися руками я развернул бумажку. Это было собственноручное признание Земельбауэра. Потом быстро пробежал глазами письма. Да, это! Ура! Победа! Какая победа!

- Ну, кто был прав?! - воскликнул я, обнимая Пейпера.

Он смущенно высвободился из моих объятий и развел руками.

- Год назад я бы не вынес этого. От одной только мысли можно сойти с ума, получить разрыв сердца. А тут вдруг...

- Ваш земляк Стефан Цвейг, - прервал я Пейпера, - сказал золотые слова.

- Почему земляк? - удивился Пейпер.

- Вот тебе и раз. Значит, Пейпер не австриец? А я полагал...

- Простите, - замахал руками Пейпер. - Я не так понял. А что же сказал Цвейг?

- Он сказал, что характер человека лучше всего познается по его поведению в решительные минуты" Только опасность выявляет скрытые силы и способности человека: все эти потаенные свойства, при средней температуре лежащие ниже уровня измеримости, обретают пластическую форму лишь в критическую минуту.

Глаза Пейпера радостно расширились, слова побежали наперегонки:

- Это правильно! Очень правильно. Но кто мог думать, что все так произойдет? Вы только послушайте! Когда я переступил порог гестапо, у меня так ослабли ноги, что с трудом держали меня. Это правда. И голос пропал. А вахтер идет навстречу, вскидывает руку, щелкает каблуками и докладывает: "Если вы оберштурмбаннфюрер Панцигер, то у подъезда вас ждет автомобиль". Вы понимаете? Только взявшись за дверцу "оппеля", я сообразил, что вы уже позвонили и машина закрутилась. Панцигер уже есть, живет, дышит, его ждут, ему подали машину. Он - реальность... Что-то изнутри сломало страх, сковывающий меня. Я вернулся, открыл дверь и бросил вахтеру: "Предупредите штурмбаннфюрера, что я выехал". А потом все разворачивалось, как вы и предполагали. Я сразил этого уродца первой же фразой. Он плакал, валялся у моих ног, лобызал мои руки. Он умолял меня заступиться за него, замолвить словечко перед рейхсфюрером. Я великодушно обещал. Он пытался сунуть мне при расставании небольшую шкатулку. Я едва не ударил его. Да, это так... Даже занес руку, но вовремя удержал ее. Какой же негодяй! Какое ничтожество! А помимо всего прочего... Да пусть он провалится ко всем чертям, - закончил Пейпер и стал разоблачаться.

Я тем временем еще раз, более внимательно прочел объяснение и письма. На каждой странице стояла дата и подпись Земельбауэра, подтверждающие, что именно сегодня документы изъяты из его сейфа. Потом спросил Пейпера:

- Вы убеждены, что изготовление фотокопий не затянется?

Пейпер заверил, что завтра утром он вручит мне и подлинники, и фотокопии, а в полдень покинет Энск.

32. На втором этапе

Прошло еще несколько дней. Бургомистр оказался неудачным пророком. Наступление на орловском плацдарме обернулось нежелательным для немцев образом. Лучшие немецкие части попали в наши глубокие артиллерийские мешки и были перемолоты, словно жерновами. Наступление немцев захлебнулось. Сломив врага, советские войска стали теснить его на запад. Ожесточенные бои шли на подступах к Орлу и Белгороду.

Пейпер улетел. Он сделал для нас все, что мог, и даже несколько больше. Он не питал надежд на возвращение в Энк и, прощаясь со мной, сказал, что события на фронте говорят о том, что мы встретимся, скорее всего, в Германии.

Возможно, Пейпер прав. Чего не бывает в жизни!

А вот сегодня благодаря Пейперу мне предстояла преинтереснейшая встреча и беседа с начальником гестапо. Я ликовал, предвкушая удовольствие. Начинался второй этап задуманного нами предприятия. Первый провел Пейпер, второй ложился на меня. Я держал под прицелом самого штурмбаннфюрера СС. Гизела сообщила мне, что за последние дни Земельбауэр изменился. Осунулся, помрачнел, перестал улыбаться и показывать свои лошадиные зубы, чем раньше явно злоупотреблял. Высказывается какими-то притчами, двусмыслицами, поговорками. Оно и понятно: Земельбауэр оказался в положении паука, попавшего в банку с притертой пробкой.

Гизела спросила:

- А костюм мужа не имеет никакого отношения к настроению господина Земельбауэра?

Я постарался ответить, что "наверное, не имеет". Это заставило Гизелу улыбнуться.

- Завтра я могу привезти костюм, - пообещал я.

- Не надо, - возразила Гизела. - Рада, что избавилась от него.

Это было вчера вечером в моей комнате. А сейчас утро. Я сижу в управе, готовый дать генеральное сражение начальнику гестапо. Никогда еще при встрече с врагом я не был так вооружен и так уверен в себе, как сегодня. Если у Пейпера были основания опасаться за свою безопасность, то у меня их совершенно не было. Не то чтобы я не видел этих оснований, а просто их действительно не было.

Я изредка звонил по служебному телефону Земельбауэру, но к аппарату никто не подходил.

Наконец в десять с минутами в трубке послышался знакомый голос гестаповца. Я произнес:

- Прошу прощения, это Сухоруков. Очень надо вас видеть.

- Сейчас?

- Да-да. На одну-две минуты.

Пауза. И затем:

- Давайте.

Я вынул из ящика стола зеркальце, посмотрел в него, пригладил свои непослушные вихры и покинул управу. Пропуск для меня лежал у вахтера гестапо.

При моем появлении штурмбаннфюрер без видимой охоты оторвал свой утлый зад от кресла и приподнялся.

- Очень рад пожать вашу руку, - сказал он, хотя выражение его лица подтверждало как раз обратное.

- Погодите, не радуйтесь, - весело заметил я, усаживаясь.

- Что? - сверкнул гневными очами Земельбауэр.

- Так, ничего. Я пошутил.

- Прошу без шуток, - нахмурился штурмбаннфюрер, водворяясь на место. У меня для этого неподходящее настроение.

Он еще не понимал, что выглядит в моих глазах круглым идиотом.

Без разрешения хозяина я взял со стола сигарету, закурил и сказал:

- Если бы вы знали только, до какой степени мне наплевать на ваше настроение!

Земельбауэр смотрел на меня вытаращенными глазами. Он привык к моему тихому нраву, деликатным манерам и, естественно, никак не мог увязать прежнего Сухорукова с

настоящим. Пористая, стареющая кожа на его маленьком личике покрылась нездоровым румянцем.

- Что вы болтаете? - спросил он наконец после затянувшейся паузы.

- Могу объяснить, - с готовностью ответил я. - Хотя нет, лучше спрошу вас. Скажите, вы уверены" что господин Линднер Макс находится сейчас не где-нибудь, а именно в Берлине, на Принц-Альбрехтштрассе?

Земельбауэр мгновенно побагровел.

- При чем здесь вы?

Я пожал плечами и заметил, что если он не имеет желания отвечать на мой вопрос, то я последую его примеру и задам новый вопрос.

- Уверены ли вы, что человек, назвавший себя Панцигером, действительно Панцигер?

Лицо штурмбаннфюрера изменило окраску и стало мертвенно-бледным. Он начинал что-то соображать, но я помешал:

- От вашего неусыпного внимания, господин Земельбауэр, ускользнули важные обстоятельства. Очень важные. Вы не удосужились проверить, есть ли на аэродроме дежурный по фамилии Бартельс. Вас не заинтересовало, куда исчез ваш родственник Линднер. Вы до того растерялись, что не спросили у Панцигера документы, удостоверяющие его личность.

Земельбауэр стремительно вскочил, загремев стулом, и потребовал:

- Кто вы? Отвечайте быстро!

- Не шуметь! - строго предупредил я и хлопнул ладонью по столу. - Шум не в ваших интересах. Не делайте ничего такого, о чем бы вам пришлось сожалеть через несколько минут. Сядьте! Я не люблю, когда меня слушают стоя.

Во взгляде гестаповца была смесь удивления и ярости. Он не мог понять, с кем имеет дело. Мой уверенный и требовательный тон сразил его. Земельбауэр не сел, а плюхнулся в кресло, откинулся на спинку и замер, приоткрыв рот.

Я вынул из кармана и рассыпал на столе фотокопии писем и объяснения. Они имели размер нормальной игровой карты.

- Вам и теперь еще неясно, с кем вы имеете дело?

Он едва заметно кивнул и с проворством фокусника извлек из кобуры пистолет. Выбросив руку вперед, скомандовал негромко и требовательно:

- Подлинники на стол! Немедленно! Слышите? Или я пристрелю вас!

- Сначала спустите с предохранителя, - ответил я, не шевельнув бровью. - Вы, как ни прискорбно, довольно глупы. Придется объяснять... Дело в том, что, стреляя в меня, вы одновременно стреляете и в себя. Не буквально разумеется. Если мне суждено умереть сейчас, то вы умрете через неделю, то есть сравнительно скоро. Я умру от вашей руки, вы - от руки палача. Собственно, разницы никакой. Перед вами копии. Ко-пи-и... А подлинники, как и Линднер, далеко отсюда. Если со мной произойдет какое-либо несчастье, оно послужит сигналом к тому, чтобы несчастье постигло и вас. Яснее, кажется, трудно объяснить. Короче говоря, вы должны быть кровно заинтересованы в том, чтобы я жил, и жил долго.

- Я брошу вас в подвал, - прошипел гестаповец, не отводя руки с пистолетом. - Я сгною вас живьем.

- Пожалуйста, - невозмутимо ответил я. - Если мне не суждено покинуть этот гостеприимный кров, то завтра Кальтенбруннер с удовольствием ознакомится как с вашим объяснением, так и с приписками на каждом письме.

Пистолет с глухим стуком упал на стол. Земельбауэр смотрел на меня словно загипнотизированный. Мне кажется, что, если бы я подал команду "Голос!", он взвыл бы.

- Так лучше, - сказал я. - Мне понятно ваше состояние. Вкус побед очень сладок, вкус поражений горек. Чтобы оккупировать часть нашей территории, у вас хватило сил, а вот чтобы покорить нас, сломить наш дух, гут вы оказались слабоваты. Это следует запомнить. А теперь выясним главное. С кем бы вы предпочли иметь дело: с оберштурмбаннфюрером Панцигером или с советским капитаном, то есть со мной?

Земельбауэр молчал. Возможно, только теперь он понял весь драматизм своего положения. Он смотрел в одну точку, кажется, на мои губы, и его глаза немного косили.

- Но учтите, - предупредил я, - Панцигер - это смерть при всех положениях, а я - жизнь.

Штурмбаннфюрер потряс головой и безнадежным тоном уронил короткую фразу:

- Я погиб при всех условиях.

- Если желание погибнуть у вас действительно велико, то вы можете погибнуть, - заметил я. - Но мне думается, вы хотите жить. И в этом нет ничего плохого. К тому же, говоря откровенно, выбор зависит от вас самих.

Наконец гестаповец настолько овладел собой, что к нему вернулось чувство осторожности. Он встал, прошел к двери, повернул ключ в замке и вернулся к столу.

- Но кто же состряпал этот маскарад? - вдруг спросил он.

- Это уже чисто профессиональный вопрос. Но я отвечу на него: ваш покорный слуга.

- Майн гот! Но как?! - воскликнул Земельбауэр. - Скажите же! Теперь я не страшен, теперь мне следует бояться. Как вам удалось?

Я ответил, что воспользовался его, Земельбауэра, оплошностью.

- Моей? - изумился штурмбаннфюрер.

- Вы правильно поняли, именно вашей. Ответьте мне: почему во время допроса Булочкина, назвавшего сразу две фамилии - Перебежчика и Угрюмого, вы отдали распоряжение арестовать лишь одного Перебежчика?

Земельбауэр беспомощно развел руками - он не по дозревал во мне разведчика.

- Вот эта оплошность и погубила вас. Мы схватили Угрюмого, а он оказался Линднером-Дункелем. А потом всплыли на поверхность письма.

Штурмбаннфюрер застонал. Лицо его перекошилось.

- К чему такое отчаяние! - сказал я. - Вы должны, как ни странно на первый взгляд, благодарить бога за случившееся. Ведь письма могли попасть не ко мне, а к Панцигеру. Судите сами: жизнь у вас теперь никто не отнимет. Ваши заслуги, чины, ордена, должностной оклад, привилегии - все остается при вас. Окончится война, и ваша слава, почет, уважение и прочее - все, решительно все останется вашим личным достоянием Цена? Небольшие услуги, о которых будете знать вы, я и еще один человек Это ничто в сравнении с топором. Мне кажется даже лишним спрашивать вас о согласий, настолько все ясно. Я уверен, что вы человек благоразумный, здравый смысл должен восторжествовать над эмоциями. Давайте говорить по-деловому. Мы не заставим вас выступать по радио с разоблачительными речами, вам не придется на перекрестках ратовать за Советскую власть, у нас нет намерения бросать тень на репутацию штурмбаннфюрера СС, мы не заинтересованы в вашем провале. Нам нужен начальником энского гестапо человек, понимающий нас и думающий о своем будущем. Этот человек должен похоронить свое прошлое под своим будущим. Вы поняли, чего я хочу?

Земельбауэр согласно кивнул и затем пробормотал.

- У меня кружится голова.

- Я сочувствую вам. У меня тоже закружилась бы.

Через полчаса штурмбаннфюрер потребовал кофе с бутербродами, и мы повели деловой разговор.

33. От второго к третьему этапу

Счастье изменило Угрюмому на этот раз. Из телеграммы Решетова мы узнали, что, переваливая через линию фронта, самолет, вывозивший Угрюмого, был подбит зенитным огнем и взорвался. Остатки его упали на нашу территорию.

Но счастье изменило и мне. Вчера вечером я решил заглянуть к Гизеле. У меня был ключ от ее дверей. Приближалось время моего ухода из Энка. Решетов поторапливал меня с окончанием дел. Я хотел еще раз поговорить с Гизелой. Последний раз она была задумчиво-грустной, по-особенному ласковой. Когда я попытался вернуть ее к интересовавшему меня

разговору, она запротестовала. Неужели нельзя один вечер, только один вечер, помолчать? Да и к чему слова? Мы так хорошо знаем друг друга, что можем обойтись без слов. Лучше она послушает, как бьется мое сердце. Тихо! Я должен дышать спокойно.

Расставаясь, она обхватила мое лицо ладонями и долго-долго смотрела мне в глаза.

- Хочу запомнить тебя, - сказала Гизела.

Значение этой короткой фразы я понял лишь вчера вечером, когда оказался один в пустой уже квартире Гизелы. Самой Гизелы не было. Лишь томик Ремарка был реальной вещью, напоминавшей о ней.

Милая Гизела! Ты не захотела превратить разлуку в пытку и рассталась не прощаясь. Собственно, ты простилась со мной два дня назад, когда сказала: "Хочу запомнить тебя". Ты знала, что это была наша последняя встреча.

Несколько минут я простоял один в комнате, которая стала для меня дорогой, в комнате, где все дышало радостным, но уже невозвратным прошлым. И сознание этого было невыносимо. Острая боль сжимала сердце. В горле ощущалась какая-то неловкость, словно хотелось откашляться. И я боялся это сделать. Боялся слез.

Я взял Ремарка, бережно обернул его старой газетой и покинул пустую квартиру. Никогда больше моя нога не переступит этот порог. Никогда.

Сегодня утром стало известно, что Викомандо в полном составе покинула Энк и отправилась на запад. Куда? На это не мог ответить даже Земельбауэр. Но он заметил:

- Если интендантские крысы покидают корабль, значит, ему грозит опасность. Уж кто-кто, а они отлично знают, что паруса надо убирать перед бурей, а не после нее.

С Земельбауэром я встретился для продолжения делового разговора.

В прошлый раз он передал мне подробный список гестаповской агентуры. Начало было неплохим. Демьян сказал:

- Все, что делала ваша группа, было нужно, важно, значительно, но список - не сравнимая ни с чем удача. Здесь сорок одна фамилия!

Закрепив за собой Земельбауэра, мы решили развить операцию дальше. Заняться оберстлейтенантом фон Путкамером. Мне казалось, что при содействии начальника гестапо удастся добыть списки состава секретной школы абвера, которой руководит Путкамер.

На этот раз Земельбауэр чувствовал себя значительно лучше. Оправившись кое-как от двух страшных ударов, он делал все возможное, чтобы выполнить свои штурмбаннфюрерские обязанности. Мы начали с неизменного кофе с бутербродами, то есть с того, чем кончили в прошлый раз. Потом выкурили по сигарете, и я спросил начальника гестапо: какие причины заставили его хранить письма Путкамера? Как он намерен был распорядиться ими?

Земельбауэр поведал мне занимательную историю. Оказывается, еще в 1935 году между имперской службой безопасности (СД) и имперской военной разведкой (абвер) завязалась отчаянная грызня. За истекшие восемь лет эта грызня переросла в войну не на жизнь, а на смерть. Начал эту войну создатель и шеф СД Рейнгардт Гейдрих. Война ведется, разумеется, тайно, закулисно. Вспышки огня редко озаряют поле битвы. Обычно сражения окутываются дымовой завесой. Но какие силы развязали эту войну? Это тоже интересно. Дело в том, что поначалу в СД вошли гестапо, крипо* и зипо**. Но этого показалось Гейдриху мало. Он захотел подмять под себя и военную разведку, то есть абвер. А абвер входил в ОКВ***. Возглавлял его адмирал Канарис, тот Канарис, который не так уж давно посвятил того же Гейдриха в тайны шпионского ремесла. Раньше они были друзьями, теперь - смертельные враги. Если Гейдрих имеет в своем сейфе дело на Канариса, куда заносится каждый шаг адмирала, то можно не сомневаться, что Канарис ведет досье на Гейдриха. Короче говоря, Гейдрих хотел проглотить Канариса вместе с абвером и все время жужжал в уши фюреру, что разведка и контрразведка СД совершеннее и дешевле военной Эстафеты войны, выбитую из рук Гейдриха в сорок втором году, подхватил обергруппенфюрер СС Кальтенбруннер. Война продолжается. Кальтенбруннер увивается вокруг фюрера, но тот молчит. Гитлер не может не считаться с ОКВ. Гитлер понимает, что в абвере главную роль играют

представители юнкерско-офицерских кругов, которые и так его недолюбливают.

* Крипо - государственная уголовная полиция в гитлеровской Германии.

** Зипо - полиция безопасности.

*** ОКВ - верховное командование германских вооруженных сил.

Если бы Земельбауэр знал, чем окончится эта война! Но он не мог знать, не мог и гадать. И решил ждать, Он планировал так Если покушение на фюрера удастся, он явится к фон Путкамеру и попробует объясниться. Так, мол, и так, дорогой. Вы были в моих руках, но я не хотел мешать вам творить святое и правое дело Хотите верьте, хотите нет. Вот ваши письма. Я хранил их лучше, чем ваш покойный брат. Путкамер может оказаться человеком благодарным, великодушным. Это не какой-нибудь плебей без роду и племени. Он аристократ, патриций. Путкамер связан родственными узами с самой высшей немецкой знатью. У него невероятное количество преданных друзей в стране и за рубежом. Он пользуется поддержкой сильных мира сего, Путкамер - это бог. Стоит ему замолвить словечко - и путь Земельбауэра к трудным жизненным вершинам будет устлан цветами. Ну, а если заговор сорвется, никогда не поздно отправить письма Кальтенбруннеру с такой, допустим, короткой припиской: "Изъяты у расстрелянного на днях дезертира". Тогда слово за Кальтенбруннером. Это далеко не Канарис, но лучше, чем ничего.

Вот какую игру затеял начальник гестапо!

Я спросил:

- Интересно, как поведет себя фон Путкамер, если показать ему письма?

Штурмбаннфюрер пожал плечами, подумал. Что сказать! Путкамер, конечно, бог, но тут его могущество, быть может впервые, можно взять под сомнение. Аристократу хочется жить не меньше, чем простому смертному.

- Вы полагаете, он примет мои условия? - уточнил я.

- Уверен. Куда ему деваться! Эта публика держится с апломбом лишь до поры до времени.

- Я хочу, чтобы письма Путкамеру предъявили вы в моем присутствии.

- Эти идиотские письма укоротили мою жизнь по крайней мере лет на десять, - раздраженно проговорил гестаповец. - Но я согласен. Мне доставит удовольствие понаблюдать за физиономией этого "фона", когда он увидит собственные литературные упражнения.

Уточнив кое-какие детали и считая вопрос о Путкамере исчерпанным, я предложил начальнику гестапо подготовить мне списки арестованных, содержащихся при гестапо и в тюрьме.

Земельбауэр пожевал губами, глотнул воздух и философски заметил:

- Как странно устроена человеческая жизнь! Вчера я приказывал вам, сегодня - вы мне. А почему? Что произошло? Ничего особенного. Какие-то бумажки перекочевали из моего сейфа в ваш карман. Только и всего. Какая глупость!

34. На третьем этапе

"Оппель" промчался по городу, перевалил через мост и выскочил в степь. На горизонте неровными зубцами вырисовывался черный гребень леса. Справа тянулся высокий - колос в колос - хлеб. Под порывами устойчивого ветра он колыхался под солнцем золотистыми волнами.

Машина торопливо бежала в сторону леса, неся двух молчаливых людей меня и Земельбауэра. Был еще и третий в "оппеле", но он не в счет: это шофер. Кстати, он тоже молчал, выполняя положенные ему по должности обязанности и ничем не напоминая о своем присутствии. Я молчал и думал. Думал, вероятно, и штурмбаннфюрер. Не может же человек не думать, готовясь к довольно необычному для него шагу? А Земельбауэру было о чем поразмыслить. Впереди встреча с Путкамером, тем самым Путкамером, письма которого укоротили начальнику гестапо, как он сам выразился, жизнь лет на десять. И не только укоротили жизнь, а отдали ее целиком в распоряжение подпольщиков. Один из этих

подпольщиков сидел сейчас рядом с ним и вез его, мощного и всесильного начальника энского гестапо, "в гости" к Путкамеру. Со стороны, конечно, все выглядело иначе. Так, как подобает поездке штурмбаннфюрера СС по своим служебным делам в сопровождении переводчика. Он, нахохлившись, закинув ногу на ногу и сложив руки на груди, сидел и глядел вперед, в набегавший навстречу лес. Все должны были видеть, даже шофер, что начальник гестапо, как и прежде, грозная и важная личность и не его везут, а он везет маленького человечка-переводчика на деловую встречу в расположение школы абвера. И встреча эта секретна, осуществляется в интересах безопасности Германии.

Я тоже всем своим видом старался повысить авторитет господина Земельбауэра, сидел тихо и скромно сзади, на почтительном расстоянии от начальства и изучал затылок этого "юберменша". Мне нравилось играть свою новую роль. Пусть шофер, пусть сотрудники гестапо думают, что я только беззащитный исполнительный чиновник при штурмбаннфюрере. Но сам Земельбауэр знает, кто сидит с ним в "оппеле", кто сейчас хозяин положения.

Исполнение новой роли, признаюсь, доставляло мне немалое удовольствие. Мало сказать, удовольствие - наслаждение. И не только потому, что я мстил этому ублюдку за причиненное им зло, заставлял его в какой-то мере расплачиваться за преступления. Мое честолюбие разведчика торжествовало. Да, сегодняшний Земельбауэр - покорный, униженный, предупредительно-угодливый дело моих рук. Он страшен для других и жалок для нас. Он ходит на невидимом поводке, как пес. А конец поводка зажат в моей ладони. Сегодня я приспустил поводок, и Земельбауэр мчится вперед, мчится в лес, чтобы разыскать Путкамера и схватить его за горло, схватить мертвой хваткой.

Я спокоен. Я более спокоен сегодня, чем в тот час, когда шел на беседу со штурмбаннфюрером, держа в кармане копии писем. Там все-таки была игра, в которой я принимал участие. Теперь я только зритель и, если хотите, арбитр. Мне предоставлено право судить о возможностях господина Земельбауэра, ставить ему отметку.

Решетов и Демьян возлагали большие надежды на мою поездку к Путкамеру. Уж если гестапо дало нам кучу агентов, и в числе их нескольких человек, прижившихся на нашей стороне, то каков будет улов в абвере! В школах абвера готовят разведчиков и засылают их в нашу прифронтовую полосу и в наш тыл. Именно этим занимается подполковник фон Путкамер. И если его оседлать, он даст не один, а несколько списков агентуры абвера. Во всяком случае, той агентуры, которую подготовил в своей школе. Короче говоря, в наших руках окажутся крупнейшие козыри.

Степь осталась позади. Машина вошла в неширокий лесной коридор. В далекую перспективу уходила ровная, без единого изгиба, дорога. Ее покой стерегли высоченные медноствольные сосны.

Переползавший через дорогу трактор с поврежденной гусеницей задержал нас на несколько минут. И только теперь, когда мы стояли с выключенным мотором, я услышал звуки, которые не доходили до слуха при движении. Окружающий нас лес был наполнен визжанием пил, стуком топоров, ревом тягачей, голосами людей, запахом мазута и свежей древесины: шла беспорядочная валка леса.

"Оппель" помчался дальше.

Шестнадцать километров - сущий пустяк. Через десять минут мы повернули под прямым углом влево и наскочили на первого часового. Второй поджидал нас у моста через небольшой ручей, а третий встретил у ворот бывшего санатория "Сосновый".

Несмотря на два сигнала, поданные нашим шофером, ворота не открылись. Из сторожки вышел часовой и объявил нам, что дальше надо следовать на своих двоих. Земельбауэр поморщился. Мы оставили машину и зашагали по лесу. Нас окружила тишина. Переливчатыми трелями заливались какие-то птицы, где-то далеко по-прежнему ухали пушки. Но ни пение птиц, ни удары орудий не нарушали устоявшейся тишины. Воздух опьянял, как крепкое вино.

Пройдя шагов сто по гладкой асфальтированной до роге, мы вступили на поляну, залитую

жарким июльским солнцем. Прямо на нас глядел своими окнами аккуратненький, в три этажа, старинной работы особнячок с островерхой крышей. Его сжимали с обеих сторон два громоздких, из белого кирпича корпуса. На шпиле дома билось на ветру утратившее цвет полотнище, украшенное свастикой.

Сосны, ели и лиственницы дружной толпой окружали бывший санаторий, а в зарослях сирени и жасмина прятались служебные постройки.

Приткнувшись к толстому

стволу столетнего дуба с шатровой кроной, стоял новенький, сохранивший заводскую окраску, открытый "олдсмобайл". Четким рисунком выделялся протектор на его баллонах.

Рядом с машиной в классической позе лежала огромная овчарка. Она даже не повела ухом, будто не видела нас.

Мы пересекли поляну и вошли в особняк.

Шустрый черномазый дневальный заговорил с нами на языке, который считал немецким. Узнав, что мы к подполковнику фон Путкамеру, он сломя голову бросился по ступенькам вверх.

На некоторое время мы остались одни. Я осмотрелся и постарался шагнуть назад, в сорок первый год. Вон там, видно, сидела миловидная девушка. Она встречала приезжих, брала у них путевки. А там был гардероб. За тем круглым столом непременно играли в "козла".

Все было... А теперь тишина. Не простая тишина, а затаенная, гнетущая. Где-то есть люди.

Но мы их не видим, не слышим. Может быть, десятки глаз следят за нами из окон, из полузакрытых створок дверей. Почему-то в гестапо в тот день я не ощущал такой настороженности, хотя меня окружали толстые стены, обитые войлоком и железом двери, решетчатые окна. А здесь простор, густой лес - и все-таки немного жутко. Непривычно как-то. Мне захотелось проанализировать свое состояние, найти причину. Вероятно, тогда в гестапо все было знакомо. Знакомо здание, знаком Земельбауэр, я мог рассчитывать на определенный ответ, на ожидаемый мною контрудар. Теперь - неизвестность. Как нас примут, да и примут ли вообще? Мало ли что взбредет в голову подполковнику Путкамеру!

Но действие разворачивается, кажется, по нашему плану. Сверху спустился молодежавый лейтенант с гладко выбритой физиономией и пригласил нас наверх. В его сопровождении по лестнице вековой давности мы добрались до третьего этажа. Шаги гулко отдавались в длинном коридоре, устланном паркетом. Коридор привел нас в большую, похожую на гимнастический зал комнату с несколькими дверями.

Лейтенант любезно усадил нас на широченный диван, обитый добротной кожей, и сказал, что оберстлейтенант вот-вот подойдет.

Увы, я ошибся, действие разворачивалось не совсем по нашему плану. Снова ожидание. Фон Путкамер явно не торопился. Начальнику гестапо наносилось очередное оскорбление. Вначале его заставили пройтись пешком, потом ждать в вестибюле, а теперь "караулить" подполковника в этом пустом зале. Нетрудно было догадаться, что в тщедушной груди гестаповца накалилось глухое раздражение. С большим усилием Земельбауэр сдерживал себя. Он постукивал ногой, барабанил пальцами по коленям, ерзал на месте, закатывал глаза к потолку, шумно вздыхал.

Состояние Земельбауэра меня мало волновало. Пусть терпит, пусть вздыхает. Но поведение Путкамера заставляло настораживаться. Не слишком ли он большая фигура для зубов гестаповца? Сумеет ли Земельбауэр проглотить его? Пока что нас игнорировали, и делали это самым бесцеремонным образом.

Наконец дверь легонько скрипнула, и в комнату вошел статный, седоволосый, отличной выправки подполковник.

Это был, без сомнения, фон Путкамер. В нем чувствовалась породистость: крупная удлинённая голова, волосы, зачесанные назад, хрящеватый нос с горбинкой, тяжелый подбородок, тонкие, строго подобранные губы и злой взгляд острых, широко поставленных глаз. Этаким нордический варвар!

Не скажу, чтобы я залюбовался им. Но внешность его производила какое-то подавляющее

впечатление. Я заметил растерянность на лице Земельбауэра, хотя сидел он, по своему обычаю, нахохлившись, торжественно подняв голову.

Подполковник не взглянул на нас. Строго рассчитанным шагом он прошел мимо и скрылся за дверью.

И странно, я с чувством неясной тревоги подумал почему-то, что из нашей затеи может ничего не получиться.

Лейтенант выскочил из-за стола и последовал за Путкамером.

- Чистокровное животное! - бросил с презрением Земельбауэр.

- Он знал, что мы придем? - поинтересовался я.

- Конечно. Я звонил ему. Ну ничего, сейчас он запляшет!

В душе я сомневался в магической силе гестаповца, Вряд ли он сумеет заставить Путкамера плясать. Но в то же время я не терял надежды, что подполковник, пожалуй, сдастся. Письма в наших руках, и это равносильно смертному приговору, вынесенному негласно фон Путкамеру. Будет торжествовать простая и, выражаясь образно, железная логика, которой подчинено все, начиная от самого сложного до самого элементарного. Путкамер, безусловно, сложная штука. Но и он, при всей его очаровательной внешности, при всей его гордости, подвластен законам логики.

Снова появился лейтенант. Он широко распахнул дверь и жестом пригласил войти.

Земельбауэр первым переступил порог, выбросил вперед руку и крикнул:

- Хайль!

Хозяин ответил ему наклоном головы. Он стоял у самого стола, прямой, с чуть расставленными и как бы вросшими в пол ногами.

Нет, прием мне явно не нравился. Подполковник расценивал нас в плане обычных мелких посетителей, вернее, даже просителей, которых выслушивают стоя. Черт возьми! Инициатива не в наших руках! Надо повернуть ход дела круто, на сто восемьдесят градусов, заставить Путкамера почувствовать нашу силу.

По-моему, это понял и Земельбауэр. Не выдерживая паузы, он заговорил:

- Я решил сам приехать к вам. Дело касается лично вас, оберстлейтенант. Вашего благополучия, так сказать.

- Очень признателен. Слишком много чести, - с холодной вежливостью, четко выверенным голосом произнес фон Путкамер.

Он не подал нам руки, не пригласил сесть и продолжал стоять сам. Откуда-то справа лились звуки тихой приятной мелодии. Я скосил глаза и увидел огромный "Телефункен" на высоконогом черном столике. Начинать решительный разговор стоя - этого я не представлял себе. Земельбауэр, видимо, тоже. Лицо его меняло окраску. Он упорно вертел пуговку мундира и все же начал:

- Дело в том, господин оберстлейтенант, что в мои руки попали ваши письма. - И он смолк, с ядовитой улыбкой разглядывая Путкамера.

Земельбауэр определенно рассчитывал, что его слова повергнут абверовца в трепет, но этого не случилось. Невозмутимый Путкамер смотрел на гестаповца не мигая, плотно сжав губы и как бы думая о своем.

Я был озадачен не меньше Земельбауэра. Что же это, в конце концов? Главный козырь бросили, а подполковник не сражен. Да что там сражен - он даже не чувствует удара. Или это психологическая атака против нас, парирование спокойствием попытки сбить его с позиций? Посмотрим! Посмотрим, насколько хватит у него выдержки, насколько крепки нервы у господина фон Путкамера.

Земельбауэр решил сделать последнюю попытку.

- Я вынужден предъявить вам копии этих писем, - проговорил он и направился к столу, вынимая на ходу из внутреннего кармана фотоснимки. В руках его оказалась целая пачка, Земельбауэр положил ее на стол, а один протянул подполковнику.

Что еще мы можем сделать с Путкамером? Ничего. Ровным счетом ничего. Повторить уже сказанное, повысить голос, пригрозить абверовцу? Но он сам прекрасно понимает значение

происходящего. Перед ним страшные письма, и их предъявляет не случайный человек, а начальник гестапо. Дальше - арест, суд, казнь. Или! Земельбауэр дал понять, что есть надежда, он сказал о благополучии подполковника. Ситуация предельно ясна. Надо выбирать!

Но прежде всего Путкамер должен почувствовать нанесенный ему удар Я слезу за ним, за каждым его движением.

Он взял фотоснимок, поднес к глазам. Секунду-другую разглядывал. Рука не дрогнула, ни один мускул на лице не выдал состояния абверовца. Если это выдержка, то надо только удивляться мастерству, с которым играет в спокойствие подполковник. И вторично мне подумалось: возможно, из нашей затеи ничего не выйдет. Тогда - как мы ретируемся, каким образом расстанемся с довольно негостеприимным особняком абвера? Эти весело расписанные стены все могут поглотить не хуже, чем мрачные своды гестапо Впрочем, такой вариант исключен. Со мной Земельбауэр, а его не упрячешь в подвал. Его разыщут. Как-никак штурмбаннфюрер СС!

- Поэтому давайте будем откровенны, - предложил гестаповец официальным тоном.

Путкамер швырнул фотоснимок в общую кучу и ответил:

- Давайте. Прошу! - Он сделал жест в сторону кресел.

"Ну, кажется, лед тронулся, - решил я. - Сдался все-таки, дьявол. Без истерики, испуга и трусости - но сдался". Ко мне пришло спокойствие. Так даже лучше. Зачем препирательства, взаимные оскорбления? Можно договориться спокойно. У меня мелькнула мысль: ведь Путкамер мог догадаться, о чем собирается говорить с ним начальник гестапо, не так-то часто происходят подобные беседы. А когда существуют в природе вещественные доказательства в виде писем, то беседа уже явно окрашивается в определенный цвет. Во всяком случае, спокойствие подполковника подготовлено ожиданием. Он натренировал себя. Ну и ладно! С готовой формулой проще обращаться.

Придя к такому выводу, я уже без удивления и тревоги смотрел на Путкамера. Воспользовавшись его приглашением, мы сели в кресла, а он все еще стоял. Стоял и глядел в окно, сосредоточенно и одновременно рассеянно, словно ничего не видел. Мысли его не выходили за пределы внутренних ощущений. Я понимал, что ему трудно было перейти от состояния свободы к положению зависимого человека, отдать себя в руки другого, хотя бы Земельбауэра. А ситуация принуждала к этому.

"Ну, быстрее, - подтолкнул я его мысленно. - Сдавайтесь, подполковник! Маска горделивого патриция больше не нужна. И вообще спектакль окончился. Пора переходить к делу".

Фон Путкамер повернулся к нам и сказал:

- Я сию минуту!

Тем же строго размеренным шагом он пересек кабинет по диагонали и скрылся за узенькой и невысокой дверью в глухой стене.

"Канитель все-таки продолжается, - с досадой подумал я. - Подполковник никак не может решиться. Кажется, я переоценил его мужество".

Мы услышали, как фон Путкамер несколькими поворотами ключа запер за собой дверь. Затем раздался выстрел.

Есть вещи, которые понимаются сразу, без объяснений. Именно так мы поняли эти два звука. Подполковник застрелился.

Земельбауэр побледнел, вскочил с кресла и растерянно произнес!

- Проклятье! Осечка!

Я еще нашел в себе силу пошутить:

- У нас да, осечка, а у него, кажется, нет.

Положение создалось нельзя сказать чтобы удобное. Об этом сразу догадались и я, и Земельбауэр. Надо было принимать быстрое решение. Я торопливо подошел к двери в приемную, распахнул ее настежь и сказал лейтенанту:

- С вашим шефом что-то случилось. Он заперся и стреляет.

- Что?! Стреляет? - вскрикнул лейтенант и стремглав бросился в кабинет.

Пока он звал подполковника, стучал кулаками в дверь, Земельбауэр предусмотрительно собрал и водворил на прежнее место фотоснимки.

Через несколько минут в кабинете оказались майор, фельдшер и еще какие то люди из штата школы.

Общими усилиями дверь была высажена. На полу, возле небольшой кушетки, мы увидели оберстлейтенанта. Он лежал на боку, подобрав под себя одну ногу. Из-под мундира тоненькой струйкой змеилась кровь. Тут же валялся сделавший свое дело пистолет.

Фельдшер опустился на колени, приложил ухо к груди покойного, пощупал пульс и изрек с таким видом, будто открыл новую планету:

- Он мертв.

- Представьте, и у меня сложилось такое же впечатление, - спокойно изрек штурмбаннфюрер СС.

- Что же делать?

- А вот этого я не знаю, - невозмутимо ответил Земельбауэр. - Господин фон Путкамер просил привезти ему переводчика. А сам...

Мы оставили подполковника наедине с собой и вышли.

- Музыку теперь можно выключить, - сказал самому себе лейтенант, направляясь к "Телефункену".

- Да, пожалуй. Покойники к музыке равнодушны, - заметил Земельбауэр.

Секретарь повис на телефонах. Он звонил, кажется, во все концы.

Когда мы с Земельбауэром садились в машину, он сказал:

- Подумаешь! Он, видите ли, не захотел ронять своего свинячьего достоинства. Так мог бы поступить и я.

- Не набивайте себе цену, господин штурмбаннфюрер. А вообще он глупец. Я на его месте уложил бы в первую очередь вас, потом меня, а уж напоследок себя.

От этих слов Земельбауэра передернуло.

35. Прощай, Энк!

- К тебе придет человек. Кличка его Усатый. Он назовет пароль, который я дал ему вчера. Через Усатого с тобой будет говорить подполье. Понял?

Трофим Герасимович решительно тряхнул головой. Он стоял передо мной внимательный, как солдат, и молча слушал.

- И мой совет тебе, - продолжал я, - не рискуй попусту. Не броди по ночам. Все хорошо до поры до времени. Делай то, что тебе поручают. А теперь дай я обниму тебя.

Трофим Герасимович опередил меня, обхватил своими крепкими руками, уткнулся колючей щекой в мою шею и замер. Потом оторвался, потер глаза и, отвернувшись, сказал:

- Дымно что-то в избе... - Рассеянная улыбка бродила по его лицу.

- Видно, трубу Никодимовна рано закрыла, - заметил я шутливо. - Ну, будь здоров. Не поминай лихом. И не провожай: не люблю.

Трофим Герасимович растерянно пожал плечами и переступил с ноги на ногу.

- Как же так? - проговорил он. - Выходит, насовсем?

- Уж сразу насовсем! Ты что, умирать собрался?

- Да нет, потерплю малость, - невесело усмехнулся Трофим Герасимович.

- Я тоже не буду торопиться, а коли так - возможно, и встретимся.

Этот "человек с пятном", один голос которого вызывал когда-то у меня глухой протест и неодолимое раздражение, смотрел на меня сейчас, как ребенок, теряющий навсегда что-то дорогое, заветное. В выражении его грубоватого, некрасивого лица, в его глазах, во всем его растерянном облике было столько грусти и искренней печали, которую он не умел выразить словами, что я проникся к нему неожиданной жалостью.

А быть может, Трофим Герасимович не так уж и не прав в своих опасениях? Быть может, и в самом деле мы расстаемся "насовсем" и никогда больше не увидим Друг друга? Кто знает,

что готовит каждому из нас грядущий день! Хорошо, разумеется, будет, если нам удастся пройти нелегкий боевой путь, предначертанный суровой судьбой, и уцелеть. Куда уж лучше! Но если мы и уцелеем, это еще не значит, что обязательно встретимся. Жизнь может отдалить нас на такое расстояние, увести в такие уголки, что встреча останется лишь желанием.

Сумерки заволакивали город. На небе робко проступали еще неяркие звезды. Спадала дневная жара. Дом, под кровом которого я провел без малого два года, два самых тяжелых в моей жизни года, остался позади. Последний раз я шел по улицам, где мне известна каждая выбоина на тротуаре, каждая скамья, каждое деревце. Тяжело расставаться с тем, к чему привык, с чем сроднился. Ой как тяжело! Я уносил из Энска лишь одну вещь - книгу Ремарка.

Чтобы считать законченными все свои дела и уйти с чистой совестью и легким сердцем, мне оставалось проститься с Демьяном и Наперстком. С Челноком я простился два дня назад, а с Усатым - вчера. Я шел в убежище. Я был уверен, что Демьян там и ждет меня. Вчера я свел его с Земельбауэром. Произошло это на квартире начальника гестапо. Ни Демьян, ни я не опасались, что штурмбаннфюрер выкинет какой-нибудь номер. Мы были твердо, и не без оснований, уверены, что ей не последует примеру Путкамера, а это, пожалуй, единственное, что он мог сделать. Другого выбора не было.

Первую половину убежища освещал свечной огарок, горевший длинным желтым языком. Демьян, склонившись над столом, что-то писал.

Увидев меня, он перевернул лист, встал и, взглянув на часы, вновь сел: прощаться было еще рановато.

- Ну как? - спросил Демьян.

- Готов! - ответил я, подсаживаясь к нему.

- Предупредили Клеща?

- Конечно.

На наши голоса из второй половины убежища вышли Наперсток и Костя. Усевшись возле стола, они поглядывали на меня как-то по-новому, как бывает перед долгой разлукой.

Втроем мы закурили сигареты, предложенные Костей. Мы курили и молчали, и это молчание не было ни тягостным, ни стеснительным. Все, кажется, было уже исчерпано и оговорено, но тем не менее я немного погодя спросил Демьяна!

- Какого вы мнения остались о Земельбауэре?

Демьян помолчал и ответил:

- Такие удачи, как с ним, - таить нечего - бывают раз в жизни. И не повторяются. Он в наших руках и будет делать то, что мы захотим.

- Вы не думали, как поступить с заключенными?

- Думал. Тут нельзя рубить сплеча. Надо еще думать и думать.

- Я тоже думаю, - заметил Костя. - Выход, по-моему, есть. И волки будут сыты, и овцы целы.

Наперсток с явным любопытством посмотрела на Демьяна, потом на меня. Она, эта извечная молчальница, говорила, как обычно, одними глазами. И сейчас, как мне казалось, эти глаза как бы спрашивали: "Ну, каково? Слышали? Выход есть, и его предлагает не кто иной, как Костя". И еще мне показалось в ее глазах что-то вроде восхищения и гордости за Костю. Такого я не замечал еще за нею. А может быть, мне и в самом деле показалось.

- Только кое-что надо докумекать, - добавил Костя. - Денька через два доложу.

- Ну-ну, время есть, подождем, - кивнул Демьян.

Мы снова помолчали, думая каждый о своем. Потом Демьян показал мне часы: пора.

Все, точно по команде, встали. Наперсток взяла со стола книгу Ремарка и закрыла ею лицо до самых глаз. Ей первой я подал руку.

- До встречи.

- Если останемся целы, - тихо проговорила она.

- Это еще что такое? Приказываю жить, а не умирать. Понятно?

- Правильно: жить, а не умирать, - подтвердил Демьян. Он шагнул ко мне с таким видом,

будто хотел заключить в объятия, Я уверен в этом по сей день. А потом, верный себе, переборол порыв слабости и ограничился тем, что крепко пожал мою руку двумя руками.

- И главное, - добавил я, - не забывайте такой мелочи, как враг.

Демьян кивнул. Наперсток отдала мне книгу. Она смотрела на меня какими-то изумленными, широко распахнутыми глазами, в которых дрожали слезинки.

- Пошли, - резко махнул рукой Костя.

Я мог выбраться из города сам, но Костя решительно запротестовал. Он сказал, что проводит меня на заречную сторону. И спорить не стоит: пустая трата времени.

Когда мы оказались на другом берегу, Костя сказал:

- Интересно, что будет завтра делать бургомистр, когда узнает об исчезновении секретаря управы.

- Хорошо, что ты затронул этот вопрос, - заметил я.

- Серьезно?

- Вполне. Никто об этом не подумал, и я в том числе. А надо было. Ты вот что, дорогой... Загляни на обратном пути к Трофиму Герасимовичу. К нему же явятся в первую очередь. Пусть он скажет, что ночью кто-то пришел, вызвал меня на крыльцо, и в дом я больше не вернулся. Вот так.

- Понятно.

Мы на минуту остановились у самого края уже знакомого мне противотанкового рва. Вслушались в тишину. Позади остался Энск.

Над землей плыла теплая звездная июльская ночь. За городом, за горой, где-то далеко полыхали зарницы. Дышалось легко, свободно, а сердце сжимала грусть. Вернусь ли я когда-нибудь в Энск?

Костя толкнул меня локтем и сбежал вниз. Я последовал за ним.

По рву мне предстояло идти до самого его конца. Это примерно три километра. А там меня ожидали ребята из партизанского отряда.

- Все, парень, - сказал я Косте. - Хватит. Теперь обойдусь без провожатого. Возвращайся обратно.

Мы остановились. Пахло какой-то горьковатой травой.

- Что же пожелать тебе на прощание? - Я положил руки на плечи Косте и попытался в последний раз взглянуть в лицо друга. Но черты его смутно проступали в темноте. - Оставайся таким же, как есть. Тогда все будет хорошо.

- Спасибо. Постараюсь. Оно бы неплохо, конечно, получить от вас весточку. Как там и что... Но я понимаю.

- Ну и молодец!

- Значит, до победы?

- По-видимому.

- Что ж, - он вздохнул, - она не за горами. А потом я вас разыщу. Нигде не укроетесь. Желая удачи. От всего сердца!

Тьма разделила нас. Я зашагал один, крепко прижимая к себе томик Ремарка.

Прощай, Энск!

Меня ожидали новые люди, новые места, новые дела. Будущее вырисовывалось смутно, неопределенно. Я думал уже не о том, что оставил, а о том, что ждало меня впереди.

ЭПИЛОГ

Письмо Гизелы Эйслебен

Все началось с телефонного звонка. Точнее, с вызова к телефону. Мне сказал начальник по службе, что уже вторично один и тот же мужской голос требует меня к аппарату. Первый раз он звонил в мое отсутствие - я была в командировке, выезжала из Берлина. Теперь наконец застал меня.

Почему я хочу быть точной, точной во всем? Потому что эти маленькие, обычные детали

только

и оказались в моем распоряжении. И для меня они играют роль. Они стали тропинкой к моему прошлому, которое мне дорого и, возможно, дорого другим, по крайней мере, мне хочется думать, что оно дорого кому-то еще на земле. Это желание наивно, хотя и продиктовано убежденностью много видевшего и много пережившего человека.

Когда я шла к телефону, никакие предчувствия меня не беспокоили. Наше учреждение весьма хлопотливое. Мы занимаемся вопросами землеустройства и на отсутствие звонков не жалуемся. Но разговор оказался необычным.

Прежде всего человек не назвал себя. Он будто бы искал меня более года, искал, как Андреас, не ведая о том, что теперь я живу под своей девичьей фамилией Эйсleben. И только недавно совершенно случайно узнал об этом - и вот звонит мне.

Я слушала речь незнакомого мне человека и испытывала необъяснимое чувство досады и одновременно страха. Мне показалось, будто друзья мужа решили воскресить память Андреаса и им понадобилась я как объект шантажа. Бывшая жена гестаповца - приманка для всякого рода политических интриганов из Западного Берлина. Я могла бы сразу оборвать разговор, но он просил назначить время, когда я смогу его принять.

Жизнь моя текла в последнее время спокойно и, пожалуй, даже однообразно. Во всяком случае, ничего необыкновенного, ничего таинственного не случалось. И вдруг... этот звонок. Он пробудил не только любопытство. Он заронил надежду. Давно уснувшую надежду. Я захотела услышать что-то радостное.

К одинокому человеку радость может прийти только в образе друга. И только об этом я думала четыре томительных часа, пока ждала встречи с незнакомым человеком. Я была почти уверена - он принесет мне счастливое известие, обязательно счастливое. Ведь не ради же горьких и печальных слов он искал меня так долго. Нет, так не бывает.

Незнакомец оказался точным. Ровно в половине восьмого мать открыла парадную дверь и впустила в дом высокого, лет сорока мужчину с густой шевелюрой.

Гость был хорошо воспитан. Во всем, что он делал, чувствовалось желание не быть обременительным для других. Он назвал себя советским журналистом и спросил, была ли я в войну в оккупированном немецкими войсками русском городе Энске. Когда я утвердительно кивнула, он задал второй вопрос: служила ли я в Викоmando? Получив и на это утвердительный ответ, он промолвил:

- Значит, это вы.

Видимо, только сейчас к нему пришла уверенность. До этого он все еще сомневался. И он задал последний вопрос: говорит ли мне о чем-либо фамилия Пейпер? Да, конечно, говорит. Если речь идет о том Пейпере, который служил в Энске начальником аэродромной метеослужбы, то я его знала. Он часто заходил в Викоmando, передавал нам сводки погоды.

Почему Энск, почему Пейпер? Что-то связывало этот город и пришедшего человека с тем прошлым, о котором я думала.

Гость извлек из внутреннего кармана пиджака небольшой, но довольно толстый пакет и положил передо мной на стол. Положил и сказал:

- Почитайте, пожалуйста, эти записки. А дней через десять мы встретимся вновь. Вы должны помочь нам полностью восстановить истину...

Он откланялся и вышел.

Во мне все дрожало от какого-то неосознанного предчувствия. Я не сводила глаз с пакета, в котором содержалась тайна, касающаяся меня. Моя память воскресила одну деталь: я вспомнила, что как-то в Энске видела Пейпера в компании Дмитрия. Пакет, должно быть, связан с Дмитрием. Он расскажет о нем. Я уверена в этом.

Немалых сил стоило мне коснуться его. Мне казалось, будто я трогаю что-то живое.

Из пакета легко выпала записная книжка толщиной в палец, размером с открытку.

Глаза мои искали ответа: чья это книжка, что в ней? Нервы напряглись до предела, пальцы вздрагивали. Я боялась узнать страшное. Внутри жила надежда, и если я сумела пронести ее через годы страданий и тревог, то зачем сейчас, в тишине, терять свою мечту!

Я раскрыла книжку. Все равно рано или поздно надо встать перед правдой. Он! Его почерк. Круглый, четкий. Записки Дмитрия. Их много. Целое богатство.

И хотя я не понимала ни слова, все говорило с этих испещренных мелкими буквами страниц! Я слышала его голос. Волнующий, любимый голос.

Глаза устало закрылись. Сама с собой я переживала эти минуты. Долгожданная встреча! Пусть не такая, как рисовалась мне в мечтах. Но все же - желанная.

В следующее мгновение пальцы мои уже листали книжку. Я искала хоть каких-нибудь понятных мне слов. На последней странице стояла дата: "1943 год". И все. По-видимому, это история. История, которая завершилась сорок третьим годом. Дмитрий своей рукой поставил дату. А потом? Потом он жил, дальше жил. Если бы жизнь его оборвалась, оборвались бы и записки.

Желая что-то угадать или понять, я принялась тщательно разглядывать каждый листок. Еще одна надпись попала мне на глаза. Она была сделана на почти прилипшей к обложке серой страничке. Она гласила: "Дмитрий Брагин, майор, район Крустпилса. 15 мая 1944 года".

Теперь я узнала его фамилию. Брагин! Дмитрий Брагин. Но дата и район внушили новое подозрение. Что значит - 15 мая 1944 года?

Надежда то меркла, то разгоралась. Но меркла чаще. Все настойчивее одолевали тяжелые предчувствия. И избавиться от них было трудно. Я призывала на помощь воспоминания. Как ни странно, но прошлое почему-то казалось светлым. То прошлое, которое мы пережили в мрачные дни войны, в страданиях, в постоянном ожидании смерти, теперь представало передо мной в ином свете. Да, я мучилась, я потеряла сына, я видела гибель многих людей. Но я испытала и первое большое чувство, которое дарит человеку судьба только однажды. Я была рядом с сильным, мужественным другом и сумела поддержать его в подвиге. А то, что он творил своей жизнью подвиг, я не сомневаюсь, как не сомневалась и тогда. Может быть, я чем-то помогла ему. Совсем немногим, но сознание и этого участия в его борьбе приносит счастье.

Больно сознавать, что все это только в прошлом. А сегодня лишь надежды, ожидание И вот теперь - еще предчувствия. Нужно их изгнать из сердца. Должны быть только надежды, светлые надежды и свершения.

Книжка заставила меня вспоминать, искать и разгадывать.

А когда русский гость навестил меня вторично, к тем многим страницам, которые донесла до нас записная книжка Брагина, прибавилась еще одна.

Четырнадцатого мая сорок четвертого года, под вечер, на отрезке железнодорожного пути Крустпилс-Даугавпилс советская разведывательная группа пустила под откос литерный состав немцев, шедший к фронту. На след группы напала специальная команда от карательного батальона в количестве девятнадцати человек. Поначалу разведчики стали уходить к литовской границе, а потом вдруг, описав полукруг, направились в обратную сторону, к железной дороге и берегу реки. Эсэсовцы преследовали группу в течение всей ночи. Несколько раз возникала перестрелка. Разведчики выбили в карательной команде девять солдат и двух командиров.

К утру эсэсовцам удалось прижать группу к реке. Завязался бой. Разведчики сопротивлялись отчаянно и теряли одного человека за другим. У них иссякли боеприпасы. Кольцо сжималось. Уже только два человека отбивались от наседавших эсэсовцев. Эсэсовцы решили взять их живьем и поползли к берегу. И тогда те двое подорвались на единственной гранате. Одним из них был майор Дмитрий Брагин.

Я запомнила навсегда эту дату: сердце Дмитрия перестало биться 15 мая 1944 года.

Как безжалостна бывает истина! Она не оставляет надежды. Упорно, настойчиво я искала разгадку тайны и, когда нашла её, должна была отдать взамен свою мечту о друге. Теперь со мной только воспоминания о нем.

Когда я читала записки майора Брагина, несколько часов мы были вместе. Много стало понятным из того, что было пережито. Многим я восхищалась и кое-чему улыбнулась.

Потом я думала, много думала. Мне показалось, что судьба этого человека удивительна

своей простотой. Нет, не величие ума, не особенность дарования, не фанатическое самопожертвование характерны для него. А убежденность в своей правоте. Убежденность, ставшая частицей души, ритмом сердца. Кто выпестовал в нем эту правоту? Не знаю. Может быть, великое время, может быть, люди, жившие с ним, а может быть, мудрость идей. А возможно - и то, и другое.

Странно: я, немка, сужу о сыне другого народа и хочу понять его. Дано ли нам это? Не помешает ли кровь и смерть многих искренности суждений? Сердце говорит, что нет. Не помешает. Где-то скрещиваются человеческие пути, и тот, кто несет в себе больше света, побеждает. Ему вверяется судьба другого человека. Таким был Брагин. Таким он был для меня. А может быть, и для многих.

Мне хотелось, чтобы имя советского патриота Дмитрия Брагина стало известно многим тысячам людей. А вскоре я узнала, что об этом уже позаботились его друзья. Я узнала об этом от генерала Решетова, бывшего начальника Брагина.

Я не искала его. Он нашел меня сам. Нашел и вызвал в Берлин, вызвал, чтобы познакомиться со мной, узнать, как я живу, и пожать мне руку.

Он до конца разобрался в записной книжке Дмитрия и расшифровал, кто скрывался под кличками и заглавными буквами. И если для публикации он заменил подлинные фамилии действующих лиц вымышленными, то так, видимо, нужно.